Илья Вергасов

Крымские тетради

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Крым во время Великой Отечественной войны… Опустевшие пляжи и мраморные дворцы, разоренные виноградники и отчаянное сопротивление оккупантам — партизанское движение, активным участником которого был автор «Крымских тетрадей» — Илья Вергасов — бывший начальник штаба партизанского соединения, а позднее командир объединенного партизанского района в Крыму.

«Крымские тетради» — это взгляд изнутри на партизанское движение, — воспоминания о боях с карательными отрядами, о спасенных жемчужинах Крыма — знаменитых коллекционных винах, памятниках истории и архитектуры, среди которых был музей А. П. Ч ехова. Партизанский быт, погибшие и выжившие товарищи… «Крымские тетради» — это взгляд человека, который не может и не хочет забыть те страшные годы, когда каждый человек делал свой собственный выбор — жить в страхе или бороться за жизнь и Родину.

Сделано для библиотеки LIBRUSEC

- Вергасов Илья Захарович
  - Неистовая молодость победы
  - Тетрадь первая. Ялта, 41–42
  - Тетрадь вторая. Живи, Севастополь!
  - Тетрадь третья. За Басман-горой
- notes
  - 1
  - 2
  - 3

Вергасов Илья Захарович
Крымские тетради

Неистовая молодость победы

В 1947–1948 годах вчерашний партизанский командир и отставной полковник Советской Армии Илья Захарович Вергасов жил в Ялте, залечивал раны и туберкулез и занимался лекторской работой.

Там же в ту пору работал и жил отличный писатель и человек Петр Павленко, который заканчивал роман «Счастье», где в качестве главного героя выступал Алексей Воропаев, кстати тоже полковник, выбывший из строя по ранению, тоже с подпорченными легкими и тоже лектор. Да и характером своим, напористым, азартным, ершистым, он походил на Вергасова настолько, что порою кажется теперь, что сходство это не так уж и случайно: Павленко ведь был знаком с Ильей Захаровичем, а знакомство с писателем частенько не проходит даром, особенно для людей незаурядных…

Так или иначе, но именно к Павленко принес Вергасов свой первый литературный опыт. То были записки о партизанских действиях под названием «В горах Таврии», дальний подступ к будущим «Крымским тетрадям». И Петр Андреевич сразу же увидел, что перед ним не просто воспоминания ветерана, а настоящая книга. И, как рассказывал потом с благодарностью Вергасов, чуть ли не в буквальном смысле слова «вытолкал меня из Крыма в Москву».

Книга вышла в 1949 году, сразу же была замечена, переиздана не однажды, ее перевели на Украине и в Румынии.

А Вергасов той порой, поверив в свою писательскую звезду, занялся очерками, обращенными к нелегким проблемам тогдашней колхозной деревни. Они и составили сборник «На перевале», вышедший в 1955 году, и еще один «Дорога на Верхоречье» (1958). В 1960–1965 годах Вергасов пишет и выпускает большой роман «Земля у нас одна».

Надо полагать, что устойчивый этот интерес к деревенской теме и понимание всего связанного с нею в немалой мере объяснялись тем, что детские и отроческие годы будущего писателя были каждодневно связаны с тяжелым трудом на пашне и пастбище. Он родился в августе 1914 года в семье тамбовского крестьянина-переселенца, который в поисках лучшей доли добрался аж за Байкал, в Кяхту, на самую монгольскую границу. Отсюда Захар Вергасов ушел воевать с немцем на позиции первой мировой войны. Потом бури гражданской войны швыряли его, как вспоминал Илья Захарович, «из одного конца России в другой», пока не выбросили на берега Кубани, где в станице Челбасской и

разыскала его, смертельно больного, жена с четырьмя ребятишками. Разыскала, чтобы некоторое время спустя, в 1923 году, похоронить, чтобы затем шесть лет подряд, до самой коллективизации, мыкать вдовье горе, терпеть нужду и голод, гнуть спину на станичных богатеев, да и старшего сына Илью вести рядом с собой по той же горькой борозде. Колхоз «Сельмашстрой», куда одной из первых вступила семья Вергасовых, стал для нее избавлением, воротами в новую светлую жизнь. Здесь будущий писатель окончил семилетку, стал комсомольцем, работал сельским киномехаником; отсюда в 1932 году добровольцем ушел служить в Красную Армию.

Такими видятся истоки «деревенской» прозы Ильи Вергасова, занявшей все его внимание на протяжении второго послевоенного десятилетия. Но стоит вспомнить еще и о том, что именно на эти годы пришелся новый могучий подъем сельской колхозной темы во всей советской литературе. Сама действительность тех лет требовала обостренного внимания ко всему, что происходило на селе. Здесь в ту пору и обозначились самые «горячие» точки нашего общественного и экономического развития, своего рода «передний край». Целая плеяда литераторов развернула в этом направлении памятную публицистическую «разведку боем». Они шли вслед за автором «Районных будней» Валентином Овечкиным — тоже фронтовиком и, между прочим, тоже кубанцем, — здесь в двадцатых прокладывал он первые коммунарские борозды. И вместе с ними, будучи верен своей неуемной атакующей натуре, как и в былые фронтовые времена, устремился Илья Вергасов.

Однако память о войне, которой были отданы здоровье и лучшие годы жизни, оставалась с ним постоянно. Просто невмоготу было носить в себе пережитое и увиденное. В конце концов, оно было не только фактом его личной биографии. Чудом уцелев под пулями и осколками, вынеся голодовки и немыслимое физическое и душевное напряжение, от которого у многих его товарищей-партизан разрывались сердца, он обязан был рассказать о них, сражавшихся до конца и не дошедших до Победы. О высотах нравственного взлета и низости падения, о засадах и казнях, о пещерном коптилочном быте и дерзких атаках на занятые врагом селения, о голодных смертях и стойкости подпольщиков…

И он взялся за перо.

«Крымские тетради» создавались на протяжении 1963–1967 годов. По выходе они были переведены в Венгрии. Произведение это можно считать ключевым, «перевальным» в творческой биографии писателя-ветерана. Писатель Сергей Залыгин сказал, что оно написано мужественным стилем, в котором нашел

выражение характер автора. Это действительно так. Ведя повествование от первого лица, Вергасов оговорился на одной из страниц, что пишет не исторический очерк и даже не воспоминания бывалого человека. «Это — что видели мои глаза, что прошло через сердце». И, полностью ручаясь за истинность рассказываемого, замечает тут же, что «трудно отделить правду от легенды, ибо сама правда была легендарна».

И все-таки в своей биографической основе «Крымские тетради» являются и воспоминаниями, и историческим очерком. И в этом качестве их можно соотнести с такими литературно-документальными памятниками Великой Отечественной, как «Брестская крепость» С. С. Смирнова или книга «Я из огненной деревни», составленная А. Адамовичем, Я. Брылем, В. Колесником из свидетельств людей, случайно уцелевших во время карательных расправ гитлеровцев над белорусскими селеньями. Потому что повествование Вергасова концентрирует в себе не менее впечатляющие обстоятельства. Это тоже развернутое свидетельское показание очевидца и участника партизанских сражений за Крым, раскрывающее еще одну пламенную страницу огромной эпопеи народного подвига.

С другой стороны, перед нами своего рода лирическая повесть, где душа автора раскрывается с доверительной прямотой во всех переживаниях и устремлениях. Мы постоянно ощущаем его живое присутствие и душевное состояние в изображаемом им тревожном, жестоком мире. Это ничего, это очень даже понятно и правильно, что он не позволяет себе сосредоточить читательский интерес на собственной персоне, что подчас становится почти незаметным рядом с воссозданными им фигурами воистину богатырского, орлиного склада. Тем больше мы доверяем ему, тем больше ощущаем его причастность к происходящему и закономерность его прихода в отряд и самые истоки его верности и мужества. Как и все его боевые побратимы, он — сын Советской Родины, не мыслящий себе иной жизни, иного строя, иных идеалов. За все это, завоеванное революцией, утвержденное повседневным созидательным трудом, он готов вынести любую муку и пойти в любой огонь. Так конкретная человеческая судьба и конкретный характер обретают у нас на глазах черты типические, общие всему поколенью победителей.

Следующий шаг в этом направлении и приводит Илью Вергасова к его Тимакову — главному герою романа «Останется с тобою навсегда…». Писатель работал над ним с 1970 по 1976 год, по окончании опубликовал его в «Новом мире». В 1980 году роман был издан в Чехословакии.

С Константином Тимаковым мы впервые знакомимся на

зимней яйле заснеженном плато горного Крыма. Командир партизанской бригады, он ведет своих бойцов в ночной, мучительно тяжелый и дальний марш-бросок: надо успеть до рассвета, скрытно от гитлеровцев, занять новые позиции. Потом будет схватка с карателями, тяжелое ранение, эвакуация самолетом на Большую землю. И все, вместе взятое, развернется как динамичный, драматический пролог к новому, уже фронтовому пути бывшего партизанского вожака, на котором он обретет еще не ведомые ему знания и опыт, станет энергичным, талантливым, умелым офицером армии-победительницы. Но и тогда в наступательных боях на задунайских плацдармах, в триумфальном марше по дорогам братской Болгарии, в жестоких сражениях с эсэсовскими дивизиями на венгерской земле — он постоянно будет нести в сердце память о горных крымских тропах и пещерах, о партизанской страде и друзьях-товарищах той поры…

Так со всей очевидностью происходит «передача эстафеты» от одного произведения к другому. Больше того — в данном случае можно уверенно говорить о том, что перед нами любопытная разновидность дилогии, что линия идейной и, в сущности, даже сюжетной преемственности стягивает обе книги в единое повествование «о доблестях, о подвигах, о славе». Несомненна здесь и кровная общность ведущих героев, поскольку оба они литературные «побратимы», выросшие на одной и той же автобиографической основе.

Писатель «поделился» с Тимаковым всеми главными эпизодами собственной жизни. Тут и тяжелое батрацкое детство на Кубани, и красноармейская служба на Кавказе, и крымские партизанские тропы. Есть в «Крымских тетрадях» и страницы, повествующие о дальнейшем военном пути их лирического героя-повествователя. И опять-таки, по всем ключевым пунктам, это путь Тимакова: возвращение всеми правдами и неправдами в действующую армию, несмотря на запреты врачей, командование запасным полком, участие в освобождении Румынии, Болгарии, Венгрии…

Еще более усилено автобиографическое это начало тем, что и характер свой в основных чертах Вергасов тоже «ссудил» Тимакову. Это подтверждают и те, кто знал писателя, и те же «Крымские тетради». Подобно их лирическому герою, Тимаков ершист, самолюбив, энергичен до неуемности, способен мгновенно «завестись» или с чисто партизанской отчаянностью пойти на риск. В то же время выработанное годами армейской службы уважение к воинской дисциплине, командирские обязанности научили каждого из них контролировать и осаживать

себя, а природная доброта то и дело побеждает в их душах вызванное войною ожесточение.

Таковы противоборствующие силы, определяющие внутренний динамизм обоих характеров. Однако в Тимакове все это развивается гораздо полнее, становясь главной целью писательского исследования.

Уже говорилось, что в «Крымских тетрадях» рассказчик чаще всего отходит на второй план. Для него здесь самое важное — воссоздать как можно обстоятельней и правдивей историю развертывания партизанского движения в захваченном фашистами Крыму, назвать и показать как можно больше его героев, свидетельствовать о зверствах оккупантов и тщетности их попыток почувствовать себя хозяевами-колонизаторами на этой благодатной земле. И далее — об отважных действиях подпольщиков Ялты и Симферополя, о происках и злой участи предателей…

В романе же происходит нечто принципиально иное. Герой-повествователь здесь не только рассказывает о происходящем, но и размышляет, рефлексирует, исповедуется. Он постоянно находится в центре событий, его поступки и психологическая их мотивировка, каждая черточка характера занимают автора в первую очередь. Соответственно возрастает тенденция к типизации, обобщению. Именно поэтому автобиографическое начало становится здесь вторичным, несет служебную нагрузку. Оно важно Вергасову лишь постольку, поскольку его собственная военная молодость и судьба типичны для человека его поколения, — разумеется, не в конкретных обстоятельствах, а в плане историческом и социальном. Надо думать, что не случайно отец Тимакова погибает от рук белогвардейцев, а мать становится жертвой их прямых «наследников» — гитлеровских полицаев. И то и другое выходит за пределы писательской биографии, равно как и многие прочие обстоятельства интимного порядка, воссозданные в романе. Между тем как раз они, особенно же трагическая гибель родителей, еще более усиливают и объясняют резкость и крутость в поступках и порывах героя и в то же время — его особую душевную уязвимость. Столь же не случайно введен в роман эпизод встречи Тимакова со старым генералом русской армии, белоэмигрантом. Все это как бы передает в руки героя, бедняцкого сына, эстафету революции и гражданской войны. Он по праву законный и достойный наследник легендарных бойцов, их воинской краснозвездной славы, их правды, которую он, осуществляя их заветную мечту, ломая сопротивление врага, победно несет с товарищами через границы, реки и горы…

По-своему, по-особому изображена здесь и сама война — в

органичном взаимодействии отдельных боевых операций и схваток с событиями, развернутыми панорамно и масштабно. Подобно своему герою, который в одном из наиболее напряженных батальных эпизодов поднимается на простреливаемую, обжигаемую взрывами колокольню, писатель стремится найти для нас и для себя наиудобнейший наблюдательный пункт для максимально широкого действенного обзора. Примечательно, что это — круг видимости командира стрелкового полка, той самой фигуры, которая, согласно утверждению генерала Гартнова из того же романа, представляет собой «опорный столб» в современной войне. Наверное, есть нечто первооткрывательское в этом обстоятельстве, в том, что Илья Вергасов, используя личный командирский опыт, наметил еще одну точку изображения войны, занимающую промежуточное, но принципиально важное положение между окопом переднего края и командным пунктом командующего армией или фронтом. Тем самым писатель внес пусть несколько запоздалую, но весомую лепту в известные литературные искания и споры насчет этих самых «точек».

Не менее значительное достоинство романа — воссозданная здесь поучительная и верная правде картина воспитания и становления молодого командира. В свое время этот своеобразный «педагогический процесс» занимал Леонида Соболева, определив одно из генеральных направлений его творческих раздумий и открытий от «Капитального ремонта» до «Зеленого луча». Над сходной темой, опираясь на большой документальный материал и рассказы фронтовиков, много работал и Александр Бек в «Волоколамском шоссе» и повестях, продолживших эту книгу уже в послевоенные годы.

Илья Вергасов и здесь находит собственный убедительный ракурс. За всем, что происходит с Тимаковым, мы следим «изнутри», вместе с ним переживая и срывы его, и удачи, и уколы самолюбия, и мучительные ожоги непоправимых ошибок. И отсюда же, через восприятие героя, особенно благодарно воспринимается атмосфера суровой и сердечной требовательности, которой окружают «заводного» комполка его старшие по званию и возрасту товарищи — генералы Гартнов, Бочкарев, Епифанов. Не спуская ни малейшего промаха, ни единого партизанского «заскока», ни на минуту не давая забыть об огромности и значительности задач, возложенных на плечи этого совсем еще молодого человека, они настойчиво, бережно помогают ему развить и утвердить нужные качества, направляют, дисциплинируют, облагораживают его энергию и дерзость.

Эта линия человеческих и профессиональных отношений

является одной из самых удачных и перспективных в романе. Закономерно, что как раз на этом направлении наметилось особо занимающее писателя «противоборство» между неуемным Тимаковым и полковником Мотяшкиным — аккуратным, «правильным» службистом, не ведающим ни срывов, ни ошибок. «Партизанские» качества Тимакова, за коими ощутимо проступает присущее ему творческое начало, беспокоят и возмущают Мотяшкина. Сам он никогда не переступает пределы круга, отведенного ему параграфами устава, и одну из насущных своих обязанностей видит в том, чтобы и других людей держать в той же узде. Столкновение Тимакова с этим его «антиподом», как определил Мотяшкина сам писатель в одном из своих выступлений на страницах «Литературной газеты», продолжаются с переменным успехом на протяжении романа. И хотя они завершаются в пользу героя, Вергасов считал, что ему так и не удалось до конца обнажить этот непростой конфликт, и счел необходимым продолжить его исследование.

Точно так же не захотел он расстаться и с Константином Тимаковым. Сразу же по окончании романа «Останется с тобою навсегда…» он начал новый роман под названием «Горький миндаль», в котором обратился к дальнейшей послевоенной судьбе своего героя, к временам, которые были особенно чреваты для Тимакова столкновениями с мотяшкиными всех рангов и мастей.

Когда работа над этой книгой была в самом разгаре, Вергасов, не оставляя ее, приступил к реализации еще одного замысла — созданию романа «Доверие», где начал изображать события 1922–1923 годов. Главными героями здесь стали родители Тимакова — его отец, уполномоченный ЧК по борьбе с бандитизмом на Кубани, мать, которая, похоронив мужа, павшего в бою с врагами, отважно приняла на свои плечи всю тяжесть суровых лет и судьбу осиротевших ребятишек. И еще лежала на писательском столе почти завершенная рукопись романа «Оккупация» — Вергасов оставался верен своей главной теме, военной…

Илья Захарович вновь писал о трудных временах и жестоких испытаниях, в которых закалялись сердца и характеры советских людей. И сама эта его работа стала испытанием и подвигом, ибо трудился он, будучи тяжело больным, одолевая страдания и мобилизуя последние силы огромной волевой устремленностью, все с тем же презирающим смерть и беду тимаковским азартом. И, несмотря ни на что, вновь вышел победителем из этой воистину смертельной схватки, потому что все три произведения были завершены и подготовлены к встрече с читателями.

Горько думать, что автор не дождался этой встречи. 29 января 1981 года Илья Захарович скончался.

Тем дороже для нас его книги, воссоздающие образ неистового, навеки молодого поколения, еще при жизни вошедшего в легенду.

Вс. Сурганов

Тетрадь первая. Ялта, 41–42

Мы не для того родились, чтобы убивать, и не для того, чтобы быть убитыми.

1

Мне исполнилось двадцать два года, я был лейтенантом, служил в авиации.

Очередная медицинская проверка, и у меня обнаруживают туберкулез.

В темном рентгеновском кабинете саратовского военного госпиталя впервые в жизни услышал слово «каверна». Его произнес врач с тревожной осторожностью, и я понял: худо мое дело. Лежал в тесной комнате диспансера, смотрел на надтреснутый потолок с желтыми разводами и чувствовал себя на пути в никуда.

Госпитали, больницы — мое новое «летное поле», но без локтя товарищей, без неба, в котором еще недавно был на положении хозяина и мог опуститься с него даже с подбитым крылом.

Меня срочно демобилизовали, направили на лечение в Крым.

Ялта! Слыхать слыхал: перед самой болезнью случайно прочитал старинный роман о городе. Писалось в нем о фешенебельных гостиницах, ленивых барынях, ждущих красавца татарина, проводника в горы, — одним словом, о чем-то экзотическом и не совсем ясном.

Я летал, бывал на крутых виражах, привык к воздушным ямам, но дорога из Симферополя в Ялту и для меня оказалась твердым орешком. Нас кружило, бросало из стороны в сторону; какая-то горбатая гора оказывалась то впереди, то позади, а потом снова забегала вперед, и было впечатление такое, что мы ее, проклятую, так никогда и не объедем.

Не унывал лишь шофер-лихач, черноглазый татарин, всю дорогу картаво мурлыкающий монотонную песню. Пять часов мук, и наконец говорят: Ялта.

Были сумерки, промелькнуло здание — не то храм, не то дворец.

Через день я оказался в тихом и узком переулке, с двух сторон зажатом высокими серыми подпорными стенами. Они были внушительны, как валы древней крепости. Под ногами

осторожно шуршали листья чинары, каждый напоминал раскрытую пятерню. Пахло чем-то винно-кислым. Вокруг стоял дремотный покой.

Дорога вдруг круто оборвалась, и я увидел море. Оно было почти бесцветным, незаметно сливалось с небом. Впечатление такое: стою не на краю пропасти, а в полете с выключенным мотором, под крылом моим пустота, мглистая и бездонная.

Всплеск воды и шуршание гальки вернули меня в реальность.

Мое знакомство с Ялтой началось в тихое время года — осенью; я увидел город, сбросивший курортный шум, простившийся с толпой, оставшийся самим собой, тихий, деловой.

И климат! Я не верил в его божественное назначение исцелять безнадежных, но температура стала нормальной, все время хотелось есть, легкие задышали глубже. Воздух Ялты сдувал с меня чахоточный, — испепеляющий огонь.

Надо было определяться на гражданке. Но куда? Жизнь горожан проходит в сфере обслуживания. Есть курортники — есть работа, нет их — соображай, как существовать. Ни по характеру, ни по состоянию здоровья в команду обслуживающих я не подходил.

Люди советовали:

— Иди в «Массандру», к Соболеву!

И квартирная хозяйка, у которой я снимал угол, говорила:

— Человек он простой, из наших, рабочих.

Набрался храбрости и пошел, хотя права на такой шаг у меня не было: какое имею отношение к производству вина? Мадеру от портвейна не отличу.

И вот я в большом прохладном кабинете с люстрой, шкафами, откуда выглядывают бутылки самых невиданных фасонов — то пузатые, как Пантагрюэль, то длинные, как Пат, то крохотно-игрушечные.

Навстречу поднялся человек, широкоплечий, с чуть косящим взглядом.

— Будешь гостем, товарищ военный. Вот тут и садись. Ялта наша помогла? — спросил Соболев, да так, точно знал всю мою историю.

— Мне намного здесь лучше.

Он обрадовался, будто подарок получил:

— Отличное место, климатический рай!

Скованность исчезла, и я рассказал директору историю своей жизни, которую можно вместить на полстраничке из ученической тетради.

И услышал неожиданное и рискованное предложение:

— Иди-ка в старшие механики совхоза «Гурзуф».

Что он, шутит?

А Соболев еще увереннее:

— Авиация посложнее винодельческих машин. Иди, поможем.

Он в меня верил! Еще раз встретились наши взгляды. В его глазах прочел: «Соглашайся, все логично, я знаю, что делаю».

…Старший механик виноградно-винодельческого совхоза — должность эквилибристическая, на ней бы голову потерял сам Остап Бендер.

Сплошная кустарщина, допотопщина. Чувство такое, будто стоишь на глиняных ногах и все время с вытянутой шеей: где что найти, что куда приспособить, как слона превратить в муху и наоборот?

Древние, как ихтиозавры, прессы, помпы, насосы, деревянные терки такие находят рядом с египетскими саркофагами.

Все машины служили еще отцу русского виноделия князю Голицыну.

Но на них-то и делают марочные вина, которым и цены нет.

Надо быть кудесником, чтобы продлевать жизнь умирающим машинам.

Но у кудесника, то есть у меня, была волшебная палочка.

Иного мужика и за золото не купишь, никакими путями не вызовешь у него сострадания, но покажи бутылку коллекционного «пино-гри» — и душа его тает.

Как меня понимали с дюжиной марочных вин!

Но это я вспоминаю вполушутку-вполусерьез.

Вообще мне в Крыму повезло. Гурзуфчане приняли доверчиво. Видимо, сыграла роль и моя летная форма, к которой в те времена с большим уважением относились и стар и млад.

Выручало и то, что было мне привито еще военной школой, — интерес к новому.

Я не собирался быть ни рационализатором, ни тем более изобретателем. Но получилось так…

Винодельня «Аи-Гурзуф» древняя, как Медведь-гора, у подножия которой она стоит.

Ручным прессом давят виноград. Шесть женщин еле-еле ворочают рычаг, лениво и медленно щелкают чеки.

Вот передышка. Молодая девушка перехватывает бинтом кровавую мозоль.

Черт возьми! А если присобачить редуктор и вращать его электрическим мотором, а на рычаг поставить мягкий ограничитель, а? Не Америку открывать, любому механику задача по плечу.

Винодел Федосий Петрович Охрименко разволновался. Мое

предложение немудрено, проще пареной репы, только кто за это возьмется?

Нашелся у меня и первый помощник — совхозный завгар Георгий Гаврилович Родионов, энтузиаст механизатор, и еще один кудесник — наш старый слесарь Евтихий Иванович Григорьев. Изобретательский зуд беспокоит его с самого детства.

Месяц я сам не знал покоя и другим не давал. Наконец редуктор отлит, подогнан.

Проба!

Защелкал наш пресс, и здорово; главное, виноделы в восторге.

Лиха беда начало, а потом пошло, только держись. Горные склоны, на них виноградники. Тут извечно царил ручной труд, тяжелый, изнурительный. Лопата и тяпка — вот вся «чудо-техника».

Не очень верили нашим поискам, но молодость неуступчива. Мы не знали теории, но у нас было чертовское чутье практиков. Давно было известно: горные склоны можно обрабатывать орудиями на тросовой тяге. Для этого нужна была простая и надежная механическая лебедка.

Лебедок — пруд пруди, десятки марок, но ни одной годной. На каких только тракторах их не монтировали! Но все упиралось в сложность конструкции, в ее неустойчивость.

Мы, неискушенные, но подпираемые самой жизнью, разрубили узел: взяли отечественный колесный трактор «ХТЗ» и на нем смонтировали очень удобную и устойчивую в работе лебедку. Простота была пугающей, но она-то и решила проблему. Даже сейчас, во второй половине шестидесятых годов, лебедки конструируются по нашей идее.

Чувствовал себя на седьмом небе, только болезнь нет-нет да и напоминала о себе. Тогда шел в ялтинский тубдиспансер к Марьяне Ивановне Мерцаловой. Она поддувала легкие, давала рецепты, которые никогда до аптеки не доходили, и угрожала: «Насильно положу в стационар!»

Лебедку нашу признали в Москве, взяли ее в павильон механизации, а мы, Родионов и я, стали участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

И неожиданно вызвали в Москву.

Боже мой! Во что же одеться? Военное все обветшало, а гражданского костюма я еще не приобрел.

Директор совхоза был педант и категорически заявил:

— Без приличного костюма в Москву не пущу, вдруг сам нарком пожелает принять!

Подходящего костюма на мои по-девичьи узкие плечи не

удалось найти даже в Ялте. Выручил совхозный кладовщик Фрадкин. Он достал из своего древнего сундука насквозь пропахший нафталином бостоновый костюм дореволюционного покроя. Портной не спал ночь и отлично справился с делом, накинул на мои плечи первый в моей жизни приличный костюм.

Он мне здорово понравился, только одно омрачало — неистребимый запах нафталина, от которого меня сначала мутило. Я быстро пообвык и перестал ощущать нафталиновый мармелад, но люди подозрительно косились. Так было и в вагоне скорого поезда, так и в приемной наркома.

Пришел нарком, и я обо всем забыл.

Горячо, с приятным кавказским акцентом он говорил о советской марке вина, благодарил нас за труд. Нарком подошел ко мне, улыбнулся дружески и спросил:

— Скажи, что тебе надо?

Я гаркнул на весь кабинет:

— ДИП, товарищ народный комиссар!

— Не понимаю.

— Токарный станок завода «Красный пролетарий» марки «Догнать и перегнать»!

Он засмеялся, быстро подошел к столу, что-то записал, а потом снова ко мне:

— Что себе хочешь? Лично!

— ДИП!

— А, заладил… Будет тебе станок, обещаю.

На прощанье протянув руку, между прочим спросил:

— Скажи, если не секрет, где такой костюм достал?

Я готов был сквозь землю провалиться.

— Зачем краснеешь! Крепкий материал, век не сносить!

Каждому из нас нарком подарил по фотоаппарату «ФЭД», пожелал доброго здоровья и простился.

Вечером в номер гостиницы пришла именная посылка: принес какой-то товарищ, вручил мне.

— Это вам от наркома.

Разворачиваю посылку — новый костюм, серый в полоску.

Я ахнул.

— Примерьте, пожалуйста, нарком просил.

Вот это был костюм!

В совхозе я про костюм, конечно, никому ни слова, зато о станке протрубил вовсю. Он так нужен был, что мы даже не верили: а вдруг не пришлют? Станок-то такой в то время был редкостью.

Про костюм все же узнали. Как-то приходит в механический цех винодел Охрименко, ставит на стол тридцатилетнюю мадеру,

разливает по стаканам, подмаргивая, поднимает тост:

— За наркомовский костюм!

Весной 1941 года мы получили наряд на долгожданный станок. Обещали прислать в конце июня, не позже.

То-то на радостях вина попили!

Все складывалось хорошо, но неожиданно поднялась температура. Меня направили на лечение в Алупку.

2

Тут-то и застала война.

За сутки опустел курортный городок. Что-то грустное и жалкое было в затихших залах дворцов, в корпусах нарядных здравниц. Лишь буйно цвели магнолии, над ними жужжали пчелы.

Только в нашем санатории тлела жизнь, и нам даже пытались внушить, будто для нашего брата ничто не изменилось, лечение продолжается, и никаких отъездов.

И все-таки на следующий день я покинул Алупку и застрял в Ялте.

Каким-то лишним я почувствовал себя в суматохе первых военных дней; все, чем я жил до сих пор, теперь не имело смысла и уходило далеко-далеко от меня.

Где мои однополчане? Может быть, кто-то из них вот сейчас ведет воздушный бой?

Я заглянул в райвоенкомат, хотя знал: никому здесь не нужен. Я белобилетник, этим сказано все.

Иду в райком. Секретарь Борис Иванович Герасимов посмотрел на меня удивленно:

— Тебе что?

— Вот оставил санаторий… Пришел…

— И правильно сделал. Давай в совхоз, лично отвечаешь за отправку автотранспорта по мобилизации. Чтобы ни сучка ни задоринки.

За двое суток совхоз стал другим. В гараже, мастерских, кузне — ни души! Слесари, трактористы, шоферы ушли на фронт. Одиноко торчит бетонный фундамент с анкерными болтами под ДИП, который так и не пришел и не придет. У верстака копошится Евтихий Иванович, старик слесарь, подгоняет головку к винодельческому прессу, но сразу видно — работает только по привычке.

Началась странная жизнь поселка без мужчин.

Я просыпался рано; как всегда, выходил на наряд под

столетнюю чинару у винзавода, слушал директора, который старался не изменять своей выдержке. Но распоряжения его уже не имели смысла. Фронт неудержимо катился на юг, и кому нужны были мы — виноделы и виноградари — со своей подготовкой к уборке урожая?

Надо было что-то делать. Напросился на медицинскую комиссию, но меня забраковали: не годен в авиацию, не годен даже в хозкоманду.

Написал письмо в областной комитет партии, ответа не последовало.

Дмитрий Иванович Кузнецов, секретарь нашей партийной организации, такой же больной, как и я, строго предупредил:

— Поменьше эмоций, а давай демонтируй ценное оборудование.

«Значит, положение ухудшается», — подумал я. За неделю-другую упаковали электромоторы, два генератора, трансформаторы и отправили все это на Кавказ на парусном судне. На нем же эвакуировали из массандровских подвалов редкую коллекцию старинных вин. Были вина испанские — семнадцатого века, потемкинские — восемнадцатого, голицынские — девятнадцатого.

К счастью, коллекция «вынесла» войну и полностью сохранилась. В 1945 году она вернулась в Ялту, и сейчас замшелые бутылки вековой давности хранятся в нишах коллекционного зала.

Наконец меня вызвали в райком партии к Борису Ивановичу Герасимову второму секретарю.

— В обком писал? — торопливо спросил он.

— Так точно!

Герасимов подумал.

— Может, все-таки на Кавказ, а?

— Не могу, Борис Иванович. Решил твердо.

— Раз так, то пойдешь в истребительный батальон. В своем же Гурзуфе возьми под начало роту. Ясно?

Ротой командовал несколько дней, вскоре отозвали в Ялту и назначили начальником штаба городского истребительного батальона.

Обязанностей у истребителей хватало: охрана побережья от фашистских десантов, контроль за дорогами и многочисленными тропами, засада на дезертиров — они, к сожалению, стали появляться в окружающих лесах.

Нас предупредили: фашисты намереваются взорвать Байдарские ворота единственный выход на Севастополь.

Бросили к воротам усиленный наряд истребителей.

Заметили пожилого человека. Он осторожно шел по горной тропе, усыпанной листвой, оглядывался. Окликнули — побежал.

Он так и не смог объяснить, почему оказался в тридцати километрах от лесничества, в котором работал.

В райотделе НКВД дал показания: он ждал фашистских диверсантов, которые должны были подъехать к Байдарам на грузовой машине в советской милицейской форме.

Неделю и мы поджидали эту машину, но увы… Кто-то, видать, предупредил врага о провале агента-проводника.

Жаркие бои под Одессой. К нам все чаще и чаще стали прибывать пароходы с ранеными и эвакуируемыми.

Ялтинцы, заметив на горизонте дымок, высыпают на набережную. Одни надеются встретить родного человека — может оказаться среди раненых, другие просто хотят помочь тем, кто пролил кровь свою, испытал тяжесть осады. Несут вино, фрукты, домашнюю пищу.

Фашисты начали нападать на суда с красными крестами.

Ночами в морских далях мигали неизвестные огоньки — кто-то кому-то сигналил.

Сторожевые катера гонялись за призраками, а мы, истребители, сбиваясь с ног, прочесывали леса, но…

Над всем уснувшим побережьем струился тугой ветер, стояла тревожная тишина, редко перебиваемая гулом дизеля, идущим из пугающей пучины моря.

Парни в серых халатах, хлопотливые сестры, хмурые санитарки, вечно куда-то спешащие врачи стали хозяевами курорта.

Раненые прибывали и прибывали, все больше госпиталей развертывалось в корпусах здравниц.

Это нас тревожило. Немецкие танки подошли к Перекопу, фактически отрезали полуостров от материка, прямая железнодорожная связь с Москвой оборвалась.

Перекоп…

Радио и газеты сообщают: там ожесточенные бои!

Это на севере полуострова, у его ворот, на солоноватой древней земле.

Была надежда: фашисты не прорвутся!

Да и тишина вокруг стояла недвижная, не верилось, что уже на подступах к Крыму идет война.

Зеркальной гладью застыло октябрьское море. Исполинская спина Медведь-горы рыжела от налета осени, все вокруг готовилось к зимнему покою.

Казалось, не бывать здесь врагу. Не бывать, и баста!

А он таранил крымские ворота: танками, самолетами,

пушками, пьяными атаками эсэсовцев…

Много дней и ночей топтались отборные немецкие дивизии у ворот Крыма, а ведь Манштейн еще месяц назад должен был захватить Севастополь, отрапортовать Гитлеру: Крым и военно-морская крепость у ваших ног!

Немцы через перешеек подошли к Ишуньским позициям. Не верилось, но враг уже топтал крымскую землю.

В глубинных городках и поселках объявились коммунисты-добровольцы. Старые и молодые. Они молчаливо выстраивались перед скромными зданиями райкомов и горкомов партии, в которых им вручали партийные билеты, прощались с родными местами, садились на гремящие «ЗИСы» и сразу же бросались в боевое пламя, испепелявшее сотни и сотни жизней.

Ялтинский истребительный батальон занимал гостиницу «Крым». Командовал им Николай Николаевич Тамарлы, местный старожил, специалист по борьбе с береговыми оползнями.

В военной форме, опоясанный ремнями, тучноватый, с черной окладистой бородой, он с рассвета дотемна готовил роты к боевой встрече с врагом. В нем чувствовалась военная жилка.

Еще бы! Штабс-капитан царской армии. Но капитан, который безоговорочно принял революцию, защищал ее на фронтах гражданской войны, стал членом большевистской партии, в свое время возглавлял Ялтинский горсовет.

На площадке выстроились двадцать пять коммунистов-добровольцев.

Тамарлы обходит строй, здоровается с каждым в отдельности — знает всех по мирной жизни. Вот его рука задерживает ладонь пожилого человека с глубокими морщинами на изможденном лице:

— Ты нездоров, Павел Алексеевич?

— Война, Николай Николаевич.

Вскоре в Ялте появилась еще одна группа бойцов, по-особому экипированная: ватные стеганки и брюки, капелюхи, вместо вещевых мешков туристские рюкзаки. Эти бойцы напоминали альпинистов, перед которыми неизведанные, ждущие штурма высоты.

Готовил эту группу мой помощник по разведке Степан Становский.

Свой день он обычно начинал с рапорта:

— Товарищ начштаба, меня вызывают в горком партии для получения особого задания.

— Что ты там делаешь?

— Много будешь знать — скоро состаришься.

Через день Становский вернулся с гор.

— Куда группу увел?

— На кудыкину гору.

Меня срочно вызвали в райком партии, к первому секретарю Мустафе Селимову — молодому, энергичному, немногословному. В мирное время он уважал нас, механизаторов, и крепко нам помогал.

Селимое усаживать не стал.

— Вчера вечером бюро райкома утвердило тебя командиром Алупкинского истребительного батальона.

— Ясно.

— Комиссар батальона — да ты его знаешь, ваш, гурзуфский, Александр Поздняков — срочно комплектует особую группу. По секрету — партизанскую. Через сутки она должна быть здесь, — Селимов отодвинул в сторону занавесочку — открылась карта-километровка. Секретарский палец лег на шоссе, соединявшее Ялту с Бахчисараем. — Запомни, и хорошенько!

— Партизанить?

— Да. Мы обязаны заранее все предусмотреть, послать в горы лучших добровольцев, конечно. Для сведения: на Ишуньских позициях идут тяжелые бои.

Через день тридцать два алупкинца во главе с коммунистом Агеевым были в районе возможной дислокации партизанского отряда.

За группой потянулись машины с продовольствием, теплыми вещами. Скрытно готовили партизанские базы.

Меня и комиссара Александра Васильевича Позднякова снова вызвали в райком партии. Принимал второй секретарь — Герасимов. Путиловский рабочий, из-за проклятого туберкулеза вынужден был оставить цех и перебраться на жительство в Ялту. Он человек дельный, доступный. С полуслова понимал каждого, с кем приходилось встречаться, и терпеть не мог краснобаев.

Поздоровался, сразу же спросил:

— Батальон на полном казарменном положении?

— Так точно.

— Берег круглосуточно патрулируете?

— До самых Байдарских ворот.

— Правильно. Усаживайтесь.

В кабинете был комбат Тамарлы и его комиссар Белобродский. В сторонке стоял Степан Становский.

Герасимов откашлялся:

— Нависла опасность прорыва Ишуньской линии обороны. Надо быть готовым ко всему. Главная задача — сформирование Ялтинского партизанского отряда. База — ваши истребительные батальоны. Вы уже послали людей в горы, но нужны будут еще. —

Герасимов отыскал глазами меня и Позднякова: — Вам, алупкинцам, дополнительно отобрать тридцать человек, в основном коммунистов, само собой разумеется, добровольцев. Вопросы есть?

Идем по набережной, молчим, но думаем об одном.

— Как вы, Александр Васильевич? — спрашиваю у комиссара.

— А ты?

— Из Крыма не уеду.

— А легкие?

— А у нас куда ни кинь, везде клин. Все из команды «тяжелоатлетов».

— Да, твоя правда!

За парапетом шумело море. У мола двухтрубный корабль, гремя цепями, пришвартовывался к причалу.

Поздняков ахнул:

— Снова раненые?

Заметили следы боевой схватки корабля в море: разрушенные надпалубные сооружения, пробитые осколками шлюпки, срезанный, как ножом, угол капитанского мостика.

Сутулясь от морского ветра, мы прижались к сухой стене мола и не спускали глаз с судна, которое уже было заякорено, но палуба еще пустовала, а едва слышная команда неслась издалека, будто с самого мутного неба. Вскоре по трапам застучали кованые сапоги. Матросы в касках и с автоматами сошли на берег и быстро оцепили район причала.

— Пленные, — шепнул комиссар.

Немцы, румыны, снова немцы. Они походили друг на друга, бледнолицые, какие-то стандартно серые и равнодушные, с неуверенной после морской качки походкой. Что-то по-человечески жалкое было в их облике, и я не мог представить, что именно вот такие штурмуют Одессу, рвутся к нам, в Крым.

…Через день телефонограмма на мое имя: явиться в Симферополь на беседу с первым секретарем обкома партии Владимиром Семеновичем Булатовым.

Булатов не заставил ждать, принял немедленно.

Короткие вопросы. Мои ответы, пауза, а потом:

— Еще раз подумайте, через час жду окончательного решения.

Я брожу по военному Симферополю, грязному, пыльному, жаркому, набитому войсками. Останавливаюсь у старинного здания. У ворот санитарная машина разгружают раненых. Вдруг вспомнил: в этом военном госпитале почти сто лет назад знаменитый русский хирург профессор Пирогов оперировал участников первой обороны Севастополя. Когда-то этот факт,

вычитанный из книги, казался древним-древним, а вот сейчас не кажется.

Что будет с Крымом, с Севастополем, с нашей Ялтой?

Снова у Булатова.

— Пойдешь в начальники штаба Четвертого партизанского района. Пять отрядов объедините, южных, и Ялтинский у вас. Ясно?

— Так точно!

— Справишься?

— За доверие спасибо.

— Обком провел большую организационную работу. Но это начало начал. Впереди сто уравнений с тысячами неизвестных. Вот это запомни. И верю, ялтинцы не подведут! Прощай!

3

На рассвете первого ноября Южный берег — от Алушты до Байдарских ворот — пришел в движение. Дорога переполнилась, как река в половодье. На крутых подъемах надрывались перегретые моторы, рядом ржали обозные кони, на тропах покрикивали ослы, навьюченные бог знает каким армейским барахлом.

Второй эшелон войск наших отступал на запад, стремясь к узкой горловине Байдарских ворот. Скорее на Севастополь, под защиту морских батарей!

Отход шел волнами.

Причалы набиты ранеными. Ждут транспорт, высоко-высоко в голубом небе гудит самолет, люди с тревогой ищут его.

Набережная Ялты насквозь пропахла бензиновым угаром, розы потемнели. Окурки, пустые бутылки.

На рассвете я выскочил на главную магистраль, подъехал к контрольному пункту.

Тихо пока. Виноградарь за спиной тащит тарпу[1] с заизюмленным мускатом. Он проходит мимо меня, как мимо телеграфного столба, не замечая.

Из-за поворота выскакивает запыленная «эмка», я ее задерживаю:

— Документы!

На меня уставилась пара глаз с белками в красных прожилках.

— Крымсовнарком!

Документы в порядке. Спрашиваю:

— Что в Симферополе?

Молчание.

Еще машины. И больше легковых. Начальство, Значит, худо.

Ялта приказывает: ловить дезертиров!

Ловим.

В штаб приводят троих. Шинели подпалены, бороды, — видать, давно в бегах. Допрашиваем. У одного находим фашистскую листовку.

На дороге новый прилив отступающих.

Только на горах все идет так, как шло веками. Там до неправдоподобия яркий багрянец, тишина и покой. Там и начнется моя партизанская жизнь. Какова же она будет? Очень жаль, что практически не знаю ни гор, ни леса.

Тянутся вдоль берега исполинские скалы, за ними лежит горное плато. Татары это волнистое плато называют «яйлой», что в переводе значит горное пастбище.

Был я как-то на этой самой яйле. Жуть взяла, хотя стоял август. Тяжелые, холодные тучи впритирку ползли над серой, пустынной местностью, ощеренной голыми камнями, колючей травой, с пятнами коричневого суглинка. Воронки, карстовые спады — и над всем этим тугой ветер, чертовский холод пронизывает насквозь.

А каково там зимой?

Да, отступаем, враг прорвался в просторы Таврии, Симферополь эвакуирован.

Получаем приказ: срочно снарядить роту на уничтожение вин.

Сердце так и сжалось. Начиная с 1936 года, после специального постановления правительства, был организован винкомбинат «Массандра». Лучшие сорта марочных вин свозились на длительное хранение в массандровские подвалы из всех совхозов и заводов побережья.

И наш, гурзуфский, урожай свезен был туда же.

Накопились миллионы декалитров вина. Богатство!

И вот наши бойцы вбегают под полутемные своды массандровских хранилищ и расстреливают тугие бока винных бочек, взрывают гранатами десятитысячелитровые дубовые буты.

Тысячи винных струй пересекаются друг с другом — красных, розовых, цвета чая, темных, как кровь.

Вино бежит в кюветы, дренажи, бежит в море… Сколько свадеб, именин, встреч оно могло украсить!

Пьяно колышется у берегов оранжевое, как сукровица, море.

С большой высоты смотрю на Ялту.

Будто ничего в ней не происходит, стоит себе красавец город под южным жгучим солнцем, такой нарядный, дачный,

расцвеченный живыми красками чинар, и кажется, нет ему дела до забот и тревог наших.

Перевожу взгляд на дворцы: ближний от меня — Ливадийский, подальше, затянутый нежным маревом, — Массандровский. Там уж совсем благодатный покой. А что в них будет через неделю?

Батальон подняли по тревоге.

Утро сырое и холодное.

Бойцы молча усаживаются на машины, сутулятся под тяжестью вещевых мешков.

Молчат, но каждый знает — это прощание.

Рядом хлопочут Дмитрий Иванович Иванов, директор санатория имени 10-летия Октября, крупный человек с грузной походкой, и председатель Алупкинского горсовета Николай Петрович Мацак, сивоусый, с мечтательными глазами.

Иванов вздыхает:

— Кто из нас вернется?

— Рано хоронишь, — упрекает друга Мацак.

— Я о другом, Николай. Как же это случилось? Вот столовую было построил, люстры понавесил, ждал отдыхающих. Не дождался, а вчера люстры своими руками… Вот как!

Иванова понять можно. У него новая столовая, у меня ДИП, которого так и не дождался.

Батальон уходит с отступающими частями, добровольцев-партизан снаряжаем в горы. Их уводит Поздняков, наш комиссар. Меня же вызывают в Ялту.

4

Я приехал в город, машину оставил в глухом переулке и пошел в райком. В выцветшем кожаном пальто, желтой шапке-ушанке шагаю по набережной и гляжу во все глаза.

Как непригляден город! Здания заляпаны грязью, на тротуарах битые стекла — следы утреннего налета пикировщиков.

Фашисты бомбили порт, а попали черт знает куда, Бомба угодила в городскую баню, убила пятерых.

В райкоме получаю последний приказ: «Следуй в лес, в распоряжение товарища Мокроусова».

Прощаюсь с товарищами, с Борисом Ивановичем. Он обнимает, говорит:

— Жалко, что я не с вами.

Он был печален, таким и запомнился на всю жизнь.

Не напрасно беспокоился комиссар Поздняков. Еще не эвакуировано одиннадцать госпиталей.

Толпы раненых, врачей, сестер и санитарок толкутся на причалах. Ждут «Армению», вот-вот судно должно появиться.

Фашисты рядом, они уже заняли Алушту…

Горит Ялта, в разных местах раздаются взрывы…

Красные отсветы пожаров на черной воде, крышах, стенах. Пахнет гарью. Обыватели грабят, тащат мешки, ящики, санаторное имущество.

Над нефтехранилищем бушуют огненные языки, черный дым кружится над молом, обволакивает последний теплоход — «Армению». Она наконец-то пришла.

Мы переночевали в райотделе НКВД и на рассвете двинулись в лес.

«Армения» все еще грузилась. Ах, как она задержалась! Пока небо слепое, опасаться нечего, но вдруг солнце пробьется? Ведь юг — долго ли!

На окраине нас остановил человек: глаза черные, с восточным разрезом, брови дугой, нос с горбинкой. Во всем облике что-то цыганское, стихийное. Он в барашковой папахе, опоясан новыми армейскими ремнями. Четко отрекомендовался:

— Личный представитель Мокроусова Захар Амелинов.

Подошел еще плотный морячок с веснушками на широком скуластом лице.

— Кто командует парадом? Разрешите представиться: младший лейтенант Черноморского флота Владимир Смирнов.

Обветренный, твердые серые глаза, плечистый, мускулистый. Видать, силенок не занимать.

Дорога круто идет в горы, за спиной Ялта, «Армения» все еще на причале.

Едем молча. Только моряк-непоседа, соскакивая на ходу с машины, то кричит на усталых обозников, иногда преграждавших нам узкую горную дорогу, то помогает им на поворотах вытащить из кювета застрявшую повозку. Ручной пулемет за его широкими плечами кажется легковесной игрушкой.

Завидую его силе, безудержной энергии. Вчера я в последний раз забегал в туберкулезный диспансер. Поддули легкие. Марьяна Ивановна приблизительно догадывалась, куда я собираюсь, сделала выговор:

— С ума сошли! Вам нужна больница, а вы куда?

Пожал плечами, простился с хорошим человеком.

Лес внезапно кончился, впереди нас оголенная Никитская яйла. Моросит дождь.

Дорога лежит на плато яйлы, по бокам зияют провалы, в них,

как в гигантских котлах, курятся облака.

Зябко.

Ни единого человека вокруг.

Неожиданно солнце пробило толщу туч и пятнами стало ложиться на плато. Туман стал оседать на глазах, горизонт расширился, и небо над нами заголубело. Потом лучи стали съедать туманную мглу на провалах, будто стирали ее резинкой.

И открылась даль моря.

Мы все одновременно увидели «Армению». Теплоход шел на восток, оставляя за собой расходящийся пенный след.

Два крохотных сторожевика сопровождали корабль.

Это последний транспорт из покинутого города, на нем одиннадцать госпиталей, советский и партийный актив Большой Ялты, врачи, многие семьи партизан. Там Борис Иванович и его семья.

Сердца наши учащенно бьются, мы задираем головы и смотрим на открывшееся во всю ширь небо. Только бы не появились пикировщики!

И вдруг крик Захара Амелинова:

— Идут!!!

Они, гады, шли с треском, воем, пронеслись над нашими головами метрах в двухстах — трехстах. Мы видели лица летчиков.

Бомбардировщики мгновенно оказались над теплоходом, выстроились, и началась безнаказанная карусель.

Со сторожевиков ударили зенитные пулеметы, но разве плетью обух перешибешь?

Фашисты пикировали, как на учении.

Теплоход переломился пополам и буквально за считанные секунды исчез, оставив после себя черную яму, которая тут же сомкнулась под напором тысячетонных волн.

Сторожевики сиротливо бороздят воду, но подбирать, видимо, некого.

Семенов ведет машину, плачет.

Дорога обрывается взорванным мостом.

Подгоняем вещевые мешки — впереди марш.

— Куда же машину? — спрашивает Семенов.

— В обрыв! — командует Амелинов.

Грузовик ползет к крутому, будто ножом срезанному, откосу, как живой сопротивляется. Дав наконец полный газ, Семенов соскакивает, и машина летит в бездну.

Вот и все. С падением машины навсегда обрывается связь между прошлым и будущим.

1966 год. Осень…

На вершине гурзуфского седла, над самым поселком красуется белая беседка. «Роза ветров» — так называют ее туристы.

Стою в беседке. Рядом две дочки-школьницы. Под нами море.

Ищу то место, где погибла «Армения». Но как его найти! Одна лишь водяная гладь…

А мимо идут туристы, останавливаются над кромкой яйлы, восхищаются потрясающей воображение панорамой Южнобережья, и никто — решительно никто из них не знает о том, что на этом же самом месте, где они сейчас стоят, четверть века назад стояли мы, кучка вооруженных людей. Стояли и беспомощно смотрели на гибель «Армении»…

5

Немецкие войска, заняв Симферополь, устремились на Южный берег, по дорогам которого отступали части Приморской армии генерала Петрова.

На северо-восточных подступах к Севастополю уже шли ожесточенные бои. Была реальная опасность — враг ворвется в город. Решали часы: успеют ли отступающие части Приморской армии занять позиции на южном и юго-восточных секторах Севастопольского оборонительного района…

Положение Приморской армии крайне осложнилось. По существу, дорога отхода на Севастополь была одна: Алушта — Ялта — Байдары…

Противник не жалел сил, чтобы прорваться к морю, захватить Южное побережье, через Байдарские ворота выйти в долину и ударить на Балаклаву южный форпост Севастополя. Ему удалось сбить наш заслон на Ангарском перевале. Не мешкая ни минуты, фашистские части бросились на Алушту.

Наш арьергард в Алуште — 421-я стрелковая дивизия и приданный ей батальон морской пехоты. Он не располагал удобными оборонительными позициями, и противник хотел выбить его танковым ударом.

Дрались трое суток. Благодаря героизму солдат, матросов и командиров удерживали Алушту, обеспечивая отход частей Приморской армии. Под прикрытием арьергарда батальоны и полки генерала Петрова прочно укреплялись на южных и юго-восточных подступах к морской крепости.

Немцы, неся значительные потери, все же вошли в Алушту. Но не успели они очухаться от трехдневных изнурительных боев, как сами оказались в положении обороняющихся. Соединение

Красной Армии штурмовало… Алушту. Это была 48-я кавалерийская дивизия под командованием генерала Аверкина. Дивизия хотела прорваться на Судак, но для этого требовалось занять Алушту. И кавалеристы пошли на танки. Они заставили южный авангард Манштейна задержаться еще на трое суток, теперь уже в самой Алуште. Эти трое суток позволили командарму Приморской генералу Петрову вытянуть с Южного побережья не только последнюю пушку, но и последнюю тыловую лошаденку.

…Немцы вошли в Ялту с трех сторон: Гурзуфа, Красного Камня, потом с Ай-Петринской яйлы.

Боев в городе не было.

Догорало то, что было подожжено нами.

Ялта встретила немцев ветром, молчанием, пустой набережной, по которой носились вихрем обрывки бумаг вперемешку с палой листвой.

В узеньких переулках валялся домашний скарб, у разорванных мешков с крупой чирикали воробьи.

Первый немецкий танк, осторожно ощупав улицу Свердлова, спустился к порту, повернул на набережную, для острастки дал два выстрела и остановился у «поплавка».

Из машины высунулся загорелый танкист, спрыгнул на асфальт, размялся и что-то крикнул. Вышел из танка экипаж.

Немцы побежали к морю. Еще два танка подошли, а за ними машины с пехотой.

Солдаты шумели, смеялись, бросали в воду камушки — кто дальше?

Немцы как будто не видели города, его домов, не замечали ярких красок на балконах и амфитеатра гор, броско разукрашенного умирающей листвой.

Они подурачились, потолкались по набережной, кое-кто из них заглянул в покинутые магазины, но они были пусты.

Раздалась команда, танкисты четко выполнили ее, и машины тронулись. Они спешили. Курс на запад, на Севастополь.

Какая-то часть раскинула бивак в городском саду. Задымили походные кухни, солдатня загремела котелками. Играли на губных гармошках, громко смеялись.

И эти немцы отнеслись к городу с полным равнодушием.

Ялтинская пацанва сперва робко, а потом смелее и смелее приближалась к солдатам.

Мальчишек никто не трогал, а наоборот, немцы стали подмаргивать ребятишкам, а один совсем расщедрился и бросил банку консервов.

Ударило горячо солнце, солдаты бурно приветствовали его

появление, оголились до пояса и стали загорать.

Двое суток шли передовые части.

А город жил своей незаметной жизнью. Больницы, родильный дом, диспансер… Там люди оставались на своих местах. Жизнь продолжается и в самых невероятных условиях. Помню случай в Венгрии. Это было в начале 1945 года, мы ворвались в заштатный городок. Немцы хотели выбить нас из него, и завязался тяжелый бой. Даже нам, испытанным солдатам, было нелегко. Пушки били прямой наводкой. Я поднял наблюдательный пункт на крутую крышу большого дома. Внизу стоял кромешный ад. И вдруг случайно заглянул в окно третьего этажа соседнего дома. Там целовалась молодая пара, целовалась страстно.

…В Ялте есть хирургическая клиника имени Пирогова, ведал ею кандидат медицинских наук Дмитрий Петрович Мухин. В военные дни клиника заполнилась тяжелоранеными.

Раненых, кого можно было, эвакуировали, а человек восемьдесять осталось; естественно, остался и доктор Мухин со своими помощниками.

В первый день оккупации Дмитрий Петрович пришел в клинику, как всегда, безукоризненно выбритый, собрал сотрудников на пятиминутку, сказал:

— Сегодня оперируем Николаева из двенадцатой палаты и Ускова из четвертой. Клавдия Ивановна, как автоклав?

Хирургическая сестра заявила, что в автоклав проходит воздух.

— Найдите мастера! — сердито приказал Мухин.

После операции Дмитрий Петрович позвал завхоза:

— Как с углем?

— Есть он, только не знаю, на чем доставить.

— На себе перетаскаем. Зима под носом, а время…

В этот же день в ялтинском родильном доме родились две девочки и один мальчик. После полудня хирург спас от смерти женщину с внематочной беременностью.

Жизнь продолжалась, хотя по набережной шли и шли немецкие войска.

Прибыл в город румынский батальон, стал на окраине, в Дерекое.

Солдаты обшарили курятники, прикатили бочонок вина, разделали барана, и начался походный пир.

Там уже раздавался женский смех, жалобно стонала скрипка.

Убрались солдаты передовых частей, и пришла машина оккупации: коменданты, гаулейтеры, гебитскомиссары, гестаповцы, зондер- и виршафткоманды и прочие вешатели и грабители.

Гестапо со знанием дела, с толком и с расстановкой подбирало себе резиденцию.

Нашлось серое, с башнями и бойницами, глубокими подвалами, закрытым двором, железными воротами здание, что-то среднее между рыцарским замком и прусским казематом. Оно было скрыто от глаз высоким каменным забором.

Это здание сохранилось до сих пор. Могу дать ориентир: оно стоит позади новой архисовременной гостиницы с умилительным названием «Ласточка».

Появился и оккупационный комендант.

Прислали фигуру колоритную, заметную, с опытом работы в комендатурах оккупированной Греции, близкую к высшим кругам главной канцелярии гестапо.

Это был родственник приближенного к Гитлеру нациста Кальтенбруннера обер-лейтенант Биттер — высокий, дородный офицер с барскими замашками.

Обычно гитлеровская комендатура начинала с того, что публично предупреждала о введении комендантского часа, потом следовал приказ за приказом с идентичным содержанием: за то расстрел, за это расстрел — за все расстрел.

Биттер не изменил заведенный порядок, но рядом с приказами о расстрелах он поместил объявление: «Уважаемые граждане города Ялты! В доме композитора Спендиарова (Дом культуры медиков. — И. В.) состоится танцевальный вечер. Приглашаются желающие».

Вечер был, играл солдатский духовой оркестр. Мало кто рискнул появиться на нем, но несколько девиц для танцев все же нашлись.

Комендант был вездесущим и многоликим. Ни одно событие в городе не обходилось без его участия.

Он нанес «визит вежливости» ялтинским знаменитостям. А их было немало в городе, особенно среди медицинского мира, да и среди научного.

Комендант не столько интересовался самим городом, сколько тем, что было за его пределами.

А были там знаменитые крымские дворцы. Те самые, что в 1920 году по декрету Совнаркома за подписью Ленина отданы были трудящимся Советской страны и где восстанавливали свое здоровье десятки и сотни тысяч рабочих и крестьян.

Биттер обходил эти великолепные дворцы, что называется, до последнего закоулка.

Дворцы остались в полном порядке, хоть сию минуту устраивай парадные банкеты или сногсшибательные приемы.

Это накаляло алчные страсти грабителей.

Биттер, гебитскомиссар майор Краузе, генерал-каратель Цап в ажиотаже носились по дворцам и корпусам здравниц, что-то прикидывали, рассчитывали.

Немцы, как известно, Крыму отводили особое место и никому не собирались его отдавать — ни туркам, с которыми тогда заигрывали, ни румынам. При любом торге Крым исключался…

Под Севастополем продолжался кровопролитный бой, мало было шансов на ближайший и благоприятный исход его, но дворцы и особняки уже были распределены среди высшей гитлеровской элиты. Воронцовский дворец метили Герингу, Ливадийский — самому Гитлеру, Юсуповский — Гиммлеру или Кальтенбруннеру, Массандровский — будущему гаулейтеру Крыма. Не был забыт и тот, кто взял Крым, а сейчас наступал на Севастополь, — командарм Манштейн. Ему посулили дворец «Кичкенэ».

Но Севастополь вносил генеральную поправку в расчеты оккупантов.

Пришлось в беломраморных залах развертывать госпитали. Провал штурма Севастополя диктовал оккупантам весьма прозаические заботы.

Биттер и здесь пытался ловко извернуться. Он отлично знал, какие возможности таятся на Южнобережье, где люди восстанавливали утраченное здоровье.

Началось обхаживание врачей, среднего медицинского персонала. Они нужны были.

Биттер ездил в открытой машине, бравируя собственной смелостью. Рядом с ним восседала личная переводчица — седая дама, бывшая воспитанница института благородных девиц, врач Севрюгина.

Севрюгина уговаривала своих коллег идти на службу в немецкие госпитали. «Мы врачи, нам политика не нужна, к тому же нам надо жить. Работа даст хлеб».

Люди, как правило, не шли, для отказа находились очень уважительные причины, очень.

Биттер начинал выходить из себя. А тут один случай поставил всю комендантскую игру вверх ногами.

Неизвестные в горах напали на немецкую машину, убили одиннадцать солдат и одного офицера. Это случилось недалеко от города.

Биттер с солдатами гарнизона гонялся за… призраками. Он поднял стрельбу до самой кромки яйлы, потом в городе объявил: «Группа бандитов совершила зверское нападение на германских солдат, убили их из-за угла. Но возмездие настигло их без промедления. Бандиты уничтожены, жизнь в городе идет в

полной норме».

Но ялтинцы знали правду, знали, что Биттер в лесу даже зайца не встретил, хотя в это время года они обычно спускаются ближе к морю.

Ялтинцы поглядывали на горы.

Гестапо стало без шума арестовывать горожан, одновременно продолжая приглашать в бывший особняк композитора Спендиарова на танцевальные вечера.

И Биттер, и генерал Цап тревожно поглядывали на Красный Камень, на Стильскую тропу, на Ай-Петринскую яйлу. Они отлично знали, кто там и сколько их. У них был осведомитель, бежавший из Ялтинского партизанского отряда, лесник Грушевой поляны Митин. Гад и трус, но, к нашему несчастью, отлично осведомленный. Он лично заготавливал для партизан продовольствие, прятал его в тайниках. Его мнение было важным и при выборе местности для стоянки партизан.

Митин — трагическая ошибка наша. Недоглядели.

Потому Биттер знал многое, но до поры до времени особенно не спешил.

Не спешил с активными действиями и командир Ялтинского отряда. И этим пользовался ялтинский комендант.

Биттер заигрывал с евреями.

Принял старейшин ялтинской еврейской общины, был вежлив и обходителен. Просил совета, где лучше развернуть госпитали, кто из врачей ларинголог, а кто хирург, какие лекарства можно найти в местных аптеках.

На все свои вопросы он получил исчерпывающие ответы, однако осторожные, не обязывающие.

Игра продолжалась, хотя финал ее был очевиден.

Странное дело, но люди будто не предвидели трагического конца.

Вскоре Биттер в очень вежливой форме предложил главе общины собрать контрибуцию: миллион рублей в золотом исчислении.

Миллион был собран. Биттер отблагодарил и твердо обещал больше евреев не беспокоить.

И люди почему-то поверили. Думали, что откупились от смерти…

6

Эта глава посвящена судьбе широкоизвестного литературного мемориала Ялты — Дома-музея Антона Павловича Чехова, судьбе

сестры и друга великого русского писателя Марии Павловны.

Хранитель Дома-музея Мария Павловна и ее помощницы остались в городе, занятом врагом.

Почему?

Весь смысл жизни Марии Павловны состоял в том, чтобы сохранить людям все, что напоминает о Чехове. И аккуратный скромный двухэтажный домик, в котором каждое дерево посажено и выращено руками брата, и крыльцо, по которому поднимались в дом Горький и Короленко, Куприн и Бунин, Скиталец и Левитан, Серов и Шаляпин, Качалов и Станиславский, Немирович-Данченко… И балкон, на котором сиживал Антон Павлович…

Этого на машину не погрузишь, с собой не увезешь.

Мария Павловна не могла оставить дом без себя, без Чехова.

— Судьба дома — моя судьба.

С ней нельзя было не согласиться.

И помощницы Марии Павловны думали так же. Остались С ней Елена Филипповна Янова, Пелагея Павловна Диева, десятиклассница Ксюша Жукова; остались люди, которые окружали вниманием дом, всегда помогали содержать его в нужном порядке, — жители ялтинской окраины Аутки.

Война где-то шла стороной, а здесь, в доме, готовились к необычной жизни. Запасались дровами, углем, продуктами.

Каждый день, как и всегда, тщательно убирались комнаты, смахивалась пыль. Все вещи стояли на своих местах, как и при жизни Антона Павловича. Ничего не убавилось и не прибавилось, разве что после ухода наших появился небольшой портретик немецкого писателя Г. Гауптмана — на всякий случай.

Немцы не любили окраин, в Аутке появились только проходящие войска, но они даже на бивак не остановились, кое-где похватали бродячих кур, постреляли собак и ушли.

Тишина стояла мертвая. Уходили осенние дни, и ни одна чужая душа не тревожила покой дома.

Мария Павловна и Янова вернулись к своим мирным делам, продолжали готовить к изданию письма Антона Павловича.

Но постепенно немцы стали проникать и на окраины: нет-нет да и появится на улице нежданный гость. Но пока в дом никто не заглядывал.

Выпал тяжелый безветренный холодный день. Мария Павловна слегка захворала, и Пелагея Павловна уложила ее в постель.

Часов в двенадцать дня Пелагея Павловна отпрянула от окна.

— Немцы!

— Где?

— У калитки остановилась машина!

— Платок, Поленька!

— Да вы не поднимайтесь.

— Нет,!. Полина, встречу я их сама. — Мария Павловна посмотрела в окно. Она увидела у калитки серую машину, похожую на гроб, поставленный на колеса; рядом стоял пожилой немец в дождевике, внимательно смотрел на дом и сад. Он шагнул вперед. За ним еще несколько военных, видать подчиненных, они держались позади пожилого немца.

Мария Павловна вышла навстречу — собранная, внешне спокойная.

— Я вас, господа, слушаю, — сказала она по-немецки.

Пожилой поклонился, его помощник забежал вперед:

— Представляю, мадам: майор Бааке. Мы будем здесь жить!

— Это частное владение, господа. Немецкие законы охраняют собственность.

Майор улыбнулся натянуто и решительно нажал на калитку.

Мария Павловна поняла: их не остановить, но сделала еще одну попытку:

— Комнаты не отапливаются и для жилья непригодны.

— Я жду приглашения, мадам, — возразил Бааке.

— Прошу!

Вошли в гостиную.

— О! — удивился майор. Среди многочисленных фотографий он заметил портрет Гауптмана. — Зер гут, мадам!

Его помощник сноровисто заглянул в бывшую спальню Антона Павловича и стал без спроса передвигать умывальник.

Мария Павловна решительно воспротивилась:

— Вы не имеете права! Предметы, вещи, дом, сад принадлежат известному русскому писателю Антону Чехову! Я его родная сестра и законная наследница!

— Чехоф! — Бааке поднял лицо в глубоких морщинах.

— Да, да! Его знают и уважают в Германии. Книги моего брата издавались в Берлине, Лейпциге… Я старый человек и требую уважения.

Майор стал успокаивать:

— Мадам, все будет аккуратно. — Он сам закрыл дверь в бывшую спальню и приказал занять только столовую. Он решительно откланялся и перестал замечать кого бы то ни было.

Мария Павловна вернулась в свою комнату. Здесь в большой тревоге ждали ее помощницы. Она расплакалась.

— Они остались. Все изгадят!

— Будем надеяться на лучшее, — успокаивала ее Янова.

Тихо вел себя этот самый Бааке. Ни один экспонат не был

тронут. Немцы соблюдали идеальную чистоту, майор в комнатах не курил.

Это был молчаливый человек, который, казалось, и белого света не замечал. Иногда — не часто — натянуто кланялся Марии Павловне, а что касается остальных, они для него не существовали. Майор не пил, гостей не принимал.

Он, видать, занимал какой-то высокий пост. На службу уезжал под усиленной охраной, возвращался с ней же.

Все это было не так уж плохо, во всяком случае могло быть в тысячу раз хуже.

Распорядок дня в доме не нарушался. Помощницы уходили до комендантского часа, а с Марией Павловной оставалась Пелагея Диева, давнишняя попутчица ее жизни.

Но все имеет свой конец. Удача при фашистах — дело случайное. Майор неожиданно стал собираться в дальнюю дорогу. По всему видно было, что он сюда больше не вернется.

Мария Павловна вышла в столовую. Бааке молча поклонился, кивнул головой на портрет Гауптмана:

— Зер гут!

Мария Павловна тревожно смотрела на Бааке. Майор подумал, а потом вызвал своего адъютанта.

За час до отъезда адъютант у входа, прямо на дверях, сделал какую-то надпись, содержание которой неизвестно до сих пор. Однако надпись играла магическую роль.

Немало было попыток проникнуть в дом, но на пути всех стояла дощечка с готическим шрифтом. Она действовала посильнее часового с автоматом. Она гнала прочь даже офицеров самых разных рангов.

Однажды перед ней появился Биттер, ялтинский комендант. Его сопровождал переводчик — бывший адвокат нотариальной конторы.

Биттер внимательно ознакомился с надписью на дощечке, поднял глаза и неожиданно встретился взглядом с Марией Павловной, которая неосторожно выглянула из своей комнаты в открытое окно, — было тепло.

— Битте! — крикнул комендант.

Мария Павловна сошла к офицеру; переводчик-адъютант, тысячу раз извинившись перед Марией Павловной, представил его:

— Это сам господин комендант фон Биттер!

Офицер четко приложил руку к блестящему козырьку, поклонился, внимательно разглядывал хозяйку дома.

— Чем обязана господину коменданту? — Мария Павловна спросила по-немецки.

— Разрешите войти?

— Зачем?

— Положим, из обычного любопытства. Я, например, уважаю писателя Чехофа.

— По этой причине в частные дома, господин комендант, не просятся. Мария Павловна держалась очень независимо, (В 1946 году, когда я встретился с ней и мы вспомнили прошлое, она со своей обаятельной улыбкой сказала: «На них действует сила, чувство собственного достоинства. Я этим приемом широко пользовалась и часто достигала нужного»).

— Согласен! Но я прошусь в советский музей.

— Ошибаетесь, господин комендант. Здесь частное владение, и только частное. У меня, наконец, есть купчая.

— Я комендант, мадам.

— А я только на вас и надеюсь, господин комендант. Мой гость, майор Бааке, не отказал мне в своем покровительстве, и надеюсь, что и вы не откажете, хотя бы из уважения к памяти Чехова, которого вы так уважаете.

Биттер как-то замешкался, а потом решительно спросил:

— Вы докажете, что владение частное?

— Да! У меня есть нужные документы.

— Хорошо! Они должны быть в горуправе завтра в час дня.

Биттер официально откланялся и ушел.

Купчая была — это правда, но понесла ее в комендатуру Янова.

Бумаги, нотариально заверенные еще в начале двадцатого века, тщательно рассматривались адвокатом. Он на всякий случай очень льстил Яновой и все время напоминал:

— Я боготворю Чехова. Какой яркий русский талант! И преклоняюсь перед Марией Павловной. Подумать только, годков-то семьдесят пять с хвостиком, а сколько энергии, молодости! Прекрасная женщина, а как она достойно держит себя! Так и передайте ей — я восхищен! — говорил-говорил, а сам быстренько свернул бумаги и сунул их в ящик стола. — Я лично доложу господину коменданту.

— Отдайте купчую! — потребовала Якова.

— Что вы… Я же вам сказал…

— Отдай купчую, слышишь?!

Он хмыкнул и нехотя достал бумаги.

— Я хотел облегчить дело, зачем вам еще раз приходить сюда…

Якова взяла документы и облегченно вздохнула — она так была напугана.

— Я сама пойду к коменданту.

— Нет коменданта, нет, дорогая. Партизаники беспокоят, сукины сыны, взорвали машину под Долоссами, а? На что они рассчитывают? У немцев терпенье может и лопнуть. Это я вам говорю доверительно. Комендант наш человек храбрый, сам пошел на отмщение, дай бог ему здоровья. Советую так: завтра лично к нему.

Но «завтра» для коменданта Биттера уже не было. Он был убит ялтинским часовщиком Василием Кулиничем.

7

Что же в это время происходило в лесах, прилегающих к Ялте? В частности, на Красном Камне, том самом, где сейчас находится горный ресторан с крымскими блюдами, куда так зовут курортников светящиеся рекламы? Какие события разворачивались на северном склоне яйлы, куда протянулась Стильская тропа, ныне истоптанная туристами? И на Ай-Петринском плато, где курортники встречают восход солнца, на яйле, даже и ныне пугающей пустынным безлюдьем?

Я не командовал Ялтинским партизанским отрядом, но был поначалу начштаба, а потом и командиром Четвертого партизанского района, куда входил отряд. Ялтинцы — мои земляки; может быть, потому за действиями этого отряда я следил пристальнее, чем за боевой жизнью других отрядов.

Впервые я направился к ялтинцам в конце ноября 1941 года.

Величественные очертания горы Басман с головокружительными обрывами, сосны, каким-то чудом растущие на каменистых уступах, заросли векового бука… Здесь и вилась наша партизанская тропа. Потом она стала круто взбираться к голой каменной яйле. Выпал первый снег. Он был глубок, забил нехоженую тропу.

С трудом поднимаемся на гору Кемаль-Эгерек. Я задыхаюсь, воздух разреженный, и его не хватает моим больным легким.

На несколько минут показалось солнце, осветило далекие отроги Ай-Петри, которые отсюда не казались такими высокими, как из Ялты.

Вдруг мы увидели кучку людей на пустынной яйле. Они шли в нашу сторону. Кто же это?

Немцы вряд ли рискнут появиться в таком количестве на высокогорье.

Наши, ялтинцы. Они шли в разведку. Среди партизан я узнал угрюмого сутуловатого человека — Семена Зоренко, строителя из Гурзуфа.

Чудно!.. Уж такой тихоня, а партизан.

Приближались сумерки. Шагаем. На снежной целине образовался наст, правда слабенький, часто проваливаемся. Совсем измотались. Вот оно, первое знакомство с яйлой. Я вспоминаю, что где-то в этом районе должен быть домик лесника Кравченко, у которого я как-то ночевал после единственной и неудачной охоты.

— Пойдемте к нему, — предлагаю я.

Опускается ночь. На яйле поднимается ветер. Изредка в просветах показывается серповидная луна, и над молчаливыми горами ползут тени. А внизу, у самого моря, по изгибам берега едва угадывается затемненный город.

Идем цепочкой друг за другом, след в след.

Впереди нас, над обрывом, чуть заметное строение. Это домик Федора Даниловича. Подходим к нему, прячемся за крылечко. Семенов стучит в дверь, стучит кулаком добрых минут десять. Наконец кто-то осторожным шагом подкрадывается к двери… Еще сильнее стучит партизан.

— По голови соби так погрюкай, бисов ты сын. Якого черта тоби трэба? раздается немолодой резкий голос.

— Дед, пусти погреться.

— Я нитралитет занимаю и ни до кого нэ маю дила.

— Данилыч, это я, Семенов. Помнишь — шофер из Алупки?

— Що? Пэтро? — обрадованно говорит дед.

— Я, я… Свой.

— Свий-то свий, та с ружьем. Добрый ты хлопец, и горилку твою помню, но я нитралитет, а ты?

Семенов — мужик себе на уме. Он усмехается, потом решительным шагом спускается с крыльца.

— Трусишь ты, дед, ну и бог с тобой… Пойду к Павлюченко — тот сговорчивее… Да и моя горилка, а его сало…

Партизан удаляется.

— Пэтро, а Пэтро! Тильки уговор: як, значыть, зиркы загуляють на нэби, щоб твоей ногы нэ було. Добрэ?

Семенов молчит, машет нам рукой:

— Пошли, товарищи.

И на глазах удивленного деда мы вваливаемся в теплую комнату. Маленький, с реденькой бородкой, с хитрым огоньком в глазах.

— Та скилькы ж вас? — Дед покачивает всклокоченной головой.

— Ты чайком нас угости, — просит его Семенов.

Дед вздыхает, машет рукой и начинает хозяйничать. Иногда его взгляд останавливается на флягах, сваленных у вещевых

мешков, загораются глаза, он крякает. Вскоре он высыпает на стол из большого чугуна сваренную картошку и режет каждому по кусочку сала. В его глазах настойчивый вопрос: «Где же выпивка?»

Я смотрю на Семенова, знаками даю понять, что, мол, надо объяснить.

— Ты, Данилыч, не обижайся. Никакого самогона у нас нет, — говорит Семенов.

Дед хмурится.

— Может, нам уйти? — спрашиваю я.

— Прышлы, так гостюйте. Нэ хочу встревать в вашу драку. Гэрманэць мэнэ нэ трогае, нэ трогайте и вы… Чув, що нимцы базы ваши граблять, та тых, яки з партызанами дружать, убывають… А я жить хочу…

Семенов хлопает деда по плечу:

— Теперь нет людей самих по себе: или с нами, или с врагом… Вот так, Федор Данилович…

С рассветом мы уходим. Беспокойно что-то у меня на душе.

— Ты подумай, Федор Данилович, над словами Петра, — говорю на прощание. — Твоя дорога — в партизаны, а не хочешь — уходи, иди в Ялту или куда хочешь, но нам не мешай.

Старик молчит, сутулится, по-бабски машет рукой:

— Та що я — родився людэй убывать, га?

— Но и не для того, чтобы быть убитым! — более жестко отвечаю ему.

— Горыть у мэнэ душа, ой горыть…

Ну и снега навалило — не Крым, а Сибирь! Стильскую кошару нашли чудом: у нашего проводника Гусарова охотничий нюх!

Добрались в Ялтинский отряд вечером. Первым встретил нас начальник штаба Николай Николаевич Тамарлы.

Он был рад, хлопотливо угощал горячим чаем. Однако что-то его тревожило — взгляд выдавал.

Мы остались одни.

— Выкладывай, старина!

— Митин бежал, вот что.

Я ахнул:

— Митин? Тот самый, что готовил базы для первой боевой группы?

— Он, лесник из Грушевой поляны.

— Это точно?

— Хлопцы Становского в Ялте его, гада, видали. На машине с офицерьем сидел.

…Лежу, а сна ни в одном глазу. Как обернется этот побег?

И ведь не только Митин бежал. Из Бахчисарайского отряда

ушел проводник, тот самый, что готовил базы и немедленно выдал их фашистам. Они разграбили их за сутки. Да из самого штаба района драпанул коушанский житель.

Для фашистов такие — находка.

Теперь ясно: немцы учитывали возможность массового партизанского движения на полуострове. Пользуясь предателями типа Митина, они молниеносно нападали на отряды, на партизанские базы и уже нанесли нам чувствительный урон.

Да, не все так просто!

Ялтинским отрядом командовал Дмитрий Мошкарин. Я знал его не так чтобы очень, но встречаться приходилось и в кабинете Селимова, и раньше — на партактивах.

Как-то в городском театре среди знакомых увидел мужчину с размашисто-лиховатыми движениями, ярким блеском серых глаз. Военная гимнастерка сидела на нем так ладно, что казалось, никогда ее с плеч не снимал.

— Кто это? — спросил у секретаря партбюро Кузнецова.

— Димка Мошкарин, сейчас городским отделом питания командует.

— А чего это он насквозь военизированный?

— Не маскарадничает. Партизанил в гражданскую, душа такая.

…Проснулся я рано, протер лицо снегом, поднял голову, увидел Мошкарина.

Он протянул руку:

— Здоров! Спишь — землянка ходуном. Пошли завтракать. Уселись за столик, прибитый в центре землянки к аккуратно спиленному стволу столетнего бука.

Еда обильная — ничего не скажешь, и по стаканчику массандровского пропустили.

— Хорошее вино. Ты делал? — Мошкарин посмотрел открыто.

— И я.

— Много добра в море опрокинули. Жаль.

Я понимаю — Мошкарин меня торопит: с чем пришел?

8

В нашем партизанском районе было пять боевых отрядов, в числе их и Ялтинский. Если те четыре отряда имели кое-какой успех, то у ялтинцев на боевом счету — ни единой операции.

Об этом я и завел разговор.

Мошкарин расстегнул ворот гимнастерки.

— Надо понять наше положение. Мы на макушке крымских гор, выше нас разве небо! Направо пойдешь — след наведешь, налево заглянешь — без глаз останешься, огнем выпалят.

— Меняй стоянку.

— Легко сказать.

— А Митин?

— Сюда не наведет — не знает.

— А на Красный Камень?

— Отвечаю особой тактикой. — Мошкарин посмотрел на своего штабиста, на лице которого была явная тревога. — Борода, объясни гостю, что к чему.

Николай Николаевич положил волосатые руки на колени.

— Первую группу мы разбили на боевые пятерки. — Тамарлы почесал под подбородком. — Разбили, значит…

Мошкарин живо поднялся из-за стола, ударил ладонью:

— Пять пальцев — пять групп, дислокация от Ялты до Никитских ворот. У каждой собственный тайник, понял? Притрутся, оглядятся — и айда на дорогу! Трах-тараррах — в тайник, отсиживайся.

— А если обнаружат этот самый тайник? Людей-то перебьют!

— А на войне, товарищ начальник штаба района, и убивают.

Переглянулся с Тамарлы. В словах Мошкарина не было уверенности. Сомневался и сам Тамарлы.

Неожиданный шум из штабной землянки прервал нашу беседу.

Мошкарин беспокойно крикнул:

— Кто там?

— Разведка из Ялты. Она у Становского.

— Степу ко мне!

Степан Ипатьевич Становский. Личность оригинальная. Отращивает усы на запорожский лад, курит трубку, говорит басом, хохочет к месту и не к месту. Но нельзя не заметить: трясется от смеха, а глаза не смеются. Они как бы живут самостоятельно, смотрят на всех из далеких глубин, и смотрят пристально.

— Я туточки, командир.

— Выкладывай данные, и чтобы без фантазий.

— Это мы могем. — Позже я заметил, как Степан к месту и не к месту употребляет словечки «могем», «швыдче», «нехай ему сатана в печенку»…

— И покороче, — потребовал командир.

Улыбка слетела с губ отрядного разведчика.

— Есть! Бургомистром города Ялты назначен его величество доктор Василевский.

Ахнули:

— Хирург?

— Он самый. А на бирже труда подвизается доктор Петрунин, Аверьян Дмитриевич, нехай ему сатана в печенку!

— А кто на «Массандру» сел? — не стерпел я.

— Господин Петражицкий!

Не может быть! Этот респектабельный господин, тихоня, белолицый, с усталыми, мало что говорящими глазами. Заместитель главного винодела, всегда и всеми довольный. Сволочь!

— Никитский сад в чьих руках?

— У бывшего помещика профессора Щербакова!

Вот те и раз: такой большой ученый, гордый, со словом к нему запросто не полезешь. Я с его сыном Петром, механизатором, дружил, был на приеме у наркома. Хорошо Петр об отце говорил, уважительно.

Что-то во мне вздрагивает: почему такие, как профессор Щербаков, идут на службу к врагам?

— А где Митин? — Голос Мошкарина возвращает меня к действительности.

— Надя доносит: каждое утро в гестапо как на службу ходит. Можно укокошить!

— Его, гада, живым взять! И давай, Степа, вот что: аллюр три креста, и чтобы связной к вечеру был в землянке Андреева. Пусть боевые пятерки покидают стоянки, и все марш в отряд.

— Правильно! — подхватывает начальник штаба.

Становский уходит выполнять приказ, у меня как тяжелый груз с плеч: опасно так раздроблять отряд. Молодец Мошкарин, понял.

Отрядный доверчиво стукнул меня по плечу:

— Ты, начштаба, не думай, что здесь «Иван Ивановичи — отдай гармонь!». Соберу весь отряд и бабахну по самим Долоссам. Мыслишка такая во мне бродит. Вот аукнется!

— А получится?

— Ты слушай! — Мошкарин со страстью выкладывает свой план удара по вражескому гарнизону. Очень заманчива идея, и при удаче аукнется на весь Крым. Ведь от Долосс до Ялты рукой подать.

Это меня увлекает.

— А что? — смотрю на Николая Николаевича.

— Ну, а потом? — трезво спрашивает бывший штабс-капитан.

— Уйдем в горы!

— Не позволят! У немцев проводники, техника, у них, наконец, Митин.

Мошкарин нетерпеливо:

— Волков бояться — в лес не ходить!

— Походим, только тропы выберем нужные.

В разгар полемики вбегает Становский, взволнованно докладывает:

— В районе андреевской землянки пальба!

— Опоздали! — чуть ли не с плачем говорит Тамарлы.

9

С Красного Камня Ялта проглядывается насквозь. В нынешнее время там примостилась над обрывом видовая площадка, на ней часто бывают курортники, туристы, любуются морской далью, берегом — с ожерельем здравниц и пансионатов из бетона, стали, стекла.

Но поднимитесь, дорогие друзья, немного выше, туда, к сосняку, крученному-перекрученному злыми зимними ветрами, потом выйдите на чаир сенокосную полянку, и вы увидите скромный обелиск. Под ним мраморная плита, а на ней имена тех, кого давным-давно нет среди нас, но кто остался в памяти, в наших сердцах. Это имена партизан из мошкаринских пятерок. Ах, как дорого нам доставалась партизанская наука!

В мыслях Дмитрия Мошкарина была золотая зернинка. Позже, когда боевое трудное время научило нас всяким — малым и большим — маневрам, мы широко пользовались мошкаринской идеей, конечно усовершенствовав ее.

Мелкие подвижные партизанские группы!

Они выходили из отрядов, бесшумными тенями скользили поперек яйлы, неслышно спускались на берег, пройдя через все секреты и заставы, и на дорогах били немцев, били и исчезали, словно в землю проваливались. Они возвращались в отряд, только в отряд.

Если от обелиска, под которым покоятся останки наших боевых друзей, начать спуск в сторону Ялты, то, пройдя метров семьсот — восемьсот, можно увидеть фундаментальную землянку, «андреевскую» — так теперь называют ее экскурсоводы. Она реставрирована, и ныне точь-в-точь такая, какой была в дни поздней осени 1941 года.

Тут и жила пятерка во главе с Владимиром Михайловичем Андреевым, бывшим директором Ялтинского санатория профсоюза связи.

Он был молод, отличный горный ходок, любил жену, эвакуированную куда-то в Киргизию.

Вот Владимир с легкостью горного ходока вошел в землянку, огляделся:

— Хлопцы, завтра шарахнем фрицев!

— Есть шарахнем! — молодо отозвался комсомолец Феодори.

Командир вернулся из разведки. Три часа он приглядывался к местности, по которой поведет партизан на ту площадку, что выбрал еще утром. С нее удобно отходить, бросать гранаты прямо в машины.

Андреев весел, напевает, рассказывает ребятам, как действовать в случае преследования, куда уходить.

Все увлечены! Еще бы! Ведь завтра они пойдут в свой первый бой.

Они были молоды и увлекались. Забыли даже о том, о чем хорошо знали. Вчера, например, Феодори вернулся из разведки — он был в Долоссах. Рассказал важное: там появились еще немцы — вдобавок к тем, что уже были, и с ними Митин.

…Поднялись рано, поели, подогнали неприхотливую амуницию. Рассвет был тихим, брехливые сойки и те молчали.

Вдруг вбегает Феодори — он на охране лагеря был:

— Немцы!

Застыли.

Пауза затянулась.

— Спокойно, хлопцы, — первым пришел в себя Андреев. — Феодори, марш на пост! Всем приготовиться к бою!

Феодори выскочил из землянки, добежал до своего поста и прижался к обледенелой скале.

Комендант Биттер вел отборных гестаповцев. Он разделил группу на две части, охватывая землянку, которую уже засек.

Андреев увидел фашистов. Будет бой! Первый и, может быть, последний. Жалко ребят, они такие молодые.

Повелительно скомандовал:

— Все гранаты отдать мне!

Ребята переглянулись и молча исполнили командирский приказ.

— Начну стрелять, выскакивайте из землянки и — марш в отряд!

Партизаны выбежали в тот самый момент, когда Андреев открыл прицельный огонь по карателям. Он швырнул гранаты. Ребята скрылись за скалой, увидели мертвого Феодори, побежали и… напоролись на засаду. Только одному удалось добраться в отряд.

Значительно позже, весной, мы узнали финал этой трагедии.

Андреев стрелял не спеша, уложил несколько фашистов, но получил тяжелую рану в плечо, а потом и в живот. Потерял

сознание.

Очнулся — фашисты! И предатель Митин.

Митин уговаривал:

— Напрасно себя губишь, Владимир Михайлович. Все проиграно, надо понимать.

— Время придет — поймешь другое, иуда!

Андреева пытали, жгли, и он молча умер.

Биттер приказал сложить трупы своих солдат у входа в землянку, «чистильщикам» побеспокоиться о их транспортировке в Ялту, а сам, ведомый Митиным, стал «нащупывать» другие партизанские тайники.

…Василий Моисеевич Кулинич, мастер-часовщик, был известен чуть ли не каждому ялтинцу. Артист, мудрец и на дудочке игрец. Из тех, кто хочет добра людям. И хитер же Василий Моисеевич! Как это сделать, чтобы и немца укокошить, и людей сберечь?

Он обходил отведенное ему место стоянки с такой тщательностью, будто опытный тракторист поднимал плугом родное поле, — ни одного огреха.

И выбрал Кулинич для своей пятерки местечко на… перекрестке лесных троп. У Василия Моисеевича свой расчет: кому в голову придет, что партизаны засядут на бойком месте?

Глубоко окопались, землю рассыпали по лесу и сухой листвой прикрыли. Тут упал снежок, и все было шито-крыто.

Замаскировались — в трех метрах стой и не догадаешься, что под носом партизаны сидят! Даже дятел, который с завидным упорством долбил ствол сухой сосны, не замечал тех, кто притаился под деревом.

Кто они? Может, особую военную школу прошли или всю жизнь ходили по земле с ружьем? Нет. Коренные ялтинцы, люди мирных профессий.

Анастасия Никаноровна Фадеева — врач.

Петр Леонтьевич Дорошенко — портовик.

Николай Иванович Туркин — бухгалтер.

Комсомолец Лаптев — осводовец.

Они лежали в своей дыре и видели родной город. Фадеева даже могла понаблюдать за санаторием имени Чехова, в котором она трудилась рядовым врачом, — он хорошо просматривался сквозь кроны высоких сосен.

Многие ялтинцы, особенно пожилые, до сих пор помнят рослую, по-русски красивую, с глубоко сидящими глазами и немного бледноватыми щеками женщину — она болела туберкулезом.

Нелегко было Анастасии Никаноровне уговорить

райкомовцев послать ее в партизанский отряд, но она сумела доказать, что является тем самым врачом, без которого в лесу не жить.

Кулинич берег силы, охрану не выставлял, да и нужды в ней не было все вокруг просматривалось.

Утром стрельба началась в районе андреевской землянки.

Неужели напали на след?

Да, стрельба разгоралась. Броситься на помощь? Перебьют… Надо ждать, ждать.

Приблизительно через час недалеко от кулиничевского тайника прошла усиленная фашистская разведка. Она ничего подозрительного не обнаружила.

Когда неяркое ноябрьское солнце коснулось верхушки горы Могаби, когда из Уч-Кошского ущелья потянуло пронизывающей сыростью, почти рядом раздалась немецкая речь.

Каратели шли прямо на кулиничевскую позицию. Их было не более тридцати солдат при одном офицере.

И эти прошли мимо, так ничего и не обнаружив.

Наступила длительная пауза, и снова партизаны услышали чужие голоса.

Показались немцы — дородные, сытые, в руках автоматы. В центре шел высокий стройный офицер, лиховато отбросив фуражку на затылок.

«Видать, важная птица! Может, сам господин комендант?» — подумал Кулинич и «посадил» офицера на мушку своего хорошо пристрелянного полуавтомата.

Василий Моисеевич позже рассказывал:

— Лежу и прикидываю: пропустить или нет? Нельзя пропустить, — все пропустишь!

Кулинич не спешил. Ждал даже тогда, когда до офицера осталось метров двадцать.

Выстрел в упор — и офицер свалился как сноп.

— Огонь! — приказал всем.

У немцев паника, неразбериха, в глазах солдат ужас. Кто-то бросился к мертвому офицеру и тут же был убит.

Партизаны били на выбор, а потом выскочили из тайника и дали залп по удиравшим карателям, пустили в дело лесную артиллерию — ручные гранаты.

…Через день из Ялты пришли в штаб Мошкарина связные Юра Тимохин и Толя Серебряков.

Ребята возбуждены:

— Кто-то укокошил самого господина коменданта Биттера! Вот так номер!

— Дядя Вася! Чистая работа.

В городе траур. Фашисты, начиная от генерала войск СС Цапа и кончая гестаповским поваром Хунзой, нацепили на рукава черные повязки. В ту ночь, когда цинковый гроб с останками Биттера был отправлен в Германию, гестаповские палачи казнили многих из тех, кто был под арестом.

А утром приказали всем евреям побережья нашить на грудь и на спину шестиконечные звезды. Еще через день их согнали в гетто, в серокаменные корпуса бывшего ялтинского рабфака.

10

Ну и погода!

В жизни не предполагал, что в Крыму возможен такой собачий холод.

Снега, снега… На глазах буковый лес осел и неожиданно помолодел, стал реже и светлее.

Посмотришь на склоны — деревья считай.

Двое суток в горах бушевала метель, потом враз утихло, открылись самые далекие дали. Видны даже вершины судакских гор. Сквозь разреженный морозный воздух слышится дыхание фронта с запада.

Севастополь жив!

Отряд Мошкарина переживал трагедию на Красном Камне.

Командир заугрюмился, стал немногословным.

Потуже запахнув черный полушубок, склонился над картой. Стучат.

— Войди! — не поднимая головы, кричит командир.

На пороге бледнолицый партизан с пухлыми губами. По глазам, рыхлым щекам видно: болен. Бодро обращается к Мошкарину:

— Разрешите директорской группе выйти на боевое задание?

Голос знакомый. Приглядываюсь: да это Яков Пархоменко, завхоз Алупкинского истребительного батальона. Ему же приказано было эвакуироваться: туберкулез, большая семья…

— Что еще за группа?

Яков перечисляет ее состав: Иванов, Шаевич, Зуев, Алексеев. Я всех помню — руководители здравниц Алупки, Мисхора, Гаспры.

— И мы, «советские директора», не будем отсиживаться. Пошли нас, командир, на Холодную Балку, может, кого и пристукнем.

Убежденность Якова Пархоменко покоряла. Мошкарин пока молчал. Я смотрел то на него, то на Якова.

Я видел Пархоменко в должности директора алупкинского ресторана. Он был в сером костюме, сытый, немного важничал. Видел его месяца за два до войны. Тогда я подумал: нашел себе местечко. Вон как официантки ему улыбаются.

Война обнажает человека. Оказывается, вот он, настоящий Пархоменко! За месяц до прихода немцев у него внезапно открылась чахотка, но он наотрез отказался от эвакуации и добровольцем пришел в истребительный отряд.

И сейчас Яков Пархоменко подробно и увлеченно излагает командиру план похода, и за каждым словом уверенное: мы все продумали, мы должны пойти, и мы пойдем.

Мошкарин это понял.

Дали «директорской группе» проводника из Алупки, и она скрылась в туманной дали яйлы.

Ушла еще одна группа. Ее повел политрук, бывший ялтинский электрик Александр Кучер.

Ну и ребята у него! Будто поштучно отбирали: рослые, русые, все заядлые охотники — глаз от парней не отведешь. Сейчас растут их дети, дети их детей, очень похожие на своих отцов и дедушек, и, когда я с ними встречаюсь, сразу память моя улетает в тот заснеженный день, в мошкаринскую землянку, в которой молча слушали командирский приказ Михаил Слюсарев, Николай Латышев, Александр Сергеев и их старший — Александр Кучер.

Через двое суток Кучер вернулся, оставив на яйле Михаила Слюсарева, которого фашисты из засады убили наповал.

Кучер молча положил перед Тамарлы стопку солдатских книжек, две фляги с ромом, пистолет-пулемет и одно офицерское удостоверение.

Старый штабс-капитан не удержался:

— Докладывай, кого там шибанули!

Кучер доложил: на машину напали, вдрызг и ее, и всех, кого она везла. Но вот Миша…

Не знаю, слышал ли он собственные слова, — такое горе было на его лице… Михаил Слюсарев — друг детства.

Тамарлы пожалел молодого политрука:

— Иди, побудь один.

Начштаба глянул на трофеи, потер ладонь о ладонь, сказал, как припечатал:

— Блин первый, но круглый, как дура луна! Бить их, гадов, надо, бить, чтобы эта фашистская мразь не только нас, но крымского камушка боялась!

С волнением ждем Пархоменко. Что-то он подзадержался, Мошкарин послал навстречу бывалых ходоков.

Вечером снова закружила метель — вторая за неделю. Ветер

выкручивал корявые приземистые сосны, волком выл в подлесках. С рассветом все внезапно утихомирилось.

— Яйла кажет свой норов, — вздохнул Тамарлы.

— Подожди, старина, это только цветочки! Вот зимой… — угрюмо заметил Мошкарин.

— Переживем, командир!

Яйла, яйла! Как за время партизанства насытился я тобою, сгустком крови застряла ты у меня в сердце! Буду помнить тебя до последнего мгновения жизни, а коль смерть придет, то хочу, чтобы мои останки были в твоей земле, суровая крымская яйла!

Несколько лет назад лежал я в изоляторе Московской клинической больницы. Мимо моей палаты больные проходили на цыпочках. Паршивая это была палата — с узким тюремным окном, с мутным небом за ним. Почему людей относят помирать в мрачные комнаты? Моя воля — выбрал бы я для прощания человека с жизнью самую светлую, обставил бы светлой мебелью, а стулья были бы из карельской березы, обтянутые голубым…

В моих венах торчали крупные иглы, надо мною стояли капельницы, похожие на сообщающиеся сосуды, пахло спиртом и камфарой.

Я тогда молчал, совсем молчал. Мыслью я был не здесь, а там, в сорок первом и сорок втором годах, на вершине яйлы. Неужели я не пройду по ней еще раз — вдоль, от начала и до конца, чтобы подо мною было море, были Гурзуф, Ялта, Мисхор, Алупка и Симеиз?

Профессор посмотрел на меня в упор — Он глазастый — и спросил:

— Где ты сейчас витаешь, партизанская твоя душа?

— На яйле сорок первого.

— Далече забрался. И что же ты хочешь?

— Пройти ее еще раз!

— А пройдешь?

— Только на ноги поставьте — пройду!

…Весной 1969 года я снова одолел яйлу.

Тридцать лет прошло с тех пор, как я изо дня в день слушал вой яйлинского ветра, но, когда мне нужно понять человека, я мысленно переношу его туда, на партизанскую студеную яйлу, и спрашиваю: «А каким ты был бы здесь, на вершинах, зимой 1941/42 года?»

Ведь и тогда не все выдерживали.

Не выдержал яйлинского испытания и проводник «директорской группы» алупкинский шофер В.

Тишина над яйлой. Белесые облака поднимаются все выше и выше. Четче проглядываются контуры дальних гор.

Ветер оставил за собой ребристый след на снегу и утрамбовал его основательно — словно по асфальту шагаешь.

Мы ждем Пархоменко, ждем тех, кого послали на розыск.

И вот крик:

— Идут!

Бежим навстречу по твердому насту, приглядываемся.

Но где же Яша Пархоменко?

— Где ваш командир? — кричит Мошкарин.

Молчат, склонив головы, бывшие директора Иванов, Шаевич, Алексеев, Зуев. Молчат наши ходоки, молчит и проводник — здоровенный парняга в короткой кожанке и серой кубанке, бывший алупкинский шофер В. Но почему он без оружия?

Шаевич поднял руки с красными ладонями:

— Погубили нашего Пархоменко, погиб наш Яша. Вот кто бросил командира, — указал он на В.

— В чем дело, что случилось? — шагнул Мошкарин к В.

Все шло хорошо: без происшествий добрались до Холодной Балки, гранатами взорвали вездеход. На машине были немецкие солдаты — их убили.

Дело было сделано — марш на яйлу!

Но каратели появились с гор неожиданно, с трех сторон.

Пархоменко скомандовал:

— Иванов, Шаевич, Алексеев, Зуев — за Холодную Балку, а мы подзадержим фрицев.

Он задыхался. Шаевич пытался что-то сказать, но Пархоменко оборвал его:

— Слыхал приказ?!

Шаевич и его товарищи перебежали дорогу и, выскочив за горный санаторий «Тюзлер», стали поджидать.

Внизу шла стрельба.

Вдруг появился проводник В., но без командира.

— Где Яков?

— Там, там… Его убили…

Шаевич почуял недоброе: В. отвечал не совсем уверенно.

— А ну пошли! Проводник, веди!

Внизу снова началась стрельба, потом четкий и громкий крик Пархоменко:

— Товарищи! Отходите!!

Взрыв и тишина.

Подбежали к Якову. Он мертв, — видать, взорвал себя гранатой. На снегу следы крови, разорванные пакеты, порубленные ветки, — наверное, немцы делали носилки из жердей.

— Отвечай: почему бросил командира? — спрашивает

комиссар отряда Белобродский.

В. мнется, потом глухо говорит:

— Так он сам мне приказал уйти.

Допрос продолжается, пока В. в отчаянии не признается:

— А что я мог поделать? Он все равно не дошел бы, у него горлом кровь пошла.

Бросил умирающего командира!

В штабе отряда наступили тягостные минуты.

Что делать?

Выясняем, кто такой В. Молод. В прошлом шофер-лихач. Три дня назад самовольно покинул пост, объясняя это так: «Чего зря-то толкаться на морозе, собака носа не покажет, а вы немцев ждете!»

Тяжело. Но решение уже напрашивается — судить!

11

Останки коменданта увезли в Берлин, назначили нового.

Тот стал свирепствовать сразу же.

В городском парке повесили нескольких юношей, совсем мальчишек. На бирках, прикрепленных к груди, значилось: «За мародерство».

Шестого декабря свора гестаповцев появилась в еврейском гетто. Комендант и гебитскомиссар майор Краузе обошли казармы, а потом приказали:

— Всех построить!

Эсэсовцы с собаками окружили большую толпу: детей, женщин, стариков.

— Есть русские? — крикнул переводчик.

— Есть, есть, — ответили несколько голосов одновременно.

— Выйти из строя!

Никто не шевельнулся.

— Не желаете, господа? Похвально, очень похвально. Так сказать, семейная идиллия. Муж не покидает в беде жену, а жена мужа. Достойно восхищения!

Это говорил комендант, а переводчик дословно переводил. Комендант стал обходить строй, ткнул пальцем в грудь молодой женщины.

— Ты русская?

— Да.

— Выходи!.. А детей оставь… Они у тебя курчавые… Выходи, слышишь?

Женщина стояла не шелохнувшись.

— Последний раз: русские, выходите!

Молчание.

— Хорошо! — Комендант отошел, место его занял гебитскомиссар.

— Господа! Мы переселяем вас в новый район, там вам будет спокойнее. Пункт сбора — Наташинский завод, вас там ждут машины.

Начался медленный марш. Подгоняемые сытыми эсэсовцами и собаками, люди шли молча. Тропа действительно вела к Наташинскому заводу. Там гудели машины. Звуки моторов как бы звали к себе. Все стали торопиться, как-то сразу появилась надежда какая-то. Она-то и ослепила. Люди не заметили, как вступили на массандровскую свалку, как часть охраны оттянулась назад и стала заходить стороной.

Десятки пулеметов и сотни автоматов ударили одновременно. Все было заранее пристреляно.

Кое-кому удавалось вырваться из центра ада, но куда бы человек ни бросался — всюду его ждали пули.

Трое суток немцы прятали следы ужасного преступления. Погибло много врачей, медицинских сестер, инженеров, актеров филармонии, аптекарей. Трупами набивали заброшенные бетонные каптажи[2], а потом все это цементировали, замуровывали.

Через неделю на массандровскую свалку пригнали партию пленных политработников Красной Армии.

Здесь у фашистов получилась небольшая, но все же осечка. Кому-то из пленных удалось вырвать из рук охранника автомат и очередями скосить чуть ли не целое отделение солдат. Пленные с голыми руками бросались на вооруженных палачей, душили их. Говорят, нескольким все же удалось бежать. К сожалению, я ни одного человека из этой группы не встретил.

Район массового расстрела стал запретной зоной, его обходили за километр.

В Ялте и на всем побережье убивали людей, и в то же время в горы шли команды карателей. Жителям было ясно, что фашисты мстят за первые свои неудачи, за то, что на чудесном побережье кто-то осмеливается им сопротивляться.

Каратели идут в горы. Горят сосновые леса, дымовые смерчи поднимаются над лесными сторожками.

Упорная трескотня автоматов, татаканье пулеметов, надсадное уханье снарядов, рвущихся в глубоких ущельях, нахлестное эхо, перекатывающееся от одной горной гряды к другой.

Сосна вспыхивает не сразу. Вал огня надвигается на нее

ближе, ближе. А дерево стоит, будто на глазах все гуще и гуще зеленея, потом — р-р-раз! — и столб огня от земли до макушки. А над темным буковым клином перекатываются огненные шары.

Моя мама говорила: «Не так страшен черт, как его малютка» (она всегда путала пословицы). Уж с такой помпой фашисты пугают нас, что мы перестаем их бояться. Бегаем от них, маневрируем. Нападут на лагерь — мы рассыплемся, как цыплята, кто куда, а позже собираемся потихоньку в одном месте, заранее условленном. Соберемся, а потом глухими тропами выскочим далеко от леса и поближе к дороге, почти на окраину того населенного пункта, откуда вышли каратели, и ждем. Иногда наши ожидания дают поразительный результат. Ошеломленный фашист не солдат: от наших очередей разбегаются целые подразделения.

Трудно, но не страшно.

И все-таки это только генеральная разведка боем. Она не многое принесла карателям, лишь кое-где им удалось нащупать партизанские дороги, стоянки некоторых отрядов.

В штаб района долетел слух: к нам идет новый командир. Генерал! И не просто генерал, а тот самый, что контрударом по Алуште подарил войскам генерала Петрова столь необходимые им трое суток.

Генерал Дмитрий Иванович Аверкин, командир кавдивизии!

Мы готовимся к встрече, строим новую землянку — генеральскую. Наш Бортников Иван Максимович — командир района — хлопочет, дает советы, даже за лопату хватается, будто другого кого отстраняют от командования, а не его самого. Незаметненько слежу за ним, между хлопотами замечаю: а все же старик обижен.

Как-то перехватил мой пристальный взгляд, приподнял острые плечи:

— Конечно, генерал есть генерал, тут ничего не попишешь. Говорят, академию кончил, а что я? Ну, попартизанил в двадцатом, а потом — начальник районной милиции, вот и вся моя академия.

— Не прибедняйтесь, Иван Максимович. Дай бог каждому знать горы так, как знаете вы.

— Алексею Мокроусову вызвать бы меня, растолковать: мол, так и так, Ваня, генерал — это, брат, не шутка. Я же понятливый. Слушай, начштаба, а может, мне к бахчисарайцам податься? Как-никак свои.

— Мы, значит, своими не считаемся, Иван Максимович?

— Да я разве против, скажи на милость? Вот и ты можешь не сгодиться. У генерала цельный штаб дивизии. — Иван

Максимович беспокоится о моей судьбе.

Я махнул рукой.

— Живы будем — не пропадем.

Неожиданно прибыл к нам уполномоченный Центрального штаба Трофименко. Ялтинец, знакомый мне человек — главный инженер Курортного управления. Он принес срочные приказы: первый — о назначении генерала Аверкина на должность командира Четвертого партизанского района Крыма, второй — о том, о чем надо было давно сказать со всей решительностью. Второй приказ в наше время известен историкам партизанского движения в Крыму как знаменитый мокроусовский приказ за номером восемь.

Чем же он знаменит?

Сейчас, спустя почти три десятилетия, вчитываюсь в его строки и ничего особенного в них не вижу.

А тогда строки как стрела в сердце. Мол, как же так! Фашист чувствует себя в нашем Крыму на положении чуть ли не полновластного хозяина, ездит по дорогам, как на свадьбу, да еще песенки поет. Где же ваши активные действия, уважаемые командиры и комиссары? Сколько ваш отряд отправил на тот свет фашистов, поднял в воздух мостов, изничтожил километров линии связи? Для чего оставили вас в лесу? Не с сойками же кумоваться!

Приказ требовал решительно: за месяц не меньше трех ударов по врагу на каждый отряд, на каждого партизана — одного убитого немца!

В тот холодный декабрьский день запало в сердце: району — не меньше пятнадцати боевых ударов по врагу! Это врубилось в память надолго, и позже, когда в месяц наносили по тридцать ударов, я всегда помнил цифру: не меньше пятнадцати! Может, потому и получалось в два раза больше…

Трофименко по-хозяйски умащивался в нашей командирской землянке.

— Надолго, товарищ? — спросил Бортников.

— Пока хоть разок самим штабом района по фрицам не шарахнем.

— Велели так?

— Совесть велит.

— Совесть? Это хорошо. Только ты болезненный какой-то.

— На несколько оборотов хватит. — Трофименко мягко улыбнулся, и это очень понравилось Ивану Максимовичу.

— Устраивайся повольнее.

Тихо жил ялтинский инженер, побыл неделю, а будто и не было его. Есть люди, которые не мешают другим.

Трофименко ходил с нами в бой, в котором мы уложили два десятка немцев, сожгли пару машин. Вернулись в штаб. Передохнул он сутки, а потом стал прощаться:

— Пора! Ты уж напиши в рапорте, что и моя милость при сем присутствовала.

— Напишу о том, что здорово швыряешь гранаты.

— И хорошо. Прощевайте, дружки.

Через три месяца Трофименко умер от голода. Когда почему-либо приходит на ум приказ номер восемь, то в первую очередь я вспоминаю о тихом партизане, ялтинском инженере Трофименко.

* * *

Генерал Аверкин появился шумно, со «свитой» — майоры, капитаны… Одеты — будто только со строевого смотра, правда не парадного, но по всей форме.

Сам генерал имел прямо-таки богатырский вид: высокий, плечи — косая сажень, выправочка — позавидуешь. И голос настоящий, мужской, за три версты слышен.

— Начштаба, с картой ко мне! — приказал басом, адресуясь к моей персоне.

— Есть! — Стараюсь не подкачать.

— Рассказывай, где отряды, что делают, что имеют.

Выложил, что знал, покороче, побесстрастнее, как и положено докладывать старшему начальству.

— Ялтинский, говоришь, на самой макушке гор, а потом, как его?..

— Акмечетский.

— Во-во! Где он?

— В двадцати километрах от переднего края Севастопольского участка фронта.

— Это очень интересно. — Генерал долго смотрел на отметку, где было место дислокации самого западного отряда нашего района. — Это хорошо, что он там, отряд Акмечетский. Иди, начштаба!

Через час снова вызвал. Вокруг Аверкина офицеры его штаба, посередине клеенка, а на ней разная снедь и фляга. Генерал взял стакан:

— Пьешь?

— Бывает.

— Чистый?

— Не пробовал.

— Тогда разбавь. Пей!

Выпил — аж дух захватило.

— Закусывай, — подвинул банку фаршированного перца.

— Не отказываюсь! — сказал я весело.

— Теперь толком покажи дорогу на Ялтинский отряд, а оттуда на Акмечетский.

Я поднял на генерала глаза. Взгляды наши встретились.

— Я совсем недавно вернулся из Ялтинского. Обстановку могу доложить.

Генерал строго:

— Что приказано, то и делай.

— Ясно.

Доложил, что знал, а потом все же спросил:

— Подпишете приказ о вступлении в командование районом? Он написан, я потянулся к планшету.

Генерал рукой остановил:

— Пригляжусь к отрядам, а потом скажу. А пока так: чтобы на рассвете был у меня толковый проводник к ялтинцам. Всё!

Генерал переночевал и ушел, увел майоров и капитанов, охрану — группу автоматчиков. Мы снова остались с Иваном Максимовичем в своем штабе. Лишь недостроенная землянка напоминала о шумных гостях.

Бортников прикинул так и этак, а потом попросил:

— Пиши Мокроусову рапорт: генерал в командование не вступил, дорога у него севастопольская. Все ясно?

— Яснее некуда, товарищ командир! Генералу — фронт, партизану — лес!

— Все так и должно.

Поступают тревожные вести из отрядов: каратели готовят против нас небывалую по масштабам экспедицию: дивизии подтягиваются к горам.

Из штаба полетели наши связные с предупреждением: внимание!

12

Ялтинцы приветливо встретили генерала.

Аверкин со своими майорами, капитанами, телохранителями. Остатки первой боевой группы. Вторая группа — ребята на подбор… Всего более ста пятидесяти партизан. Сила! Казалось, сам черт им не страшен, не то что карательный отряд. Пусть попробуют — по сопатке получат!

Генерал первым делом потребовал установить связь с командиром Акмечетского отряда Кузьмой Калашниковым.

Связные немедля бросились выполнять генеральский приказ.

Но Аверкин не хотел покидать ялтинцев, не оставив после себя доброго боевого следа. Тут мысли генерала и отрядного Мошкарина полностью совпадали. Последний тоже мечтал о крупном боевом успехе, ну хотя бы об ударе по тем же Долоссам.

Срочно был вызван Становский.

Генерал скользнул по нему взглядом строгих и требовательных глаз:

— Кто в Долоссах?

— Румынская рота, товарищ генерал. Еще взвод немцев и группа полицаев.

— Слушай внимательно. Сегодня же пойдешь в разведку. Лично выясни, сколько и чьих там солдат, вооружение, огневую оборону.

— Понятно.

Мошкарин добавил:

— И где Митин.

— Понятно.

— О результатах докладывай через связных.

Генерал и командир отряда Мошкарин по всем правилам готовились к удару по вражескому гарнизону, были даже у южного обрыва яйлы — на личной рекогносцировке.

Идея удара по гарнизону захватила ялтинцев и всех, кто находился у родника Бештекнэ. Возник тот самый боевой задор, который обеспечивает успех там, где, по всем расчетам, его не должно быть.

Отряд напружинился, в нем появилось то, что появляется у бегуна на длинной дистанции, — второе дыхание.

Политрук группы — ялтинский электрик Саша Кучер — читал вслух книгу командующего Алексея Мокроусова о боях в тылу барона Врангеля. Глава штурм Судака. Слушают — слюнки текут. Еще бы! Мокроусов в полковничьей папахе, на резвом коне влетает в набитый беляками город. Его с почетом встречают господа офицеры, дамы — красавец, а не полковник!.. И вдруг разворачивается… Красное знамя. Свист, гик, улюлюканье: «Братцы, бей беляков, пузанов буржуев!»

…Начальник штаба Тамарлы шуршит картой, беспокойно почесывает бороду, поглядывает то на генерала, то на Мошкарина. Что-то ему не по себе, но в конце концов азарт захватывает и его. Только непонятно, почему молчит Становский — связного от него нет!

Двенадцатое декабря… День холодный, сумеречный. Над мертвой яйлой, окутанной снежным саваном, ползут тучи.

Тамарлы не спит. Еще не было полуночи, а он все выходит на

дальние посты и прислушивается.

Тихо.

— Все в порядке, — докладывает начальник караула через каждые полчаса.

Все больше тревожится Тамарлы, Подсел к Мошкарину:

— Может, поднимем отряд, уйдем сейчас?

— Не паникуй, старина. Каратели не на волшебных коврах-самолетах. Они себя уже обнаружили бы.

Не спится и командиру второй группы Петру Ковалю. «Шоферское чутье!» любил он эти слова. Когда предчувствуешь опасный поворот — вовремя ставь ногу на тормозную педаль.

Коваль подходит к начальнику штаба:

— Разрешите усилить охрану, Николай Николаевич?

— Давай! — охотно соглашается Тамарлы.

Не спит и Мошкарин, спрашивает у комиссара Белобродского:

— Как думаешь: куда пропал Степа?

— Да ты поспокойнее. Была бы опасность — предупредил бы, точь-в-точь.

Командир молчит. За землянкой посвистывает декабрьский ветер. Морозно — дух захватывает. Генерал подбадривает:

— Фрицы слишком любят себя. Не придут в такую холодяку.

И вдруг самый дальний пункт наблюдения тревожно доносит:

— Внизу шумят машины!

Петр Коваль бежит к наблюдателям, слушает.

Чу, ветер доносит звуки. Да, точно — машины приближаются к горным деревушкам Биюк-Узень-Баш и Кучук-Узень-Баш.

Тревога!

Отряд выскакивает из теплых землянок. Морозище — насквозь пробирает.

Партизанский секрет, выставленный на километр от штаба, настораживается:

— Вроде кашлянул кто-то.

— Тихо.

И вдруг из предрассветного полумрака вырастает цепь карателей. И еще одна цепь, со стороны Ай-Петринского плато.

Мошкарин приказывает Ковалю:

— Задержать во что бы то ни стало!

— Задержу!

Над молчаливой и сонной яйлой еще не раздалось ни единого выстрела, но борьба уже шла.

Генерал молча выслушивает доклады.

Мошкарин предлагает:

— Товарищ генерал, прошу отойти на запасные позиции.

— А ты?

— Организую оборону и выйду к вам, на правый фланг. Там нужно опередить немцев, не допустить окружения.

— Одобряю!

Генерал со своей группой начал отход.

Мошкарин побывал на боевой позиции Петра Коваля.

— Здесь остается начальник штаба Тамарлы. Любой ценой задержи, Петро, карателей! Я буду на правом фланге — оттуда немцев не жди, не пущу.

— Есть! Прощай, командир.

Группа Коваля занимала удобную позицию — у опушки мелкого дубняка, выклинившегося из лесного массива.

Фашисты шли на сближение не торопясь, надеясь застать отряд врасплох.

Вот уж до их авангарда рукой подать. Видны каски, заиндевелые воротники, глаза, со страхом ощупывающие мелкий кустарник.

— Огонь! — приказал Коваль.

Били в упор. Строчил из немецкого автомата часовщик Кулинич. На выбор бил политрук Кучер. Рядом с ним примостился парторг отряда Иван Андреевич Подопригора, бывший лектор Ялтинского горкома партии, больной туберкулезом, но давно позабывший о своей болезни. Беда иногда вылечивает то, что не могут вылечить врачи.

Фашистский авангард как ветром сдуло, большинство его было уничтожено.

Это отрезвило немцев, но ненадолго. Их оказалось несметное число, и у них был железный приказ: отряд уничтожить!

По землянкам стали бить горные пушки, минометы.

Врач Фадеева и медицинская сестра Тамара Ренц спасали раненых, обмороженных. Пекарь Седых закричал:

— Идите на линию огня, там вы нужнее. Слышите?!

Фадеева ушла, а Тамара осталась выносить раненых.

Атака!

Вал неудержимый, цепь за цепью на лагерь. Местами вспыхивала рукопашная схватка.

Тамарлы прислушивался к правому флангу — не дай бог оттуда немцы!

Но пока там тихо. Значит, все-таки выход есть.

— Хлопцы, на северо-восток, к скалам!

Партизаны начали отходить.

Отстреливаясь, поднимались к оледенелым скалам. Тамарлы следил за тем, чтобы ни одного раненого не осталось в лагере.

— Николай Николаевич, и вам пора!

— Хорошо, хорошо! Я сейчас.

Рядом разорвалась мина, осколком убило старого штабс-капитана наповал. К нему бросилась врач Фадеева, но пуля настигла и ее, когда она склонилась над трупом.

Парторг Подопригора и Петр Коваль уводили отряд все восточнее и восточнее, опасаясь, что на правом фланге вот-вот появятся каратели. Тогда полное окружение…

— Скорее, скорее! — подгонял партизан политрук Кучер.

Вдруг на далеком фланге, куда отошли генерал Аверкин и Мошкарин, вспыхнула ожесточенная стрельба.

— Наши! — сказал Подопригора, не останавливаясь.

Стрельба на фланге была короткой.

Отряд выходил в безопасное место.

…Только спустя четыре часа после боя в лагере с разрушенными землянками, со следами ожесточенной схватки появился начальник разведки Степан Становский.

Он натыкался на трупы, лежавшие под снегом, кричал:

— Кто есть живой?

Становский обнаружил раненного в шею разрывной пулей часовщика Василия Кулинича.

Долго искали следы генерала Аверкина, Мошкарина и тех, кто с ними отходил, кто не дал сомкнуться кольцу окружения, кто, по существу, помог сохранить главные силы отряда.

Останки генерала Дмитрия Ивановича Аверкина, Дмитрия Мошкарина, комиссара отряда Белобродского и всех, кто был с ними, обнаружили через многие дни на спуске Бештекнэ.

Какая трагедия здесь разыгралась?

Свидетелей не осталось. Горы молчали.

* * *

А Митин жил. Митин знал не только место расположения Ялтинского отряда. Пока Митин жив, покоя отрядам у яйлы не жди.

Становский! За тобой Митин!

Карательная экспедиция на Ялтинский отряд недешево обошлась генералу Цапу. До ста убитых солдат и офицеров. На окраине Ялты появилось новое немецкое кладбище.

13

«Шеф Никитского ботанического сада профессор Щербаков»!

«Бургомистр города Ялты знаменитый и почетный хирург Василевский»!

«Интеллигенция Ялты с почтением выслушала доклад майора фон Краузе о развитии искусства в великом рейхе»!

Это с газетах, в частности в издаваемой в Симферополе на русском языке, но с немецким названием «Штимме дер Крим».

«Инженер-механик Коньков делился с немецкими инженерами опытом использования малоемких котлов в процессе виноделия»!

Читаю — и волосы дыбом! Что ни фамилия — знакомый.

«Бывший лейб-медик русского царя известный заслуженный профессор Николай Федорович Голубов принял ученых коллег из Берлинского института»!

«Господин Петражицкий провел дегустацию вин в бывшем Ливадийском имении»!

Поначалу эти новости как обухом по голове.

Нет ничего выше человеческого доверия.

Вот ты, например, знаешь, что перед тобой бывший русский помещик. Он перед тобой, человеком, который впервые облачился в фабричные штаны великовозрастным парнем, чай внакладку выпил, когда было шестнадцать лет, по-настоящему стал наедаться на армейской службе. Ты знаешь, что у села Никиты, где сейчас ворота в сад, лежит бывшая земля этого помещика,

рядом подвал для вин, просторный дом. Это все принадлежало ему, пока революция не отняла.

И все-таки ты уважаешь бывшего помещика, уважаешь потому, что он нужный человек, великий специалист по виноделию, по его книгам учатся студенты, его советы дороже золота. Он стар, сед, его мучают подагра, сердцебиение, годы гнут к земле, но он держится, мотается между Симферополем и Ялтой по горным дорогам, молодо спорит со студентами, подтрунивает над нами, «новоиспеченными Эдисонами» — меня и Родионова он так однажды окрестил, — подбадривает сына Петра, человека талантливого.

Одним словом, профессор Михаил Федорович Щербаков заслуженно пользовался нашим доверием.

И вот когда на землю твою пришли фашисты, он, профессор, как будто без нажима со стороны, по собственной воле становится шефом Никитского ботанического сада, находит добрые слова для оккупантов, что-то бормочет о древней немецкой культуре и гуманизме.

Петр Щербаков, сын профессора и мой товарищ, добровольно ушел на фронт. Он беспокоился об отце, написал мне письмо: узнай, как там старик, какие у него планы?

Исполняя просьбу товарища, я встретился с профессором. Встреча была в разгар эвакуации, и разговор наш начался на эту тему. Он и кончился на ней.

— В какие края собираетесь эвакуироваться, товарищ профессор?

— Стар я для таких моционов.

— Но фашисты могут прийти и сюда!

— Фашистов, сынок, не знаю, а с немцами встречался, знал ученых, музыкантов, врачей.

Ах, как больно резанули меня профессорские слова. Я быстренько ретировался. Обидно стало, видите ли, за простоту нашу. На память пришла поговорка: «Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит».

Немецкий шеф!

О демагогических шагах оккупационных властей у нас мало что знают и пишут. Чаще мы признаем лишь одно: вошли фашисты — жди виселиц.

Да, виселица — фашистский герб. Не случайно их знак — свастика, контуры перекрещенных виселиц.

Но было в арсенале у немцев кое-что и другое.

Майор Краузе первым нанес визит профессору Щербакову. Он поблагодарил русского ученого за книгу, которая и для немецких виноделов была настольной.

Майор из семьи рейнских виноделов, его отец встречался с профессором Щербаковым на всемирной дегустации вин.

Нет, майор не настолько глуп, чтобы предложить профессору его бывшие земли, подвалы, дом. Он знает, что значит профессор для крымского виноделия, с какой самоотверженностью учил советских студентов.

Майор ведет разговор об араукариях, редчайшей коллекции кактусов Никитского сада, о древнем тысячелетнем тисе, который, к счастью, сохранился до сих пор.

Обо всем этом рассказывал мне совсем недавно сын профессора, кандидат наук Петр Михайлович Щербаков, с которым порой мы встречаемся.

Краузе ничего не требовал, не предлагал, откланялся и отбыл.

Профессора беспокоило одно: как быть с уникальной флорой Никитского сада? Она еще цела, но опасность-то рядом. Начальство эвакуировалось, рабочие разбежались, парники разбиты. Слава богу, пока тепло еще, но зима-то на носу.

И профессор стал собирать людей, распоряжаться, искать стекло, стекольщиков, укрывать нежные бананы.

Нужно было то, другое, третье, нужна была немедленная помощь транспортом. Разыскал адрес разлюбезного Краузе, связался с ним, с тревогой изложил свою просьбу и нашел полное понимание.

Старый профессор газет не читал, к пропаганде был глух, он был человеком жизненных фактов. А факты говорили в пользу Краузе и того, кого он представлял.

И когда Краузе закинул удочку: а не согласится ли господин профессор добровольно стать шефом научного учреждения — Никитского ботанического сада, — Щербаков только плечами пожал. Ему наплевать, как это называется. Сад должен жить — главное.

На следующий же день после этого разговора налетели корреспонденты и фоторепортеры. Они задавали вопросы, щелкали аппаратами, толкались, заглядывали в скромную профессорскую квартиру, на все лады склоняли его прошлое.

Профессор вышел из себя и прогнал всю эту шатию-братию.

Но дело было сделано. Газеты вовсю трубили о профессоре, принявшем в свои объятия немцев с их идеями и порядком.

Профессор газет не читал. А мы читали и негодовали! И если бы профессор тогда попал к нам в руки, мы могли натворить такого, чего себе вовек не простили бы.

Ведь мы тоже были людьми фактов. Только факты порой мы видели прямыми, как купеческий аршин.

Да, старый профессор был слеп, но со зрячей душой. Трагедия на массандровской свалке его ошеломила — она была в двух километрах от его квартиры и не могла миновать его, никак не могла.

Старый человек взял свою древнюю палку с изображением Будды и пошел на массандровскую свалку. Он не видел трупов, но он понял правду. Явился к Краузе, заявил:

— Вы опозорили свою нацию! Я вам не верю!

Краузе не бушевал, не выгнал вон, а выждал. Потом преподнес подарок: документы, дающие право профессору Щербакову вернуть себе бывшие земли, подвалы, винодельню, дом.

Профессор долго и внимательно вчитывался в бумаги с фашистскими знаками, а Краузе ждал.

Поднялся профессор, бросил майору документы, сказал по-немецки:

— Вы очень глупы, господа!

Щербакова не стали арестовывать, сажать в подвал гестапо. Нет, его лишили продовольственного пайка, запретили кому бы то ни было посещать профессорскую квартиру. Обрекли на голод и одиночество.

Но мыслящий человек никогда не бывает одиноким. Профессор работал, уточнял технологию производства марочных вин.

Но голод… Он был разрушителен и сделал свое дело. Профессор умер. Умер непокоренным.

Была в Ялте еще одна крупная фигура из научной среды. Ее и сейчас знает мировая медицина. Фигура колоритная, с которой фашисты повозились более чем достаточно.

Я говорю о профессоре Николае Федоровиче Голубове.

Восьмидесятипятилетний, но еще могучий человек, знаток живописи и литературы, близкий когда-то к русской императорской фамилии, вхожий в апартаменты Николая Второго, остряк и весельчак, самый талантливый ученик великого русского терапевта Захарьина. Именем Голубева названа ялтинская клиническая больница. Голубовская работа «Соображения о сущности бронхиальной астмы» имела большое звучание в медицинском мире.

Николай Федорович жил в двухэтажном особняке, за заслуги перед народом не экспроприированном революцией.

В годы Советской власти профессор занимался большой научной и общественной деятельностью, решал проблемы курортологии.

Он был стар, но трудно было найти врача с такой страстной,

молодой душой. Доступный, по-русски душевный, скромный, любвеобильный.

Таким его знала Ялта.

Я, рядовой механик, далекий от медицинского мира, все равно. что-то знал о профессоре, как знали его поголовно все ялтинцы. Бывают люди, о которых не знать нельзя.

Профессор остался в оккупированной Ялте.

Почему? Не знаю. Могу только предположить, что причина была та самая, о которой напрямик говорил мне Щербаков: «а с немцами встречался».

Фашисты, конечно, широко были информированы о жизни и деятельности крупного ученого. Они не могли не знать, что в свое время профессор лечил даже немецкого кайзера.

Заняв Ялту, пошли к профессору. С подарками, цветами. И не какие-нибудь там рядовые гитлеровские офицеры, а ученые, медики, среди которых были и те, кого профессор знал лично.

В фашистских газетах широко освещалась жизнь профессора, писали о его приемах, высказываниях о немецкой культуре.

На Екатерининской улице у особняка профессора часто останавливались легковые машины, из них выходили высокопоставленные офицеры, медики и поднимались к парадному входу.

Профессор в городе не показывался, но о нем шумели сами немцы, и довольно успешно.

У тех, кто еще до конца не понял, что такое фашизм, вспыхивала надежда на лучшее, а кто разобрался в характере оккупантов, с горечью думал о том, что напрасно Советская власть либеральничала с такими, как Голубов.

Мы читали в немецких газетах статью о Голубове, интервью с ним о сочинениях Достоевского и русской душе, такой загадочной и несовершенной.

Нам было стыдно за человека, перед которым раньше так преклонялись.

После войны мне дали квартиру в профессорском особняке. Я поселился в двух больших комнатах, в которых профессор провел последние дни своей жизни. (Он умер при немцах осенью 1943 года.)

То, что на каждом шагу приходилось вспоминать имя человека, которого так уважали люди, а он предал это уважение, — меня и моих товарищей, бывших партизан, выводило из себя. Слишком памятны были минуты, когда мы у костра читали фашистские газеты, в которых до небес превозносилось имя Голубова.

Как-то я пошел в городскую терапевтическую клинику и

увидел мраморный обелиск с именем… Николая Федоровича Голубова. «Клиника имени заслуженного профессора Н. Ф. Голубова». «Вот до чего додумались!» возмутился я.

И конечно, так дело не оставил, стал доказывать, что это кощунство высекать на мраморе имя человека, которого так почитали фашисты.

Меня слушали, пожимали плечами. А секретарь горкома Василий Субботин сказал:

— Слушай, партизан! Ты прав в одном: фашисты гудели о профессоре. Но он-то о них молчал!

— Не может быть!

И действительно молчал, а мне и моим товарищам казалось наоборот.

Через год, будучи в Москве, я совершенно случайно узнал, что один из самых крупных факультетов Первого медицинского института носит имя профессора Голубова.

Я задумался — впервые, может быть: не слишком ли мы, в данном случае бывшие партизаны, примитивно судим 6 человеке? Профессор прожил почти, девяносто лет, из них шестьдесят пять врачевал, написал более ста научных трудов, любил собирать картины, почитал Льва Толстого, в свое время переписывался с наркомом Семашко, был душою ялтинского курорта. И мы все это зачеркиваем только по той причине, что доживающий свой век старик якобы любезно принимал врагов наших?

Мысли мои шли в этом направлении и заставляли многие жизненные факты осмысливать как-то по-иному. Приходило на ум, что человека надо знать объемно, по-настоящему знать, а потом уж суд над ним вершить.

В военные, да и в предвоенные годы всегда ли мы так поступали? И как порой дорого за это расплачивались!

После войны снова разыгрался мой туберкулез, да так, что вопрос стоял о жизни и смерти.

Я инвалид первой группы, пенсия не ахти какая, никаких литерных и полулитерных пайков не получаю, не положено. Семья жила трудно. Все, что можно было продать, давно было продано.

Однажды моя предприимчивая теща с таинственным видом сказала:

— Бутылки!

Оказывается, в заброшенном подвале она обнаружила гору бутылок, грязных, запыленных.

Всей семьей драили их, предвкушая час, когда теща сбудет их в ларек.

Разочарование наступило раньше, чем мы предполагали.

Бутылки оказались нестандартными, их не приняли.

Но работа наша, в частности моя, не пропала даром. Под бутылками я совершенно случайно обнаружил кожаный портфель с бумагами профессора Голубова.

Тут были письма, много писем, в основном на французском языке. Два письма от Семашко, много писем от Захарьина, послания великих князей, министров русского царя. Все это было, конечно, интересно, но постольку поскольку. Нашелся, например, красочно изданный альбом, посвященный охоте царя и его семьи в Беловежской пуще. В списке участников этой охоты десятым стоит профессор Голубов.

Но вот в моих руках карта России, обыкновенная карта РСФСР. И на ней удивительные пометки, сделанные рукой профессора.

Я стал к ним внимательно присматриваться, изучать.

Вот оно что!

Профессор, оказывается, тщательно следил за театром военных действий и все знал точно. Его знания были столь конкретны, будто он каждый день слушал советские радиопередачи.

Красными кружочками были отмечены города, откуда бежали немцы, поставлены даты вступления наших войск.

Выходит, профессор имел приемник и тайно слушал наши передачи?!

Мои догадки подтвердились. В том же подвале я обнаружил старый приемник типа «СИ-34».

И вот удивительная запись. Она сделана рукой профессора за несколько дней до его кончины: «Наши заняли Мелитополь — ура! и слава богу!»

На обороте карты стихи Маяковского, бесконечное повторение строки «Лет до ста расти нам без старости». Слова «без старости» жирно подчеркнуты красным карандашом.

Карта как-то приоткрыла истинную душу профессора. Она заставила меня заняться расспросами тех, кто при немцах жил по соседству с ним.

Поначалу все шло так, как мы и думали в лесу. Профессор охотно принимал немцев, особенно ученых коллег, угощал, как мог, хлебосольно.

Но разочарование наступило довольно быстро. Он увидел не тех немцев, педантичных и сентиментальных, которых знал когда-то, а врага, жестокого и коварного.

Трагедия на массандровской свалке не нуждалась в объяснениях.

Профессор демонстративно захлопнул двери перед

оккупантами и с того дня никогда их не принимал.

К несчастью Николая Федоровича, к нему присосалась женщина, хитрая и алчная. Приська — до сих пор называют ее ялтинцы. Она ухаживала за профессором, внушала, что без нее дни его сочтены.

Одинокий старик уцепился за эту Приську и даже формально женился на ней.

Приська принимала немецких офицеров, но так, что профессор об этом и не догадывался. Он жил в большой своей восточной комнате, отрешенный от всего мира, и ждал наших. В доме был приемник. Профессор как-то наладил его и на все остальное махнул рукой.

Фашистские пропагандисты расписывали профессора и его любезную дружбу с оккупационными властями, но Николай Федорович об этом даже не догадывался.

Профессора нашли мертвым, склонившимся над приемником.

Демагогия во все времена была шита, как правило, гнилыми, хотя порой и яркими нитками.

Под Севастополем гремели батареи, а здесь, в Ялте, гебитскомиссары и гаулейторы всячески заигрывали с местной интеллигенцией. Но их старания лопались как мыльные пузыри.

Жил в Ялте многие годы знаменитый хирург Дмитрий Петрович Мухин. Плечи богатырские, рост два с половиной аршина с гаком, руки грузчика, шея коверного борца. И между тем пальцы Дмитрия Петровича умели держать не только тончайший хирургический инструмент, но и виртуозно перебирать клавиши рояля.

Клиника Мухина, «Пироговка», жила. Она воздвигла барьер между собой и оккупантами, обложилась предупреждениями, выведенными черной тушью на белых дощечках: «Ахтунг! Туберкулез!»

Немцы боялись заразы и обходили клинику за километр.

В клинике был железный мухинский порядок. Тут людей ставили на ноги. По существу, в течение многих месяцев в оккупированной Ялте существовал военный госпиталь для раненых.

Дмитрий Петрович — человек мужественный, большой воли — люто презирал фашистов. И они почему-то боялись его.

Дмитрий Петрович идет по узенькому коридору улочки, теперь носящей его имя, медвежистый, неторопливый, из-под густых седоватых бровей смотрят твердо глаза. Навстречу патруль — два рослых автоматчика. Не было случая, чтобы патруль не уступил дорогу.

— Я их, сволочей, люто презирал и не боялся, — рассказывал

он потом.

«Пироговка» продолжала жить и действовать. Здесь на скудном пайке содержали тяжело больных ялтинцев, и кроме того, клиника стала базой снабжения медикаментами Ялтинского партизанского отряда. Но это случилось позже, в 1943–1944 годах, когда в городе начала действовать подпольная группа Казанцева, членом которой состоял хирург Дмитрий Петрович Мухин.

Конечно, в семье не без урода. Были и такие, что верой и правдой служили своим хозяевам.

Винодел Петражицкий, переводчица Севрюгина, инженер Коньков, плановик Ценин, гидролог Василенко, всякие поклонники санаторных преферансов и курортного адюльтера, старички адвокатики в вельветовых курточках, похожие на линялых крыс…

Они не убивали, вообще боялись держать в руках оружие. Дрожали за свою жизнь, трусили и служили. Служили потому, что думали: Советской власти возврата нет! Но эти люди — лишь редкие пятна на светлом облике моего города, не поддавшегося врагу…

14

Что может быть печальнее, чем вид курорта, наполовину опутанного колючей проволокой, обставленного огневыми точками, изрытого окопами и ходами сообщений — черные пасти дотов, а над ними розы, которые неожиданно стали распускаться зимой.

Не было ни танцевальных вечеров, ни рандеву корреспондентов, охающих и ахающих в залах южнобережных дворцов.

Севастополь давал о себе знать повсюду. Под ним морем лилась кровь, конвейер из цинковых гробов выстраивался на Сарабузском аэродроме, откуда эти «подарочки» следовали в Германию.

На набережной вешали непокорных. Морской ветер качал трупы.

Самым людным местом стала площадка у ворот гестапо.

Въезжали и выезжали машины, подскакивали мотоциклисты; черными тенями, в черных платках, с почерневшими от горя лицами толпились родственники тех, чьи судьбы решались за крепостными стенами.

Бывшие корпуса здравниц застыли в безлюдье. Обваливалась

штукатурка. Подземные воды рвали подпорные стены…

Но так Ялта выглядела лишь внешне.

В городе шла жизнь, не было таких сил, которые полностью прекратили бы ее.

Люди встречались друг с другом, обсуждали события, помогали слабым, прислушивались к отдаленному гулу артиллерии на западе. И им дышалось легче: жив Севастополь!

Они видели колонны немецких санитарных машин, слышали стоны раненого врага… И это обнадеживало.

Когда в Керчи и Феодосии высадились красноармейские десанты, мы без промедления донесли эту весть ялтинцам. И они встретили Новый год с надеждой.

А фашисты продолжали нервничать. Строили доты на ялтинской набережной, на мысах, у Желтышевского пляжа… Жерла орудий выглядывали из-за решетки городского сада.

Это была уже не набережная, а укрепленная линия. Гитлеровцам мерещились десанты. Специальные подвижные мотогруппы колесили по побережью, искали десантников. Ялтинская ребятня, вооружившись ракетницами, пуляла в небо ракеты. Коменданты, окончательно замороченные десантобоязнью, за сутки трижды, а то и четырежды объявляли боевые тревоги.

Ливадийские мальчишки во главе с озорными предводителями, братьями Стремскими, однажды так ловко имитировали высадку десанта, что немцы вынуждены были снять с фронта часть одной дивизии и заставить ее окапываться от Приморского парка до самого Золотого пляжа.

В феврале, боясь десантов, фашисты начали взрывать ялтинский мол одно из уникальных портовых сооружений на Черном море.

Иногда на горизонте против Ялты появлялись советские суда — морские охотники. Тогда гитлеровцы в панике метались по набережной, занимали огневые рубежи и открывали безрезультатную артиллерийскую пальбу.

…Наде Лисановой было восемнадцать лет. Жила она на окраине города, из ее окон видны были ворота гестапо.

Надя — подпольщица, она ждет связных от Становского. Сама много видела, слышала, а еще ей помогают подруги, которые не знают, почему Надя интересуется номерами машин, знаками на них, но все же догадываются. Подруги не любопытны, но они активны и даже озорны. Знакомятся с молодыми офицерами, что-то выпытывают у них, смеются, не боятся нарушить комендантский час.

Девушки были шумными, горячими, в сердцах их была

жгучая жажда борьбы. Они ждали часа мщения за поруганный родной город, за то, что им в их восемнадцать лет приходится каждый шаг делать с оглядкой, что жизнь их не стоит и ломаного гроша: любая случайность может оборвать ее.

Они приходили к Наде, к своему комсомольскому секретарю, и ждали, когда она их пошлет с гранатой на улицу или даст листовки — и они будут их расклеивать за спинами патрульных.

К Наде с гор спускался Толя Серебряков. Это был скромный и смелый юноша, скупой на слова, но отчаянный. Он средь бела дня входил в город, не минуя ни биржу труда, ни управу. Предъявив поддельные документы, официально зарегистрировался и до того осмелел, что выследил предателя Митина и чуть не застрелил его на глазах горожан, да помешало неожиданное появление патруля.

Толю инструктировал Становский, он запретил действовать. Только наблюдение, еще раз наблюдение…

Надя, получив такой приказ, рассыпала своих девушек вдоль Симферопольского шоссе. Девушки докладывали: столько-то танков прошло, столько-то прошагало солдат.

Толя запоминал все эти сведения и приходил в горы. Он думал, что приносил данные, без которых воевать нельзя. Да, информация была очень ценной. Однако куда с ней податься? Прямой связи с фронтом не было. Сведения поступали к нам, а мы пересылали их в штаб Мокроусова. На это уходила неделя…

Снова Толя Серебряков спускался в город, снова встречался с Надей, и снова все начиналось так, как начиналось раньше.

Отрядный разведчик Миша Горемыкин таким же образом ходил в Кореиз, в домик своего отца, который по явному недосмотру был определен как явочная квартира: место встречи подпольщиков с представителями отряда.

В Кореизе от мала до велика знали, что Миша ушел к партизанам.

И вот парня посылают на связь к собственному отцу.

Какая уж тут тайна, когда кореизские пацаны, случайно заметив Михаила, начинали горланить:

— Миша-партизан! Миша-партизан!

Миша идет на очередную связь с отцом. Он парень дисциплинированный, смелый. Куда как смелый! Когда неожиданно столкнулся в лесном доме «Холодная Балка» со здоровенным фашистом, то не растерялся, отбил пистолет, направленный на него, свалил немца ударом ноги и пристрелил. Второй фашист пустил было по нему очередь, но поторопился. Миша вывернулся, исчез. Пока фашист соображал, куда делся партизан, Миша выстрелил ему в голову.

Сумерки. Миша осторожно наблюдает за родным домиком,

приземистым, крытым красной черепицей, замшелой от времени.

Но почему нет условного знака?

Вдруг увидел на соседнем дворе мальчишку, позвал.

Парнишка ахнул:

— Уходи! Твоих арестовали. И батю, и маму, и сеструху…

Двое суток Миша добирался до лагеря и пришел постаревший на десять лет.

Насильно согнали народ на ялтинскую набережную, в крытой машине привезли семью Горемыкиных и публично повесили. Мужчина, женщина и четырнадцатилетняя девочка качались на морском ветру не одни сутки.

Через страшные пытки прошла Надюша. В подвале гестапо она держалась мужественно, выгораживала подруг и сумела кое-кого спасти.

На смерть пошла смело. Они никого не предала, никаких секретов не выдала, а знала много. В ее руках были адреса тех, кто остался на подпольной работе…

Есть в Ялте люди, которые до сих пор не знают, что жизнью своей обязаны Наде Лисановой, восемнадцатилетней девушке, погибшей, но не проронившей ни слова…

Они добровольно остались в городе. Им сказано было: ждите сигнала, к вам придет наш человек и скажет, что делать.

Были такие, что честно прождали все 879 дней оккупации.

А есть случай парадоксальный. Недавно мы, бывшие партизаны, ходатайствовали о восстановлении в партии Евдокима Евдокимовича Легостаева. Он был оставлен для подпольной работы, в его домике, на окраине Кореиза, спрятали оружие: пистолеты, автоматы, взрывчатку, гранаты. Прямо арсенал целый.

Легостаев ждет связных, ждет месяц, другой, год ждет, а кругом полицаи, жандармы…

Легостаев ждал связных со дня вступления фашистов на Южный берег Крыма до часа появления войск Красной Армии в освобожденном Кореизе…

Ждал! Это легко говорится. Жил-то он вроде в камере для приговоренных к смерти. Вот откроется дверь, появятся палачи… Или случайность какая… Ведь могут склад обнаружить пронырливые мальчишки, которые, несмотря ни на что, играют в войну…

Человек поседел от такого ожидания. Он трижды перепрятывал свой опасный арсенал. Первый обыск — и ему виселица. Он мог покинуть Кореиз, в конечном счете закопав оружие, но не сделал этого, а следил за своим арсеналом, ухаживал, берег от порчи и дисциплинированно ждал.

Когда же пришли наши, то нашлись «умные» головы, которые

на свой лад оценили поступок Легостаева. Они исключили его из партии за «пассивность». Правда, конечно, восторжествовала, но какой ценой!

15

Отряд исподволь собирался на заранее установленное место — в Стильскую кошару; а в старом лагере, в котором лежали убитые, продолжала гулять поземка, торопясь скрыть от неожиданно заголубевшего неба следы страшного боя. И так она, эта поземка, постаралась, что через сутки-другие не осталось решительно никаких признаков того, что здесь недавно было покончено с жизнью ста пятидесяти здоровых мужчин, что и в России, и в Германии овдовело немало женщин, осиротели дети, матери остались без сыновей.

Гуляла поземка на яйле, мертвой как пустыня.

Ялтинский отряд исподволь собирался. Последним пришел политрук третьей группы Александр Поздняков, привел остатки алупкинцев. На них, оказывается, тоже напали, и был бой, и были потери.

Как-то само собой получилось, что старшим над всеми стал парторг Иван Андреевич Подопригора. Это был больной человек, с сизым бритым подбородком, печальными глазами, мягкий по характеру, но мужественно сражавшийся на линии обороны, когда вблизи лагеря показалась первая карательная цепь.

Иван Андреевич командовать не умел. Он больше уговаривал, чем приказывал. И бог его знает, может быть, в тот час доброе слово было важнее командирского окрика.

Отряд притих. Никаких вылазок, разве лишь за продуктами Ходили.

Шоковое состояние продолжалось. Нужна была резкая перемена.

Трудно было начинать сызнова. Что-то пытался сделать политрук Кучер. То он шел на тайный склад, вспоминая покойного Тамарлы, который, так сумел сохранить продукты, что немцы не смогли, их обнаружить, хотя железными щупами протыкали весь лагерь, то добывал лошадей, нападая на бродячие обозы.

Кучера называли «товарищ комиссар». Никто не возлагал на него этих обязанностей, получилось само собой.

В лагерь Кучер возвращался усталым, едва держась на ногах. Он был молод и еще не мог понять главного. Партизаны смотрели на него как на своего спасителя, но ни они, ни он не

задумывались, к чему их приведет собственная бездеятельность.

А мы в штабе понимали: или встряхнем Ялтинский отряд как следует, или он медленно, но верно сойдет со сцены партизанского движения, оставив в горах только трагический след.

«…И верю — ялтинцы не подведут!» — вспомнились мне слова секретаря обкома.

Пока подводили.

Нужен был прежде всего командир!

Имелся у нас на примете один человек, политрук пограничных войск Николай Петрович Кривошта. В одном из декабрьских боев мы оказались рядом…

Еще тогда я увидел, что это человек сильной воли. Немцы приближались, до них было всего метров двадцать. Я порывался дать команду открыть огонь, но Кривошта держал мою руку и говорил: «Еще немного, еще… Вот сейчас, сейчас…» У меня от страха на лбу холодный пот выступил, а он все придерживал. И я почему-то его слушал.

Наконец он поднялся, почти весело крикнул:

— А теперь даешь! — и в упор стал расстреливать карателей.

Да, выдержка была у Кривошты исключительная.

Красивый украинец, кареглазый, высокий, такой плечистый и сильный, что казалось, будто ему одежда мала, он был уже ранен на войне, но об этом у нас почти никто не знал.

Мы вызвали Николая Петровича в штаб, откровенно рассказали о ялтинских партизанах и предложили возглавить отряд.

Он долго молчал, курил самосад. Докурил, окурочек смял и положил в карман. Это мне понравилось.

— Ну как?

— Согласен. Разберусь на месте. Могу одно сказать: воевать будут!

Идем в отряд. Снова дорога по яйле. Снега, снега — уже тошно от этой белизны. Выручает наст, он крепок.

Шагаем молча. Я, например, не знаю, о чем говорить. И он, как я заметил, не очень настроен на разговор. Идет себе, а глаза такие, какие бывают у человека, пристально заглядывающего в самого себя.

О чем думает?

Обратил внимание, как он идет. Где научился на всю ступню ставить ногу? Меня, например, учили этому в Дагестане, в горнострелковом полку, когда готовили из нас младших пехотных командиров. А его? Как у него отлично отрегулировано дыхание! Ничего не скажешь — профессиональный горный воин!

— Давно в пограничных войсках?

— С призыва, — коротко ответил Кривошта.

— От рядового до политрука длинная дорога?

— Годы.

— Отлично топаешь по горам!

— А пограничник всю жизнь не по асфальту шагает.

— Конечно, граница не ялтинская набережная.

Кривошта горячо:

— Граница — школа, застава — дом родной, пограничник — сторож страны.

— Свой род войск любишь?

— Есть за что… — Он повернулся ко мне, сказал: — Хотел бежать от вас.

— Когда?

— И раньше, и совсем недавно.

— По какой причине?

— Долго к врагу прицеливаетесь. Его бить надо!

— Что же задержало?

— Партийный долг, товарищ начштаба.

Я промолчал. «Его бить надо!»… Гм… не громко ли сказано?

И все-таки где-то глубоко в душе я верил Николаю Кривоште, и было предчувствие, что веду к землякам самого нужного им человека. Но как они примут Кривошту?

К закату солнца добрались в отряд. У спуска в кошару встретились с Кучером. Я представил их друг другу.

— Здоров, командир!

— Здоров, комиссар!

Оба, как на подбор, рослые, крепкие, молодые. «Пожалуй, хорошая будет пара!»

У входа в кошару топтался сутуловатый часовой. Я узнал гурзуфца Семена Зоренко.

— Здравствуй, земляк. Чего согнулся в три погибели?

Он посмотрел на меня, промолчал.

В кошаре вокруг дымящего очага сидели ялтинцы. Все обросли бородами.

Холодно, неуютно. Сквозь полуразрушенные стены намело немало снега, который уже почернел от копоти костра. С дырявой крыши течет на людей — это тает лежалый на крыше снег. На меня, да, наверное, и на нового командира вся эта картина подействовала удручающе.

Я представил Николая Кривошту, кратко рассказал его биографию, подчеркнул, что он наш земляк: службу провел в Феодосии, потом в степном Тархункуте. Мое сообщение встретили довольно равнодушно. Ни вопросов, ни восклицаний.

Кривошта молчал, но я видел, как воспринимает он эту неприглядную картину. Вот сел поближе к костру и начал сушить одежду.

Сильные порывы ветра через незаделанные щели пронизывали кошару. Люди ежились. Кривошта, сидя на своем вещевом мешке, продолжал наблюдать. Он волновался, у него вздрагивали ноздри.

Поднялся неожиданно и, взяв в руки автомат, властно скомандовал:

— А ну встать!

Лениво сбросив с себя одежду, партизаны поднялись.

— Быстрее, по боевой тревоге! — подгонял Кривошта. — А теперь всем выйти из кошары!

Он первый твердым шагом направился к выходу, за ним медленно потянулись недоумевающие партизаны.

На холодном ветру Кривошта построил партизан в две шеренги.

— Что это еще за эксперимент? Холодно! Давайте в кошару. Чего морозишь, командир?

— В кошару вернемся тогда, когда приведем ее в порядок. Марш сейчас же за мелким хворостом!

— Где же его ночью найдешь?

— Найдешь! Пропуск в кошару — вязанка хвороста. Кто хочет тепла, тот найдет!

На часах поставили нового парторга Михаила Вязникова.

Кучер и Кривошта первыми принесли по доброй охапке мелких веток и начали приводить помещение в жилой вид.

Через полчаса появилась возбужденная группа партизан с сеном.

— Везет вам, хлопцы! — почти по-мальчишески крикнул суровый Кривошта. Кто-то. уже с улыбкой посмотрел на него.

Кошара быстро меняла свой вид. Кривошта с военной точностью распределил места для лежанок, наметил проходы. Все дыры проконопатили хворостом и сеном, сразу повеяло уютом, стало теплее и веселее. Скоро закипела вода в котлах, мы заварили чай и пригласили всех угощаться.

На середину вышел Николай Иванович Туркин, тот самый бухгалтер, который с Кулиничем убил комендантских солдат в первом бою. Когда мы явились в кошару, я не узнал его. Большая, неопределенного цвета борода сильно изменила Туркина. Но сейчас он, посмотрев на нового командира отряда, вдруг, может впервые улыбнувшись за эти дни, сказал:

— Ну, теперь у нас получается вроде порядок!

«Порядок» — редкое слово в устах настоящего бухгалтера.

В полночь Кривошта, снимая портупею, приказал:

— Всем спать!

Яркое зимнее утро. Слышны разрывы бомб где-то в районе Бахчисарая и далекий ровный рокот моторов. Это наши летчики с кавказских аэродромов «поздравляют» фашистов с предвесенним утром.

Кривошта снова выстроил партизан.

— Сегодня день санитарной обработки. Долой бороды и грязь! Все перестирать, перечистить, перештопать! Это главная боевая задача. Командир вытащил из планшета ножницы. Под руку попался директор Ялтинской средней школы Ермолаев — «Пугачев», как прозвали его в лесу за черную, поистине пугачевскую бороду.

— Ребята, Пугачеву хана! — кричит Смирнов, бывший гурзуфский маляр. Он правит бритву для очередной процедуры. Брадобрейный комбинат работает полным ходом. Кто-то умоляет оставить ему бороду.

Кривошта смеется:

— Ее надо заработать! За пять убитых фашистов буду награждать бородой, за десять — звание «Пугачев» и борода до колен!

Переменилось настроение, появился смех, совсем исчезнувший из обихода ялтинцев. Кривошта все делал без натяжки, легко, естественно, но за этим чувствовалась железная воля.

Три иголки без устали штопали и латали партизанское одеяние. Вокруг костров люди толпились за горячей водой, посуды не хватало.

Потом началась реорганизация отряда. Кривошта настаивал на создании боевых взводов и хозкоманды. Я подумал и согласился. Партизанский отряд, конечно, не регулярная часть, но теперь во главе отряда кадровый пограничник, пусть будет так, как ему хочется.

Партизан распределяли по взводам. Тут решающее слово было за Петром Ковалем, Сашей Кучером, Иваном Подопригорой и Михаилом Вязниковым. Они знали людей, видели их в бою с карателями.

— Товарищ командир, а в какой же взвод Семена Зоренко? Он наш, гурзуфский, — спросил Смирнов.

Думали, гадали и оставили при штабе для охраны. Правда, прежде спросили у него:

— Куда желаешь?

Он мялся, мялся, а потом выдавил из себя:

— Хоть в попы, хоть в пономари. Церковь одна, без

колоколов.

Кривошта внимательно посмотрел на партизана, но ничего не сказал. День закончился. В конечном счете, как думал я в тот вечер, вся наша предварительная подготовка может оказаться безрезультатной, если не достигнем главного: боевого успеха.

Видел, как дотошно расспрашивает новый командир об обстановке на Южном берегу, как изучает по карте тропы, как интересуется глубиной снега.

У нас было одно замечательное преимущество — внезапность. Фашисты чувствовали себя на южном шоссе относительно спокойно, не боялись передвигаться даже по ночам. Их там никто еще не трогал.

Главный расчет был именно на внезапность. И конечно, на подбор людей. Тут у Николая была своя тактика. Кучер рекомендовал самых боевых; тех, кого он водил под Гаспру, когда забрал в качестве трофеев оружие и солдатские книжки. Но Николай Кривошта стал возражать:

— Воевать должны все, а не исключительные лица. Мы пойдем под Гурзуф, значит, первые кандидаты те, кто лучше знает местность, кому этот край роднее.

И я согласился с командиром. Правильная логика: «Воевать должны все!»

Отлично знали район рабочий совхоза «Гурзуф» Григорий Кравченко, айданилец Михаил Болотин, бывший гурзуфский маляр Александр Смирнов. И два ялтинца: бухгалтер Туркин, учитель Ермолаев.

Мы их проводили, а через час ушел и комиссар, увел комсомольцев Галкина, Тимохина, Горемыкина и Серебрякова на Гаспринский перевал.

Две операции решали судьбу всего отряда. Мы очень волновались.

По глубокому сыпучему снегу Кривошта подошел к спуску у Гурзуфского седла и расположил группу в полуоткрытой пещере… Впереди длинная ночь. Тихо. Не слышно привычных выстрелов патрулей. Далеко в море бродит одинокий огонек, перемигивается с берегом.

— Спать! — Приказал Кривошта.

Он засыпал мгновенно, но прежде будто программировал память, чтобы проснуться минута в минуту.

Ровно в полночь открыл глаза, приказал постовому спать, а сам вышел, стал следить за дорогой, которая угадывалась внизу под ногами.

Нет-нет да и проскакивали машины, причем временами, видать, тяжело груженные.

Зло брало: как же так? Немцы под носом у отряда совершают ночные перевозки, бросают под Севастополь войска и грузы, а отряд отсиживается в древней кошаре с односкатной крышей.

… Но первую операцию надо было совершить днем. Пусть все, увидят, что фашистов можно бить на этой дороге в любое время суток. И не только бить, а подбирать трофеи, документы. Сегодня все должно быть именно так!

Спускались по глубокой снежной и очень крутой тропе. Из-за темных верхушек сосен пробивался косяк луны. Чем ближе к морю, тем становилось теплее.

Волнуется маляр Смирнов. Он увидел крышу собственного домика, освещенную луной.

— Жена и дочь там, — тяжело вздохнул партизан.

Рассвета ждали в густых кустарниках, пьяняще пахло морем.

Когда посерело на востоке, ползком пробрались еще ближе к шоссе.

Кривошта внимательно огляделся, что-то ему не понравилось. Он подполз к проводнику Григорию Кравченко:

— А еще ближе нельзя?

— Опасно, места почти голые, со всех сторон видать.

— Веди к самой дороге, — жестко приказал командир.

И вот дорога всего в трех метрах от партизан. Жутко. Промчался патруль на трех мотоциклах, легковая машина фыркнула газом.

Стало совсем светло. Кривошта посматривает на партизан: волнуются. Ну ничего, ничего…

На дальнем повороте показалась семитонка, крытая брезентом. На бортах — знаки: бегущие олени. Гудит — земля трясется… Двести метров, сто…

— Не спешить! — крикнул Кривошта полным голосом.

Внизу машина.

— Головы! — Кривошта метнул под колеса противотанковую гранату и прижался к земле.

Машина будто крякнула и раскололась, высыпая перепуганных офицеров в летной немецкой форме. Везет Кривоште!

Партизаны стали их расстреливать из автоматов и винтовок. Смирнов и Туркин пытались тут же уйти в горы.

— Назад! — Кривошта поднял автомат. — Марш на дорогу, подобрать трофеи!

Выбежали на дорогу… Кривошта бросился к кабине, навстречу полоснула очередь из автомата, но Кравченко застрелил притаившегося в кабине офицера.

— Спокойно! Собирать трофеи!

У гурзуфского моста уже лаяли собаки. Автоматные очереди резали утренний горный воздух. Раздавались голоса команды.

Кривошта будто ничего не слышал. Он только тогда дал команду отходить, когда каждый партизан нагрузился трофеями.

— Молодцы, хлопцы! Теперь айда!

Гриша Кравченко — мастер перепелиной охоты, он знал местность, как собственный двор. Вел по такой круче, что страшно было вниз смотреть, но вел точно и безопасно.

Через пять часов вышли на яйлу, от смертельной усталости повалились на снег и никак не могли отдышаться.

Отряд встретил так, как никого еще не встречал. Крик, шум, тисканье, смех. Лица красные, разгоряченные.

А тут комиссар явился. Правда, трофеи у него небогатые, зато надо же быть такому совпадению! И он, оказывается, разбил машину с военными летчиками. Вот здорово! На тот свет отправили столько офицеров, сколько достало бы на целый авиационный полк.

Летчики! То были экскурсанты, которые решили воспользоваться перерывом в воздушных боях и полюбоваться Южным берегом Крыма.

Ничего себе — полюбовались!

На радостях мы выпили по стакану вина.

Утром я спросил у командира:

— Двинется дело боевое?

— Уже двинулось. Теперь главное, чтобы каждый понюхал пороху на магистрали. Покоя никому не дам!

На посту опять бессменный часовой Зоренко, мой земляк.

— И до него очередь дойдет? — спросил я комиссара.

Тот подумал, улыбнулся:

— Не знаю, что и ответить. Пока ему дел и при штабе хватит.

— Что, Семен, пошел бы на дорогу?

— Что я, у бога теля съел, что ли? Мое дело подчиненное.

Видать, и его заело. Это хорошо!

Ялтинцы «нюхали порох» на магистралях. Кривошта никому покоя не давал. Вскоре крымский лес заговорил о Ялтинском отряде как о боевом, крепком.

Вот выписки из боевого дневника отряда.

> «18.2. 1942 г. — В районе Гурзуфа разбиты 2 семитонные машины с солдатами и офицерами. Одна машина слетела под откос глубиной до 70 метров, вторая перевернулась в кювет. Потери немцев 58–60 человек, в дальнейшем в перестрелках убито еще 3 человека. Отряд потерь не имел».

«3.3.1942 г. — Вторым взводом (командир Вязников, политрук Подопригора) под руководством начальника штаба Кулинича устроена засада на шоссе Ялта — Гурзуф, в результате разбита пятитонная машина. Убито пять немецких солдат. Потерь взвод не имел. Особенно проявили себя Агеев, Подопригора, Вязников».

«3.3.1942 г. — Третьим взводом устроена засада на шоссе Ялта — Ореанда. В результате разбита пятитонная машина с боевым грузом, уничтожены два немецких автоматчика. Потерь взвод не имел».

И так далее и тому подобное. Били, как правило, по двум плечам шоссе: то на востоке, то на западе, а иногда одновременно там и тут.

Двадцать пять крупных операций за январь и февраль, Весь Южный берег был поставлен на ноги, имя Кривошты становилось легендарным.

Но служил еще у немцев Митин!

16

Ходит Митин по Ялте в коротком кожаном пальто, вооруженный маузером, шапка-кубанка набекрень. Ходит-то ходит, да только в компании с немцами. Он с ними и в гестапо, и в шашлычной, и в чебуречной, и в кофейной оборотистого грека, где можно найти не только кофе по-турецки, но и контрабандный товар с анатолийского берега. Митин не только предавал, но и вел торгашеские операции, особенно с румынскими офицериками.

Каждый человек шел в партизанский лес для того, чтобы совершить свой главный поступок, или, как иногда говорят, сделать свое «главное дело».

«Главное дело» Степана Становского — взять живым Митина.

Становский за ним следил, «обкладывал», как охотники обкладывают матерого волка.

Наступал март — месяц таяния снега, большого половодья.

Март. Кого же он скорей одолеет? Митина и тех, кто за ним, или нас, партизан?

Становский действовал. Его разведчики — Химич, Серебряков, Галкин были до крайности истощены, но держались, стали даже сноровистее, — может, потому, что приближалось их «главное дело».

Митин не только предатель, он еще и консультант. Ведь мало

кто знал партизанские дороги, как этот лесник с Грушевой поляны.

Удары Николая Кривошты на дорогах между Алуштой и Байдарскими воротами были очень чувствительны для врага. Они вынуждали фашистов не только усиливать охрану магистрали, но и на дальних подступах к ней выставлять секреты, засады, организовывать патрулирование на кромках самой яйлы. И тут-то митинская помощь была крайне нужна.

Стало известно: Митин каким-то манером обнаружил наитайнейший продовольственный склад комиссара Александра Кучера. На то, что было в этом складе, надеялись. И вот эта надежда испарилась.

Голод, голод…

А Митин жив, Митин наглеет. Штаб района узнал: предатель протягивает руку к самому командующему Алексею Мокроусову. На немецком вездеходе, набитом солдатами, Митин побывал у подножья горы Черной, даже на макушке Большой Чучели. Рыщет, сволочь!

По крутой тропе, оглядываясь осторожненько, шагает в Ялту парнишка лет двадцати. Это Толя Серебряков. В городке он пробыл до вечера, вызнал что надо, у знакомого подзаправился чем бог послал, но не успело солнце остыть, как Толя уже карабкался по Стильской тропе на яйлу. Он очень спешил. Была причина.

Толя вваливается в штабную землянку, с трудом переводит дыхание, спеша докладывает:

— Дядь Степа! Митин третьего марта будет на Грушевой поляне… Один. Честное слово!

Выпалив все это, Толя падает на лежанку из жердей. Он голоден, он устал. И тут же засыпает, хоть из пушек пали — не проснется.

Кривошта посмотрел на Становского:

— Толя свое сделал. Уяснил?

— Я понял, командир.

Голоден и дядя Степа. Вот он в штабе района, на докладе у начальника разведки Ивана Витенко, известного на весь крымский лес своей аккуратностью. Иван будто не прожил в лесу четырех страшных месяцев, будто только что вернулся после прогулки по ялтинской набережной. Выдают лишь глаза, под которыми болезненная синева, да бледные губы, почему-то всегда поджатые.

Выслушали Степана, угостили чем могли. И конечно, лапандрусиком, только что вытащенным из горячей золы. Обычно скупой, Витенко на этот раз расщедрился:

Степа, возьми еще один, мой.

— Да ну!

— Это тебе аванс за живого Митина.

Вмешивается в разговор новый начальник штаба района подполковник Щетинин (я был в севастопольских лесах):

— Заруби на носу, товарищ Становский: Митин нам нужен живой.

— Понятно, товарищ подполковник.

Третье марта приближается. Боевая группа сколочена. Да, да, боевая. Если не возьмут «тихо», то возьмут с боем. Так решили. Командиром боевой части назначили Петра Коваля, дали ему два ручных пулемета и десять партизан, в числе которых был и бывший комиссар истребительного батальона Александр Поздняков, человек редкой выдержки. Правда, больной, тяжеловатый в походе. Толя Серебряков, между прочим, заметил:

— Куда уж вам, дядя Саша?

— Куда и тебе, сынок.

— А ежели того, драпака придется…

— Драпа, мальчик, не будет.

Я задаю себе вопрос: почему же Митин решился заглянуть на Грушевую поляну, о чем он думал, когда под прикрытием сумерек по крутой тропе поднимался в свой лесной домик? На что он, в конце концов, рассчитывал?

Конечно, на наш голод. Он думал, мы настолько истощены, что уже не способны спуститься с гор чуть ли не на окраину Ялты и подняться обратно. Кроме того, за последние десять дней на Южном побережье — ни единой партизанской операции. Это очень успокаивало.

Из-за Медведь-горы поднималось весеннее солнце. Его лучи уже крепко пригревали на склонах лес, на тропах подтаивал снег. А ниже снега почти не было, земля пахла талыми водами, кое-где кустилась молоденькая зелень.

Партизаны шли гуськом, делая короткие привалы. Спуск был крут, день проходил быстро. В просветах между кронами могучих сосен мелькали уголки родного города, сверкавшего на весеннем солнце. Вокруг была успокаивающая тишина. Оглядываясь, прислушиваясь к каждому шороху, партизаны подошли к высотке, стоявшей над Грушевой поляной. Стали наблюдать, увидели домик с большим крыльцом, куда выходили две двери. Вокруг усадьбы плетеный забор, за ним стог сена, небольшой сарайчик.

Становский увидел женщину. Она вышла на крыльцо, высыпала мусор; поправив рукой волосы, посмотрела на закат, розовевший над яйлой, залюбовалась им, а потом проворно вернулась в дом.

Может, и сам Митин дома?

Стоп! Не спешить!

Митин не из простачков, вряд ли средь бела дня явится сюда. Такие ходят ночами.

Стало понемногу темнеть, над соснами поднялась луна. Из Долосс доносились звуки: прошумел мотор и заглох, проскрипели повозки — это румыны. Чуть позже услышали музыку — крутили пластинки. «Чтобы тело и душа были молоды, были молоды…»

Из лесу вышел человек, осторожно прошагал метров десять по лунной поляне, остановился, прислушался. Долго стоял на одном месте, весь настороженный. Чувствовалась страшная нерешительность.

Блеснула полоска света, показался женский силуэт, и все скрылось за дверьми.

— Он? — встревоженно спросил Поздняков.

— Собственной персоной, — глухо ответил Становский. — Толя, обрезай провода.

— Есть, дядя Степа!

Становский подозвал Коваля:

— Позиция?

— Порядок. В случае чего минут на двадцать задержу. Справишься?

— Хватит.

Еще подождали, потом начали приближаться к домику. Вдруг на крыльце появился бородатый человек с собакой — сосед Митина.

Становский обогнул стоявший невдалеке стог сена, оказался рядом с бородачом.

— Уведи домой собаку и чтобы ни-ни! — приподнял пистолет. — И возвращайся немедленно ко мне.

— Понял, гражданин.

Бородач не мешкая исполнил все, что приказали.

— Не дрейфь, друг. Теперь стучись к Митину, попроси у него соль, что ли.

— Понял, гражданин.

Бородач находился в состоянии шока, но делал то, что ему приказывали. У него даже голос оставался натуральным.

— Слухай, сосед! А чи не найдется у тебя соли?

Открылась дверь.

— Ну чего тебе?

Бородач отскочил, и перед Митиным в полный рост появилась фигура Становского.

— Здоров! Вот и встретились! — Становский грудью втолкнул предателя в комнату. — Оружие имеешь?

— Нет.

— Обыскать!

Жена Митина чуть ли не в голос:

— И за что его! Ничего он такого не сделал. — Остановившимися глазами она глядела на Становского.

— Одевайся, Митин!

Лицо предателя мраморное, руки не слушаются. Он никакие мог найти шапку.

Ему помогли одеться.

— Куда же это меня? — выдавил он.

— Сам знаешь. Тебя ждут не дождутся, загулял, дружок. А ну, марш!

Вели Митина по тайным тропам — так исключались самые крайние неожиданности.

Луну накрыли черные тучи, ударил с востока ветер, и завыла пурга, снежная, морозная. Ни зги не стало видно, перепутались тропы, лес стал каменеть.

Остался один ориентир — подъем. Будешь подниматься — попадешь на яйлу, нет — можешь угодить в Ялту.

Но подъем бывает всякий, а сил у партизан, в отличие от сытого предателя, кот наплакал. В этом физическом неравенстве и таилась опасность.

Митин-то внимательно следил за партизанами!

Тропа завела в тупик. Впереди каменная стена, обледенелая, недоступная. Дорога только назад, но назад нельзя.

Выбрали затишек и застыли, хватая легкими морозный колючий воздух.

Митина привязали к Позднякову, намертво привязали, связали и ноги.

А метель не сдавалась.

Час, другой, третий. Глубокая ночь, и далеко-далеко до рассвета.

Неужели конец? Митина, конечно, можно убить, а как самим?

Митин все отлично понимал. Он видел, как иссякают силы партизан. Умел рассчитывать. Соображал: партизаны, прежде чем погибнуть, убьют его, наверняка убьют. Тут арифметика проще пареной репы.

— Я выведу вас! — неожиданно предложил он.

— Как и куда?

— Я найду нужную тропу и поведу в Стильскую кошару.

— Ты знаешь, где мы находимся?

— Секрета большого нет.

— Почему вы не напали на нас?

— Нападут! Я знаю, когда.

— Что же ты хочешь?

— Обещайте жизнь, спасу вас.

— Нет, сволочь! Сами дойдем, на пузе приползем, но заставим тебя смотреть людям в глаза. Только потом глотнешь пулю!

К рассвету одолели ледовую скалу и вышли на яйлу.

Митин понимал, что это конец.

В отряд его привели седым. Расстреляли.

Донесение о том, как поймали Митина, и протокол его допроса несли по тайным лесным тропам, через автомагистраль Симферополь — Алушта, партизанские ходоки к горе Замана, мимо ее подножья, в пойму реки Бурульча, и дальше — в штаб самого командующего Мокроусова.

Рассказывали: Алексей Васильевич, прочитав рапорт вслух, сказал комиссару Мартынову:

— Серафим Владимирович, ведь хлопцы… того, могут, а?

— Так воспитывали же, Алексей Васильевич.

17

Увод Митина с Грушевой поляны ошеломил южнобережных карателей. Ведь нарушилась толково продуманная и организованная охрана главной магистрали.

Надо заметить, что немцы не очень старались посылать своих солдат на дальние заставы и секреты. Гоняли туда румын, полицаев, и тут главную скрипку тянул Митин. Скрипачу оторвали руку, и расстроился весь оркестр.

И Кривошта точно воспользовался этим и еще сильнее навалился на магистраль. Он расширил район ударов, дошел до Байдарских ворот. Через день, а то и каждый день ялтинские партизаны пробирались на магистраль и не только ночами, но и днем обрушивались на машины врага. Весной 1942 года магистраль Алушта — Ялта — Байдары считалась у немцев самой опасной в Крыму.

Кривошта был не только отличным тактиком, он умел еще и выдвигать все новых и новых героев партизанской борьбы. Так, с его легкой руки выдвинулся Михаил Вязников, парторг отряда и командир боевого взвода.

До войны Михаил Григорьевич заведовал молочнотоварной фермой Гурзуфского военного санатория и был там секретарем парторганизации. Наружностью Вязников меньше всего напоминал боевого партизана. В пальто старого покроя, с узким бархатным воротником…

Вязников старался подражать командиру. Чем сложнее обстановка, тем спокойнее был Кривошта. Война — работа, а в любой работе торопливость ни к чему. Как известно, быстрота и торопливость — далеко не одно и то же. Быстрота — это прежде всего выверенная точность. Такой точности и учился у Кривошты Михаил Вязников.

Это помогало ему и сквозь засады добраться да цели, и найти выгодное место для удара, и не спеша напасть, и взять трофеи и уйти. А уйти-то и труднее всего! Враг знает: партизанам: надо выйти на яйлу. Он приводит в движение сложнейшую систему тайных секретов и засад. Тут-то и требуется та выдержка, которая, прямо скажем, дается не всем, порой даже смелым людям.

А вот Вязникову давалась! Давалось ему и другое…

В каждом партизанском отряде были люди, считавшиеся до некоторой степени балластом. Проводили свою лесную жизнь то на посту у землянок штаба, то на кухне, и постепенно создавалось мнение, что тот или иной человек только к караульной службе и годен.

Так было с Семеном Евсеевичей Зоренко. Мало кто обращал внимание на молчащего «вечного часового». Но порой этот человек умел и возмущаться. Однажды он сказал Вязникову:

— Ну что я не видел у этой проклятой плащ-палатки? — и ткнул прикладом в дверь штаба.

Сказано было серьезно. Вязников промолчал, но стал присматриваться к земляку. Вспоминал прошлое Семена. Был один случай, когда Зоренко удивил всех.

Как-то он оказался на молочной ферме. Было жаркое лето, воды коровам не хватало. Осыпались траншеи. Их нарыли еще весной, да бросили — не было нужных труб.

Он неожиданно набросился на Вязникова:

— Что вы скот губите?

— Нет воды.

— Почему?

— Не дали труб.

— Каких и сколько?

Вязников объяснил. Семен выслушал, ушел.

Вечером у фермы остановилась трехтонная машина, до отказа нагруженная трехдюймовыми трубами. Из кабины выпрыгнул Зоренко.

— Расписывайся в накладной!

— Кто прислал трубы?

— Неважно, оформляй!

Через несколько дней Вязникова вызвал следователь для

выяснения, как трубы попали на ферму.

Зоренко работал кладовщиком строительной базы санатория. Его обвинили в превышении полномочий, дали год принудительных работ с удержанием двадцати процентов из заработка.

Сколько ни пытался Вязников выяснить у Зоренко причину, толкнувшую его на такой рискованный шаг, Семен отмалчивался.

«С характером человек», — думал Михаил Григорьевич.

Отряд голодал, люди изнемогали. Пришел такой момент, когда любая удачная продовольственная операция стала важней боевой.

Вязников упорно следил за проселочной дорогой между деревней Никита и Никитским ботаническим садом. И наконец дождался румынского обоза.

Румыны не сопротивлялись, просили только сохранить жизнь. Сами отпрягли лошадей и отдали их партизанам. Один молодой солдатик даже мешочек соли предложил, что было не менее ценным, чем мясо.

Трофеи благополучно доставили в отряд. Конина на время спасла людей от гибели.

В это время в штабе нашего района возникла идея взрыва моста под Гурзуфом. Саперное дело знал бухгалтер Николай Иванович Туркии. Он и часовщик Кулинич изобрели партизанскую мину. Дело было за диверсантами.

Группу возглавил Вязников. Он повел старых наших знакомых Смирнова, Болотина; пошел, конечно, и Туркин. Все как будто складывалось хорошо. Сделали передышку, разлеглись на подсохшей тропе. Передохнули, стали собираться в дорогу, но… Николай Иванович Туркин не поднялся.

Он умер от разрыва сердца. А без Туркина как без рук: никто не знал подрывного дела.

Группа вернулась, не выполнив важного задания.

Вязников тяжело переживал неудачу. Тогда к нему и подошел Зоренко. Удивленный решительным видом «вечного часового», Вязников спросил:

— Что сказать хочешь?

— Возьми меня на мост. Я взорву его.

— Ты знаешь саперное дело? — удивился Михаил Григорьевич.

— Немного знаю. И мост знаю, сам его строил.

Вязников посмотрел на Семена и понял, что этот парень просится не случайно. Он из тех, кто долго молчит, а потом возьмет и выкинет такое коленце, что только ахнешь. Доставка труб — разве не коленце?

— Хорошо, Семен, я доложу командиру.

Кривошта не сразу согласился. Да и можно было его понять: человек-то никак себя не проявил. Подрыв моста — операция трудная. Сорвется она — уже не повторишь. Кривошта мог действовать только наверняка.

— А как размышляет комиссар?

Кучер ответил без задержки:

— Я против! Пусть охраной занимается. Кто на что способен…

Вязников не согласился с молодым комиссаром:

— А где мера способности человека? Я верю Зоренко и с ним взорву мост.

Кривошта решил:

— Мост рвать надо, другого варианта нет. Веди, парторг!

На этот раз состав группы изменился. Решили взять тех, кто отдохнул и физически был покрепче. Из прежнего состава, кроме Вязникова, пошли только маляр Смирнов, алупкинец Агеев, Михаил Абрамович Шаевич и еще один человек, о котором стоит сказать несколько слов. Он был смел, и в дневнике Ялтинского отряда можно встретить такие пометки: «В бою отличился Капустин». Часто напрашивался на операции, первым кидался за трофеями, но был прижимист, между делом мог припрятать провизию, взятую у врага, а потом тайно съесть.

Но разобраться в Капустине не успели, хотя комиссара его поведение беспокоило.

Кучер однажды спросил:

— Что с тобой?

— Не знаю.

— Пойдешь в бой?

— Я голодный, товарищ комиссар.

— А мы сыты?

— Пусть походят с мое другие!

— Довольно! Следующий выход твой. Ясно?!

Поход к мосту и был этим выходом.

…Я ждал рапорта командира отряда о выполнении диверсионного задания. Но Кривошта молчал. В чем дело? Решили пойти в отряд.

Яйла распухла, снег как бы вздыбливался. Шагать было до ужаса трудно. А шли так: впереди проводник, за ним след в след мы. Пройдешь сто шагов прольешь сто потов.

А у меня еще нестерпимо болят ступни, хоть криком кричи. А как им не болеть? Обычно я ношу обувь сорок первого размера, а тут пришлось нарядиться в трофейные ботинки с низким подъемом, да еще на номер меньше. Они железными клещами

обхватили мои ступни и непрерывно казнят их. С ума можно сойти!

Почти в беспамятстве добрался до ялтинцев, миллион раз проклиная яйлу, мою мучительницу, ботинки и Кривошту, который так долго выполняет важный приказ…

Каждый поймет мое состояние.

В отряде Кривошту не застал — он пошел на Ангарский перевал бить фрицев, так доложил комиссар Кучер.

— А кто ему позволил?

— Товарищ командир района, он же не на прогулке! — ответил Кучер.

— Ваш командир будет наказан. Почему нет рапорта о результатах диверсии?

— Ждем, товарищ командир! Четвертые сутки ждем.

— Немедленно снарядить встречную группу.

Комиссар с тремя партизанами ушел на розыск вязниковской группы.

Я осматриваю лагерь, санитарную землянку, шалаши. Все выглядит, прямо скажем, убого, но все-таки порядок чувствуется. В шалашах сыро, но тряпье свернуто и аккуратно сложено. Партизанский котел чист. Одежда на партизанах не висит лохмотьями, хотя потрепана изрядно.

А с Вязниковым случилась беда.

Они без происшествий подошли к мосту, пригляделись. Подождали, пока сменится охрана. Было холодно. Немец в какой-то странной кацавейке топтался на мосту и что-то напевал. Его убили ударом приклада по голове.

Потом сняли того, что стоял у сторожевой будки.

— Семен, давай!

Зоренко долго возился под мостом, но Вязников не торопил его, хотя Шаевич нетерпеливо дергал за рукав.

Перед самым рассветом вспыхнул бикфордов шнур. Семен отбежал к товарищам, а потом все вместе они пересекли по диагонали крутой откос и спустились на шоссе.

Будто горы раскололись: мост медленно стал подниматься в небо, а потом рассыпаться на части. Заряда хватило бы- на десять таких мостов, но боялись просчитаться и переизлишествовали.

Вязникова оглушило ударом, он на секунду потерял сознание, но быстро пришел в себя.

Бежали через поля лаванды, потом мимо озера и на крутой склон Авинды.

Немцы напали на след. Разрывные пули хлопали над головами партизан. Семен, отстав от своих, залег за камнями и прицельными очередями из автомата уложил на тропе троих

преследователей. Остальные ушли в долину.

Измученные и усталые, вышли на Никитскую яйлу. Семен был героем дня, над ним подтрунивали. Шаевич, любящий побалагурить, сказал:

— Это же не по правилам! Сидел сиднем, посапывал в обе сопелки, а потом нате вам: герой. Не признаю!

Капустин всю дорогу молчал, как будто на него ничего не действовало: он сам по себе, а все остальные сами по себе.

Зашли в заброшенную Стильскую кошару, решили отдохнуть, а утром податься в отряд. С хорошими вестями…

Разожгли маленький костер, начали сушить обувь, греть чай и готовить незатейливый ужин — варить конину.

Согревшись и обсушившись, улеглись спать. Вязников распределил дежурства.

Похрапывали усталые партизанские диверсанты. Шаевич что-то говорил во сне.

К рассвету Зоренко разбудил Капустина. Тот быстро проснулся, будто и не спал.

— Давай дрыхни, — сказал он и засобирался на пост.

Зоренко свернулся калачиком, стараясь как можно скорее уснуть. Но странно: что-то тревожило его. Он ворочался с боку на бок, потом замер. В полудреме заметил, что у Капустина в руках кроме автомата и граната.

— Зачем тебе эта штучка? — спросил он шепотом, боясь разбудить спящих.

— Поржавела артиллерия, хочу почистить, — равнодушно сказал Капустин. — Впрочем, хрен с ней, пойду погляжу вокруг. — Он вышел.

Буквально через несколько секунд в просвете, где когда-то была дверь, мелькнула фигура Капустина. Размахнувшись, он бросил одну за другой две гранаты в партизан… Раздались взрывы.

Оглушенный, но невредимый Зоренко схватил автомат, выскочил из кошары, огляделся — никого. Глубокий след по снегу шел за скалу.

Семен вбежал в кошару, увидел убитого Вязникова, рядом с ним бездыханного Смирнова. Уцелевший Агеев перевязывал тяжело раненного Шаевича.

Агеев сказал:

— Идем искать гада. Ничего, далеко не уйдет!

Они выбежали из кошары, пошли по следу. Вдруг за грудой камней мелькнула тень, ударила автоматная очередь. Агеев не успел отскочить, очередь из автомата свалила его насмерть. Зоренко упал под камень.

Капустин начал быстро отходить. Зоренко упорно шел по его следу.

Бежавший несколько раз давал очереди по Зоренко, потом бросил автомат, — видимо, кончились патроны.

Зоренко стал отставать, пришлось и ему положить автомат на приметное место. На крутом спуске Капустин сбросил с себя шапку, пиджак, фуфайку, кинулся вниз. На бегу раздевался и Зоренко.

Расстояние между ними сокращалось.

— Стой, гад!

Поминутно падая, Капустин все бежал, но силы покидали его.

Недалеко от магистрали Зоренко догнал бандита и бросился на него.

Некоторое время они оба лежали неподвижно, не в состоянии вымолвить ни слова.

Наконец, переводя дыхание, Зоренко прохрипел:

— За что же ты нас, гад?

— Слушай, отпусти… Пойдем к немцам, скажем, что убили главных партизан, покажем трупы… Что здесь, с голоду подыхать? Всем каюк, я не могу жить голодным…

— Нет, тебе и сытым не жить! — Семен придавил предателя и подобрался к его горлу.

Собравшись с силами, Капустин с яростью стал сопротивляться. Они душили друг друга, кусали…

Почти теряя сознание, Семен задушил бандита…

* * *

На этом месте своего повествования я сделаю одну важную оговорку. В 1949 году я писал об этом трагическом эпизоде. Один из читателей сказал мне: «А знаете, Капустин весной 1942 года появлялся в Алупке, служил у гестаповцев, а потом исчез».

Сообщение было очень важным, но никаких доказательств, подтверждающих его, обнаружить не удалось. На всякий случай, переиздавая свой рассказ, я изменил фамилию Капустина.

Теперь я располагаю точными данными: да, Капустин, к сожалению, остался жив. Его случайно обнаружил линейный мастер Ай-Даниля, доставил в Ялту, и там врачи привели его в чувство. Он служил немцам до конца войны и сейчас, по слухам, обитает где-то; только где, на каком клочке земли?

* * *

…Измученный Зоренко вернулся в кошару. Там лежал израненный осколками Шаевич. Однако бывший директор не терял присутствия духа и старался даже подбодрить Семена, не проронившего ни слова.

Разорвав свое довольно чистое белье на бинты, Семен туго перевязал раны Шаевича, потом вышел на поляну перед кошарой, нашел выбоину, начал голыми руками разгребать снег.

Углубил выбоину, обложил ее диким камнем и перенес туда трупы Вязникова, Агеева и Смирнова. Он очень долго возился с похоронами, временами наведываясь к Шаевичу. Тот вел себя с потрясающей выдержкой.

— Ты, Сенечка, мне водички побольше давай, а то у меня нутро жжет. А вообще чувствую себя на сто с хвостиком!

К ночи с похоронами было покончено. На могиле партизан лежали зеленые сосновые ветки.

Прошла еще одна ночь, а чуть свет Зоренко взвалил на спину Шаевича и потащил его по покрытой снегом яйле.

Днем теплые солнечные лучи разрыхлили снег. Зоренко проваливался по пояс, выкарабкивался и снова шел. Градом катился с него пот.

Шаевич молчал; он знал, что уговоры бросить его не помогут. Но он не мог сдержаться. Само вырвалось:

— Семен, слушай! Я даю толковый совет. Ты остановись, спрячь меня надежно, а сам топай. Скорее дойдешь, скорее и ко мне придут. Дело же говорю, слушай, Сенечка. Я в отцы тебе гожусь, башка-то у меня толковая, все так говорят…

Семен молчал и тащил свою ношу чуть ли не на четвереньках.

Их нашли под Кемаль-Эгереком, всего в километре от лагеря.

И вот они лежат в штабной землянке. Заросшие, худые, кожа да кости, с глубоко запавшими глазами. Шаевич еще пытался улыбнуться, но улыбка была такая, что хотелось рвать на себе волосы. А Зоренко молчал.

Проходили дни. Как-то Зоренко без вызова явился в штаб.

Партизанская слава — как вспышка костра, осыпанного порохом. Она пришла к Семену Зоренко в весеннее половодье 1942 года.

Я не знал в Ялтинском отряде человека молчаливее и угрюмее Семена Евсеевича, как не знал и партизана выдержаннее и расчетливее, чем он. Летели мосты на горных дорогах под Ялтой, у Байдарских ворот, на Костельском перевале недалеко от Алушты.

Через два месяца Семена Зоренко принимали в партию.

Неожиданно он спросил у коммунистов:

— Разрешите мне носить партийный билет Вязникова?

— Но его нет! Билет в могиле!

— Нет, он у меня! — Зоренко вынул завернутый в платочек партийный билет, хранившийся у него на груди.

Комиссар Кучер сказал:

— Ты давно носишь билет нашего парторга. Товарищи коммунисты, предлагаю партийный стаж Семену Зоренко считать со дня смерти Михаила Григорьевича Вязникова.

18

В 1948 году в один из пасмурных осенних дней я сидел на ялтинской набережной. Больной, с изнуряющей температурой, раздраженный, смотрел я на матовую гладь моря. Не хотелось ни встречать никого, ни говорить ни с кем. Прятался за густым тамариском.

Но меня все-таки окликнули по имени и отчеству. Передо мной оказалась бывшая партизанка Ялтинского отряда Александра Михайловна Минько; рядом стояла незнакомая женщина.

Александра Михайловна представила ее:

— Людмила Ивановна Пригон… Да ты наверняка о ней-наслышан.

Пригон?.. Пригон… Фамилию я, кажется, слышал давно, очень давно. Но в связи с какими событиями?

— Кореизская больница, тысяча девятьсот сорок второй год, подсказывает Александра Михайловна.

— Доктор инфекционной больницы, да?

Людмила Ивановна улыбнулась и протянула руку.

— Ее исключили из партии! — сказала Александра Михайловна. — Можешь помоги.

Ей, Людмиле Пригон, орден надо давать, а у нее отобрали партийный билет!

Что я могу сделать?

И все-таки я попытался помочь Людмиле Ивановне. Добрался до обкома партии. Там ничего конкретного не обещали, но были вежливы и посоветовали:

— Пусть она не спешит, работает. Врачу дело найдется. Поживем увидим. Будет душу вкладывать в работу — ворота ей в партию открыты.

Как мог, я успокаивал Людмилу Ивановну. Хотелось знать подробности ее жизни в дни оккупации, добыть конкретные факты, которые подтвердили бы, что она достойна лучшей участи, но я мало в чем преуспел. Она качала головой, с грустью говорила:

— Это теперь ничего не значит! Не поверят…

А я факт за фактом восстанавливал ее биографию…

Предвоенные годы…

Людмила Пригон молода, скромна, воспитана в спокойной и уравновешенной семье служащего. Она врач, ее уважают, у нее отличное здоровье. Что еще надо?

Ее, совсем молодую, избрали депутатом местного Совета. Сидит на сессиях рядом с директором своего санатория, очень уважаемым человеком, Михаилом Абрамовичем Шаевичем, к ней обращаются по имени и отчеству, ее избирают в депутатскую комиссию. А через год сам Михаил Абрамович рекомендует ее в ряды кандидатов партии, ручается за нее.

Война, Людмила Пригон — врач медсандивизиона кавалерийской дивизии. Синяя юбка, армейские сапоги, гимнастерка, бекеша, попона и седло, смирная лошаденка и непроходящая боль в суставах от бесконечных маршей.

Трудно привыкать южанке к болотам и топким перелескам… Бри, окружение, раненые, попытки поухаживать за хорошенькой врачихой…

Ей повезло — не одинока. Есть землячки. Всегда рядом медсестра из Ялты Нина Григорьевна Насонова, кремень, а не человек. Все разузнает, нужное раздобудет, правду выколотит, никому не даст в обиду.

Людмила Ивановна, так думали о ней, совсем была не для войны. Поглядят-поглядят на нее, да и спросят: а ты откуда тут взялась?.

Вон Мария — настоящая солдатка! «Мария, Мария! Марию вперед! Позовите Марию!» А киевлянке Марии всего семнадцать лет. Где-то в подлесках Мозырщины прибилась она к сандивизиону. На девичьих плечах выносила с поля мужчин, вытаскивала их из трясин, болот, могла пойти за ними к самому дьяволу в зубы, только бы спасти еще одного солдата.

Марию смертельно ранили.

Не помнит Людмила Ивановна, когда и как это случилось; то ли когда ее коллеги врачи боролись за жизнь Марии; или когда стало ясно, что борьба эта безнадежна; а может быть, в ту памятную минуту во дворе Оржицкой больницы на похоронах солдатки-киевлянки поняла: сама становится солдаткой.

Она не испугалась плена, куда неожиданно угодил весь сандивизион. Ее и землячку Насонову, которая буквально опекала подругу, переводили из одного лагеря в другой, допрашивали, держали без пищи. Она знала главное: я врач, я нужна людям. До смертельной усталости заботилась о раненых пленных, отдавала им паек…

Неожиданно подруги попали в число заложниц. Испугались, конечно, но вида не показали, мучительно соображали, как быть.

Повели на расстрел. Нашелся добрый человек и среди немцев. С сожалением смотрел на молодую женщину, потом не выдержал, оглянулся и быстро шепнул:

— Доктор, выдавайте себя за местных жителей, только за

местных!

Колонну остановил офицер, с каким-то холодным равнодушием спросил:

— Есть среди вас местные жители?

— Есть! — смело откликнулась Насонова, вышла вперед, потянула за собой Людмилу Ивановну.

Офицер прдошел ближе, уставился глазами на Насонову:

— Откуда?

— Здешние, из Лубен! — уверенно ответила та. — Она врач больницы, а я медсестра.

Офицер подумал, еще раз заглянул в глаза женщинам, а потом крикнул:

— Убирайтесь прочь!

Уходили не оглядываясь, выстрелит в спину — пусть.

Их собралось четверо медичек-крымчанок: беда свела вместе.

Шли на юг.

В те дни дорога мерялась не километрами, а тем, как повезет на ней. «На кого какая планида выпадет», — так сказал крымчанкам однажды в каком-то глухом хуторке дед Сидор. Он снабдил на дорогу салом и теплыми шапками, сшитыми из попон.

— Берегите, бабы, головы! Ныне вашу сестру более всего по голове грюкают. Ничего, я добрую подкладку подложил, выдюжит и полицейскую нагайку.

Шли женщины на юг. Спали, где ночь застанет, боялись комендантского часа, человека с ружьем, питались чем бог послал. Надежда была только на добрых жалелок-солдаток. Принимали, делились бабским горем, снаряжали в дорогу.

Шли четыре женщины, пряча под тряпьем красоту, опасную в те дни спутницу. Не приведи бог попасться на глаза сытому «самостийному» полицаю или оккупанту!

Людмилу Ивановну не узнала бы мать родная: на голове шапка деда Сидора, похожая одновременно и на Капелюху и на татарский малахай. Из бекеши что-то выкроено — не то пальто, похожее на одеяло, не то одеяло, похожее на пальто.

Киев встретил взорванным Крещатиком и виселицами. Но мертвые уже не пугали.

В Крым, в Крым!

Два с лишним месяца тянулась эта дорога.

На тихой степной станции тайком забрались на платформу эшелона с паровозом, глядящим на юг. Их нашли, по ним стреляли, только выдержка Насоновой спасла им жизнь. Насонова заставила всех ползти по-пластунски.

Через день Людмилу Ивановну задержал полицай. Он ударил ее по голове и пихнул ногой. Шапка деда Сидора спасла.

Насонова бросилась на него, он тесаком рассек ей лоб. Тогда четыре женщины кинулись на полицая, задушили его и бросили в густую ржавую траву.

И вот Симферополь. Он кишмя кишел офицерами, заполнен штабами, опоясан концлагерями. Патрульные строги, полицаи злы. Немцы не замечают горожан, они озабочены.

«Партизаны! Партизаны!» О них только и разговор.

Остановились у подруги Насоновой, Оли. Она ахнула, когда узнала, что Насонова и Пригон собираются в Ялту.

— И не доберетесь туда! Режим страшный. Там кругом партизаны.

Нет, только домой!

Тогда-то Людмила Ивановна впервые подумала о Шаевиче, своем бывшем директоре. Он наверняка в отряде где-то за Ай-Петри. И Алексеев, директор санатория «Субхи», свой человек, товарищ отца, должно быть, там. Не может того быть, чтобы не добралась до них.

Знакомая Насоновой уговорила румынского офицера, и он за три бутылки вина пообещал доставить женщин в Ялту.

Румыны посадили их в фанерный кузов грузовика, строго-настрого предупредив:

— Обнаружат — мы вас знать не знаем. Сами тайком залезли в кузов, а мы вас и не видали.

Дорога на Ялту была разбита, машину часто останавливали патрули.

На Ангарском перевале контроль был особенный. Немцы, видать, боялись заглянуть в кузов, они протыкали фанеру лезвиями штыков. Насоновой пропороли плечо, но она не охнула.

И вот Ялта! Страшно глядеть на город: грязь, зловещая тишина улиц, кованые сапоги жандармов.

Ночевали у родных Насоновой. Они приняли вроде с радостью, но боялись, не позволяли даже подойти к окнам.

Насонова отдохнула, а потом решительно заявила:

— Покажусь на людях, пройду всякие регистрации. Дальше могилевской губернии не пошлют!

Регистрация на бирже прошла удачно; мало того, Насонову направили на работу в городскую поликлинику.

Людмила Ивановна раздумывала: как ей поступить? Кандидат партии, депутат… По-всякому может обернуться. Но прятаться не было смысла, так или иначе, но люди будут знать, что она существует и живет в Ялте.

— Рискнем! — сказала Насонова.

Вышли вдвоем на набережную, Нину Насонову узнали, кланялись, перекидывались с ней словами. А вот Людмилу

Ивановну никто не узнавал, даже хорошо знакомые проходили мимо.

Жизнь научила наблюдать за людьми. Счастливых среди них не было, а вот примирившиеся с обстановкой попадались, хотя и редко.

Вот идет пара пожилых. Он прихрамывает, лицо у него округлое, сытое. Этому человеку, видать, не так уж плохо живется.

— Кто он? — спрашивает Людмила Ивановна.

— Обер-врач биржи Петрунин! — сплюнула Насонова.

А вот еще один знакомый. Лицо напряженное, глаза пристальные.

Он узнал Людмилу Ивановну и очень обрадовался.

— Людочка, как это хорошо! — Это доктор Василий Алексеевич Рыбак, человек сильный, с характером. Он всегда восхищал Людмилу Ивановну. Появилась! Ну-ка расскажи о себе!

Насонова оставила их на время, побежала к какой-то знакомой, а они уединились на скамейке под платаном.

Василий Алексеевич выслушал ее с большим вниманием, помолчал. Взял за руку.

— Я не могу тебе не доверять. Признаешь мое старшинство?

— Да, Василий Алексеевич.

— Так вот, Люда. Меня оставили на подпольную работу. Жду человека с гор. Но его нет. Четвертый месяц жду. Не знаю, что и подумать. Партизаны там действуют активно, особенно в этом месяце. Но вот человека нет, а я уже на прицеле гестапо. Чувствую это, догадываюсь. Надо что-то делать. Я тебе открою еще один секрет. Мне было заявлено: ежели не будет связного через три месяца, то связывайся со своим двоюродным братом, который живет в Ново-Алексеевке. Дали пароль. Короче, Люда, ты должна пойти в Ново-Алексеевку и найти моего двоюродного брата. Ты согласишься на такое опасное дело? Говори честно.

— Да, я согласна!

Доктор поцеловал ей руку.

— Спасибо.

Ночью побывала в Гаспре, обняла родителей. С матерью поплакала. Отец, Иван Федорович, смотрел на дочь и никак не мог насмотреться. Мать, Юлия Иосифовна, спросила напрямик:

— Куда нее теперь, доченька?

— Вернусь через неделю, подумаем.

— Тебя схватят.

— Уйду в партизаны.

— Там голод, народ говорит.

— Как всем, так и мне.

Утром простилась и ушла в Ново-Алексеевку.

Дорога была неблизкой, но по ней шел человек, прошедший в десять раз больше, много повидавший и, что самое важное, знающий, что ему надо.

Дошла без приключений.

Двоюродный брат- доктора должен был работать сторожем питомника, так говорил Василий Алексеевич.

Туда она и пошла, присмотрелась, нашла пожилую женщину, обвязанную платками, спросила, где ей найти такого-то человека, она принесла ему доброе слово от брата.

Женщина шарахнулась в сторону, оглянулась вокруг, потом прошептала:

— Убили бедненького, вчера убили. Ты уходи, а то в беду прпадешь.

Будто перед пропастью оказалась. Что же дальше?

Ходила вокруг питомника, еще одного человека расспросила. Тот пристально посмотрел на нее, нахально улыбнулся:

— Шлепнули твоего молодчика.

Спохватилась: надо уходить!

Но нельзя было миновать ново-алексеевский базар. Ведь она шла менять вещи на зерно: так отвечала всем.

Вот и базар, шумный и бестолковый. Выменяла пальто на полмешка пшеницы, перекусила и стала собираться в обратную дорогу.

Только взвалила мешок на плечо, кто-то взял за рукав. Повернулась Асанов! Форма на нем полицейская.

Асанов! Бывший председатель курортно-поселкового Совета. В этом Совете она была депутатом…

— Ну, здравствуй, здравствуй, мой депутат!

Похолодело сердце.

— Зачем зашла так далеко?

— На базар пришла.

— Издалека пришла! — Асанов посерьезнел, подошел ближе. — Зачем ходила в питомник, а?

Ответила совершенно спокойно:

— Шла мимо, на отдых напросилась.

— Спрашивать больше не буду. Все знаю! Твой человек расстрелян! Но тебя, Пригон, я спасу. И знаешь почему? Не за красивые твои глаза. Ты человек порядочный, придет ко мне беда, ты поможешь. Поможешь?

Людмила Ивановна растерянно смотрела на него.

Асанов заметил какого-то офицера, принял официальный вид, стал кричать:

— А ну уходи прочь, баба! — И тихо шепнул: — Запомни, что

сказал!

Ушла. Страха не было, но было что-то похуже — омерзение.

Ялта встретила более страшным: арестован и расстрелян доктор Василий Алексеевич Рыбак.

Вот когда стало по-настоящему одиноко.

Насонова успокаивала:

— Людочка, надо жить.

Затихла в доме родителей, никуда не выходила, ни с кем не встречалась.

Но о ней уже знали власти. Неожиданно вызвали на ялтинскую биржу.

Она пришла на биржу, увидела Петрунина. Тот только кивнул головой и сразу скрылся. Обида захлестнула Людмилу Ивановну. Вдруг она вспомнила рассказ о том, как встречали его, когда он приезжал в санаторий на консультацию, дарили ему букеты роз.

Зарегистрировали, отпустили, но строго предупредили: никуда не отлучаться!

Вечером в домик пришел знакомый человек, бывший шофер, санатория «Субхи» Нафе Усеинов. Она знала его чуть ли не с детства, знала его семью. Старший брат Нафе, Абдулла, — чекист, младшие братья, Ибрагим и Кязим, комсомольцы, сражаются против фашистов.

Но мало ли что… Ведь и Асанов был коммунистом!

Однако Нафе почему-то верилось. Трудно сказать, как складывалась эта вера, может быть, помогло мнение отца… Они вместе работали: отец бухгалтером санатория, Нафе шофером.

Бухгалтеры — народ прозорливый.

— Садись, Нафе, гостем будешь, — сказал отец и сел рядом с шофером.

Нафе сразу начал с дела:

— Людмила Ивановна, тебе скрываться надо. Завтра будет облава.

— Но я на бирже зарегистрировалась.

— Это не спасет. Я шофер общины, мне доверяют они, всякие старосты. Я говорю, я знаю.

Поверила.

— Куда посоветуешь?

— Иди к Михайловой.

— К Елене Николаевне?! — Ушам своим не поверила.

— Она ждет тебя.

— Она меня ждет? Пап, мам, она меня ждет!

Шла ночью, правда лунной, по глухой тропе. И то, что вели ее к очень уважаемому человеку, бывшему земскому врачу,

бессменной руководительнице кореизской больницы, человеку, пользующемуся всеобщим уважением и почетом, — даже самые отпетые перед ней старались быть лучше, — буквально окрыляло Людмилу Ивановну.

Елена Николаевна, седая, семидесятипятилетняя, со спокойными глазами, встретила ее запросто.

— Здравствуй, Люда. — Поздоровалась и вышла на время. Большая комната, старинная обстановка, часы с двумя бронзовыми ангелочками, книги, тисненные золотом, запах тмина и чебреца, травы на стенах. И покой. Удивительный покой. Никуда бы отсюда не ушла.

Но вошла хозяйка, окликнула:

— Пойдем, Люда!

Елена Николаевна вела по саду, потом по крутой тропе, освещенной луной. Пересекли овраг, из полутемноты выросло барачного типа здание инфекционного отделения.

— Хорошенько вытирай ноги, — по-домашнему сказала Михайлова.

Вошли в длинную комнату, скупо освещенную керосиновой лампой.

— Здравствуйте, товарищи!

«Товарищи»! Людмила Ивановна еле сдерживалась.

— Доброго здоровья, товарищ доктор!

Мужчины солдатского возраста лежали на кроватях. Чьи-то глаза в упор посмотрели на нее:

— Людмила Ивановна!

— Леонид Николаевич!

Доктор Добролюбов, ортопед детского туберкулезного санатория. В один день призывались на войну. Он майор медицинской службы, коммунист, хороший товарищ.

Обняла его, спросила, кивнув на перевязку:

— Что с вами?

— Стукнули не вовремя. Вот и живу под крышей нашей чудодейки, дорогой Елены Николаевны.

Еще раненые — солдаты, командиры. Их немного, но они в хороших руках.

Тайный военный госпиталь! Это похоже на Елену Николаевну.

С сего часа быть ей здесь, людей лечить, самой жить. Она обняла Михайлову.

— Действуй, Людка! — сказала старая докторша.

Вот это человечище! А каких помощников вокруг себя собрала…

Софья Андреевна Борщ — медсестра, человек вне всякого

подозрения у оккупантов и их холуев. По личной рекомендации Михайловой была устроена в крупном немецком военном госпитале, раскинувшемся в корпусах бывших здравниц «Субхи» и «Роза Люксембург».

Женщина с отличным самообладанием, хорошей головой, наблюдательна и артистична. Великолепно играла роль доверчивой простушки, охотно принимала плоские солдатские шуточки, но еще охотнее опустошала фашистскую аптеку. Лекарства и перевязочные материалы перекочевывали из немецкой аптеки в больничную.

В так называемой гаспринской сельской общине имелась пекарня. Работал в ней симпатичный чудаковатый человек, тихоня Антон Антонович Спраговский. Кто мог подумать, что именно он-то и является главным кормильцем тайного военного госпиталя. Хлеб, мука, сахар, а порой и молоко поступали постоянно. Никакого контроля Спраговский не боялся. Там, где существуют усушка, утруска, припек и прочее, можно и самого дьявола вокруг пальца обвести.

Провизию доставлял в больницу Нафе Усеииов. Он умел ладить с главой общины, каким-то своим дальним родственником.

Бухгалтер больницы Екатерина Владимировна Гладкова, кастелянша Надежда Кузьминична Фомина, операционная сестра Анна Герасимовна Глухова — все эти люди многие годы работали с Еленой Николаевной Михайловой… То был круг верных товарищей, готовых на любые испытания.

В эту семью и вошла Людмила Пригон. Пока жила на нелегальном положении, но в гостиной у Елены Николаевны появлялась и была полноправной участницей вечерних встреч.

Елена Николаевна молча усаживалась в кресло с потертой спинкой. Рядом садилась Екатерина Владимировна Гладкова, будто тень следующая за доктором. Где Михайлова, там и Гладкова. Только в операционную ее не пускали. Но зато спросят: «А где Катерина?» — и из-за дверей тотчас слышится голос: «Я тут, Елена Николаевна».

В гостиной царило молчание. Оно имело свой смысл. Молчит кастелянша Надежда Кузьминична, — значит, в ее хозяйстве порядок; помалкивает операционная сестра Анна Герасимовна — тревожиться за инструмент и специальное белье не стоит. Так молча отчитываются друг перед другом и все перед Еленой Николаевной.

Есть одна тема, которая вот уж сколько месяцев волнует всех, но решение еще не найдено.

Как связаться с Ялтинским партизанским отрядом? Все, что

касается партизанской темы, даже мелочь, не минует гостиной.

Недавно Софья Андреевна рассказала:

— Партизаны побили летчиков, к нам раненые попали, жуть что говорят про партизан. Мол, они пачками спускаются с гор.

А сегодня снова сведения. Только за неделю шесть раз дали о себе знать партизаны. Там машину разбили, в другом месте немецкую связь оборвали, в третьем взорвали склад горючего.

— Они рядом с нами, и мы должны их найти! — сказала Михайлова. — Мы нужны им, наши медикаменты дороже золота. — Она подозвала к себе Усеинова: — Нафе, что же ты молчишь?

— Я был в горах, следы видел, шел по ним, а потом патруль немецкий помешал.

— Нафе, на тебя вся надежда. Я же старая, пойми!

Попрощались. Елена Николаевна задержала Пригон.

— Чайком побалуемся, Люда!

Сидели за столом. Елена Николаевна любила крепкую заварку. Полную ложку сыпала в стакан. Вода густела до черноты. «Аромат!» — говорила аппетитно.

Сели поближе к кафельной печи, к теплу.

— Ты мне расскажи о своих походах. Все расскажи.

Ничего не утаила, даже поход в Ново-Алексеевку.

Выслушала, сказала:

— Ты среди нас одна прошла фронт, понюхала пороху, кое-что повидала. Я стара. Надо найти партизан.

— Я готова, Елена Николаевна.

— Не спеши. Прежде тебя надо официально оформить врачом больницы. Ты должна свободно ходить по поселку.

— Это возможно? — обрадовалась Людмила Ивановна.

Через неделю немецкая биржа труда без вызова в Ялту оформила ее врачом кореизской больницы.

А Нафе часто напрашивается за дровами. Он умеет доставлять для пекарни самые жаркие поленья граба. Пекарь доволен: он, Спраговский, не хочет других дров. Все шоферы ленивы и пьяницы, один Нафе уважаемый человек.

Старосту только одно удивляет: почему Нафе в лесу так долго задерживается?

Сколько раз Нафе прятал машину в густом кизильнике и шел в лес на поиски партизанских троп! Но тропы засыпаны снегом, и нет на них ни единого человеческого следа. Нафе знает: куда успешнее было бы пересечь яйлу и на северных ее склонах искать то, что нужно. Но пересечь яйлу — рисковать слишком многим.

И вот еще одна поездка за дровами. Уже март, снег в низинах подтаял, сырой ветер шумит в кронах высоких сосен.

Что это? След на пятачке снега? Ну да! Кто-то прошел в постолах, совсем недавно. Нафе идет по следу, дальше, еще дальше. След завернул за скалу. Замерло сердце, он набрал воздух, крикнул:

— Кто здесь?

Тихо.

Присвистнул дважды. И — шорох.

Вдруг жандармы? А все равно крикнул:

— Выходи, я один!

Из-за скалы вышел вооруженный человек, до ужаса худой, болезненный. У Нафе сердце зашлось: Алексеев! Его директор!

— Григорий Андреевич!

— Хлеб у тебя есть?

— Я сейчас, мигом!

— Постой. Я за тобой пойду. Смотри мне!

Подошли к машине, Алексеев успокоился — никого постороннего.

Нафе достал хлеб. При виде хлеба Алексеев пошатнулся, закружилась голова.

Он ел медленно; съел немного, остальное спрятал в вещевой мешок.

— Ну, рассказывай!

Все выложил, что знал, подробно о Михайловой, Пригон, Спраговском, о медицинских сестрах, помощницах Михайловой.

Алексеев знал каждого, о ком сейчас слышал. Что-то сильное, огромное захватывало его. Он обнял Нафе.

— Какие вы все молодцы! Я вам верю. А теперь ты меня слушай, и слушай внимательно.

Нафе узнал о том, как активно воюет отряд, но голод стал косить людей. Перво-наперво самое важное:

— Срочно нужны перевязочные материалы и медикаменты, а нужнее всего марля, вата и йод. Много нужно! Придем на очередную встречу ровно через неделю. Место встречи — столетний орех, что в начале тропы в сторону Тюзлера. Поможете продуктами — спасибо, но лишнего шума не надо. Мы знаем, что и вам не сладко.

— А в лес нас возьмете, Григорий Андреевич?

— Не я решаю. Пока! Большой поклон нашим. О встрече должна знать только Михайлова, ну и Людмила Пригон. И больше никто. Ты меня понял?

В гостиной Нафе рассказывает о встрече с Алексеевым. Елена Николаевна и Людмила Ивановна вслушиваются в каждое слово. Нафе часто повторяет:

— Худо выглядит наш директор, очень худо.

Елена Николаевна поднялась, подошла к шкафу, поставила на место томик Достоевского, украдкой вытерла глаза.

— Люда, Насонову можешь встретить завтра?

— Хорошо, Елена Николаевна.

— У нас мало антисептических средств, перевязочного материала. В Ялте больше возможностей, чем у нас.

— Хорошо, Елена Николаевна.

— И самое главное: как думаешь, Насонова в лес пойдет?

— Она и ее муж готовы в любую минуту.

— Это хорошо, очень хорошо.

— Но партизанам нужен врач, Елена Николаевна!

— Об этом я думала. Пока спешить не будем. Давайте готовиться к встречам.

Через неделю встреча состоялась. Людмила Ивановна принесла врачебный саквояж, туго набитый лекарствами, ватой, марлей. Нафе доставил два пуда муки.

Насонова с мужем были экипированы для лесной жизни.

С Алексеевым были еще два партизана. Их фамилии, к сожалению, мне до сих пор установить не удалось. Это были молодые ребята, страшно худые, изможденные. Насонова, увидев их, разрыдалась.

Алексеев очень спешил. Он поблагодарил за помощь, дал наказ: готовьтесь к новой связи; помимо всего, точно решите один важнейший вопрос. Может ли доктор Михайлова принять десять партизан в свой тайный госпиталь? Вопрос обдумайте всесторонне. Риск тут огромный, это помните каждую минуту. Что касается Насоновой и ее мужа, придется обождать до следующего раза. Таких полномочий штаб не давал, и он, Алексеев, не имеет права решать самостоятельно.

Насонова растерялась, стала умолять, хотя было ясно, что Алексеев по-другому не поступит.

— Я не знаю, как мне возвращаться в Ялту. Что я скажу людям?

Алексеев пристально посмотрел на нее, но муж Насоновой опередил его вопрос:

— Не беспокойтесь, никто не знает, что мы здесь. Для всех, кто нас знает, мы уходили в село к моим родным.

19

Кончилась трофейная конина, добытая еще Вязниковым.

Расковывались от жгучих морозов горы, а на побережье начиналась весна.

Отряд голодал. Голод и сырая стужа укладывали партизан в тайные санитарные землянки. Оставалась надежда на продовольственные операции.

Фашисты знали об этой надежде и делали все, чтобы она не осуществилась.

Конина могла спасти от голода, но обозы перестали двигаться по горным дорогам. Они шли на Севастополь далеким кружным путем по равнинам и только днем.

Чувствовалось, вот-вот установим прочную связь с Севастополем, оттуда придут самолеты, сбросят на парашютах продукты, медикаменты. Надежду рождала весна. Партизаны посматривали в небо, но оно пока было закрыто плотными облаками.

Голод, голод…

И вот пришел Алексеев, принес ошеломляющие новости: он связался с кореизскими подпольщиками. Они обещают медикаменты, какое-то количество муки.

Кучер горячился, недоволен был тем, что Алексеев так долго добирался в лагерь — а шел он трое суток, — упрекал, что пришел с пустыми руками: «Мог же прихватить медикаменты!»

Кривошта остудил комиссарскую горячность:

— Ты посмотри на Алексеева! Тень от человека осталась. Хлеб, который он принес, отдать ему! Через двое суток он, только он, пойдет на связь и доставит медикаменты.

Командир был прав. Алексеев если и держался на ногах, то только вследствие крайнего напряжения нервов.

Кучер хотел сам выйти на связь, но в санитарных землянках лежали тридцать бойцов. Он не мог их оставить, не имел права. Десять партизан, видно по всему, уже не поднимутся: нет никакой возможности помочь им.

А если тайком переправить их в Кореиз, в госпиталь Михайловой? С ним согласился и Кривошта. Кое-кого еще можно поднять на ноги — только накормить, но таких, как Михаил Абрамович Шаевич, не поднимешь. Длительное и профессиональное лечение — вот что ему нужно.

Алексеев уходил на связь. Он немного приободрился, был возбужден. Предстояло важное свидание, от него зависела жизнь товарищей. Понимание всего этого и держало его на ногах, было его вторым дыханием.

— А если в отряд будут проситься? — спросил у командира.

— Никого не брать! В таком положении мы не можем брать людей. Они погибнут. Время для этого впереди.

…Медикаменты, которые принес Алексеев, спасли тех, кто уже заглядывал в могилу. Два пуда муки поддержали весь отряд.

Но слишком дорого мы заплатили за этот второй поход. Алексеев напоролся на засаду. Внезапным огнем был убит один из проводников. Спасли медикаменты и муку. Вдвоем несли тяжелый груз, надорвались.

Второй проводник умер у заставы отряда, а сам Алексеев потерял память и лежал в горячке.

Он метался, что-то выкрикивал, звал кого-то. Долго мучился, но жизнь не покидала его, хотя память не приходила. Скончался он внезапно, утром нашли его похолодевший труп.

С его смертью связь с кореизцами оборвалась. Никто не знал, где назначена встреча, кто должен прийти на нее и когда.

Положение становилось трагическим.

Никогда не забуду эту санитарную землянку. Она снится мне до сих пор, и я просыпаюсь в холодном поту.

Вокруг тлеющего костра молча сидят люди. Один парень качается с закрытыми глазами, будто богу молится, не замечает, что на ногах загорелись тряпки. Рядом лежит страшно исхудавший, с гноящимися ранами Михаил Абрамович Шаевич.

— Здравствуйте, товарищи!

Молчание. Никто не отвечает. Только через несколько секунд, узнав меня, Шаевич пытается улыбнуться.

— Как, Михаил Абрамович?

— Мише каюк, видал? — он показывает ногу. — Гангрена.

Сижу молчу, ну что скажешь? Какое найдешь слово утешения? Да и поможет ли оно?

Шаевич тянет меня за рукав:

— Алексеев помер, жалко. Он мне шептал, еще в тот раз, что встречался с Людмилой Пригон, моей врачихой: «Ах, если бы меня к ней!»

— Мы обязательно свяжемся с Людмилой Пригон.

— Ты помолчи, командир. Вот сядь рядом, дай руку и слушай.

И он начал тихо петь, я едва слышал его…

Пот выступил у него на лбу, руки начали холодеть. Стало тихо. Я закрыл ему глаза и вышел.

Невозможно было сдержать слезы, я чувствовал себя в чем-то виноватым. Но что я мог придумать, когда у самого от голода кружилась голова, когда, шагая по тропе, вдруг ощущал, что она уходит из-под ног и кроны сосен начинают плясать.

Правда, сам голод как-то меня не терзал, я уже не хотел есть, трудно было даже языком шевельнуть. Только вот слабость была непреодолимой.

Вот документ тех дней, подлинник его находится в партархиве Крымского обкома партии (фонд 151, опись 1, дело

17):

«Список умерших партизан по Ялтинскому отряду о 26.III.42 г.:

26. III. — При нападении на сан. землянку бывшей 3 группы убиты противником: Сергеев, Пташинский, Горемыкин, Казачек, м/с Николаева.

28. III. — Умер боец Годин, причина — болезнь, грипп.

2. IV. — Умер Афонин — болезнь сердца.

2. IV. — Убиты предателем — Смирнов, Вязников, Агеев.

5. IV. — Умер Качалов, причина — истощение.

7. IV. — Умер Долгов, причина — истощение.

10. IV. — Умер Гарбузов, причина — истощение.

12. IV. — Умерли тт. Болотин, Шостик, Боршинов… Зибарев. От голода.

13. IV. — Умер т. Гребенщиков. Голод.

14. IV. — Умер Гардаш. От голода.

18. IV. — Умер Зуев А. А. От голода.

21. IV. — Умерли Сокольский, Мухин. От голода.

24. IV. — Умер Расторгуев. От голода.

19. V. — Умер Шутенко. От голода.

21. V. — Умер Гришко. От голода.

21. V. — Умер И. П. Дорошенко. От голода.

20. V. — Умер Алексеев. От голода.

21. V. — Убит Пономаренко.

30. V. — Умер Орехов. От голода.

6. VI. — Умер Тимохин. От голода.

10. VI. — Умер Коренюк. От голода.

15. VI. — Умер Кравченко. От голода.

17. VI. — Умер Лобода. От голода.

22. VI. — Умер Загоса Д. В. От голода.

26. VI. — Умер Кузерин. От голода.

26. VI. — Умер Кондратенко В. А. От голода».

Это было бедствие. Казалось, все партизанское движение обречено на гибель. И все живое в лесу — на смерть.

Олени, косули, муфлоны исчезли, как сквозь землю провалились. Их, говорят, видели даже в далеком степном Тархункуте, куда война не добралась, а только отзывалась потухающим эхом.

На Верхнем Аппалахе убили зубробизона Мишку.

Это был старый-престарый самец с мощным торсом, могучей шеей, с гордо посаженной головой.

Мишка не боялся людей. В голодную зиму он приходил в партизанский лагерь, издавал какие-то трубные звуки. От выстрела вздрагивал, высоко поднимая голову, настороженно ждал: а что будет дальше?

Если выстрел повторялся или вообще начиналась стрельба, он бежал к шалашам, издавал тревожно-ревущий звук и нетерпеливо перебирал сильными и легкими ногами.

Мишка не любил боевую позицию, непременно отходил со вторым эшелоном, порой сам выбирая безопасную тропу. Он ни разу не ошибся.

Мишку любили, таскали ему сено, гладили.

И вот Мишку убили, убили, чтобы съесть! Выгнали его на поляну, отбежали от него, и он понял, что его ждет.

Взревел Мишка, низко опустил голову, гибко выгнул спину и бросился на людей. Спаслись только тем, что в один миг вскарабкались на деревья.

Стреляли по Мишке бронебойными пулями, стреляли упорно, но Мишку пули не брали. Окровавленный, с выпуклыми красными глазами, он бодал мощной головой дерево, на котором сидел партизан, стреляющий в него.

Мишка уже «глотнул» дюжину пуль и стал медленно оседать на задние ноги. Снова били по нему, били в упор.

Шкуру обдирали всем отрядом. Поделили мясо, стали варить.

Но мясо не разваривалось. Варили почти сутки, а потом ели нечто похожее на резиновые жгуты. Ели и молчали.

Сойки и те оставили партизанские стоянки — поживиться не было чем. Только порой низко над лагерем пластались черные грифы.

Апрель 1942 года! Двадцать седьмой апрель моей жизни, которая тогда казалась мне такой бесконечной.

Странное это чувство — чувство неожиданного старения.

Я был молод по годам, во всяком случае моложе всех командиров и комиссаров отрядов. Но почему-то никто этого не замечал, и более всех не замечал я сам.

Я в этом убедился позже, уже на Большой земле, когда лежал в госпитале.

Как-то на меня долго-долго смотрел партизан — командир группы, мой сосед по палате, фамилию которого я запамятовал. Он неожиданно сказал:

— Командир, ты же совсем пацан!

Ему было под сорок, но в лесу я возраста его не видел, как и он не видел моего. А сейчас, когда мы стали приходить в себя, все стало на свое место. Я сам смотрел на себя в зеркало и действительно видел нечто похожее на «пацана», и мне самому

показалось странным, как это мне можно было доверить целое партизанское соединение!

…В Ялтинский отряд записалось сто тридцать семь человек, сто тридцать два вышли в горы.

Было сто тридцать два, а в живых остались трое. Только трое свидетелей трагических апрельских дней. Среди них водитель Ялтинского таксомоторного парка Петр Иванович Коваль. Он из тех, кто не терял мужества в десяти шагах от врага и кто заживо гнил в смрадных санитарных землянках.

Ему под шестьдесят, его окружают молодые и шумные водители курортных таксомоторов, среди которых есть так называемые проходные ребята. Их житейская забота: машину иметь получше, рейс повыгоднее, руки не замарать, ногой лишний раз не двинуть. Они смотрят на Петра Ивановича — кандидата в «пенсионники» — как на анахронизм, как на чудака, человека от пройденного мира. И нет им дела до «дяди Пети», до того, что бьется под рабочей курткой молчаливого человека с обрубленной ладонью, коммуниста, которому стаж партийный вернули только пять лет тому назад, — до того самого Петра Ивановича Коваля, который снял с группой партизан цепь карателей в составе ста солдат и офицеров и вогнал их навечно в землю. Нет им дела до Петра Коваля, прошедшего после партизанства Освенцим и Майданек. А если и есть, то только для своей выгоды, чтобы дать пожилому шоферу самую дряхлую машину, действуя по правилу: мол, старый конь борозды не испортит.

Петр Иванович! Мы недавно с тобой вспоминали апрельские дни, помнишь свои слова: «А все-таки мы их били, черт возьми!»

После нашей встречи я искал один важный документ, который с исчерпывающей точностью говорит о духе тех дней, дней не мертвых, а живых.

И я нашел этот документ, нашел в подлинном виде.

Вот он:

«Приказ № 32.

По партизанским отрядам 4-го района,
7/V 42 г.

В целом по району за апрель месяц имеется резкое уменьшение боевых операций. Если в марте имели 36 операций то в апреле всего 18. Так, например, отряд Ялты (я сохраняю подлинность документа даже в

пунктуации. И. В.) в марте м-це был передовым, провел 12 операций. В апреле провели только две диверсии и ни одной операции засадного порядка. Красноармейский отряд провел фактически одну боевую операцию.

Командование отрядов совершенно упустило важнейший фактор работы войсковую разведку.

Примером изворотливости, умения сочетать борьбу с трудностями проведением боевых операций служит — Бахчисарайский отряд. Бойцы и командиры отряда находясь в одинаковых условиях с другими отрядами предмайское соревнование отметили боевыми операциями. Личная гигиена этого отряда несравнима с другими отрядами, где командование не сумело при наличии трудностей быть организованными и достойными руководителями бойцов-партизан, порой доходя до упадничества (Акмечетский отряд). Командование Бахчисарайского отряда дает хороший пример организации боевой разведки, результат которой очень нужен для н/частей в Крыму. Сейчас в период напряженной борьбы на участках Крымского фронта, когда части Красной Армии громят врага приближая час освобождения Крыма, никакие лишения и трудности не должны останавливать борьбу с врагами, понизить нашу боеспособность.

Приказываю:

1). Командованию отрядов немедленно поднять активность боевых групп, ввести в практику отряда беспрерывность выхода групп на операции по разрушению линий связи, минированию дорог, уничтожению техники и живой силы пр-ка. Операции проводить в соответствии с планом и указаниями райштаба.

2). Особое внимание уделять войсковой разведке в населенных пунктах и местах дислокаций пр-ка. Разведчикам передавать без промедления грамотные, суммированные данные. И это считать одним из серьезнейших операций и фактором непосредственной помощи фронту.

3). Больше уделять внимание боевым группам, создавать для них привилегированные условия быта, в первую очередь и в большем количестве выдавать продукты. Обеспечить отдыхом в промежутках между операциями.

4). Комиссарам отрядов к 1 и 15 числам каждого

месяца представлять в райштаб донесения о моральном состоянии и проведении политико-воспитательной работы среди бойцов, особенно при этом освещая меры связанные с политобеспечением участвующих в операциях.

5). Принятием административных и политико-воспитательных мер в ближайшие дни добиться ликвидации вшивости, антисанитарного состояния бойцов и лагерей. Организовать починку белья, ремонта обуви, стрижку и бритье бойцов.

Ком. политсостав отрядов должны личным примером возглавить поход за культуру, помня при этом, что хорошее сан. состояние бойцов залог их боеспособности.

6). При посылке бойцов в населенные пункты как правило включать в группы политически грамотных, способных хорошо разъяснить населению приказы № № 55 и 130 т. Сталина, могущих провести с населением беседу о текущем моменте. Каждый агитатор посылаемый в населенный пункт должен быть лично комиссаром отряда проинструктирован.

С приказом ознакомить командный состав отрядов, командиров и политруков взводов — включительно.

Командир района

Комиссар района

Начштаба».

Подлинник приказа находится в Крымском облпартархиве

(фонд 151, опись 151, дело 17, лист 11–12, обратн. сторона).

Приказ, конечно, не ахти какая находка, самый что ни на есть рядовой из рядовых. Но важно, в какое время, в какой обстановке мы его издали.

Пехоту поднимают в атаку после артиллерийской подготовки, которая, казалось, на позиции врага и камня на камне не оставила. Но нелегко и в такую атаку ходить, ибо непременно найдется ожившая огневая точка. А каково без артиллерии — и прямо на пулеметы!

Когда я думаю о тех весенних днях сорок второго года, то мне кажется, что мы с рассвета и дотемна ходили в атаки на

пулеметы. Тогда в санитарных землянках умирали раненые и голодные, а в куренях, наспех прикрытых палой листвой, находились живые и думали, как дальше быть.

Я устал. Ах, как я устал! Завернувшись в плащ-палатку, изнемогая от боли в суставах, хотел только одного — согреться. Думы у меня были невеселые. Каким будет завтрашний день? Крым набит немецкими полками, румынскими бригадами, штабами разных мастей. Шумно на рынках. Сизый табачный дым в кофейнях. В Симферополе открыл гастроли драматический театр, в Алупке для немецких и румынских солдат и офицеров распахнулись узорные ворота Воронцовского дворца-музея. Будто немцы забыли, что была подмосковная зима, что тысячи и тысячи трупов их соотечественников закостенели под Волоколамском и Можайском. Они здесь, на моем полуострове, подставив лица мартовскому солнцу, весело гуляли по набережным курортных городков и поселков, водили под ручку легкомысленных девиц. Офицеры постарше званиями выписывали жен из самой Германии, показывали им курортные достопримечательности; весь их напыщенный вид говорил: смотрите, какие мы, солдаты фюрера, викинги двадцатого столетия!

Севастополь еще плотнее обложен войсками, под его стены подтянуты гигантские пушки со звучным названием «Большой Густав». Снаряд такой пушки раскалывает пятиэтажный дом, как щипцы скорлупу грецкого ореха.

Упорство немцев потрясает. Каждое утро в одно и то же время начинают бить пушки самого крупного калибра, потом заголосят корпусные гаубицы, за ними артиллерия — дивизионная, полковая. По-собачьи скулят шестиствольные реактивные «ванюши». Затем наступает тишина. Что она значит — узнаём позже. С левого фланга на правый «пробуют» пехотой — авось найдется брешь в нашей обороне! Не находится. И все начинается сначала…

Я понемногу согреваюсь, теплеет остуженная грудь, а с ней теплеют и мысли. Конечно, трудно. Все меньше и меньше остается нас в боевых рядах. Но мы, черт возьми, живы, живы! Как бы фашисты на полуострове ни считали, что крепко стоят на обеих ногах, все равно им приходится оглядываться по сторонам не только ночами, но и средь бела дня. Мы живем. И, даже умирая, бьем их. В моем кармане рапорт командира Красноармейского отряда товарища Аэдинова, отряда, в котором каждый день от голода погибают два-три партизана. Вот этот рапорт: «Двадцать первого марта группа под командованием лейтенанта Столярова на шоссе Коуш — Бахчисарай уничтожила семитонную фашистскую машину, убила одиннадцать солдат и

одного офицера, взяла следующие трофеи: три автомата, пистолет и пять плащ-накидок. При возвращении в отряд от голода умер сержант Коваленко».

У нас нет продуктов, мы всегда окружены, у нас нет тыла — ни лесных чащоб, ни болот, за которыми можно зализать раны. Наши стоянки вдоль и поперек пересекаются дорогами. По всем законам никакого партизанского движения здесь не должно быть… По законам! Но есть нечто большее, чем закон. Сила духа! Она держит нас в крымском лесу, ведет на дороги, заставляет нашего противника держать на охране коммуникаций десятки тысяч солдат и офицеров.

Сила духа! Я прикидываю: а что там, в лесах Брянщины и Смоленщины, в бескрайнем зеленом царстве Белоруссии, на степных просторах Украины?

И там, конечно, партизаны; и у них, конечно, стойкости не меньше, чем у нас. Может быть, им чуть-чуть легче. Они взрывают мосты, уничтожают машины, пускают под откос поезда. И там полки и полки карателей ведут лесные бои, вязнут в болотах, усеянных водяными лилиями.

Я мысленно переношу себя в те края, и мне становится теплее. Я будто зримо вижу нить, которая связывает нас, крымских партизан, со всем народом, со всей вооруженной мощью моей страны. Да, нам трудно! Но мы — авангард, выдвинутый далеко вперед, авангард главных сил, частицей которых и являемся. Об авангарде помнят, о нем беспокоятся.

Может, в этот час, когда я, прикрытый трофейной плащ-палаткой, предаюсь размышлениям, в Москве заседает Комитет Обороны, толкуют там о нашей жизни, решают: надо помочь крымским партизанам, снабдить отважных лесных солдат необходимым — питанием, взрывчаткой, медикаментами.

…Где-то под Краснодаром один за другим сели девять четырехмоторных тяжелых бомбардировщиков, а ПДС — парашютно-десантная служба — тормошила армейских интендантов, требуя от них продукты, оружие и боеприпасы.

Я не знал об этом, но узнал потом. А вот те, которых мы хоронили наспех, в расщелинах скал, так никогда и не узнают…

20

Сошел с гор снег, лес зазвенел, потеплело, заголубело небо.

И в эти кризисные страшные дни — наконец-то! — была установлена прочная связь с Севастополем.

Случилось это так.

Однажды утром над лесом появился самолет-истребитель. Сначала никто не обратил на него внимания, но — странно! — летчик упорно кружил над одним местом, то взмывая ввысь, то прижимая машину к верхушкам сосен. Следя за самолетом, мы разглядели на крыльях красные звезды.

Мгновенно зажгли сигнальные костры. Часовые на постах, дежурные санземлянок сигналили: «Мы здесь! Мы здесь!»

А самолет покачивал крыльями, посылал нам привет от Красной Армии, от советского народа, от Севастополя.

Над поляной Верхний Аппалах машина долго кружилась. Вдруг, набрав высоту, начала быстро снижаться. Самолет прогудел над поляной и круто взмыл вверх; потом, сделав прощальный круг над лесом и еще раз покачав крыльями, лег курсом на Севастополь.

Мы с волнением обсуждали появление истребителя, строили различные догадки, но всем было ясно: севастопольцы нас ищут!

Лес зашумел в ожидании событий.

На четвертые сутки в одиннадцать часов дня мы услышали шум.

Дежурный штаба кричал:

— Наш! Наш! «У-2»! «У-2»!

Почти касаясь верхушек сосен, над нами промчался самолет с красными звездами на крыльях и фюзеляже.

Все бросились на поляну Симферопольского отряда, куда, как нам показалось, летел самолет.

Из всех ближайших отрядов бежали люди.

Посадочная площадка с подъемом по северному склону была плохо приспособлена для приема самолета. Неоткуда было сделать заход, я это хорошо понимал.

Непременно разобьется!

Летчик все-таки решился. Самолет ниже, ниже… Вот колеса коснулись земли; самолет, как стрекоза, скачет по выбоинам и клюет носом. Раздался треск, и наступила тишина.

Над полуразбитой машиной стоял юноша в форме морского летчика, улыбаясь, сияя серо-синими глазами.

Мы к нему. Подхватили на руки, опустили на землю.

— Товарищи!.. Товарищи! — краснея, просил он.

Каждому хотелось прикоснуться к человеку оттуда, от наших.

Переживая минуты радости, мы даже не заметили, что из второй кабины показался еще один военный с треугольничками в петлицах. Взволнованно-виноватое лицо его говорило о каком-то несчастье.

— Рация!.. Рация!..

Оказалось, что во время трудной посадки радист, желая

сохранить рацию, взял ее на руки и разбил о борт фюзеляжа.

Беда!

Мы пригорюнились, хотя большинство партизан, еще не зная о несчастье, продолжали ликовать. Она была разношерстной, эта масса людей, перенесших тяжелую зиму 1941/42 года. Одежда — немецкая, румынская, гражданская, наша армейская. Пилотки, папахи, шлемы. Сапоги, ботинки всевозможных фасонов, постолы… Такое же разнообразное вооружение.

На лица больно смотреть. Они, словно зеркало, отражали все, что выпало на долю каждого. Трудно отличить молодых от старых, мужчин от женщин. Все выглядели стариками. Ничьи щеки не лоснились от сытости, никто не мог похвастать капелькой румянца.

Конечно, за зиму каждый по-своему думал о судьбе Родины, Севастополя, о своей судьбе, о далеких родных, по ком так тосковали наши сердца. Но я не ошибусь, если скажу, что вера — большая вера — всегда была с нами, иначе мы не могли бы быть теми, кем были в этих кошмарных нечеловеческих условиях.

Постепенно все узнали о том, что связь с Севастополем установить нельзя, так что прилет самолета ничего не меняет в нашей жизни.

Но мы с этим не могли согласиться. Не хотелось соглашаться.

Начали с того, что осмотрели самолет. На мой взгляд, машину можно было подлатать, поставить на колеса. С мотором все в порядке, но была одна непоправимая беда: при посадке вдребезги разлетелся винт.

Винт, винт…

Кто-то сказал, что недалеко от переднего края Севастопольского участка фронта на немецкой стороне видел самолет «У-2», рухнувший на густой кизильник. Винт должен быть целым!

Далековато в те края, ох как далековато!

Мы с комиссаром района Захаром Амелиновым пошли в отряды. Было решено послать только добровольцев. Все понимали, что пройти за минимальный срок сто двадцать километров, да еще с тяжелым грузом, — значит, слечь в санитарную землянку и не подняться.

Кто возглавит поход?

Люди, конечно, найдутся, и более чем достаточно, но на одном энтузиазме яйлу в два конца не возьмешь.

Комиссар неожиданно предложил:

— Женщины! Они дойдут до самолета и вернутся с винтом.

Надо честно признаться: во всех наших испытаниях женская половина оказалась повыносливее. Мы в этом не единожды

убеждались. На иную глядеть страшно: одни глаза да худущие ноги, а идет, да еще на плечах кроме автомата тащит бог знает чем набитую санитарную сумку.

Итак, женщины…

Выбор пал на седовласую учительницу из Симферополя Анну Михайловну Василькову; на молчаливую, но всегда при деле медицинскую сестру Евдокию Ширшову; на тихую дивчину, что с утра до вечера собирала липовые почки для партизанского кондёра, а ночами безропотно выстаивала на постах, — Анну Наумову.

Возглавил наш «женский батальон» бывший комиссар алупкинских истребителей Александр Поздняков. Он сам напросился, и решительно.

— Посылай, командир.

— Дойдешь? Может, это не твое дело?

— Мое, и главное.

— Тогда иди.

Потянулись дни ожидания. Летчик и помощники — их нашлось немало чинили самолет, готовили взлетное поле. Партизаны, уверенные, что самолет обязательно взлетит, писали домой письма.

На пятые сутки наши вернулись и принесли винт. Позднякова с ними не было…

Александр Васильевич! Познакомился я с ним в Гурзуфе при следующих обстоятельствах.

Совхозные мастерские стояли рядом со знаменитой дачей Раевских. Сохранился дом, в котором Раевские принимали Александра Сергеевича Пушкина.

Мне почему-то не верилось, что кипарис — стройный, высокий красавец, поднявшийся к небу, — и есть тот пушкинский, воспетый самим поэтом. Кто и как докажет? А я любил всякие доказательства.

Спор разрешил человек в роговых очках. Я знал, что это и есть директор музея, но лично знаком с ним не был.

Он меня легко убедил, что кипарис тот самый, заметив, между прочим, что хорошо, когда человек любит ясность, но еще лучше, если он ищет доказательства сам. «Вот ты сосед, — сказал он мне, — а ни разу в музее не бывал».

Я не обиделся, стал бывать в музее, встречаться с Поздняковым.

Он был старше меня лет на пятнадцать и во сто крат опытнее. За плечами большая партийная работа в Сибири, до этого — гражданская война, потом борьба с басмачами. Одним словом, живой герой близкой истории.

По молодости своей я не мог согласиться с тем, что героическую биографию красного комиссара гурзуфцы не знают, и стал при удобных случаях рассказывать о ней своим ребятам, — ведь я же был агитатором цеха.

Поздняков как-то узнал об этом, сказал сердито:

— Прошлое хорошо, но не самое главное, Важно, что ты сейчас делаешь!

Поход за винтом — страница незабываемая. Яйла лежала на пути. Снег сошел с лысых вершин, но в буераках он был предательски опасен. Мокрые насквозь, усталые до полного изнеможения, партизаны спустились к Чайному домику, за двое суток излазили чуть ли не весь второй эшелон фашистов, наконец кашли самолет; без инструментов, одним слабеньким шведским ключиком сняли винт с оси…

Они спешили. Поздняков все торопил и торопил, не давал никому отдыха и сам не отдыхал. Он шатался от слабости, но шел, наравне со всеми нес тяжелую ношу. Шел до тех пор, пока не упал. Его подняли на руки.

— Несите винт. Я вам приказываю. Я доползу, обязательно доползу. Вперед!

Он не дополз. Умер. Посланные ему на помощь люди принесли в лагерь заледеневшее тело.

Были у нас в Крыму герои легендарные, слава о них гремела. Позднякова же мало кто знал. Он не совершал громких подвигов, был тих, физически крайне слаб, больше всех лежал в землянках…

Прощай, мой земляк гурзуфец! Останусь жив, непременно буду приходить на дачу Раевских, вспоминать тебя, человека, с которым судьба счастливо свела меня в тяжелую годину…

…Самолет готов к вылету. Уложены письма и донесения, разведданные и страстные просьбы: нас не забыть!

И летчик Филипп Филиппович Герасимов с взволнованно бледноватым лицом оглядывается вокруг. Он видит сотни пар доверчивых глаз: уж ты постарайся, Филипп Филиппыч!

— От винта!

Самолет вздрогнул, слегка качнулся, мелькнула лопасть. Мертвая точка, обратный полуоборот — круг первый, второй… И над лесом поплыл ровный и обещающий рокот мотора.

Филипп молодцевато рубанул воздух рукой и повел машину на взлетную дорожку, расчищенную партизанами. Самолет ровно тронулся с места, пошел быстрее, еще быстрее поднялся хвост машины. Только на самом краю поляны оторвались от земли колеса.

Машина набирает высоту, но сердце мое на высших

критических оборотах. Проклятое предчувствие беды!

Вижу, даже нутром ощущаю, как машину стало засасывать, настойчиво тянуть в проем ущелья.

И мотор не в силах справиться с этой неудержимой тягой. Еще правее, колеса чиркнули по макушкам старых дубов, и машина рухнула в мглистую шапку горы. Раздался треск.

Все! От самолета остались одни ошметки: в гармошке хвост, плоскости будто нарочно сложили вместе, впритык. Летчик, растрепанный, в крови, возится у мотора, стараясь предотвратить пожар.

Не могу: так и стоят глаза Позднякова, выпрашивающего у меня разрешение на марш за винтом…

Апрель. Лес пахнет сырой жимолостью; дрожат, бьются, набухая, почки.

У Филиппа Филипповича синие глаза.

Он стоит перед Георгием Северским в той собранной позе, когда принимают командирский приказ к боевому вылету.

Но приказа еще нет — Северский не решился. Да и трудно решиться, когда позади такой живой опыт: попытка за попыткой, а связных будто Нептун проглатывает заживо.

— Я в Севастополь пойду! — который раз повторяет синеокий юноша с похудевшим от партизанского харча лицом, за неделю постаревшим на годы. Сто раз перелетал фронт, сверху хорошо видно. Я знаю дороги, и я дойду!

Ленинградский паренек с отчаянными глазами, которого стар и млад называют одним именем: Филипп Филиппович. Он-таки убедил всех нас, что в Севастополь дойдет.

И дошел. Через трое суток новый самолет качнул над нами приветственно крыльями и уверенно пошел на посадку.

И радиоволны легли в эфире между нами и Севастополем и оборвались лишь тогда, когда начисто рухнула в городе-герое последняя оборонительная точка.

И первая партизанская радиограмма гласила, настаивала, умоляла: Филиппу Герасимову звание Героя Советского Союза!

И звание было присвоено.

Кончилась война, а о синеоком парне ни весточки. Мы искали его повсюду, но ответ был один: убит, убит и еще раз — убит!

И в послевоенных музеях появился портрет восемнадцатилетнего Героя с нахмуренными глазами. И говорили те, кому положено говорить: днем он летал над немцами на машине, которую можно было сбить пулей малокалиберной винтовки.

Правду говорили.

Убит, убит, убит…

Годы летят безвозвратно в бездну. Рубцы на деревьях остались на прежнем месте, только расплылись. Кроны взлетели к поднебесью. Где был старый лес — звенит молодая поросль, а где стояло урочище худоногого дубняка — скрипят папаши-дубы.

Яйла и та меняет свои залысины, стараясь выглядеть более кокетливо, кое-где обрастая припухловатыми сосенками.

И ветер стал посвистывать так, будто слух обрел.

Скала Шишко над Ялтой, с нее простор как выстрел в горах: ахнешь!

На ней камень-глыба, а на глыбе той имена высечены — партизанские.

Юркий экскурсовод ведет группу отдыхающих и на ходу выпаливает заученные фразы о нашем времени.

Вот очередная фраза, как рассеянный пучок света от медленно гаснувшего фонаря:

— В критический апрель тысяча девятьсот сорок второго года к партизанам прилетел молодой летчик, славный сын своего народа Герой Советского Союза Филипп Филиппович Герасимов. Смерть оборвала путь патриота Родины, но память о нем не померкнет никогда…

И вдруг взволнованный и решительный голос из группы:

— Как это — оборвала?

Десятки голов поворачиваются на голос, осуждающие глаза: что ты, друг любезный, не понимаешь, сколько будет дважды два?..

Экскурсовод уточняет с подчеркнутой вежливостью:

— Элементарное понятие, дорогой товарищ: оборвала, — значит, кончилась жизнь. Убит товарищ Герасимов в воздушном бою…

— Нет уж, позвольте, в мертвецы — не согласен. Герасимов — я! Да, я прилетал к партизанам, мне давали Героя.

…На моем столе звонит телефон, да таким манером, что я вздрагиваю: случилось что-то необыкновенное!

Чей-то слишком громкий, и слишком взволнованный, и чем-то встревоженный, и даже робкий голос:

— Здравствуйте, товарищ командир. Я — Герасимов, летчик Филипп Филиппович Герасимов!

У меня руки делаются ватными.

…Мы одни, в тарелке красные помидоры, в бутылке на вершок водки…

Печальная повесть о печальной двадцатилетней послевоенной жизни.

Звезда Героя, орден Ленина, три ордена Красного Знамени, сотни полетов, десятки воздушных боев… И все это, как корова

языком, слизывает один глупый мальчишеский поступок.

Уже после войны, в воскресный день, выпил лишнего и ударил человека публично. И все!

Но это была зацепка. Вспомнили и строптивость характера, и страстность на собраниях, и дерзкий разговор с начальством, и заносчивость, порой присущую молодости. Одним словом, зачеркнули актив человека и вляпали парию восемь долгих лет тюремного заключения.

И с кем рядом? С подонками, отбросами войны, дезертирами и немецкими холуями. Вот где было трудно удержаться!:

Но Филипп устоял. Держал Севастополь, держали партизанские дни, наши глаза видел он, локоть друга-летчика, уже давно ставшего прахом, чувствовал он.

И душа его вышла из темени без черных пятен. Она только была надломлена неверием в свое будущее. Это неверие и заставляло все годы молчать, вести тихую жизнь.

Но не скользил по жизни, не жаловался на судьбу, а накрепко засел в строительной бригаде в родном Ленинграде и работал, работал. Только тоска воскресных дней толкала к выпивке. Пил не скуля, ходил тихо по жизни.

Называли его по-прежнему Филипп Филиппович, было ему только сорок три года, но никто не знал его героической биографии. Он, обкрадывая себя, обеднял других.

И только прорвалось все наружу у партизанской могилы. Он мог на все согласиться, но мертвым быть не желал.

Он не верил, а мы, партизаны, верили и боролись за него — за него, за его прошлое, нужное настоящему.

И нас поняли и в Ленинграде, и в правительстве. Монетный двор родного города отлил специально для него и Золотую Звезду и все ордена.

Но прежде чем получить все это, мы пропустили Филиппа через свой суд партизанский.

И он расплачивался за свою слабость и неверие дорогой ценой.

И сейчас по Ленинграду ходит синеокий рабочий человек, и в торжественные дни на его груди сияет Золотая Звезда!

…Итак, связь с Севастополем была установлена.

Город молниеносно откликнулся на нашу беду. Прилетали самолеты чуть ли не каждую ночь и бросали, бросали нам продовольствие, медикаменты.

Это случилось после 20 апреля. Еще раз обратите внимание на документ. Голодная смерть косила партизан до 24 апреля, а потом до 6 мая — ни единого смертельного исхода!

Но почему же 6 мая снова нагрянула катастрофа? Тут уже

слово за медиками. У нас были сухари, концентраты, был даже сахар. Паек выдавали по тем временам обильный, а люди умирали. Так случилось не только в одном Ялтинском, но и в других отрядах района…

По-видимому, еще раньше была перейдена черта, отделявшая жизнь от смерти, лишь затянулась агония. Никакие продукты обреченных спасти не могли…

21

Горячее июньское солнце насквозь прожигало лес, кричали кукушки, надолго открылось над горами яркозвездное небо.

И вот, пока еще не видимый, гудит самолет. На маленькой поляне выложено три костра в ряд, у каждого из них по партизану, в руках спички.

Гул ближе. Вот моргнул бортовой сигнал, раздалась команда:

— Костры!

Три вспышки огня, столбы пламени. С самолета ответный сигнал: «Понятно!»

В белолунии открываются шелковые купола парашютов. Они раскачиваются под легким ветром.

— Собирать парашюты!

Через полчаса на лунной поляне вырастает гора торпед-мешков с продуктами, взрывчаткой, одеждой.

Я распределяю сухари, консервы, концентраты.

— Ялта! Пять мешков сухарей, триста банок мясных консервов, тысяча пачек концентратов. Получай!

Все выдается под ответственность командира или комиссара.

— Товарищ Кривошта, задержись! — приказываю командиру отряда.

Идем к речушке, усаживаемся на бревне. И я и Кривошта в новеньком красноармейском обмундировании, обуты в добротные ботинки — нас щедро снабжает Большая земля.

— Докладывай!

Как далеко оно кажется, то время, когда мы с таким трудом организовывали нападение на какую-нибудь одиночную немецкую машину. Нелегко вспоминать те тяжелые дни. Каким холодом веет от них…

Сколько партизанских могил разбросано по негостеприимной суровой яйле… Разве их сосчитаешь…

— Докладывай!

И он, Кривошта, говорит о походе взвода Гусарова. Гусаров! Помню его: с цыганскими плутовыми глазами повар из Алупки.

Из таких, что, если понадобится, из топора суп сварит. Это его изобретение — партизанский суп из липовых почек, приправленный горным чесноком. Вместо соли — полынь. Ничего, ели и даже похваливали.

Так вот, Гусаров забастовал. Хватит! Теперь отряд взяла на снабжение страна, на кухне управится любой чудачишка. Бывший партизанский повар повел на дорогу пятерку, составленную из партизан, выписанных из санитарной землянки.

Трое суток рейдировал Гусаров. Разбил пятитонную машину, снял патрульных на магистрали, попал в засаду, но опередил немцев, скрылся, а потом спустился по тропе ниже, сам притих в засаде. И клюнуло! Через полчаса немцы напоролись на его пули. На этом дело не кончилось. Гусаров пересек яйлу, спустился к селу Бия-Сала, оборвал на целый километр линию связи и снова засел в засаду. На мотоцикле подкатили немецкие связисты. Через минуту не стало ни связистов, ни мотоцикла.

Рядовой поход рядового командира.

В июне 1942 года ялтинские партизаны воевали необычайно свободно. Школа есть школа! Их осталось сорок восемь человек, но они, эти сорок восемь, с лихвой заменяли десять таких отрядов, каким был мошкаринский…

…Пока идет беседа с командиром ялтинцев, самолет совершает прощальный круг и берет курс на Севастополь. Сперва он отклоняется в сторону до точного ориентира — Медведь-гора; а потом над морем — и на запад.

Через двадцать минут получаю радиограмму: «Самолет обстрелян зенитной установкой Гурзуфа. Примите меры!»

Радиограмму показываю Кривоште:

— Как думаешь поступить?

— С этим только Зоренко справится, — говорит Кривошта.

— Снаряжай. Завтра же.

— Есть. Разрешите идти?

Поворачивается налево кругом строго по-уставному и широким шагом идет на поляну. Я задумчиво смотрю ему вслед…

Прошло всего двое суток, а в моих руках уже рапорт Кривошты.

На горе Болгатур, что нависает над Гурзуфом, стояла зенитная установка, теперь ее нет! Попутно Семен Зоренко подорвал на шоссе тот самый мост, который рвал уже трижды, а потом уничтожил три километра линии связи. На рассвете, перед отходом в лес, оказался на окраине деревни Никита. Напал на немцев, отбил у них полевую радиостанцию. И вот она лежит в моей землянке…

Ялтинцы — классики партизанской тактики. За июль

тридцать раз успешно напали на фашистов. Это не сказки, в партийном архиве лежат подлинные документы, рапорт об этих зрелых днях. Но не менее важное — данные разведки. Ни одна машина, ни одна пушка не проходит мимо партизанских глаз. От южнобережной магистрали тянется цепь информаторов. Эстафетой передаются данные в наш штаб, от нас — в штаб соседнего района, которым командует Северский, а оттуда без промедления — в Севастополь. Вот бы когда пригодились сведения Нади Лисановой, Горемыкина, братьев Гавыриных! Но увы…

Ялта в полном смысле слова стала военным лагерем. Госпитали опутали колючей проволокой, у въездов торчат бетонные доты, дежурят солдаты с пулеметами. Вокруг госпиталей секретные мины. На них часто подрываются козы.

Жизнь кое-какая идет только на набережной. Тут прогуливаются офицеры, на пляжах видны купающиеся.

Дико и пышно расцвели неухоженные розы. Трава захлестывала парковые дорожки. Трава вообще наступала на город, пробивалась сквозь асфальт, выпирала из расселин подпорных стен.

Выпирали и разрушались мостовые, оседали постройки. С крыш по стенам лилась вода, оставляя темно-серые следы. По молу ходили одичалые кошки с шелудивыми боками. Так, должно быть, начинается смерть города…

Но пока еще работали бойко кофейни — подавали, как правило, эрзац-кофе; кое-как дышал ялтинский базар — цены на продукты были баснословными…

В лес пришло потрясшее нас донесение: в Алупке действует Воронцовский музей-дворец! Открыт для всех посетителей… Невероятно!

Во дворце побывали: командующий фон Манштейн, министр рейха Розенберг, Антонеску, король румынский Михай.

Музеем руководит то ли Щеколдин, то ли Школдин.

22

Мы точно выяснили: шефом музея-дворца был не кто иной, как бывший старший научный сотрудник Степан Григорьевич Щеколдин.

Смутно помню этого гражданина. Осенью сорок первого наш истребительный батальон располагался в подсобных помещениях Воронцовского дворца. Человек со связкой ключей часто попадался мне на глаза. Ему было не то тридцать, не то сорок

лет, будто и не стар, но далеко не молод; при улыбке морщит все лицо. Лоб покатый, взгляд ощупывающий. Он часто бывал в нашем штабе. Как-то я попросил его задержаться на минуточку:

— Что вас интересует, товарищ?

— Эвакуация музея.

— Идите в горсовет.

— Каждый день там бываю, только без пользы.

— Но мы эвакуацией не занимаемся, — заявил я, давая понять, что вопрос исчерпан.

Поздняков задержал его:

— А ты иди в райком партии, настаивай. На самом деде, нельзя бросать псу под хвост подлинники Боровиковского, английские гобелены…

Однажды хранитель вбежал без спроса:

— Взорвать хотят!

— Что, кто?

— Взрывчатка… машина…

Во дворе музея стояла трехтонка со взрывчаткой… Около нее уполномоченный НКВД, наш комиссар…

Комиссар с возмущением распекал уполномоченного, высокого, молодого, в пилотке.

— Какой дурак мог даже подумать об этом! Сейчас же убирайтесь со своей взрывчаткой!

— Я выполняю приказ, товарищ комиссар батальона. И никуда не уйду.

Поздняков вызвал бойца, что-то ему шепнул, и через несколько минут появилось отделение истребителей. Машину выдворили вон, у музейных ворот встала охрана.

Я не вмешивался в комиссарские дела, — в какой-то степени они были понятны: в нем заговорил музейный работник. И пусть…

А только не мог понять, до конца ли он прав. Мы тогда жили и действовали под влиянием речи Сталина от 3 июля и ничего не хотели оставлять врагу. Дворец, положим, не военный объект. Но может в нем расположиться крупный штаб? Я даже воображал, как вот по этой беломраморной лестнице идут немецкие офицеры…

Свои сомнения высказал комиссару. Он разозлился:

— Только полная тупица так может думать! Это же шедевр искусства, а ты — на воздух?! И как только можешь!

Поздняков с Щеколдиным ездили в райком, к Герасимову. Возвратившись, стали ждать специально зафрахтованное судно. Снимали со стен дорогие картины, скатывали персидские ковры, упаковывали хрусталь, мраморные бюсты.

Впрочем, мне какое дело до этого?! Жаль только, что комиссар слишком много уделяет внимания этому музею. А Щеколдин не нравится, уж больно настырен. А почему не на фронте?

Вдруг новость: теплоход, который шел за ценностями ялтинских дворцов, торпедирован фашистами и потоплен.

Детали катастрофы выяснить было некогда — нас подняли по тревоге, и мы покинули Алупку. О дворце я и не думал тогда, а вот теперь жалею…

Весной 1942 года в штаб нашего района стали поступать данные: Щеколдин принимает немецких офицеров! Он шеф музея, ему доверяют гаулейтеры и коменданты. Видимо, не случайно он мне не нравился. Хитер, самого комиссара вокруг пальца обвел! Теперь-то ясно: и не собирался покинуть Алупку и эвакуировать ценности…

Ишь ты! Принял штабных офицеров, чуть ли не самого Манштейна! Если бы мы только знали о вояже Манштейна! Кривошта его бы встретил как надо…

Еще одна новость: в Алупке объявились подпольщики. Мы связались с ними, передали им листовки, газеты, — все это обильно получали из Севастополя. Алупкинцы присматривались к немецкому шефу дворца, но с ним лично не общались.

Однажды Щеколдин сам явился к ним, сказал, что с врагом сотрудничает во имя спасения культурных ценностей… Его выслушали и выпроводили прочь… Мы о его шаге узнали через день. «Далеко вперед глядит немецкий холуй, — подумалось тогда мне. — Может, схватить этого прислужника и на допрос?..»

Я даже вообразил себе этот допрос.

— Это ты шеф-директор Воронцовского дворца? Признавайся, кто тебя назначил?

Положим, он ответил бы:

— Я. Гебитскомиссар Краузе назначил.

— Кого обслуживает твой музей?

— Всех, кто пожелает его осмотреть.

— И фашистов?

— И немцев.

— Кто водит по залам?

— Сотрудники.

— А фашистов?

— Я знаю немецкий язык.

— Ты принимал Манштейна?

— Он побывал в музее.

— О чем говорил?

— Был доволен.

— Что обещал?

— Сказал, что поможет.

— И как помог?

— Дал согласие на гласную работу музея.

— А зачем она тебе, эта гласность?

Вот так и воображал допрос, хотя, честно говоря, вряд ли он мог быть таким в действительности. Это теперь понимаю…

Тогда нам было не до музея. Позже, в 1944 году, будучи командиром стрелкового полка, я получил письмо от Кулинича, который разыскал номер полевой почты нашей части. Он сообщал: партизаны вошли в Алупку до подхода наших боевых частей и спасли Воронцовский дворец от уничтожения. Прочитав кулиничевские строки, подумал: интересно, куда подевался Щеколдин? Удрал, наверное. Такие умеют вовремя концы прятать…

До 1948 года я в Алупке не бывал, но однажды захотелось осмотреть комнаты бывшего нашего штаба, подсобные корпуса дворца, откуда мы уходили в лес. Такое желание вдруг возникло и погнало в Алупку. Но не тут-то было, меня не пустили во дворец. Он тогда сильно охранялся. Было обидно, но ничего не поделаешь, пришлось вернуться ни с чем.

О Щеколдине же напомнили в 1960 году. Случайно напомнили…

Как-то встретился я с ялтинским художником Виктором Ивановичем Толочко. Встреча произошла в салоне-выставке, где экспонировались полотна пейзажиста и мариниста Степана Ярового. Мне нравились морские этюды Степана Калиновича, но Толочко, принимая их, кое в чем со мною не соглашался. Немного погорячились. Мирились за чашкой кофе.

Вдруг Виктор Иванович спросил:

— Ты, часом, не помнишь человека по фамилии Щеколдин?

— Хорошо помню.

— Он недавно был в Алупке.

— А разве он жив-здоров?

— Жив, но не слишком здоров. Интересный человек.

— Еще бы!..

— А ты напрасно. Хочешь познакомиться с письмом Щеколдина? Совсем недавно получил его.

— Интересно, почитаю, — согласился я, разумеется без всякого доверия к автору.

Виктор Иванович был директором Воронцовского дворца-музея. Он пригласил меня в гости, дал почитать письмо и рассказал такое, что заставило глубоко задуматься, а потом начать кое-какие поиски.

Должен признаться со всей откровенностью: в роскошных залах музея чувствовал себя не очень удобно. Видел, как люди восхищаются резьбой по камню, чудными контрфорсами, арабской инкрустацией на карнизах, львами Бонани, архитектурой, в которой строго английский стиль смешался с броским мавританским, а сам думал совсем о другом. Вспоминал машину со взрывчаткой, спор Позднякова с молодым уполномоченным и свою позицию, которая кажется сейчас дикой. Как могло случиться, что внутренне в чем-то соглашался с действиями, которые сейчас противоречат всему моему духу?

Именно в те минуты дал я себе обещание быть предельно объективным, в расследовании «дела» Щеколдина забыть раз и навсегда фантазию допроса, которую выдумывал, лежа на зеленой траве чаира.

Начал с разговора с пожилой женщиной, проработавшей хранительницей музея более сорока лет. Встретиться с Софьей Сергеевной Шевченко оказалось нелегко. Ей передали мое желание поговорить о Щеколдине. Она категорически отказалась.

— Хватит, больше ни слова не скажу! — вот так и заявила.

Но решил не отступать. Разыскал Софью Сергеевну и начал издалека:

— Вы, наверное, помните Иванова, Мацака, Пархоменко?

— Господи, кто их не помнит! Хорошие были люди, очень хорошие.

— Я был с ними в лесу, мы вместе воевали.

— А как ваша фамилия?

Представился. Она изучающе посмотрела на меня еще молодыми острыми глазами, усадила рядом с собой.

— Ах, как вы намучились там, сынок! Мы так переживали за вас.

— Спасибо вам, Софья Сергеевна. Помогите в одном деле. Меня интересует судьба Степана Григорьевича Щеколдина.

И сразу же в ярких глазах Софьи Сергеевны появилась настороженность.

— Снова худое о человеке собираете? — спросила в упор.

— Хочу знать правду, одну лишь правду.

Софья Сергеевна вздохнула:

— Хороший был директор!

Я удивился. Знал ведь, что при немцах Софья Сергеевна категорически отказалась служить под началом Щеколдина, хотя обещал и ей хороший продуктовый паек. Ушла из музея, страдала от голода, чуть богу душу не отдала. Щеколдин прислал продуктовую посылку в день ее шестидесятилетия, но Софья Сергеевна ее не приняла.

— Я фашисту не хотела служить, а не Щеколдину, мои дети и внуки били их, фашистов, а я что… — Она поднялась, давая понять, что пора кончать разговор. — На прощание все же сказала: — Ты хочешь знать правду? Так вот она: Степана Григорьевича обидели зря!

Потом у меня был разговор с Ксенией Арсеньевной Даниловой.

Когда-то в ее квартире собирались алупкинские подпольщики. Были среди них братья Гавырины, Александр и Владимир. Ребята весной погибли от руки предателя, который знал, что они специально оставлены для тайной борьбы с немцами. Ребят арестовали, пытали, а потом убили. Они никого не выдали, в том числе и Ксению Арсеньевну, у которой были и портативная машинка, и стеклограф, и явочные адреса.

Однажды к Даниловой пришел Щеколдин.

Ксения Арсеньевна рассказывает:

— Вошел, стоит у порога, такой чистенький, при галстуке… Разное я думала о нем, верила ему и не верила. Человек он умный, серьезный, так запросто к фашистам на службу не пойдет. Какой же у него расчет? И противно было, уж больно, как мне казалось, выслуживался перед фашистским начальством. И вот стоит у дверей, смотрит на меня и молчит.

«Что ты хочешь?» — спросила напрямик.

«Ксения Арсеньевна! Скажите тем, кто в лесу: Щеколдин не для себя и не для немцев старается…»

«А я дорогу в лес не знаю! И потом, уж слишком ты стараешься».

«Иначе нельзя».

«Люди тебя не простят!»

«Поймут — простят».

«Зачем же ко мне пришел?»

«Я уже сказал».

«Но, пойми… связи у меня нет».

«Может, будет, а? Скажите им. Это для меня важно, очень важно, Ксения Арсеньевна!»

«Ничего обещать не могу, ничего».

Он устало сказал:

«Как это мне важно».

Она умолкла.

— Как же он вел себя?

— Немцев принимал. Но Алупка городок с пятачок, в нем от глаз людских не скроешься. Встречаю как-то знакомую женщину. У нее была семнадцатилетняя дочь, и девушку собирались угнать в Германию. Женщина пошла к Щеколдину: «Помоги, как мать

прошу». Помог! Девушку не тронули. Вот и со мной… Увидел меня как-то на улице, быстро шепнул; «Вам лучше на время скрыться. Я вам достану пропуск, уходите подальше». Получила пропуск, ушла, а через день у меня был обыск. Не знаю, может, он боялся наших и зарабатывал себе прощение.

Чем больше личного общения, тем четче познаешь человека. Надо непременно встретиться с Щеколдиным. Написал ему несколько писем — ответа не последовало. Стороной узнал, что он болен. Однако хоть строчку мог бы написать… Или не хочет ворошить трудное прошлое?

И все же он мне написал.

…Первая часть настоящей книги в сокращенном варианте была опубликована в 1967 году в журнале «Дружба народов». Там было рассказано о том, что выяснил я о жизни Щеколдина в годы оккупации.

Публикация дошла до Степана Григорьевича.

Он пишет: «…И теперь, вдруг — Ваша повесть о пережитых мною годах, ошеломившая меня.

Сразу, по прочтении ее, я не мог писать Вам, не стал даже искать ваш адрес. Я потерял покой, ночами вновь возникали во сне фашисты, преследующие меня. Правда наконец всплывает на поверхность. Я очень признателен за это».

Письмо Степана Григорьевича дорого мне по многим причинам. Совершенно ясно: не ошибся в нем, как и не ошибались те, кто помогал мне.

Сегодня для меня явственнее картина сложной и опасной жизни хранителя Алупкинского дворца-музея Степана Григорьевича Щеколдина.

Да, теплоход, снаряженный для эвакуации картин и других ценностей из дворцов, был потоплен. Фашисты наступали, прорвались на Южный берег…

Последний шаг Степана Григорьевича был таким: он вынул из рам дорогие полотна конца восемнадцатого и начала девятнадцатого столетий, замотал их в рулоны и увез на телеге в Ялтинский порт. Надеялся отправить их на Кавказ, но въехал в Ялту одновременно с немецкими танками. Двое суток прятался у знакомого и на той же телеге с теми же рулонами возвратился в Алупку.

Тут уже хозяйничали оккупанты. В парке — шедевре декоративного искусства — расположился румынский кавалерийский полк!

Загуляли топоры по редчайшим деревьям. Солдаты, повозки, лошади, армейские полевые кухни, смрад, дым… Унтера и вахмистры фотографировались верхом на мраморных львах

Бонани.

Цокот копыт: подвыпивший унтер шпарил на скаковом горячем жеребце прямо по мраморной лестнице. А под овалом парадного входа, над которым выведено по-арабски: «Нет бога, кроме аллаха, а Магомет пророк его», кавалеристы. Они озорно подначивали того, кто еще «штурмовал» лестницу.

Щеколдин, на которого никто не обращал ни малейшего внимания, ходил по парку и ужасался.

Все погибло!

Солдаты пили, кричали, дразнили у полевых кухонь собак, стреляли по птичьим гнездам.

Щеколдин пробрался в один из роскошнейших залов дворца, где потом, в 1945 году, во время Крымской конференции трех держав премьер Великобритании Уинстон Черчилль давал парадный обед, и ахнул: два солдата гоняли по редкостному паркету мраморный шар, отбитый от скульптуры.

Это и переполнило чашу щеколдинского терпения. Он подбежал к солдатам, решительно отнял шар, дерзко выругал их по-русски. Это неожиданно подействовало. Солдаты едва не вытянулись по стойке «смирно», отнесли шар на место и быстренько ретировались.

«Ага, вот что вам надо! Вам нужна, черт вас возьми, сила. Хорошо, я вам ее покажу!»

Щеколдин пришел домой, тщательно побрился, умылся, оделся в свой единственный, но вполне респектабельный костюм, повязал галстук и собранным, подтянутым вышел на улицу. Алупкинцы шарахались от него.

— Как он шел! — вспоминает рассказчик, старожил городка. — Немцы и те уступали ему дорогу! А мне хотелось плюнуть ему в лицо. «Выслуживаться идешь, гад!» — вот о чем я тогда думал.

Щеколдин остановился у двухэтажного особняка, на флагштоках которого трепыхались фашистские знамена. У парадного хода стоял немецкий часовой. Щеколдин обратился к нему вежливо и на его родном языке. И тот, улыбнувшись, пропустил его.

С кем он там встретился, о чем говорил — свидетелей нет. Известно лишь, что из особняка он вышел с крупным, дородным офицером, о чем-то оживленно беседуя. Они направились прямо во дворец.

В этот же день кавалерийский полк покинул Воронцовский дворец.

Первое, что стало совершенно очевидно Степану Григорьевичу: нужно как можно быстрее восстановить

экспозицию, придать дворцу музейный вид. Только в этом спасение.

Музейные экспонаты лежали в ящиках. Некоторые, наспех упакованные, торчали на Ялтинском причале. Все собрать и выставить на обозрение! Это была сверхадская работа, она требовала потрясающей изворотливости. Щеколдин, два мальчика лет по четырнадцати-пятнадцати и пять женщин! Они на плечах перетаскали экспонаты, поставили там, где они стояли до войны. Особенно трудным был их путь от Ялты до Алупки. Они, например, по двое суток тратили на то, чтобы перенести золоченую раму большой картины. Ушло немало времени, пока музей принял свой «рабочий вид».

В один из дней, после полудня, под каменный свод башен, мягко шурша шинами, въехал «опель-адмирал». Из машины вышел седоватый немецкий генерал. Его встретил Щеколдин.

Генерал довольно долго осматривал дворец, вслух высказал одобрение, дал какие-то советы и на прощание пожал руку хранителю — Щеколдину.

Потом во дворце стал бывать ялтинский гебитскомиссар майор Краузе; он привозил гостей, по-дружески улыбался, был вежлив со Щеколдиным. А однажды алупкинцы прочли объявление о том, что Воронцовский дворец-музей открыт для всех желающих. За вход — две марки. И еще узнали: шефом дворца-музея назначен «господин С. Г. Щеколдин».

Начались будни. Степан Григорьевич собрал сотрудников и сказал:

— У меня одна цель — спасти дворец и его ценности!

Люди молчали, потупившись.

— Для этого я согласен быть шефом, дьяволом, чертом лысым. Любые средства хороши, лишь бы достигнуть цели! Сохранить дворец до дня победы наших войск.

Снова молчание.

— Мне нужны помощники.

Никто не отозвался. Тогда он обратился к старейшей, которую все почитали:

— Ваше слово, Софья Сергеевна?

— Я свое, сынок, отслужила. Мне скоро седьмой десяток.

— Вы будете получать паек, иметь пропуск.

Сбор на этом и кончился. Тогда Щеколдин стал ходить по домам бывших сотрудников, уговаривать, просить. Некоторых уговорил.

Никто не знал, чего это ему стоило, никто не догадывался, что он чувствовал, сидя в холостяцкой квартире один на один с собственной совестью.

Но люди прозорливы. Они наконец поняли, какую игру ведет этот мужчина в респектабельном костюме. Его самостоятельность бросалась в глаза. И потом, ни одному алупкинцу он зла не сделал, а выручать при случае выручал. Он никогда ничего зря не обещал, но люди знали: если сможет, непременно поможет!

Он не лебезил перед местным комендантом. Еще бы! Этот странный русский слишком самостоятелен, горд, смотрит на всех так, будто только лично он знает какую-то главную правду, которую не так легко постичь.

Пока все шло хорошо, музей продолжал существовать, принимал посетителей, ни один экспонат не пропал.

Одним словом, везло. Но беда нагрянула…

Ялтинские оккупационные власти принимали важную особу, эсэсовского генерала из Берлина. Город был поставлен на дыбы, наводнен жандармами.

Генерала привезли в Алупку.

Щеколдин был на своем месте. Комендант и гебитскомиссар пытались представить шефа музея высокопоставленному гостю, но тот так недружелюбно посмотрел на Щеколдина, что пришлось ретироваться.

Генерал знал историю дворца. Заметил:

— Граф Воронцов не лишен был вкуса, правда своеобразного! Мешанина стилей, немного мещанства, а в общем — оригинально! Покажите мне скульптуры этого самого итальянца…

Шесть скульптур охраняли парадную лестницу. Они были неповторимы. В фильме Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» есть глубокие мысли о «народе спящем», о «народе пробуждающемся», о «народе борющемся». Все эти мысли переданы в кадрах через образы алупкинских львов Бонани…

Генерал, видимо, знал толк в искусстве и восхищался мраморными львами. Он пришел в хорошее настроение и вспомнил один исторический факт. В голодный 1921 год английское правительство предлагало большевикам сделку. Просило дворец «со всей начинкой», а обещало хлеба на миллион рублей. Большевики отвергли это условие…

Генерал спросил возмущенно:

— Почему львы Бонани до сих пор не на земле рейха?!

Он сделал местным властям выговор, сел в машину и отбыл.

Утром был получен приказ снять с постаментов скульптуры Бонани, запаковать и отправить в Германию.

Мы не знаем, как провел день Степан Щеколдин, но вечером он постучался к Даниловой и рассказал то, что сам услышал из уст берлинского генерала. Он был в отчаянии.

— Они увезут!

— Что я могу поделать?

— Пусть партизаны отобьют скульптуры, унесут в лес, спрячут!

— Это невозможно.

— Все равно они их не получат! — крикнул Щеколдин и выбежал на улицу.

В тот же день исчез Степан Григорьевич.

Где он — никто не знал, только разговоры о вояже генерала быстро затихли, скульптуры Бонани оставались на своих местах.

Оказывается, Щеколдина держали под арестом.

Просидел почти месяц в одиночной камере, вышел оттуда почерневшим и постаревшим. Его, видать, били: лицо, руки, грудь были в багровых пятнах.

Но вот что удивительно: Щеколдин вернулся на свое прежнее место, еще энергичнее взялся за дело, хлопотал о дровах, текущем ремонте, в назначенные дни и часы открывал музей для посетителей.

Восемьсот девяносто дней оккупации!

Дворец стоял целым, невредимым, словно в мире не было войны. Журчали родники, искусственно превращенные в фонтаны, росла араукария, серебрились кроны пинусов-монтезума.

В гулких залах дворца с утра до позднего часа раздавались шаги хранителя музея. Он не имел ни семьи, ни дома. Все его богатство было здесь…

Ему пока все удавалось, ни один экспонат не исчез, — наоборот, музей кое-чем даже пополнился. Щеколдин скупал ценные картины.

Пришел апрель 1944 года и принес Крыму свободу. Она ворвалась через огненную Керчь, через пылающий Сиваш.

Степан Григорьевич воевал не в одиночку. Сотрудники знали, чего добивается их директор, и каждый что-то старался сделать для сохранения дворца, его экспонатов, картин, мраморных скульптур, редких растений зимнего сада и уникального парка.

И снова пришла машина со взрывчаткой, на этот раз немецкая. Она осталась на ночь, но утром бесследно исчезла. Появились немецкие саперы, но взрывчатку найти не смогли. Она была в тайнике, куда перенесли ее помощники Щеколдина. Саперы спешили: пошумели, покричали и ушли на запад.

Седьмая партизанская бригада — моряки Вихмана — спустилась с гор и заняла Байдарские ворота. Немцы бросали машины, снаряжение, через тропы просачивались на Севастополь.

Наконец в Алупку вошли наши войска.

Командующий фронтом маршал Толбухин публично поблагодарил Щеколдина и его сотрудников за спасение уникального сооружения, ценнейших полотен выдающихся мастеров живописи. Через день специальный корреспондент «Правды» писатель Леонид Соболев в очерке об освобождении Южного берега Крыма немало строк посвятил подвигу Степана Григорьевича Щеколдина.

Ушли передовые части… Щеколдин сдал государственной комиссии спасенные им ценности, включая даже рваный веер графини Воронцовой.

Председатель комиссии был умный человек. Он обнял Щеколдина:

— Спасибо Вам, Степан Григорьевич.

После всего этого тяжкое испытание выпало на долю Степана Григорьевича; там, вдали от Воронцовского дворца, он с волнением вспоминал время, когда отдавал детище свое в руки всего народа.

23

После падения Севастополя — это случилось 2 июля 1942 года — Ялтинский отряд как боевая единица перестал существовать.

В июльских боях, особенно в дни, когда Манштейн бросил в южные леса армейский корпус, немало ялтинцев пало в тяжелых боях, в живых же осталось тридцать два человека. Они вошли в состав знаменитого Севастопольского отряда, которым командовал бесстрашный пограничник Митрофан Зинченко. Кривошта стал комиссаром этого отряда и снова прославил свое имя, на этот раз не только как яркий и самобытный воин, но и как воспитатель партизан.

Но в глубоких недрах ялтинского подполья уже зрел новый партизанский отряд. Процесс становления отряда был сложным и поучительным, но это уже новая тема…

Нас она интересует постольку, поскольку это связано с именами людей, уже знакомых по этим запискам.

Время выяснило: подпольная борьба под началом бывшего майора Красной Армии Андрея Игнатовича Казанцева — новая страница героизма ялтинцев. Внимательно изучены документы, факты, опрошено много людей. В честь двадцатилетия победы над фашистской Германией десятки участников патриотического движения в Ялте отмечены правительственными наградами, среди них и Казанцев, и Людмила Пригон, и многие другие…

История же Казанцева такова. Майор был ранен, подобран солдатской вдовой, выхожен. Потом прошел пешком всю Украину и осел в Ялте. Никто не знал ни его воинского звания, ни мыслей, ни планов.

Ходил по Ялте худой, болезненного вида стекольщик: «Стекла вставляем! Стекла вставляем!» К его хрипловатому голосу привыкли и ялтинцы, и даже чины городской комендатуры. У него был алмазный стеклорез, была замазка, ну а стекла хозяйские…

Человек не болтливый, уступчивый, вежливый. Не надо было спрашивать, почему он не на фронте. Достаточно было увидеть его бледное, без кровиночки, лицо. Доходяга!

Бывало, он попадал в облаву, сидел в камерах, но все кончалось благополучно; выходил на свободу и брался за свое: «Стекла вставляем!»

Жил Казанцев на квартире у одинокой женщины, позже ставшей верной помощницей и хозяйкой явочной квартиры.

Стекольщик больше вертелся у порта, базара, часто поднимался по Симферопольскому шоссе, проходил мимо гестапо, заглядывал в большой двор напротив, охотно обслуживал немецкие госпитали, цепочкой нанизанные на трассу. Ничего особенного в его походах не было, Недалеко был порт, а на него нет-нет да и налетали советские самолеты. Стекольщику работы по. горло, только успевай…

Никто не замечал, как иногда стекольщик задерживался на дворе у одного человека, бывшего лейтенанта Красной Армии Александра Лукича Гузенко, который тихо и мирно работал в винном подвале, жил незаметно…

В маленькой уютной, комнатушке накрыт стол, на нем массандровские вина. Сидят два мужика, пьют, закусывают… Но заглянул бы кто-нибудь под кровать… Там были пистолеты, гранаты и типографский шрифт.

Казанцева больше всего интересовал шрифт. Он приносил его в ящике, прятал в тайник. Потом уходил вверх по Симферопольскому шоссе…

Всю ночь готовил выпуск подпольной газеты. Казанцев был и редактор, и автор, и наборщик.

Гузенко только для видимости вел себя тише воды ниже травы. Человек это был смелый и умный. Он сколотил сильную подпольную группу из рабочих, от него протянулись нити на городскую электростанцию, в Ливадийский поселок, в городскую больницу. Медсестра Нина Григорьевна Насонова проложила дорожку в Кореиз к Михайловой. А Людмила Пригон нашла людей в Алупке, а позже в Симеизе. Круг замыкался, и ключ от

него был в подпольном центре Южнобережья у майора Казанцева.

Типографию расположили в узкой комнатушке под крышей санаторного корпуса. В самом здании размещалось отделение немецкого военного госпиталя.

Осенью вышел первый номер газеты под названием «Крымская правда». Он едко высмеивал оккупантов, звал к активной борьбе.

Газета с удивительной быстротой распространилась по Южному берегу Крыма, достигла Феодосии, Симферополя. Шоферы, участники подпольного движения, монтировали экземпляры газет в скаты своих машин и доставляли в самые далекие уголки побережья. Старожилы Ялты до сих пор помнят свою газету, а некоторые бережно хранят отдельные экземпляры.

«Крымская правда» отличалась остроумием, выдумкой, была дерзкой.

Вот один из ее номеров. Он напечатан на красочном портрете Гитлера.

Подпольщики вывесили газету на всех городских досках объявлений. Город читает газету, а оккупанты, ничего не понимая, удивленно поглядывают на ялтинцев, любующихся портретом фюрера.

Спохватились, но поздно — уже весь город говорил о смелом подвиге патриотов.

Вот шеф черного СД празднует свой день рождения. Банкет, телеграммы, поздравления, цветы…

Юбиляр открывает очередной конверт, достает… «Крымскую правду» с карикатурой на Гитлера.

Работа же подпольного центра шла в двух направлениях.

В городе начали действовать боевики. Подпольное звено во главе с электриком А. Р. Мицко на городской электростанции вывело из строя ведущий генератор. Потом была уничтожена радиоустановка. В грузовом парке выходили из строя машины. Это делалось так, чтобы аварии происходили далеко за пределами гаража. Транспортная группа подпольщиков испортила сотню грузовых машин и не была схвачена.

Но перед подпольщиками стояла более трудная и сложная задача: комплектование партизанского отряда. Лес есть лес, особенно южный. Он не прокормит! Началась тайная подготовка продовольствия, причем более тщательная, чем в 1941 году, когда возможностей было куда больше. Вдоль яйлы рассыпали мелкие продовольственные базы, склады трофейного оружия.

Кореизская группа пережила тяжелое время. Тогда, в 1942 году, Людмила Ивановна так и не дождалась Алексеева, который умер в санитарной землянке. Она ждала месяцами, часто

наведывалась к дереву, заглядывала в дупло. Там лежал чемодан с медикаментами: а вдруг придут партизаны?

Но лес будто вымер. На дорогах шла война, а вот партизан не найдешь. Сколько троп облазил Нафе Усеинов!

Однажды узнали: кто-то из полицаев нашел в дупле чемодан с медикаментами. В больницу нагрянули с обыском. Он ничего не дал, но немцы долго принюхивались к кореизским и гаспринским жителям…

В 1943 году подпольная группа связалась с ялтинским центром и с тех пор действовала по его указанию.

В Кореизе был создан тайный склад оружия, медикаментов. Усеинов все это осторожно переправил в лес и надежно спрятал. Он по-прежнему водил машину гаспринской общины.

В октябре 1943 года до ста человек вышли в лес. Так родился новый Ялтинский партизанский отряд. Поначалу им командовал майор Казанцев, потом ветеран партизанской войны Крыма Иван Васильевич Крапивный.

Большая земля прислала комиссара — Михаила Дмитриевича Соханя, политрука — Александру Михайловну Минько.

Снова ожил тайный кореизский госпиталь Михайловой. Из леса поступали раненые. Их лечили, кормили, отправляли в лес.

Насонова теперь была в лесу и возглавила медицинскую часть отряда. Часто наведывалась в Кореиз, консультировалась у Михайловой и Пригон. Однажды она пришла расстроенной. В лесу тяжело ранен партизан, ему нужна срочная операция. Михайлова расспросила о ране, о состоянии раненого и неожиданно решила:

— Доставьте его ко мне.

Ей было почти восемьдесят лет, но она сама встретила партизан с раненым, помогла им добраться в свой госпиталь. Блестящая операция сохранила партизану жизнь.

Это случилось уже в дни массового партизанского движения, когда в лесах побережья действовало многотысячное партизанское соединение под командованием легендарного Михаила Македонского, бывшего рядового бухгалтера из Бахчисарая, Но обо всем этом я подробно расскажу в третьей тетради…

В Ялте многие здравницы были уничтожены начисто. К счастью, сохранился Дом-музей Антона Павловича Чехова. В 1946 году я впервые увидел Марию Павловну, сестру писателя. Она с горечью вспоминала дни оккупации, а потом неожиданно улыбнулась:

— Один дотошный корреспондент назвал меня партизанкой. Лестно, конечно, но увы…

— И все же вы встречались с нашими. Помните?

— А, с Костиком Мускуди?! Да он же мой сосед, какой это партизан? Впрочем, за газеты ему спасибо. Как он меня тогда напугал!

Разведчик Костя был отчаянным парнем с анархическими наклонностями. Как-то майор Казанцев направил его в Ялту на разведку, строго-настрого предупредив: «Не озоровать!» Даже оружие отобрал на всякий случай.

Костя обегал Ялту, встретился с кем нужно и вдруг увидел эсэсовского офицера, того самого, который месяц назад на глазах у парня сжег его дом, имущество, вырубил сад.

Костя забыл о предупреждении, побежал в тайник, что был под мостиком, взял две гранаты, снова выследил офицера и стал ждать удобного случая.

Офицер вошел в Дом-музей.

Волшебная дощечка майора Бааке к тому времени потеряла свою силу. Немцы наведывались к Марии Павловне.

Приходилось хитрить, выкручиваться, а порой и принимать этих господ. Настали самые трудные дни для затерянного на оккупированной земле скромного домика-музея. Мария Павловна имела в виду именно эти дни, когда сразу же после освобождения писала директору Библиотеки имени Ленина: «Тяжелые переживания переутомили мое сердце, и я немного ослабела. Надеюсь, что скоро поправлюсь и буду работать с такой же энергией, как и прежде».

Костя забыл, где находится, не думал о последствиях: он хотел мстить! Притаился за кипарисом у самого дома. Граната в руке.

Вдруг позади себя услышал осторожный шорох, обернулся — увидел Марию Павловну.

— Ты что тут делаешь? — спросила она.

— А меня интересует тут один тип.

— Сам откуда?

— Отсюда не видать.

— Тебя зовут Костиком, да?

— Ну и что?

— Твой дом сожгли немцы?

— Положим.

— Я знаю. Передай Евдокии Герасимовне, матери твоей, мой самый низкий поклон.

Костя молчал.

— Ты хочешь есть? Только тихо, спрячься, а я принесу еду.

Костя послушался.

Мария Павловна пришла со свертком.

— В дороге поешь. Иди, не задерживайся.

— Спасибо, — Костя спрятал еду за пазуху, а гранату в карман.

— Обожди, — Мария Павловна взяла Костю за руку. — А вы газеты получаете?

— О, много! Комиссар читает.

— Будет случай, принеси. Вот сюда положи, — Мария Павловна показала маленький тайничок рядом со скульптурой чеховского бульдога.

Костя побывал тут дважды, оставил в тайнике газеты.

Дом-музей был спасен Марией Павловной и ее помощницами: Диевой, Михеевой-Жуковой, Яновой. О Диевой Мария Павловна писала: «В течение годов оккупации П. П. Диева с необыкновенной трогательностью и любовью помогала мне сохранить последнее место жизни А. П. Чехова от возможного разграбления».

…Миллионы людей приезжают на крымские курорты.

Дорогой читатель! Наслаждаясь всеми прелестями чудесного уголка земли своей, подними голову, взгляни на горы, подумай о тех, кто не вернулся оттуда, чьи останки лежат под гранитными обелисками и в скромных могилах. Поклонись мертвым, скажи «до свидания» живым!

Тетрадь вторая. Живи, Севастополь!

1

На ялтинской набережной ко мне как-то подошел человек в железнодорожной форме и пресекавшимся от волнения голосом спросил:

— Это вы, товарищ командир?

Я буквально остолбенел:

— Не может быть! Томенко?

— Точно! Михаил Федорович Томенко и есть…

— Живой!

…Мы не виделись двадцать лет. Сколько раз выпадал и таял снег на крымских горах, сколько воды унесли бесчисленные горные речушки, как высоко поднялся тот дубняк, на опушке которого мы последний раз простились! Я оставался в глубоком тылу врага, а дорога Томенко лежала на запад: ему надо было перейти линию фронта, добраться до Севастополя.

Он ушел тогда в неуютный мартовский день и пропал. Исчез, и все! Мы давным-давно похоронили отважного партизана, бывшего машиниста депо станции Севастополь. Ведь нам достоверно сообщили: Томенко подорвался на немецкой мине.

И вот он жив, стоит рядом и не может скрыть слез.

Годы! Крепко они разрушают нашего брата. И на лице Михаила оставили отпечаток: глубокие борозды морщин, залысины, седоватые брови… Мы, пятидесятилетние, как правило, выглядим старше своих лет. Ведь не случайно в послужном списке солдата день, прожитый на войне, отмечается за три.

Это между прочим. Что касается всего остального — есть еще порох в лороховницах! Вон как живо смотрят глаза Михаила Федоровича, как энергично он рубит воздух рукой! Сразу чувствуешь: человек знает, зачем на земле живет, стоит на ней обеими ногами. Помнит такие детали, будто только вчера мы расстались, а не в холодный мартовский день 1942 года. Не забыл, как мы с ним докурили последнюю самокрутку, в которой трофейный дюбек был перемешан с сухим дубовым листом.

О чем говорят два партизана при встрече? Мы обходились без привычных восклицаний: «А помнишь?», «А знаешь?» Мы все помнили, знали. Рубцы на сердце не сотрешь. Снова переживали незабываемое, будто вернулись к тем дням, каких у человека бывает не так уж много, но которые являются, может быть,

самыми важными днями всей его жизни. Он, наверное, для них и рождается на свет белый.

Их было пятьсот человек. Они сражались за свой город, голубые бухты, землю с полынными косогорами, за древние виноградники. Им принадлежит целая страница подвига героического Севастополя, которая до сих пор не была по-настоящему известной. Мало кто знает правду о них: корабельцах, железнодорожниках, балаклавских рыбаках — потомках знаменитых листригонов, о виноделах и виноградарях, сынах древней южной земли, с ее Херсонесом, с присягой его граждан, высеченной на партенитском мраморе и дошедшей до наших дней: «…Я буду единомыслен относительно благосостояния и свободы города и сограждан и не предам ни Херсонеса… ни земли, которыми херсонеситы владеют… ничего, никому…»

Встреча до спазм сердца напомнила: самые трудные и памятные дни моей партизанской жизни прошли среди севастопольцев и балаклавцев. Я появился у них в драматический момент их борьбы с атакующим Севастополь врагом. Судьба забросила к ним нежданно-негаданно и взвалила на мои плечи непосильную ношу.

И тетрадь моя — скромная дань тем дням. Я пишу не исторический очерк и даже не воспоминания бывалого человека. Это — что видели мои глаза, что прошло через сердце. Думая о прошлом, я смотрю на сегодняшние дни нашей жизни; живя сегодня, я четче вижу то, что было четверть века назад.

2

Мы едем в горы. Август дотла иссушил придорожные кюветы, и боковой горный ветер полощет в них свернутые листочки летнего листопада.

Нас много — киногруппа, поэтесса Римма Казакова, прозаик Георгий Радов, жена моя и мой сын. Среди нас женщина, к которой с нежной теплотой относимся мы все, особенно безусые солдаты, — Екатерина Павловна, жена бывшего комиссара Балаклавского отряда Александра Степановича Терлецкого.

Мы едем снимать кадры о подвиге Терлецкого, туда, в высокогорье, где я расстался с Александром Степановичем, ушедшим по нашему приказу в Севастополь, осажденный фашистами.

Дорога, легшая по пустынному телу яйлы, привела нас в Чайный домик.

Мимо идут туристы с транзисторами, в защитных очках, веселые, занятые собой. Девчонки твистуют под музыку, с любопытством поглядывая на нас: почему мы хмуримся, когда им так весело?

Что они знают? Что для них Чайный домик, да и все эти горы, черные буковые леса, раскромсанные быстринами рек, гигантские стены застывшего диорита, буреломы, тропы? Природа!

Молчат горы, шумят под ветром буковые леса, бегут вечно говорливые реки. Раны на деревьях затянулись сизой корой. Время стирает следы человеческих драм. Идут туристы, и только остовы землянок с испепеленными бревнами да надмогильные кучи дикого камня говорят о том, что не так уж пустынен был древний крымский лес. И сейчас растут деревья, четверть века тому назад начиненные свинцом. Их не любят дровосеки. И когда буран или время свалит такое дерево — оно так и лежит нетронутым: берегут лесорубы топоры и пилы от свинца.

Мы расселись под раскидистой дикой грушей, и я рассказываю историю поляны, которая вокруг нас, гор, что полукольцом охватывают Чайный домик.

Я веду своих лесных гостей в пещеру. Узкая замшелая горловина, скользкие камни, темень — глаз выколи. Солдаты храбро спускаются в черную пасть провала, я впереди со своим сыном Володей, наши женщины не отстают.

Горит факел, вырывая под темным сводом сталактитовые наплывы, вокруг стоит гробовая тишина.

Могильная сырость окутывает нас, но я веду гостей своих дальше и дальше.

— Трое суток лежали здесь раненые, на четвертые вход в пещеру был взорван… — Мой голос клокочет в каменном мешке.

Вышли на простор, жмуримся от яркого дня, который нам кажется в тысячу раз светлее, чем полчаса назад.

У всех бледные лица, но испуг похож на испуг человека, который уже миновал пропасть.

Мы на вершине Орлиного Залета. Над нами действительно парят с размашистыми крыльями дремучие орлы, вглядываясь в незваных нарушителей их царства.

Под нами весь Крым до евпаторийских берегов. Мы смотрим на ковровые дали яйлы, на села, ожерельем нанизанные на упругие жилы изгибистых дорог и речушек.

Простор! Простор!

Мы вернулись в переполненную Ялту — молчаливые, взволнованные. Трудно связать наши ощущения с курортным шумом, толкотней на пляжах, мелкими житейскими хлопотами. Мы прикоснулись к чему-то святому, и где-то в уголочках наших

сердец на всю жизнь врезались минуты, пережитые в пещере. Римма Казакова написала стихотворение. Вот оно:

Партизанские тропы

Партизанскими тропами трудно идти,
хоть сейчас здесь — шоссе первоклассное.
Ярко-зелены
все кусты на пути,
а мне кажется
ярко-красные.
А седой партизан
аккуратно, как гид,
новобранцев проводит по прошлому.
— Убит… убит… убит… убит!
автоматною строчкою брошено.
А седой партизан — вот, ей-богу, седой,
как в романах описывать принято.
Ну а младший солдат
уж такой молодой!
Ни усинки еще не выбрито.
Ах, Орлиный Залет!
Чем-то в бездну зовет,
а ведь страшно и поглядеть с него.
А седой командир говорит нам: — Ну вот,
тут стоять довелось до последнего…
О жестокая служба!
Голб ты, яйлб.
Сколько здесь наших батек угробили!
Партизанские тропы, в Крыму. — до угла
вы — видней, чем на глобусе — тропики.
Были, правда, пещеры… Ползем в сырине
с дымным факелом, цепко зажав его.
И — все годы — по мне, все горе — по мне,
все пули — от времени ржавые.
Как дрожали пещеры. Продрогли в мороз.
И гранаты нашарили щели их.
… В тишине кипарисов,
средь лоз
или роз
вы, пещеры,
как люди пещерные.
А седой командир

так жена говорит
иногда — ну как будто бы бешеный.
Вдруг заплачет навзрыд…
Видно, сердце горит.
Слишком много на долю отвешено.
… Возвращаемся ночью с Ай-Петри, кружа.
Понемногу машина укачивает.
А ночь хороша.
А жизнь — хороша!
Ничего она — дрянь! — не утрачивает.
Кто-то рос сиротой.
Кто-то — мальчик! — и мертв.
Кто-то легким единственным дышит.
… Может, все ж их проймет:
кто не понял — поймет,
кто упрямо не слышал — услышит?!
Партизанские тропы,
кто вас исходил
время сердца тому не излечит.
… Ты кричи, ты ругайся, седой командир!
Ничего,
наши нервы покрепче.

3

Ноябрь 1941 года!

До трагических дней Чайного домика еще много-много времени. Пока я их даже не предчувствую. Только что вышел из здания обкома партии, шагаю по переполненному войсками Симферополю в Центральный штаб партизанского движения. Он уже создан, действует.

Мне предстоит встреча с командующим партизанским движением Крыма, легендарным героем гражданской войны Алексеем Васильевичем Мокроусовым.

Конечно, волнуюсь. Еще бы! В жизни не видел живого героя с таким прославленным именем. А тут не просто встреча, а, можно сказать, определение всей моей судьбы.

Женщина с пристальными серыми глазами внимательно посмотрела на меня, и я догадался, что передо мной Ольга Александровна — супруга Мокроусова, в гимнастерке без петлиц, с дамским пистолетиком на новом командирском ремне.

— Закуривайте и успокойтесь, — подала она мне пачку

«Беломора» и ушла в соседнюю комнату.

Вошел Мокроусов — рослый, статный, спросил властно:

— Почему идешь партизанить?

— А больше некуда, товарищ командующий.

— Здоровье как?

— Меня хватит.

— Командиром твоим будет Бортников, Иван Максимович. В гражданскую партизанил. Повидай его. Он под Севастополем, в Атлаусе. — Мокроусов подошел к карте, показал где.

— Выеду завтра же! Разрешите идти?

— Обедал?

— Нет.

— Пойдем!

Скромная комната, не менее скромный обед. Едим молча, Алексей Васильевич поглядывает на меня.

— Ешь аккуратно. Из крестьянской семьи, видать?

— Из голытьбы, Алексей Васильевич.

— Все мы не из княжеского рода.

Прощаемся, Мокроусов задерживает руку:

— На трудное дело идем, учти!

В те дни для нас, крымских партизан, не было человека авторитетнее Алексея Васильевича, мы верили ему, мы подчинялись каждому его приказу. Может быть, мы тогда были слишком наивными, но за нашей непосредственностью стояло очень многое, и самое главное — любовь к своей земле, к Родине. Возможно, будь мы покритичнее, избежали бы некоторых досадных промахов, но, честное слово, мы выиграли большее. А это большее становилось великим: не рассуждать, когда речь идет о жизни и смерти, а воевать за жизнь!

Легендарное имя Мокроусова — матроса-революционера, штурмовавшего Петроградский телеграф в Октябре, знаменитого комдива, громившего Петлюру, командарма повстанцев в тылу барона Врангеля, главного военного советника республиканцев Испании под Гвадалахарой — было нашим знаменем от начала до конца.

4

Я спешу к Бортникову.

Наш юркий пикапчик подпрыгивает на разбитой севастопольской дороге. Ведет его Петр Семенов, нос которого за последние дни особенно заострился: на днях он расстался с семьей и переживает.

Вправо тянутся крутые и голые горы, мы жмемся к ним, повторяя их изгибы. Проскакиваем знаменитый подъем «Шайтан-мердвен», что в переводе на русский язык — «Чертова лестница». По ней, говорят, когда-то поднимался Пушкин. Круто!

Дорога — пронеси господи! Будто гигантскую веревку небрежно бросили на горные склоны, и легла она как попало, без всякого смысла.

Впереди — Байдарские ворота.

Стоп!

К нам подходит пограничник с худыми щеками. Узнаю: младший лейтенант Терлецкий — начальник Форосской заставы.

— Документы!

— Комбат-тридцать три! Знаешь же! — говорю с раздражением.

Два пограничника берут нас на прицел.

— Прошу документы!

Терлецкий внимательно просматривает мое удостоверение личности.

— Проезд разрешаю!

Спускаемся в Байдарскую долину.

— Строгий какой! — бурчит Семенов.

— С характером дядько!

— Порядок — хорошо!

Я соглашаюсь и вспоминаю прошлую встречу с Терлецким. Это было в преддверии винодельческого сезона. Метался я из одного конца Крыма в другой: то искал запасные части к прессам, то электромоторы, то еще что-нибудь. Такова уж доля совхозного механика.

В знойный полдень я с шофером попал в санаторий «Форос». Уставшие, разморенные жарой, мы бросились к спасительному морю, в спешке не заметили на берегу предупреждающую надпись «Запретная зона», стали купаться. Сейчас же появился погранпатруль, приказал выплыть на берег. Мы почему-то заупорствовали. Кончилось тем, что нас вынудили одеться и повели на заставу.

Мы оказались перед младшим лейтенантом — высоким, поджарым, с жестким ртом, холодноватыми серыми глазами.

— Документы!

Их у нас не было, если не считать за документ шоферскую путевку. «Этот не отпустит», — подумал я и решил извиниться.

Куда там — бровью не повел. Пришлось подробно объяснять, кто мы такие и прочее.

— Кого вы знаете в совхозе «Гурзуф»?

Я ответил, что знаю всех наперечет, даже тех, кто работает в

других совхозах Южнобережья.

— Сержант! Запиши фамилии и адреса этих граждан и отпусти.

Я заплатил солидный штраф за нарушение пограничных правил. Негодовал: службист проклятый, попадись такому в руки — труба!

А сейчас мне по душе такой «службист». Уж тут никто не проскочит будьте уверены.

Мои воспоминания оборвал оглушительный взрыв страшенной силы. Упругий воздух горячо ударил по лицу. Семенов резко притормозил, мы выскочили из машины, огляделись, но испуг наш был напрасным: нам ничто не угрожало.

Еще взрыв, еще! Будто гром небесный с нахлестом бился о крутые бока скал, издавая треск, лязг, похожий на падение стальных листов на булыжную мостовую. Звуки стегали по нервам. Это отвечали немцам сверхдальние морские батареи, сотрясая горы до самого основания.

Черные колпаки медленно поднимались над высотами за Бахчисараем и тут же оседали.

Неужели фашисты уже там?

Все ближе к Севастополю, в кабину врывается пороховой угар — его несет с моря западный ветер.

На дороге нервный ритм, и повсюду строгий порядок, который, как я узнал значительно позже, присущ всем дорогам, приближающимся к линии огня.

Атлаус, где должен ждать меня Бортников, в стороне, на проселке. Под скатами шуршат палые листья. Нас неожиданным окриком останавливают и ведут к командиру Пятого партизанского района Красникову.

Я знаю его. Владимир Васильевич директорствовал в совхозе имени Софьи Перовской. Чем-то похожий на интеллигентного сельского учителя, носил пенсне в золотой оправе, аккуратный строгий костюм, белые рубашки, оттенявшие сильную красноватую шею. Был широк в плечах, имел сильный голос.

На собраниях и совещаниях, как правило, занимал почетное место, говорил громко и выразительно, но речь его, в частности для меня совхозного механика, была все же замысловата.

Меня остановили у крылечка, пошли докладывать начальству. Ждать не заставили.

— Заходите! — голос самого Красникова.

Я с трудом узнаю Владимира Васильевича: он в ладно скроенной шинели, опоясан широким ремнем, через плечо — перекрестком — портупея, на боку кобура цвета густого кофе.

— Мы ждем вас, массандровец! — Красников дружески протягивает руку.

За столом сидит незнакомый пожилой мужчина с чисто партизанской внешностью: сивые усы, дубленый полушубок, папаха, маузер.

Наверное, это и есть Бортников. Я беру стойку «смирно» и докладываю по всем правилам.

— Будет тебе! — Он улыбается в ус, сажает меня рядом с собой. — Думал, ты постарше. Ну ничего, сложим года наши в одну кучу, поделим на две части, и будет что надо! — Бортников говорит с такой доверчивостью, будто знает меня давным-давно. Мне с ним просто.

Сидим за длинным столом в учительской. Красников шумно двигает картой, показывая границы двух партизанских районов. Да, наш район — Четвертый, куда и определяют меня в начштаба. У нас будет шесть отрядов, среди них и Ялтинский.

С нами еще один человек — начальник красниковского штаба. Я почему-то частенько поглядываю на него, но он, Иваненко, — его представили мне почти не отвечает на мои взгляды.

Входит комиссар района — Георгий Васильевич Василенко. Плотный круглолицый мужчина. Он почему-то сразу напомнил моего первого мастера, который, несмотря на все охранные законы, как-то дал мне парочку подзатыльников, прорычав при этом: «Ух, байстрюки! Понарожали вас…»

Он грузно сел, выставил на стол большие руки со вздутыми венами:

— Чайку бы!

— Может, покрепче, комиссар? — спросил Красников.

— Не время. Еще один ход.

— Без тебя обойдутся, — жалеючи сказал Красников.

Василенко похлебал кипяточку, перевернул стакан — так мой дед поступал, когда кончал чаевать, — зевнул, простился и ушел.

Он с проводниками выводил из окруженных лесов наши подразделения; как позже стало известно, вывел на Севастополь тысячи красноармейцев и командиров.

Идем по узкой сельской улочке, навстречу — партизаны. Молодые, лихие, задористые. Встреча с действительностью впереди, но не за далекими горами.

Красников старается показать район в лучшем виде. Вот он остановил черноглазого, поджарого человека, легкого как танцор.

— Это наш Ибраимов — севастопольский хозяйственник, а сейчас главный снабженец района!

Ибраимов улыбается — блестят белые зубы.

— Отлично знает местность, — продолжает Красников. — Вчера проверял тайные базы. Ищу, ищу — нет, и все! Оказывается — стоял на крыше главной партизанской кладовой. Здорово прячешь, черт! — Красников уважительно подтолкнул Ибраимова.

Тот скромно уточняет:

— Каждый куст знаю, босоногий мальчишка за чертова ягода ходил.

— За кизилом, что ли?

— Конечно, кызыл! О, аллах шайтана надувать умел. Кызыл цветет на морозе, шайтан подумал: рано ягода будет!

Просит аллаха: «Отдай мне!» — «Бери!» — аллах хитро улыбается. Март цветет кызыл, апрел — цветет, май — цветет! Лето кончилось — ягода зеленый. Тогдай шайтан обиделся и все солнце зимнее на октябрь загнал. Кызыл на урожай — зима на мороз!

А кизила действительно много, особенно по низинам. Бортников соглашается со снабженцем:

— По всем приметам, зима лютой будет!

Я прощаюсь; Бортников обещает ждать меня в лесном домике «Чучель», что лежит на Романовской дороге из Ялты в Алушту через Красный Камень.

В полночь подъезжаем к Алупке. Кругом гробовая тишина, батальон спит. Звоню начальству.

5

Следующая встреча с Севастопольским районом, точнее — со связными, произошла в более сложных обстоятельствах. Разрыв между встречами был небольшим, но очень драматичным.

Я уже в первой тетради писал о трагической гибели теплохода «Армения».

Она ошеломила не только меня, уполномоченного Мокроусова, Захара Амелинова, моряка Смирнова, но еще одного человека, о котором я ничего до сих пор не говорил, а говорить надо, ибо с ним связано то, что я не смогу забыть до последнего своего дыхания. Назовем его не слишком оригинально, но довольно точно — Очкарем. Посмотришь на его лицо, стараешься что-то запомнить, а вот запоминаются одни лишь очки с выпуклыми толстыми линзами.

Когда самолеты топили «Армению», он отвернулся от моря.

А мы смотрели, надо было смотреть.

Исчезла «Армения», как будто никогда не существовала.

Мы не могли двигаться, нас словно околдовали на том месте,

где сейчас частенько останавливаются туристы.

Амелинов пытался свернуть цигарку, но ветер выдувал махорку, и он этого не замечал.

Нас вывел из оцепенения все тот же непоседа Володя Смирнов.

— Топать надо, братцы! Ну, я иду в разведку! — Он твердо шагнул, и мы вынуждены были следовать за ним.

Минут через десять моряк из-за куста вытянул шею и поднял ладонь:

— Ша! Кто-то шкандыбает к нам!

Показался военный в непомерно длинной новой шинели, но без знаков различия на петлицах.

— Стой! — гаркнул прямо под его носом моряк.

Военный до невозможности напугался.

— Кто такой, отвечай! — нервно спросил Захар Амелинов, Все это происходило очень быстро.

— Вот иду… Своих ищу…

— Кто свои?

— Наши, конечно… Ну, советские…

И вдруг случилось невероятное: Очкарь сбросил с себя плащ-палатку оказался старшим лейтенантом, — грозно подскочил к задержанному:

— Я тебе дам «ну»! Дезертир, мать-перемать… Где фашистская листовка?

Военный без знаков различия стал белее полотна и ничего не мог сказать.

Очкарь нервно стал обшаривать его карманы, захлебываясь, кричал:

— Из-под Перекопа удрал? Отцы грудью, а ты марш-драп! Сука фашистская!

— Все отступали… И я… Я только курсы закончил…

— Признался, гад! Дезертир!

Мы были ошеломлены, все происходило с катастрофической быстротой. Я не успел опомниться, как раздался выстрел.

— За все и за всех получай! — Очкарь, как эпилептик, дергался, человек лежал у его ног мертвым.

Амелинов накинулся на него:

— Ты что натворил?

— Дезертира уничтожил. Я нюхом их чую!

Моряк успел обыскать убитого и в обшлаге рукава нашел перехваченный суровой ниткой пакетик. В нем были: удостоверение личности на имя младшего лейтенанта, медаль «За отвагу», комсомольский билет.

Смирнов поднял автомат.

— Ты кого убил, сволочь?

— Стой! — Амелинов стал между ними. — Самосуда не будет, разберемся. А ты, — он резко повернулся к Очкарю, — отдай оружие!

…Очкаря, к великому несчастью, не судили, защитил его, как ни странно, Амелинов. «Он был невменяем», — рапортовал он. Напрасно защитил. Позже, приблизительно через месяц, Очкаря послали с группой партизан на очень важное разведывательное задание. Он попал к немцам и выдал всех своих спутников.

Черного кобеля не отмоешь добела, как ни старайся.

6

Ни Бортникова, ни связных от него в лесном домике «Чучель» не было.

Рассказывают: на командира Четвертого района напали каратели и загнали его куда-то в район трехречья Кача — Донга — Писара. Я собрался на поиски, но меня не пустили, сказали: жди связных!

Домик стоял на перекрестке многих дорог и троп, связывал Центральный штаб с районами, подпольными группами оккупированных городов. Отсюда партизанские ходоки уносили приказы Мокроусова, доставляя сюда вести о боях, победах, поражениях.

На первый взгляд тут все мне казалось случайным, недодуманным: для чего, например, скапливать столько народу на этом крохотном «пятачке», лежащем всего в километре от довольно-таки важной Романовской дороги, по которой час назад прошла мотоколонна фашистов в сторону Южного берега Крыма?

Шум, гвалт, колгота, — не поймешь, кто здесь командует, кто подчиняется.

Амелинов вдруг куда-то исчез, моряк Смирнов нашел какого-то дружка, а я и Семенов сиротливо прижались к сырой стене — другого места не найдешь, все перезанято — и чего-то ждем.

Люди! Какие они тут разные! Сдвинуты набекрень шапки с красными лентами поперек, взгляды — знай наших! Военные, матросня, бывшие бойцы истребительных батальонов. Они все чему-то радуются, говорят в полный голос. Как же так: они же знают о гибели «Армении» — мы рассказали, а ведут себя, словно немцев из Крыма выгнали. Откуда такой оптимизм, уместен ли он? А может быть, я чего-то еще недопонимаю? На войне человеческие чувства жалость, боль, ненависть, презрение, страх — проявляются как-то особенно, а как — я еще не знаю…

По соседству дотошный морячок пристает к пожилому степенному красноармейцу, прижимающему к себе новенький автомат-пистолет, явно трофейный.

— Папаша, махнем! Даю ТТ, пять лимонок, зажигалку и флягу!

— Не приставай!

— Жалко, да? Ведь стянул небось…

«Папаша» обкладывает моряка таким сочным матом, что тот от восхищения бросает вверх бескозырку.

Вокруг смеются.

Толстощекий артиллерист который раз обращается ко мне:

— Скажи толком: дадут мне шинель аль пропадать?

Я пожимаю плечами.

— Пойми, старшина не успел дать мне шинель. Значит, я не получал.

— Тут лес, цейхгаузов нет!

— Чевой, чевой?

— Вещевых складов нет, говорю!

— Но порядок должон быть?

Я увидел Амелинова, бросился к нему:

— Как же быть?

— Ждать.

И все же в этой сумятице была и своя гармония.

Вот вошел в переполненную комнатушку высокий сероглазый человек в годах, степенный, какой-то самостоятельный. На лице глубокие морщины, а кажется моложавым. У него крепкие зубы, точные движения. Снял плащ, посмотрел поверх голов:

— Товарищ Амелинов!

Захар обрадовался:

— Дядя Дима! С новостями?

— Морячка привел. Эй, дружок! — Он повернулся лицом к входным дверям.

Оттуда вкатился плотноплечий круглолобый парень в бушлате, перекрещенном пулеметными лентами.

— Мое вам, братцы! — по-смешному запищал бабьим голосом.

Грянул смех, но Амелинов шикнул:

— Ну! — Голос у него отлично поставленный, он сразу подавил смех. Прошу ко мне! — Отыскал глазами меня: — И ты давай сюда!

Крохотная комнатушка, кровать, на ней гора подушек в красных наволочках. Амелинов присел на столик, приткнувшийся к окошечку, а мы прижались к стене.

— Ну, Дмитрий Дмитриевич, чем я обрадую нашего

командующего?

Дядя Дима — Дмитрий Дмитриевич Кособродов — из-за пазухи достал пакетик.

— Лично от Павла Васильевича Макарова!

— Чем же нас удивит знаменитый адъютант генерала Май-Маевского?

Май-Маевского! Перед войной я прочитал книгу Макарова и буквально бредил тем, что узнал из нее. Большевик Макаров в роли белого капитана сумел стать правой рукой генерала Май-Маевского. Романтическая личность автора запомнилась на всю жизнь. Неужели сейчас он в лесу, в одном строю с нами? Меня взяло нетерпение, и я спросил у Амелинова:

— Макаров — тот самый?

Он кивнул головой, продолжая знакомиться с содержимым рапорта.

— Старая гвардия! Молодец, Паша! — он посмотрел на моряка. — Так ты из группы Вихмана?

— Одесса! Осиповцы, в атаку, лупи мамалыжников! — Моряк рисовался, а потом, убедившись, что произвел впечатление, начал довольно толково рассказывать о путях-дорогах, приведших небольшую группу морских пехотинцев во главе с лейтенантом Вихманом в партизанский лес. Они лихо защищали Одессу, сдерживали фашистов под Перекопом, у совхоза «Курцы» — вблизи Симферополя — смяли немецкий авангард. И самим досталось по первое число, пришлось рассыпаться на мелкие подразделения и самостоятельно решать судьбу свою. Леонид Вихман разыскал Симферопольский отряд, которым и командовал легендарный Макаров. Павел Васильевич не жаловал «окруженцев», но Вихман оказался сверх меры настырным.

— Одессу держал? — Макаров любил краткость.

— Осиповский, — не менее кратко ответил Вихман.

Морской полк Осипова! О нем ходили легенды. «Черная туча» — называли его враги.

— Докажешь?

— Прикажи!

— Дуй на Курлюк-Су! Утром жду с пропиской. Пустой придешь — топай на все четыре! Ты меня понял?

Десять матросов в засаде. Дождь. Бушлаты промокли — хоть выжимай, в желудках — турецкий марш. Но матросы под командованием двадцатилетнего еврейского паренька с лицом музыканта зарабатывают партизанскую визу.

Ждут долго. Наконец увидели то, что нужно. Ревут дизеля немецких тяжелых «бенцев», грязь из-под колес до макушек сосен.

— Шугнем! — Вихман легко перебежал от дерева к дереву и

под колеса первой машины бросил противотанковую гранату.

Жуть что было! Нет машин — взорваны, нет солдат — убиты. Есть трофеи автоматы, пистолеты, документы, ром, шоколад, а главное — надежная прописка в макаровский отряд!

«Севастопольская работа!» — высшая оценка Макарова. Севастополь — его молодость, школа подполья, классовой борьбы; в Севастополе — могила родного брата, замученного беляками.

Амелинов вручает пакет Кособродову:

— Сам понесешь хозяину! Он кличет тебя!

Кособродов уходит в штаб командующего. Я сквозь тонкое оконное стекло вижу, как легко он шагает.

— Сколько же ему? — спрашиваю у Амелинова.

— Полвека будет.

Полвека! Для меня тогда этот возраст казался недосягаемым. Но вот прошло еще четверть века, а Дмитрий Дмитриевич Кособродов жив и по-прежнему молод. Да, да, молод. Он не так давно женился, и молодая жена родила ему трех дочерей — точь-в-точь портрет отца. А семьдесят пять лет для него не возраст. Он каждое лето водит практикантов-геологов в самые отдаленные уголки гор, и за ним трудно угнаться.

Кособродовы — саблынские крестьяне. Кто только не наживался на их горбу! Помещики-баи, надсмотрщики казенного лесничества. В работе В. И. Ленина «Развитие капитализма в России» отражена тяжкая судьба саблынцев, в числе которых упомянуты и Кособродовы. Их род не на жизнь, а на смерть боролся со своими угнетателями и в неравной битве потерял двадцать пять человек.

Еще через час в лесном домике стало особенно шумно: прибыли связные из Пятого района, лично от самого Красникова. Всех это волнует. Еще бы! Севастопольские партизаны дерутся у самого фронта. Что там, как держатся наши?

Подвижный, среднего роста, с черными усиками человек, снимая плащ-палатку, с явным кавказским акцентом громко спрашивает:

— Где главный начальник?

Голос показался мне знакомым: постой, да это же Азарян! Он самый! Винодел, наш, массандровец, шумный, громко-гласный.

Увидев меня, раскинул руки, обнял:

— Ба! Начальник мази-грязи! Какими судьбами?.. Я тебе такое сейчас скажу…

Моряк Смирнов на этот раз оказался нетерпеливым, его беспокоил Севастополь.

— Успеешь указать, а пока отвечай: как дела на фронте?

— Морской порядок! Молотим фрица с двух концов! — Азарян выговаривался долго, но за его восторгом, восклицаниями все же вырастала довольно-таки точная обстановка, которая складывалась на Севастопольском участке фронта.

Первое — и главное — фашисты остановлены! Линия фронта уплотняется, и, видать по всему, там начинается упорная позиционная война.

Тут же мысль: а какое положение у севастопольских и балаклавских партизан? Ведь они оказались во втором эшелоне фронта, почти на артиллерийских позициях врага. Азарян рисует картину: отряд затаился на отдыхе после трудного маневра в лесочке, а через речку, в километре от него, — гаубичная батарея немцев. Или такую: на горке пиликают фашистские губные гармошки, выводя душещипательную песенку, а внизу, у подножия, севастопольские партизаны жуют сухари, запивая водой, которую взяли из того источника, откуда минут пять назад брал немецкий ефрейтор: пришлось обождать, пока наполнит все фляги.

И что удивительно: ни Красников, ни его комиссар Василенко пока не собираются покидать второй эшелон фронта.

Они бьют фашистов! Рапорт Красникова документально это подтверждает.

Вот немцы только замаскировали мотоколонну. Все как будто шито-крыто, но на рассвете точный и мощный артиллерийский удар. Солдаты спешат в укрытия, но на них обрушивается партизанский огонь.

В табачном сарае под Дуванкоем отдыхает батальон немецкой пехоты. Он вышел из боя, принял пополнение и готовится атаковать высоту Лысую.

За час до атаки налетают русские самолеты, а после них около сорока автоматчиков-партизан с гор палят по пехотинцам перекрестным огнем.

Весь второй эшелон вздыбливается.

В чем дело? Кто взорвал мост под Балаклавой? Чьи руки разметали телефонный кабель, проложенный от штаба дивизии к командному пункту самого Манштейна? Кто постоянно проводит через линию фронта русских военнослужащих, оставшихся в окружении?

Ни командующий Манштейн, ни его штаб не могли понять, что же делается в тылу их войск.

Но где Бортников? Почему не шлет связных?

Утро, большими хлопьями валит снег — первый снег этой зимы.

Но снег пока еще робкий, лучи солнца слизывают его

моментально. Грязь, сырость. Я, в роли начальника караула, пытаюсь установить кое-какой порядок.

В избушке по-прежнему тесно. Прячась от непогоды, каждый старается обеспечить себя теплым местечком. Нашел записку: «Товарищи! Иду на связь с Алуштинским отрядом, вечером вернусь. Место за мной!»

Усмехнулся: ничего себе прогулка! В оба конца более двадцати километров, да и с противником можно встретиться на каждом шагу. Но товарищ крепко верит, что придет. Такие приходят, и их много. И не столь важно, что шапки они носят набекрень, любят баланду потравить.

Военнослужащие! Многие из них просят об одном: помогите добраться до Севастополя! Помогаем. Есть такие, что хотят остаться в лесу. Тут мы идем навстречу скуповато, тщательно взвешиваем «за» и «против». Морячков, пограничников берем охотнее, чем других. Это, как правило, народ кадровый, живой, отлично знающий, что такое война.

Попадается люд разный; бывают и такие: перед Амелиновым стоит военный в грязной шинели, за плечами у него туго набитый вещевой мешок. Его задержала секретная партизанская застава.

Амелинов молча, оценивающим взглядом осматривает задержанного; тот спокойно, даже слишком спокойно выдерживает этот взгляд.

— Звание?

— Лейтенант.

— Каких мест житель?

— Бахчисарайский, товарищ командир.

— Отходишь из-под Перекопа?

Лейтенант виновато разводит руками: мол, приходится.

— Почему один?

— Знаете, в такой обстановке кто куда…

Ответ настораживает.

— А ты?

Быстро:

— Разве присягу не принимал!

— Но идешь домой! — Амелинов с напором.

Военный молчит, но потом спохватывается:

— Разве можно, товарищ начальник! В такое время, когда надо Севастополь защищать…

— Защищать, говоришь? — Амелинов пристально смотрит на вещевой мешок. Задержанный в каком-то тревожном ожидании, и это не проходит мимо нас.

— Снимай! Живо!

Военный стоит неподвижно. Лицо его белеет.

Смирнов с силой дергает мешок — трещат лямки.

— Что у тебя здесь напихано? Может, полковое знамя спасаешь? Или несешь медикаменты для матросиков?

Смирнов выбрасывает из мешка шелковые платья, отрезы, суконные командирские брюки, пару хромовых сапог.

— Шкура! — кричит моряк. Из недр награбленного барахла он вытаскивает фашистскую листовку. «Бей комиссаров! Штык в землю!» — Сука! — Смирнов ударом кулака сваливает почерневшего от страха мародера.

Моя «чучельская» неделя! Прожил я ровно семь дней, не сделал ни единого выстрела, не видал в глаза врага, но все же она партизанская, эта неделя!

Каждый узнанный факт, каждая встреча ложились на обработанную почву и потом дали свои всходы. «Севастопольская работа» Вихмана открывала путь к молниеносному действию, к дерзости, красниковская смелость под Севастополем намекала на командирскую мудрость. Короче, «чучельский» домик — первая ступень моей партизанской биографии, она со мной и сейчас.

Наконец-то Бортников заявил о себе: он на водоразделе Донги и Писары, вот-вот будут от него связные. Но у меня такое состояние, что и часа ждать не могу. Меня понимают и не задерживают.

7

Погода никудышная: ливень сменяется сильным снегопадом, потом начинается изморось. Мои почти развалившиеся сапоги громко чавкают и не защищают от слякоти. Снег тает, едва коснувшись земли, и мы сразу замечаем: следы гусениц настолько свежие, что дождь не успел размыть их.

Пройдя несколько шагов, вдруг натыкаемся на тлеющий костер, не потушенный даже таким сильным дождем. Рядом с костром открытые консервные банки с остатком зеленого горошка, пустые бутылки и обрывки немецких газет.

Наверное, не прошло и двадцати минут, а может, и того меньше, как здесь грелся противник.

Насторожились, поближе подтянули гранаты.

Подошли к мосту, взорванному нашими отступающими саперами. Не имея, по-видимому, времени восстановить его, немцы не пожалели танка, вогнали машину в проем моста и проложили по ней настил из дров.

Послышался подозрительный шум. Мы осторожно вскарабкались на высотку, прикрытую кустарниками. За гребнем,

на небольшой поляне Алабач, расположились два средних танка, рядом — до отделения солдат. На дороге стоит бензозаправщик. Орудия танков смотрят на лес.

Это первые живые враги на моем пути. Что же делать? Уйти? Ведь, строго говоря, мое задание — добраться до штаба района.

И все-таки я с каким-то непонятным и мне самому автоматизмом вдавливал сошки ручного пулемета в сырую землю.

— Приготовиться! — вырвалась команда.

Уловив удобный момент, я дал длинную очередь по заправщику, мои товарищи — нас было пятеро — ударили по солдатам, стоявшим у танков.

Несколько немцев упали сразу, но другим удалось вскочить в танки, и они наугад бабахнули из пушек и пулеметов.

Неожиданно кто-то из наших толкнул меня в плечо:

— Сзади две машины фашистов! Рассыпаются, идут сюда!

— К речке! — скомандовал я.

Мы бежали не чуя ног, спуск был ужасно крут, скатывались кубарем. Разрывные пули рвались вокруг, создавая впечатление, что немцы буквально за нашими спинами и стреляют в упор. Я даже ждал: вот-вот пуля секанет меня. С перепугу потерял шерстяное одеяло, единственную мою ценность. Зимой так часто вспоминал о нем.

Фашисты долго стреляли, но спуститься к нам побоялись.

Страх прошел, уступив место нервному возбуждению: мы наперебой делились впечатлениями от своей первой партизанской засады. Тут же пошла неудержимая фантазия!

Вечер окутал нас неожиданно, дальнейший марш не имел смысла. Нашли поляночку под развесистым, древним-предревним дубом, на котором листва только пожухла, и расположились на ночевку. Но заснуть мы так и не смогли. Беспокоило возбуждение, донимал. и дождь, который прорывался к нам сквозь крону твердыми крупными каплями.

Где же искать Бортникова?

Вдруг пришло решение: найти Ялтинский отряд (я знал его точное месторасположение), а потом с помощью Мошкарина отыскать и Бортникова. Шагать будем по азимуту.

Вот когда я впервые узнал, что такое Крымские горы! Мне до этого казалось, что только южная часть полуострова — так километров на шесть, не более, — является районом гор, а дальше, за яйлой, тянется плоскогорье, сходящее в равнину.

Оказывается, за яйлой и начинается дикая часть Крыма. Тут бездонные ущелья, неожиданные провалы, головокружительные скалы, каменные террасы, сосны, искореженные ветрами. Не

тропы, а канаты, натянутые между ущельями.

А кручи, кручи! Мне очень трудно, не дышу, а хватаю воздух больными легкими, мне его мало, и я задыхаюсь на каждом шагу.

Семенов — он все время рядом — сухопар, легок, не поймешь: устает он или вообще не знает, что это такое? Он повсюду одинаков — и на головокружительном спуске, и на подъеме чуть ли не под прямым углом. Одно ясно — старается мне помочь, но с тактом, не навязчиво.

Подъем и подъем! Когда же ему конец, проклятому?

Неужели сдам?

Тащусь в полубреду каком-то, боюсь даже вперед посмотреть.

Подъем взят, я валюсь на мокрую листву и пальцем не могу шевельнуть.

Семенов обеспокоенно потянул носом:

— Никак, дымом несет?

Вскакиваю, подбегаю к пулемету.

Мы прячемся за толстыми стволами черных буков — здесь их царство, оглядываемся.

Окрик со стороны:

— Кто такие?

Поворачиваю на крик ствол пулемета, громко спрашиваю:

— А вы?

— Старшой ко мне! Остальным не двигаться!

Да это же бортниковский голос!

— Иван Максимович!

Мы обнимаемся, потом я отступаю на шаг от командира: да он ли это? Совсем не схож с тем человеком, кого я встречал в учительской атлаусской школы! Во-первых, лет на двадцать постарел: во-вторых — и это меня удивило, — в его глазах стояла такая тоска, что хоть руки опускай.

— Что случилось, Иван Максимович?

8

Одно лишь громкое название: штаб района! Ни комиссара, ни начальника разведки. Нет комендантского взвода, пункта связи.

Где же комиссар? Я точно знаю: утвержден первый секретарь Ялтинского райкома партии Мустафа Селимов. Мы уговаривались: он самостоятельно доберется до Бортникова. Может, еще придет, ведь и я пришел только вчера!

Но комиссар не пришел ни сегодня, ни вообще. Говорят, заболел; так или не так — не знаю, но мы остались без комиссара района.

Вечер. В центре маленького шалашика — костер. Бортников набросил на себя дубленый полушубок. Молчит.

Я узнал: штабная база выдана врагам, кто готовил ее — тот и выдал; в полном составе покинул лес один из наших отрядов — Фрайдоровский. Сто пятьдесят партизан этого отряда подхватила волна отступления и бросила прямо в Севастополь. Кроме того, нет связи никакой с двумя отрядами: Куйбышевским и Акмечетским. Бортников приблизительно знает их месторасположение, но это мало что значит.

Одним словом, полный ералаш, и это в то время, когда Красников, находясь в тысячу раз сложнейшем положении, чем мы, бьет фашистов под носом крупных немецких штабов.

А я там, на Атлаусе, не совсем серьезно принял Красникова в роли командира партизанского соединения, а Бортниковым с первого взгляда был восхищен.

Как все сложно!

Бортников забрался к черту на кулички и скорбит. Его что-то особенно тяготит, а что? Спросить?

Вдруг сам он у меня спрашивает:

— Что за стрельба вчера была на Алабаче, часом, не знаешь? И пушки били.

— Мы напоролись на два танка и заправщик.

— И что же? — Иван Максимович поднял глаза: они были какие-то детские — серо-голубые и невинные.

— Пощипали малость.

— Кто кого?

— Мы. Подкрались и напали.

Бортников не спускает с меня глаз, а потом удивленно говорит:

— Ишь ты!

Подробностей не спрашивает.

Я начинаю горячо говорить о том, что мы обязаны создать штаб, а перво-наперво связаться с отрядами. Делюсь впечатлениями о «Чучеле», о боях, о которых я узнал в лесном домике. Командир слушает, но не так, как бы мне хотелось. И я умолкаю. Он шурует кизиловой палочкой костер, раздувает застывающие угли — поднимается небольшой столб искр, но тут же гаснет.

Наконец Иван Максимович довольно четко мне предлагает:

— Ты начальник штаба — вот и налаживай службу! — Он вытягивается на дубовых жердях; вместо матраса — пахучее сено.

Утром я нашел его на горке, под сосной. Прислонившись к стволу, к чему-то прислушивался, прикладывая согнутую ладонь то к одному уху, то к другому.

— И ты послушай! — предлагает мне.

Слушаю: шумит вода, где-то далеко татакает одинокий пулемет, а за горами на западе глухо урчит фронт.

Звуки не настораживают, они уже привычные.

Что же хочет услышать Иван Максимович? Он слишком уж обеспокоен, спрошу-ка напрямик:

— Случилось еще что, Иван Максимович?

— Беда случилась, начштаба! Четвертые сутки жду своего помощника по хозчасти, а его нет — как сквозь землю провалился! Понимаешь, боюсь, что к немцам подался.

— Кто он?

— Один из коушанских.

— Верный человек?

— Знаю я его лет двадцать, и вроде был наш. Ведь теперь ничего не поймешь, все пошло кувырком.

— Он знает базы, стоянки отрядов? — Тревога подкрадывается под самый дых.

— Он знает всё!

Подробно расспрашиваю о беженце и, к своему ужасу, узнаю, что он в двадцатых годах помогал то мокроусовцам, то отрядам буржуазных националистов. Колеблющаяся личность — от таких проку не жди!

Предлагаю принять немедленные меры, и на первый случай сегодня, сейчас же убрать штаб. Но Бортников против:

— Зачем мы ему? Базы — другое дело.

— Так давайте базы перепрятывать!

— Голыми руками? В каждой по двадцать тонн продуктов…

Когда валится стена, то валится все, что бывает на ней.

Прибежали связные из Бахчисарайского отряда. Уж по одному их виду было ясно: несут страшную весть. Командир отряда убит, базы разграблены! Предал полицай!

Бортников схватился за сердце и привалился к дереву. Мы унесли его в шалаш, стали отхаживать. Бортников ослабел, но меня не задерживал, и уже через час я шагал по новым для меня тропам.

Бахчисарайский отряд, его люди вошли в меня, как входит в человека что-то крайне ему нужное в самый критический момент. Навалившееся на нас несчастье чуть не раздавило меня. Я шел по крутой тропе на Мулгу, где стояли бахчисарайцы, и мне было безразлично: дойду до цели или нет, обстреляют меня немецкие охранники или нет. Я и сейчас эти минуты жизни не признаю за малодушие, но меня как человека можно понять: слишком уж много бед сразу навалилось.

Бахчисарайский отряд, его командир Михаил Андреевич

Македонский, комиссар Василий Ильич Черный, рядовые партизаны как-то сумели убедить меня, что даже в отчаянные минуты человек обязан надеяться. Как будто тупик, впереди бетонная стена, но и ее можно пробить. И надо пробивать!

Об этих днях, о боевом марше бахчисарайцев я расскажу в третьей тетради. Они для меня особая статья, и я хочу им отвести в своей летописи самостоятельное место.

Через неделю я вернулся к Бортникову и знал, что мне надо делать. А пока стал готовить срочный удар по Коушу; цель — захватить предателя, изъять партизанские продукты.

Даже ошибочное действие лучше правильного бездействия — не мною сказано. Наш небольшой штаб пришел в движение. Мы разослали связных по отрядам, потребовали срочного доклада командиров о начале боевых ударов по немецким тылам.

В разгар подготовки к нам ввалились севастопольские связные во главе с неутомимым Азаряном. Он шумно вошел в штабной шалаш:

— Кто меня угостит карским шашлыком?

— А партизанского не хочешь?

Я наколол на штык кусок оленины и сунул в жаркий, но бездымный очаг. Запахом паленого мяса заполнился весь шалаш, у гостя раздулись ноздри.

— От такого шашлыка будешь живой, но худой. Жарь, механик, рюмка спирта за мной!

Азарян балагурит, видать, по привычке, но вид у него совсем не тот, что раньше: под глазами круги-отметины, усики не так тщательно подстрижены, и загривок свалян, — видать, давно не мыт. Насколько я знаю, аккуратность винодел любил, даже почитал.

— Трудно у вас?

— А у тебя рай, да? Слушай, механик. Человек имеет в кармане партийный билет, да? Почетный человек, ему, подлецу, верят, сажают за стол рядом с товарищем Красниковым, а? И что делает он, скажи?.. И ты…

— Стой! — резко обрываю я Азаряна. Знаю, что скажет. Спазмы сдавливают дыханье.

Ибраимов! Тот знаток леса, что нам про «кызыл» байку рассказывал. Удрал!

Нельзя дальше следовать за событиями, надо действовать, действовать. И вот первый шаг: изъять из Коуша предателя, собрать награбленные продукты. Я срочно выхожу в Акшеихский отряд.

9

Этим отрядом командует Федосий Степанович Харченко. Седая борода, черные с хитроватым огоньком глаза. Был, по-видимому, красивым чернявым парубком, следы этой красоты заметны и сейчас, несмотря на полвека жизни. Одет в теплый черный полушубок и в серую каракулевую папаху с заломленным верхом. Поверх сапог — постолы из сыромятной кожи. Улыбается скупо, говорит мало.

Принял меня Харченко суховато.

Спрашиваю:

— Как по-вашему, Федосий Степанович, выйдет из этого что-нибудь?

— А богато народу будэ?

— Человек пятьсот. Пойдем глухим лесом.

— Чого ж, може и выйти.

Я предлагаю командиру послать тайных наблюдателей за Коушем.

— Сичас. — Старик вызывает четырех партизан, обращается к пожилому: Слухай, Павло, ты скилькы раз був у Коуши?

— Та разив пъять, батько.

— Иды туды, узнай, што там рубят нимцы, скилькы их тамочки, та швыдче.

— Колы до дому?

Федосий Степанович смотрит на часы, долго что-то соображает, потом смотрит на меня, как бы желая увериться в моем согласии, и наконец говорит:

— Да так годын через пъять, мабудь, хватэ.

Осмотрев каждого, тому указав на слабую подгонку постолов, другому на болтающийся вещевой мешок — командир глазастый! — он отпускает их.

— Надо было уточнить задание, — замечаю я.

— На що? Хиба воны диты?

Харченко замолчал. Я вынул лист бумаги и карту: надо кое-что уточнить в плане операции. Хотелось есть, но хозяин не приглашал, да как будто и сам не собирался.

Я напомнил ему.

— А вы исты хочэтэ? Слухай, Дунько, прынэсы гостю пэрекусыть.

Пожилая женщина положила передо мной две очень тонкие лепешки и луковицу.

Акшеихцы показались мне тяжелодумами. Все здесь делается

медленно, буднично. Народ не суетится, не бегает между землянками, а ходит вразвалку. На всем сказывается характер самого командира, старого партизана со Скадовщины, воевавшего еще под Каховкой.

И на акшеихцев предатели приводили фашистов, но Федосий Степанович вовремя разнюхал их планы, за две ночи перепрятал продукты, увел отряд из Кермена, зацепился за выступ горы Басман да и затих там. Найти это место трудно, можно пройти в ста шагах от него, и в голову не придет, что там могут находиться партизаны.

Первым по вызову явился Бахчисарайский отряд. Я на правах старого знакомого, при молчаливом несогласии Федосия Степановича, которому восторженные слова что горчичник на язык, шумно приветствую отряд.

Македонский плечист, в его походке есть что-то медвежье, шея короткая, на ней удобно посажена крупная голова с острыми глазами, бровастая и чуть лысоватая. Что-то притягательное есть во всем его облике.

Бахчисарайцы основательно приготовились к длительной лесной жизни. У партизан теплые ушанки, полушубки, на ногах почти у всех постолы, в том числе и у комиссара Василия Черного. Обувались они таким образом: сперва на босу ногу шерстяной носок, затем байковая портянка, за ней обмотка из плащ-палатки, и все это плотно зашнуровано, так что ни вода, ни снег не страшны. В лесу такая обувь оказалась самой практичной.

Бахчисарайцы дружно устраиваются в лагере акшеихцев, гремят котелками, говорят громко, чем окончательно сердят Федосия Степановича. Но он соблюдает правила гостеприимства.

Организованно появился Красноармейский отряд, и наш хозяин малость смягчился.

Народ в нем боевой, побывавший уже не в одном сражении. Отряд сформирован штабом Мокроусова и подчинен нашему району. И мы довольны: есть на кого положиться.

Их двести, партизан. Одеты скудновато. Армейская обувь, повидавшая сивашские переправы, крымскую гальку, непролазную степную грязь, давно требовала замены. Многие не успели получить в армии зимнее обмундирование, даже шинелями не все были обеспечены. Мелькали выгоревшие пилотки, но красноармейская звездочка у всех на месте. Вырезана в большинстве случаев из жести, но аккуратно. Оружие содержится в хорошем состоянии, главным образом это наши советские автоматы.

Командует отрядом старший политрук Абля Аэдинов. Он крымчанин, партийный работник, человек аккуратный,

осторожный. Комиссар отряда журналист Иван Сухиненко. Он под стать командиру, дело свое знает и тихо упорен, как та речка, что незаметно несет миллионы тонн воды, хотя на первый взгляд кажется недвижной.

И командир и комиссар большую надежду возлагают на операцию. Их понять легко: отряд разут, раздет, не имеет никаких продуктовых баз.

Лишь поздней ночью легли мы на короткий отдых. Воздух в теплой землянке был тяжелый, спертый, и кто-то неистово, на все лады храпел. Ночную тишину прорезали автоматные очереди гитлеровцев, перекликающихся в Качинской долине, куда и лежит наш путь. Слышны отдельные артиллерийские выстрелы под Севастополем. Сквозь неплотно закрытую дверь заглядывало в землянку звездное и морозное небо. Снег поскрипывал под ногами часового, вероятно, мороз крепчал. Весь лагерь спал перед предстоящей операцией.

Я с тревогой думал: а каков будет результат? Это первая моя операция, опыт у меня почти нулевой. Два танка обстрелял — и все! Но тогда просто повезло. На этот раз все гораздо сложнее. Последние разведданные говорят: в Коуше до ста немцев, рота полицаев, комендантская группа. За нами только одно — внезапность. А может, и ее нет?

…Длинная цепь партизан вытянулась вдоль извилистой речушки Кача. Нас казалось очень много, и мы выглядим грозно.

Физически мы крепки, воздух в лесу волшебный, харч пока есть. Свободно подминаем под себя крутую тропу и спускаемся в долину.

Уже чувствуется близость большого населенного пункта. Пахнет дымом, лают собаки, доносится к нам и неожиданный гул заведенного мотора, даже голоса слышны. Они, на мой слух, встревоженные.

Скорее!

В километре от Коуша разведчики напоролись на немецкий патруль. Он сделал несколько беспорядочных выстрелов и скрылся.

Аукнулось суматошной возней в селе, шумом машин, торопливыми командами.

Вот тебе и внезапность!

— Бегом в Коуш! — кричу я, вытаскиваю из кобуры пистолет и срываюсь с места.

По садам, огородам, через черные линии плетней, затянутые льдом арыки бежим в село, охватывая его с двух сторон. Почему-то машины удаляются в сторону Бахчисарая…

Даю сигнальную ракету: встреча в центре! С трех сторон мне

отвечают зелеными ракетами: поняли!

Вбегаем на школьную площадь, сталкиваемся с комиссаром бахчисарайцев Черным.

— Драпанули, сволочи! — ругается он.

Спешим к главной цели: в дом бывшего предателя, дезертировавшего из штаба района. Теперь нам точно известна его роль: это он водил карателей по партизанским базам.

В узком переулке, освещенном луной, стоял двухэтажный дом местной постройки с окнами и крыльцом, выходящими во двор.

Обыск ничего не дал. Стали допрашивать живущих в доме. Ответ один: «Не знаю, товарищ начальник!»

Мы решили перевернуть все вверх дном, но своего добиться. Что-то нам нашептывало: ищите.

— Сюда, сюда! — крик из узкой комнаты.

В детской кроватке, согнувшись в три погибели, лежал мужчина, из-за спины его выглядывал немецкий автомат.

— Вылазь! — Черный подошел ближе.

Предатель с трудом выволок свое грузное тело.

— Ну, здравствуй, — сказал Черный. — Вот и встретились. Отвоевал? Где немцы, где полицаи?

— Бежали, товарищ… ээ…

— Куда? Разве они знали о нас?

— На Улу-Сала бежали, говорили: десять отрядов идет, сам Мокроусов идет!!

— А ты?

— Не успевал.

Он на все вопросы отвечал охотно. Может, этим хотел смягчить свою вину? Он рассказывал, где лежит мука, рис, фуфайки, бочки, залитые бараньим жиром. Говорил правду. Из двухэтажного домика пулей вылетали партизаны Красноармейского отряда, на ходу одевались, нагружали подводы продуктами, выгоняли овец на дорогу.

А суд наш продолжался. Мы вынесли приговор: смертная казнь!

Изменника вывели из комнаты. Собрав партизан, предателю объявили приговор и очередью из автомата прикончили посреди его собственного двора.

Два пожара в разных концах Коуша осветили и без того освещенное луной село.

Прибежали связные.

— Гудят машины, товарищ начштаба, по всей долине тревога!

— Отходить на базы!

Шли мы по накатанной дороге, не оставляя следов.

10

Стою как-то на вершине зубчатого пика Басман-горы, смотрю на запад, прислушиваюсь к голосу фронта.

Через равные промежутки времени ухают сверхмощные взрывы, потрясая воздух над всей крымской грядой. Фашисты стянули под Севастополь сверхдальнобойные пушки и дубасят город с немецкой пунктуальностью.

Но и севастопольские пушкари, особенно морские, в долгу не остаются. Они отвечают лихо и даже достают до окраины Бахчисарая, наводя панику на немецкие штабные тылы.

Жив Севастополь!

Час-другой назад у нас снова побывали связные от Красникова. На этот раз Азаряна среди них не было: винодел, пять раз пересекший яйлу, устал.

Мы угостили их лепешками из муки с примесью крахмала — делали его из гнилого картофеля, добытого на заброшенном поле. В самодельном продукте немало было песка, похрустывающего на зубах. Наш новый комиссар — а им стал Захар Амелинов, тот самый, с кем я видел гибель «Армении», — назвал лепешки эти чудным словцом: лапандрусики. Не знаю, откуда он выкопал его, оно нам очень понравилось, это словцо, — лапандрусик.

Порой я бываю в крымских музеях, смотрю на партизанские экспонаты и очень жалею, что среди них нет нашего лапандрусика.

Старший связной, угловатый, немногословный, справился с угощением, поблагодарил и уснул.

Спал он ровно два часа и стал собираться в дорогу. В нем не было азарянского азарта, веселости, но чувствовался характер, бросалась в глаза весомость каждого сказанного им слова.

Сам, значит, машинист паровоза, фамилия Томенко, зовут Михаилом.

Вдруг вспомнилась областная комсомольская конференция. Ведь я именно там видел большой портрет этого человека: «Лучший машинист Сталинской железной дороги!»

Уточнил. Да, был, кажется, портрет, сам он не видел его, но слышал о нем.

Томенко и его товарищи — коренные севастопольцы, работали в депо, водили военные эшелоны, рыли окопы, а потом гамузом пошли партизанить. Восемьдесят два человека. Железнодорожная группа. Командует Федор Верзулов. Слыхали? Ну как же! Машинист, известный на всей дороге, наш учитель. Крепкий мужик.

Томенко говорил, а руки проворно снимали сапоги, перематывали портянки. Мужик, видать, сноровистый.

Бортников хотел подробностей и не оставлял связного в покое:

— Да ты рассказывай, как воюете вы там?

— Туго. — Томенко встряхнул вещевой мешок.

— Карателя жмут, что ли?

— И они жмут. И мы им жару поддаем. — Мешок за плечи.

— Ну и молодцы!

— Все одно туго. Фашист что-то надумал.

— А вы по-партизански: пришел, увидел, бабахнул — и айда прочь!

— Нельзя. Под Севастополем для фашиста место нервное.

С тем Томенко и простился. Мне он понравился. «Место нервное» — точно сказано.

Бортников поглаживал усы, отрицательно покачал головой:

— Отчаянный этот Красников. Я отряды там не держал бы!

А Красников держал и воевал. У меня обострялось желание как можно скорее побывать в тех краях, да и причина была: недалеко от севастопольских лесов, в районе Чайного домика, располагался отряд нашего района Акмечетский, не щедрый на связь. Как там у них?

Конечно, в те дни я не знал никаких подробностей о жизни красниковского штаба. Было известно: воюют, имеют немалые потери, о них шумят сами фашисты. По каким-то каналам проникало к нам и такое: в Пятом районе в последнее время складывается обстановка неуверенности.

Только уже после войны многое для меня прояснилось.

Сам Владимир Красников тогда придерживался твердого намерения воевать рядом с родным городом. Он блокирован, надо отдать все силы, если нужно — и жизнь, но помочь ему. Короче, командир вел линию, взятую с первых дней борьбы: действовать — и активно — на главном направлении, на «нервном месте».

Комиссар Василенко отлично понимал его, но старался смотреть дальше. Самопожертвования он не признавал. Партизаны есть партизаны, они живы маневром. Надо уходить в более глубокий тыл, а оттуда посылать летучие боевые группы на севастопольские дороги.

Особую позицию занимал начальник штаба района Иваненко. До войны главный финансист города Севастополя, аккуратный внешне, сухой в общении, официально вежливый, душа под семью замками.

Иваненко гнул свою линию, которая была тоже не лишена

смысла и сводилась вот к чему: «Никакой партизанской войны во втором эшелоне фронта быть не может. Что могли — то сделали, а сейчас, пока еще не поздно, надо уходить в Севастополь».

Все эти мнения не были частными. Они отражали настроения, живущие среди партизанской массы.

Но последнее слово оставалось за Владимиром Васильевичем. Он собрал командный состав и решительно сказал:

— Не паниковать!

…Ветер разогнал пелену с гор, серыми тучами замораживалось небо. Посыпался мокрый снег.

Красников в это утро был особенно собранным, что почувствовали все. Он велел командирам быть на своих местах, сам с комиссаром Василенко забрался на Сахарную гору и там застыл, прислушиваясь.

Ровно в восемь утра тишина неожиданно оборвалась артиллерийским огнем. Он начался со стороны противника, но уже через минуту дружно ответил Севастополь.

Дуэль между нашими морскими батареями и немцами становилась все жарче. Отдельные снаряды пролетали стоянки партизан и оглушающе рвались, дымно, но без пламени.

Полчаса качало горную гряду, ходил ходуном лес, а потом как отрезало. Только пороховая гарь остро била в ноздри.

Минута тишины перед атакой… Кто из фронтовиков не помнит ее!

Комиссар с тяжело опущенным подбородком уставился в одну точку, Красников протер пальцами стекла пенсне.

Ни командир, ни комиссар не предполагали, что эта дуэль непосредственно коснется их самих и подчиненных им отрядов. Что она просто отвлекающая сила, что под ее прикрытием подбираются к партизанам каратели.

И вдруг, прямо под ногами, автоматные очереди, свист пуль и беспокойный бас Верзулова — командира Железнодорожной группы:

— Фашисты!

Крики:

— Сюда! Сюда!!

Красников скатился с горы, увидел Михаила Томенко.

— Где ваши?

— Вот рядом.

— Атакуй! — Красников показал на тропу.

Группа железнодорожников метнулась вправо и тут же увидела немцев, осторожно нащупывающих тропку на Сахарную гору.

Красников перебежал поляну, пули взрыли за ним снег.

Чья-то сильная рука пригнула его к земле.

— Убьют, командир!

Это был командир группы Михаил Якунин, бывший секретарь Корабельного райкома партии.

— Много наших? — отдышавшись, спросил Красников.

— С полсотни. Думаю так: немцы не минуют поляну.

И буквально через минуту в двадцати метрах от партизан появилась цепь карателей. Немцы осмотрелись, а потом сбились плотнее.

— Якунин, нельзя упускать! — шепнул Красников.

— Не упустим, командир. А вы отползите назад, прошу!

— Хорошо!

Не успели каратели пробраться через узенькую полоску кизильника, как в упор застрочили якунинские автоматы.

Но немцы опытные, они вмиг рассыпались и ответили более сильным огнем. Появились раненые якунинцы.

Красников увидел комиссара. Вокруг него жался тыл соединения: штаб, санчасть, комендантский взвод.

Три очага боя наметилось. Каратели, по-видимому, решили прижать отряды к Тещину Языку — горному плато над пропастью. Оттуда один выход — лобовая атака, а это равносильно гибели всего партизанского ядра. Было ясно: враг отлично ориентирован, у него опытные проводники.

Я за время партизанства в Крыму несколько раз оказывался в обстановке, схожей с той, в которой сейчас находился Владимир Красников. И все же не могу передать, как складывается правильное решение. Главное — чутье. Есть что-то внутреннее, что толкает тебя именно на такой шаг, а не на другой. Помню свой второй бой в том же коушанском гарнизоне, куда мы в час ночи лихо ворвались, а в шесть утра не могли оттуда выйти. Фашисты перехитрили нас, выскочили из гарнизона и заняли господствующие вокруг Коуша высоты, отрезав дороги и тропы, ведущие в лес. У нас было одиннадцать раненых, а в подсумках пусто. Момент критический. Я не знаю, какое решение принять. Пять минут раздумья. Для партизан они показались вечностью. «Веди, веди скорее!» — кричала наша медичка. А я не знал, куда вести. И вдруг изнутри толчок: «Спускайся снова в село и выходи на асфальтовую дорогу, идущую в сторону Бахчисарая. Там тебя не ждут!»

И я прислушался к своему внутреннему голосу, повел партизан в… Коуш. За спиной моей кто-то паниковал: «Он к фашистам нас ведет!»

Я резко повернулся на этот панический крик и поднял пистолет.

— Не надо, командир! — Мягкая рука медички Наташи прикоснулась к моей небритой щеке. — Не надо, и так хватит, — еще раз повторила девушка.

Мы спустились в Коуш, сбили небольшой заслон врага, прихватили на ходу подводу, уложили на нее раненых и выскочили на асфальт. Мы бежали с километр, а потом свернули в русло реки Марта и по нему поднялись в горы.

Я до сих пор не знаю, почему так поступил, но знаю: по-другому было нельзя.

И Красникова, по-видимому, повело такое чутье.

Он сколотил ударную группу, до ста партизан, и предпринял неожиданную для врага атаку. Он вел отряд прямо и открыто по лесной дороге вдоль кизильника, за ним комиссар тянул довольно громоздкий тыл. Метров пятьсот прошагали, и, к удивлению всех, никакой помехи со стороны карателей не встретили. Тут, наверное, чем-то был нарушен немецкий расчет, а стоит нарушить его, как ломалась самая хитроумная комбинация, — это я на своем опыте знаю.

Красников круто повернул отряд и оказался над… немецкой цепью, в ее тылу. Командир не потерял ни единой секунды на размышления, а сразу же атаковал.

Результат ошеломляющий: до двух десятков убитых карателей, а остальных как не бывало — вмиг исчезли! Немцы умели в лесу появляться внезапно, но исчезали еще сноровистее.

Были случаи и совсем парадоксальные. Когда Михаил Томенко атаковал первую немецкую цепь, она рассыпалась в беспорядке: где свои, где чужие не разберешь. Партизан Николай Братчиков, бывший железнодорожник, человек смирный и исполнительный, неожиданно встретился с предателем Ибраимовым. Братчиков не знал и не слыхал, какую роль выполнял бывший снабженец партизан, принял его за родного человека, как и он попавшего в беду. Ибраимов сразу это смекнул и спросил как ни в чем не бывало:

— Где же наши, черт возьми?

— По-моему, левее, левее надо брать, — искренне советовал Братчиков.

Ибраимов скрылся, а затем из-за куста послал вслед партизану пулю, но она пролетела мимо — предатель нервничал.

Ошеломленный Братчиков вернулся к Верзулову и честь по чести доложил о случившемся.

— Вот растяпа, а еще путеец! — Верзулов даже матюкнулся, чего за ним никогда не наблюдалось.

Николай Братчиков — храбрый, скромный — до конца жизни не смог простить себе оплошности.

Смелые контратаки партизан, по-видимому, здорово перепутали планы карателей.

Вообще немцы очень нервны в тех случаях, когда неожиданно нарушается ритм операции, разработанный ими до мелочей.

Нарушить ритм не так-то просто. Это удается не всем, но все же удается, ибо все случаи жизни не предусмотришь, имей хоть семь пядей во лбу.

Передо мною картина июньского утра 1942 года. Мы тогда хорошо и накрепко были связаны с Большой землей, к нам каждый день на рассвете прилетали самолеты.

Немцы это знали и ломали голову: как перехватить то, что упало нам с неба, нарушить нашу связь с Большой землей?

Многое им удалось. Обошли всю сложную систему наших застав, подкрались под то самое место, куда мы складывали подобранные парашюты с продуктами и взрывчаткой. А надо сказать, что именно на этот раз нам доставили летчики наибольшее количество крайне нужного груза.

Появление немцев для нас было негаданным-нежданным. Только чудо могло спасти наши продукты, да и нас самих.

И это чудо нашлось, и творец его Леонид Вихман, тот самый, кто у Макарова «зарабатывал» партизанскую визу. Он с десятью матросами спрятался за толстыми деревьями в… десяти метрах от поляны с парашютами, скрылся за пять секунд до появления эсэсовского батальона.

Немцы бежали к парашютам, бешено прочесывая автоматами дорогу впереди; в один момент были заняты все тропы, ведущие к поляне. А Вихман не спешил. Не знаю, как это ему удавалось. Сейчас я иногда встречаю его — облысевшего, одетого с иголочки, увлекающегося музыкой и любительскими киносъемками — и, хоть убейте, не могу его представить в роли легендарного партизанского вожака знаменитой осиповской группы.

В разгар упоения «победой» ударило одиннадцать вихмановских автоматов, и сразу было скошено до сорока фашистов.

Такой паники лес еще не видывал: каратели бежали, оставив на Аппалахской поляне не только трупы, но и раненых. Они бежали очертя голову более десяти километров, группами и в одиночку, как стадо баранов, напуганное внезапным горным обвалом.

То, что последовало позже, было еще удивительнее: нарушилась вся система блокады заповедных лесов, где

располагалось до полутора тысяч партизан. Мы этим отлично воспользовались и безостановочно посылали боевые группы на дороги.

Так и на этот раз. Красников в какой-то точке переломил линию плана, и все пошло кувырком. Фашистские роты прочесывали севастопольские леса, но как-то бессистемно. Шли они только по лесным дорогам, обстреливая наугад все маломальски подозрительные, с их точки зрения, места, но глубоко в горы не заходили и точно не знали, где же партизаны.

Потом они пришли в себя и начали снова действовать более или менее разумно, а главное — настойчивее, охватывая участок за участком. Тут снова появилась система.

Их настойчивость поражала. Стало совершенно ясно: они не покинут леса до тех пор, пока останется в них хоть один партизан.

Отряды впервые познакомились с немецким упорством.

Красников понял: напрасно он не посчитался с мнением комиссара. А что, если сейчас вырваться из кольца и отойти от фронта в тыл километров на двадцать?

Думал командир Пятого района, но думал и враг. Он хорошо понимал, куда могут пойти отряды, и сделал все, чтобы сорвать красниковский маневр.

И сорвал.

Есть у нас в Крыму люди, которые даже сейчас пытаются взять под сомнение действия Красникова. По этому поводу припоминаются слова из «Витязя в тигровой шкуре»: «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны».

Партизанам ничего не оставалось делать, как пристальнее и пристальнее приглядываться к «системе». И в данном случае враг оказался верен своей пунктуальности. Прочесал один участок, — положим, тридцать второй квадрат, — начинает тридцать третий и так далее. И ни разу не возвращается к прочесанному.

Комиссар Василенко так кратко охарактеризовал новую тактику: «Маневрируй и не забудь по сопатке дать!»

Именно под Севастополем начала формироваться наша партизанская тактика. Конечно, поначалу она была шероховатой, но потом отшлифовалась и стала той силой, которую немцы так и не смогли одолеть за годы оккупации Крыма. «Внутренний фронт», как выразился в свое время Манштейн, — извечный нож в спину оккупантам. Это они были вынуждены признать публично.

Много боев провели партизаны-севастопольцы. Участников этих боев почти не осталось в живых. В архиве же можно найти только документы приблизительно такого содержания: «Группа под командованием тов. Н. в районе перевала Байдары —

Севастополь напала на немецкий транспорт; разбита одна семитонная машина, две — пятитонных, убито 11 солдат. Отличился партизан тов. П.». Вот и все.

Михаил Томенко вспомнил со всеми подробностями один из характерных эпизодов из жизни севастопольских партизан. Вот как он отложился в моей памяти.

Изреженный недавней вырубкой и снарядами лес. Он чем-то похож на заброшенное кладбище. На обочинах мелкий, но густой кустарник, как стена. Там партизаны-железнодорожники с Верзуловым во главе. Они только что оторвались от карателей, разгоряченные, злые.

— Михаил Федорович! — шепнул Верзулов.

Томенко отозвался. Он был худ, поджар. Время будто возвратило ему прежнюю прыть. Собственно, почему возвратило — ведь ему сейчас только под тридцать! — скорее, сняло жирок, который все же был нажит в мирной жизни.

— Бери своих и айда на перевал. Устрой там концерт, да пошумнее. Мы под твою музыку отойдем в Слепое урочище.

Слепое урочище! Его вчера тщательно прочесали немцы.

Томенковская пятерка скрылась за кустами. Впереди — проводник по имени Арслан. Фамилию, к сожалению, Томенко не вспомнил, но знал: прислал его Красников, было ему известно, что за этим человеком гоняются предатели, потому он скрывает свою фамилию. Проводнику около двадцати пяти, фигура как из бронзы, литая, выносливость потрясающая, ходок — днем с огнем такого не найдешь. Он коммунист, работал не то колхозным бригадиром, не то учетчиком бригады. В партизаны попал во время отхода наших войск на Севастополь. Пришел в обгоревшей красноармейской шинели, голодный, продрогший, чем-то понравился, хотя в те времена настороженно принимали незнакомых людей.

Парень показал себя на боевом деле. Он презирал фашистов, но еще более презирал местных предателей и двурушников. Помимо всего — удивительное чутье местности, прямо кудесник какой-то. Принюхается, раздувая тонкие точеные ноздри, и возьмет абсолютно верное направление… И понимает товарищей. Посмотрит в глаза кому — открытую книгу читает или сердце будто руками ощупает.

Вслед за проводником шел сам командир группы. Томенко вообще-то числился тогда в рядовых, но ему доверяли отдельные операции. Он за эти дни и сам стал «чуять» лес, отлично в нем ориентируется.

За командиром шагает Петр Кириллович Ларионов — старший по возрасту. Он и Томенко — давнишние друзья: на

одном паровозе работали, в одно время в партию вступали, у обоих сноровка людей, стоящих за штурвалом локомотива.

Правда, в последние годы их пути как-то разошлись. Ларионов секретарствовал в парткоме Симферопольского депо, но за несколько месяцев до начала войны снова вернулся в родной Севастополь, на паровоз, к старым друзьям. В отряд прибыл вместе с сыном и тяжело переживал: парень еще до паспорта не дорос, ему учиться надо, а не воевать.

Был в томенковской группе еще человек — составитель поездов, отец большого семейства, скромный и сдержанный Александр Дмитриевич Васильев. Из тех, о ком говорят: «Он муху не обидит». Жалостливый к людям, исполнительный и во всем обязательный. Пришел в партизанский отряд добровольно, точнее — напросился туда, и никто не посмел ему отказать. Товарищи по работе давно пытались подсказать ему: «Дядя Саша, ты по духу человек партийный. Просись — примем, а?» Он волновался, но не нашел смелости подать заявление о приеме, в минуту откровенности признавался: «А вдруг откажут, больно смирный для партии я человек».

Но в лесу от его видимой робости и следа не осталось. Как-то пришлось Александру Дмитриевичу собственными глазами наблюдать картину, которая перевернула всю его душу: у лесной сторожки Адымтюр каратели облили керосином глубокого старца деда Матвея и заживо сожгли. Васильев похоронил его, в тот же день разыскал комиссара и твердо, на «ты» обратился:

— Дашь рекомендацию в партию?

— Пиши заявление.

Такова была эта группа, шагающая на перевал.

Проскочили через голый известняк, стали спускаться по северному склону гор. Узел троп, взгляд проводника направо, потом налево — и уверенный шаг в нужную сторону. Ну и чутье! Сильным броском преодолевает сырое ущелье и точно выходит к дороге.

Лес тут кончается, и будто на глазах все пространство вокруг сразу оголяется. Прячась под низкими кустарниками, партизаны ползут ближе к краю обрыва, боясь шевельнуть даже камушек какой, который может своим падением вызвать шум. Колючий можжевельник. Под ним и залегают плотнее, вжимая тело в каменистую землю.

На дороге лежит снег, но жидковатый. Черная колея говорит о том, что недавно прошли машины на Севастополь.

Ждали недолго. Сначала появились три мотоциклиста. Они гнали машины с треском и шумом. Вообще немцы старались на дорогах создавать как можно больше шума, грохота, будто им

была в том особая нужда. Они и пугать нас хотели, и свой страх этим шумом обволакивали.

Проводник посмотрел на командира, но Томенко дал понять: «Этих пропустить!»

Умчались патрульные, оставив на дороге плотные кольца синего дыма.

Затихло на минуту, а потом стало слышно, как в лесу вспыхивала то там, то ближе к дороге короткая перестрелка и сразу затухала. Видны были зеленые ракеты, лениво падающие в темнеющем небе.

Воя перегретым мотором, полз на перевал чем-то похожий на доисторического мамонта семитонный «бенц», крытый брезентом. За ним натужно тянулся другой, обдавая задние скаты сизо-огненным дымом, который странно закручивался.

Ну и моторы — силища! Даже горы от них мелко дрожат.

Вот первая машина рядом с Михаилом Федоровичем. Он чуть приподнимается и с силой швыряет под задний мост противотанковую гранату.

Гигантская машина по-козлиному подпрыгивает, гулко валится набок, с грохотом высыпав ошалевшую пехоту.

Еще, еще гранаты…

Раскололась и осела другая машина. Из нее несутся душераздирающие крики.

Партизаны строчат из автоматов. Надо отдать должное противнику: какой-то офицер что-то зычно скомандовал, и все, кто были на ногах, моментально подчинились этой команде, сходу заняли боевые позиции, и шквал свинца прошелся по кромке обрыва, где лежали партизаны.

— Отходить!

Бежали за молодым проводником, вслед — свинцовый дождь. Пули секли верхушки крон. Немцы успели выскочить на обрыв, пули заплясали ниже, отбивая осколки у скал.

Вдруг проводник замер, будто его пригвоздили на месте.

— Что?! — заорал Томенко.

Тот по-звериному оглянулся — так оглядывается олень, внезапно настигнутый человеком, — круто вильнул в сторону и скатился на дно скользкого ущелья, ведущего не куда-нибудь, а снова на… дорогу.

— Куда ведешь, гад? — Томенко сжал цевье автомата.

— Туда, командир!

Ущелье привело к водосточной трубе, лежавшей под дорогой, поперек. Втиснулись в нее и выскочили на другую сторону дороги, в густой дубняк — аж на душе полегчало. Тут снега почти не было, и под ногами стлались медно-ржавые листья. По ним

шагать можно без следа.

Надо передохнуть малость, но в чем дело? Арслан и не думает здесь задерживаться.

— Ты куда?

— Э, нельзя, фашист быстро придет!

Покинули дубняк, который казался таким безопасным местом, ткнулись носом в голую поляну. Увидели одиночный сарай, длинный и приземистый. Рядом — низкие богуны, в них сушат табачные листья. Сарай находился метрах в трехстах от села с крупным немецким гарнизоном и почти рядом с той самой дорогой, по которой и следовали немцы, разгромленные партизанами на перевале.

Томенко понял мысль проводника — дерзкую, отчаянную: идти на риск, переждать опасность на виду у врага.

Подогнала стрельба, которая уже неслась из дубняка.

— Давай!

Проводник пополз по табачной делянке, среди прошлогодних стеблей с потемневшими от мороза листьями ценного крымского дюбека. Он полз, не смея и на секунду поднять голову. За ним остальные, плотнее прижимаясь к холодной и неуютной земле. А на дороге двигались немцы, слышался лай собак, и от этого лая душа уходила в пятки.

Собаки! Правда, очень мокро, но черт их знает, этих приученных немецких овчарок: может, они в любую погоду умеют брать след?

Через разбитое и перекошенное окно забрались наконец в самый сарай, огляделись. На скорую руку распотрошенные тюки. Аромат вялых листьев, и никаких следов пребывания человека.

Заняли, на неожиданный случай, боевые позиции и притихли, глядя во все глаза. Отсюда выхода сейчас нет, но одно лишь пребывание за толстыми стенами сарая, выложенными из плотного горного камня, в какой-то мере успокаивало. Врешь, запросто нас не возьмешь!

По дороге нервно двигались немцы. Стрельба шла на перевале и в дубняке.

Бывали минуты, когда стрельба настолько приближалась, что казалось: фашисты вот-вот появятся на опушке дубняка, присмотрятся и поймут, где спрятались партизаны.

Партизаны с нетерпением ждали темноты, но понимали, что могут и не дождаться ее. Все боеприпасы выложили перед собой, и каждый был готов на худшее.

К вечеру увидели на дороге похоронный эскорт немцев. Они медленно везли убитых; каски в руках, плечи солдат опущены.

Потемнело неожиданно: сперва на перевал упала черная туча,

вслед за тем стала чернеть и будто провалилась куда-то вся долина.

И все одновременно почувствовали голод. Пошла в ход конина, запили ее водой из фляг. Каждому почему-то хотелось выговориться, но страсти сдерживали. Ночью партизаны оставили спасительный сарай. Шли далеким кружным путем.

…Летом 1966 года я и Томенко искали этот самый сарай, но нашли только фундамент от него. Дубняк стал мощным лесом, на табачной делянке блестела гладь небольшого водохранилища. И то место на обрыве, откуда партизаны швыряли гранаты, узнать было трудно. Будто сама гора осела, и перевал показался не таким крутым. Мы нашли старую полуось, разорванную силою взрыва противотанковой гранаты.

…Верзулов чуть не задохнулся.

— Живы, черти! — Он обнял каждого в отдельности. — То-то, Биюк-Узень-Баш!

Биюк-Узень-Баш, Кучук-Узень-Баш — названия двух горных речушек, бегущих в ущельях за Главным Крымским каньоном. Верзулов в смысл не вдавался; ему, по-видимому, нравилась звонкость произношения. В хорошем настроении он всегда напевал: «Биюк-Узень-Баш, Кучук-Узень-Баш».

Проводник был счастлив — его похвалил сам Верзулов — и даже от избытка душевных чувств «оторвал» танец горных пастухов, правда вместо ярлыги пастушьего посоха — размахивая полуавтоматом.

Настроение было неплохим, но не обошлось и без ложки дегтя.

Я уже упоминал о начальнике штаба Иваненко — человеке с трагическим взглядом.

Он вызвал к себе командира группы Федора Верзулова, строго спросил:

— Кто разрешал действовать на перевале?

Верзулов готов был взорваться, но, к счастью, в разговор вступил сам Красников:

— Молодцы железнодорожники! Только надо было штаб информировать своевременно. С этим все! Как настроение рабочего класса?

— Нормально. Лошадь в расход пустили.

— Сухари есть?

— Нет!

Красников раздумывал, а Верзулов ждал. Он давно добивался разрешения побывать на продовольственной базе, которая была в километре от переднего края фронта.

— Нельзя! — выдавил командир. Он снял пенсне. Три

глубокие складки собрались у переносицы.

12

Штаб нашего района держится на том самом месте, на котором я встретился с Бортниковым, по-прежнему через нас проходят севастопольские связные. Бывает это обычно так: вдруг за нашим утепленным шалашом раздается знакомое:

— Кто меня карским шашлычком угостит, а?

Азарян вваливается в шалаш, пошуршит промороженным плащом, набрешет с три короба: вот встретился чуть ли не с эсэсовским взводом, да провел их вокруг носа; потрясет автоматом, постукивая сухим пальцем по цевью:

— Друг… Ни разу не подвел!

Я слушаю его с улыбкой, не верю ни одному слову и убеждаюсь в том, что правильно поступаю: достаточно глянуть в канал ствола оружия, чтобы понять — из него не стреляли.

— Раф! А ведь чистить друга все же надо, а?

— Чистим-блистим, шип шима! Много понимаешь, механик! Мой друг от стрельбы поржавел!

Но после шутливой перебранки связной рассказывал о делах отряда, и мы ахали от восхищения.

Севастопольцы все еще держались во втором эшелоне фронта. Их постоянно преследовали не только каратели, но и регулярные немецкие войска, которым очень хотелось обезопасить свой тыл.

Красников все же умел маневрировать, а его летучие партизанские группы, наподобие фоменковской, непрерывно изматывали врага на самом что ни на есть «нервном» месте.

Красниковская тактика путала карты врага, ставила его перед неразрешимой проблемой. Немцам не верилось, что с тыла их бьют те самые партизаны, за которыми так упорно гоняются каратели. Они снова вернулись к своим прошлым догадкам: Севастополь нашел где-то лазейку на линии фронта, и через нее-то и просачиваются матросы в черных бушлатах, наводя ужас на тылы. Был случай, когда в руки врага попал матрос-разведчик, взорвавший дот в трех километрах от переднего края. С тех пор враг еще больше усилил охрану линии фронта, заминировал абсолютно все тайные тропы, чтобы раз и навсегда закрыть дорогу людям в черных бушлатах, бесшумным теням, скользящим по тылам и моментально исчезающим, стоит только обнаружить их. «Они, — рассуждали немцы, — имеют, наверное, тайные ходы в Севастополь! А почему нет? Тут, в этом смертельно опасном месте, все может быть». Враги каши и на самом деле искали эти

тайные ходы.

Пусть ищут, пусть будет так, как они думают. Севастопольские партизаны не возражают, чтобы их удары приписывались защитникам родного города. Они даже горды этим.

Но настроение настроением, а та объективная обстановка, которая стала складываться вокруг отрядов, стала работать против партизан.

Голод! Он начал подкрадываться медленно, но угрожающе. Ибраимов выдал не все базы. Однако те, которые оставались, находились на линии артиллерийских позиций противника. Вот пойди туда и попробуй вынести хотя бы мешок сухарей!

Ибраимов знал все базы, но почему-то выдал только часть их, а другие дли чего-то сохранял.

Тут был, по-видимому, свой умысел: предавать, но так, чтобы внакладе не остаться. Ликвидируется под Севастополем фронт, уберутся войска, тогда можно и базами распорядиться по-своему. Как-никак, а там есть и мука, и сахар, и консервы, и всякие другие продукты.

Правда, опасно поступать так, ведь узнают фашисты — не простят.

Но вся жизнь стала риском, так почему не рискнуть в свою пользу…

Так, а возможно, и не так рассуждал предатель, но некоторые базы пока никто не трогал. Не трогали их и партизаны, хотя и наблюдали за ними.

Ударили морозы, удивительно не по-крымски мучительные, а костра не распалишь — сразу выдашь себя.

Еще одна беда — прервалась всякая связь с Севастополем. А была отличной: партизаны легко пробирались в штаб морской бригады и оттуда по телефону могли связаться с секретарем Крымского обкома партии Меньшиковым и первым секретарем Севастопольского горкома партии Борисовым.

Увы! Немцы поняли, какими дорогами идет информация в город, и прикрыли их. Секретные заставы и засады ждали партизанских связных на всех тропах. Сколько было попыток пробраться через фронт, но все они, как правило, стали кончаться печально.

Была бы рация! Радист Иванов сумел бы отстукать свои точки и тире. Но… кто-то недоглядел: Красникова снабдили старой станцией системы «5-АК», и она никуда не годилась, как ни бился над ней радист Иванов. И ценнейшие рзведданные, как воздух, как свободное дыхание нужные Севастополю, туда не попадали. Вспомнить страшно!

Уже находились отчаянные головы, которые на свой страх и риск пытались перейти линию фронта. Фашисты ловили таких, пытали. Товарищи наши гибли в гестаповских подвалах, но истинное состояние отрядов скрывали и никакой информации врагу не дали.

Поступки этих «беженцев», которых строго осуждали партизаны, имели и некий результат, работающий на отряды. Немцы вдруг стали утверждаться во мнении: конечная цель Красникова — уйти в Севастополь. Уверовав в это, они все свое внимание сосредоточили на подступах к линии фронта. Блокада на востоке ослабла, а через некоторое время практически исчезла. Остались лишь подвижные патрули, не особенно старательные. А тут ударили сильные морозы, и вражеские дозоры только для блезиру являлись в районы патрулирования.

Решение: не мешкая покинуть второй эшелон фронта. Готовились тайно; мало того, пустили слух, что отряды далеко не уйдут, «закружатся» в районе Кожаевской дачи.

Еще раз попытались связаться с городом. Выбор пал на партизана томенковской группы Александра Дмитриевича Васильева, того самого, который в отряде вступил в партию.

Это безотказный человек. Однако товарищи приметили: что-то неладное с ним творится. В походе, например, особенно на подъеме, он задыхается, отойдет в сторону, спрячется от людей и, ухватившись за сердце, дышит тяжело, с хрипом.

Поняли: болен, очень болен, но скрывает болезнь. В своей партизанской практике я встречался с такими людьми, и они меня поражали. Вспоминается одна из трудных операций, час, когда мы уже вышли из боя. Объявляем привал, отдыхаем, а потом снова марш. Кто-то вдруг не поднялся, подходишь к нему, а человек мертв. Потом узнаешь: уже давно мучался, но скрывал свои мучения: не хотел стать обузой для других.

Васильев болен, ему надо помочь. Он пойдет на Севастополь, непременно пройдет туда, и там его полечат.

Комиссар Василенко не любил напутствия. Вручая пакет связному, сказал:

— Иди и дойди! В нем и протокол собрания о твоем приеме в партию.

— Дойду, товарищ комиссар.

Ушел Васильев и, как водится, пропал.

Так мы о нем ничего и не знали, пока не была установлена прочная связь с Севастополем, а это случилось тогда, когда тех, с кем прощался Васильев, осталось в живых очень мало.

Он сумел обойти засады и заставы, секреты и тайные тропы, напичканные противопехотными прыгающими минами, и до

Севастополя дошел. Мы не знаем его дороги, но догадываемся: она была тропою смерти. На пятые сутки он появился в городе, в горкоме партии, получил партийный билет и уплатил первые в жизни взносы. Он дважды повстречался с секретарем горкома и с председателем Комитета обороны города Борисом Александровичем Борисовым, но вторая встреча была для него и последней: Александр Дмитриевич Васильев скончался от разрыва сердца.

13

Чайный домик находится чуть севернее Ай-Петри. А добраться до него можно так: на автобусе из Ялты до плато гор, а потом на своих двоих отмахать километров шесть. Сам домик был построен еще князем Юсуповым для Екатерины Второй. Но настырная императрица все же не добралась до него, у ее величества закружилась голова от «небесных высот». Зато ее далекий потомок Николай Второй — последний русский царь — попивал здесь чаек да картежничал. Как след былых времен остался лесной домик с вычурными наличниками. Рядом выросли другие постройки. До войны в этих местах лечили горным воздухом детей от тяжелого недуга — туберкулеза, недалеко от санатория процветала молочная ферма ялтинского курорта. Здесь луговые чаиры, высокотравье, дороги лесные и удивительной чистоты воздух. Сюда теперь многих тянет. Ведь здесь и природу в первозданном виде встретишь да в придачу легенду услышишь. А легенды разные — про далекую старину и про новину. О белых башнях Сюренской крепости, где жили красавицы турчанки, заточенные навечно за любовь свою к христианским монахам, но больше всего про партизан. Я сам слышал одну из легенд. Нас как-то подвели к кромке скалы Орлиный Залет и стали говорить о подвиге четырех матросов, которые, мол, в феврале сорок второго года предпочли смерть и прыгнули в пропасть.

Те, кто слушал эту легенду, на всякий случай отодвигались подальше от края скалы, женщины белели от страха, а я помалкивал, хотя и знал: никто с нее не прыгал, разве сбросили однажды труп предателя, расстрелянного по приговору партизанского суда. Я не стал уточнять факты, ведь легенды рождаются независимо от нас. И не надо их развенчивать.

Вот сюда-то Красников и привел свои отряды. С ним было более двухсот партизан.

Еще живо глядели глаза партизан, еще на их лицах не было страшной печати голода, еще у каждого жила мечта о родном

городе, который и днем и ночью говорил: «Я жив, я борюсь!»

Партизаны явились сюда с отарой овец, прихваченной у врага на марше. Овцы, конечно, были наши, но гнали их на убой немецкие солдаты. Солдат не стало, а мясо на первых порах здорово подкрепляло усталых людей.

Недалеко от Чайного домика жил партизанский отряд — Акмечетский, которым командовал Кузьма Калашников. Мужик себе на уме, вроде и воюющий с врагом, вроде и нет. Говорят, что там были пограничники. Они вошли в состав отряда осенью, в дни, когда шло отступление наших на Севастополь. Вот они, мол, воюют, а Калашников их за это кормит.

Во всяком случае, такой слух тогда был, и Красников не знал, насколько он верный. Было ясно только одно: Калашникову соседство шумных севастопольцев не понравилось. Он пришел в отряд, колом подал Красникову суховатую ладонь, сказал:

— Выходит, что прибыли?

— Как видишь.

— Оно, конечно, без хвоста не обойдется.

— Что, не встречался с немцами? — рассердился комиссар Василенко.

Калашников надвинул на лоб серую кубанку и, что-то бормоча на ходу, скрылся за горкой, обсыпанной кизильником.

— Тугой, видать, мужик! — сказал Красников и тут же велел начальнику штаба установить с Акмечетским отрядом прочную связь, договориться о единой охране подступов к лесу.

В котлах варилось мясо, жарилось оно, наколотое на штык, партизанский кебаб.

Красников за несколько дней подтянул народ. Новый район казался безопасным, очень уж далеким от фронта. На самом деле фронт был не далее двух десятков километров и отчетливо прослушивался. Но партизаны, выйдя из кромешного ада, чувствовали себя так, как чувствует человек, возвратившийся из большого и шумного города в свое местечко, которое кажется ему чуть ли не пустынным уголком земли, хотя раньше таким не казалось.

Мясо, соль, сколько хочешь ключевой воды — не помрешь.

И желанный, нужный, как глоток воздуха, отдых!

Шутили:

— Много ли партизану надо: тепло, кусочек мяса да пудика два хлеба, хотя бы аржаного!

Тепла вдоволь — жадно палили костры. Мяса прибавилось — разгромили румынский обоз. Но вот насчет хлеба — увы! В глаза не видали. Говорили, у Калашникова есть мука. Обхаживали Кузьму Никитовича и таким манером, и другим, но жмотом он

оказался.

Потом, правда, совесть заговорила, расщедрился Калашников и отвалил три мешка муки. Так это ж капля в море! Севастопольцев двести двадцать хлопцев, да балаклавцев за сотню. И все-таки затирку ели все.

Пули не свистят, каратели не кричат, собаки не брешут, связные с застав не бегут, чтобы доложить набившее оскомину: «Немцы!»

Одним словом, блаженные партизанские дни. Особенно они подняли дух начальника штаба Иваненко. Зашевелился он — аж пыль столбом. Брит, подтянут, даже щеголеват. Может и по команде «смирно» поставить, дать нагоняй за вольность младшего в обращении к старшему вроде: «Разреши, Иван Павлович!» или: «Чего расшумелся, Дмитрий Карпович?» Постепенно у партизан стало складываться определенное мнение о начштаба района. Верзулов так оценил Иваненко: «Активен в строю и трусоват в бою!»

Но «райские» дни продолжались недолго. Они вроде зимнего крымского солнца: распалится ярко, весело, по виду ни конца ему ни края, вдруг бац! — запеленается изморосью и утонет в облаках, которым долгие дни так ни разу и не щегольнуть синим просветом.

Враг точно установил, где находится Красников, что делается в отрядах, каково настроение партизан.

В окружающих селах распухали гарнизоны. Они уже усилились в два раза.

Помрачнел Иваненко и погнал всех на охрану. Караулы выдвигать стал поближе к долинам: район распадался на мелкие группы.

Немцы и это поняли и применили оригинальную тактику — дерзкую, надо сказать.

Вот возвращается группа партизан из караульной службы, никаких признаков опасности, лес свой, даже сойки-шнырялки не кричат. И вдруг: трах-тарарах-рах!

Кто ж это? Откуда, какая сила?

Раскусили позже, когда поймали пленного. Оказывается, немцы переняли наш метод — засады. Организовали так называемые ягдт-команды (охотничьи) из состава добровольцев головорезов. Один удачный выход — две недели отпуска, который можешь провести, если желаешь, даже в Германии. Недурная приманка! И на нее шли охотно — отбоя не было.

Удары таких команд ощутительны. А они умели бить, а главное — не боялись забираться даже в лесные дебри, в глубину ущелий.

Отвечали мы поисковыми командами, охотниками на охотников, но безуспешно: ягдт-команды имели отличных проводников.

Ко всему этому разбушевалась зима. Она стала не по-крымски лютой, день и ночь валил снег, похоронил все тропы. Вслед за снегом — ледяной ветер, а потом двадцатипятиградусный мороз. С треском отстреливались древние дубы.

Овечью отару не уберегли. Ее проспали часовые из Балаклавского отряда.

Тяжело стало. Нет тепла, хлеба, одежды. Ни одна боевая группа не могла выйти на операции: почти все тропы, ведущие к большим и малым дорогам, были заблокированы.

А, как известно, безделье — веревка на партизанской шее.

Почему же прекратились дерзкие выходы во вражеский тыл?

Голод, холод, блокада — это все понятно. Но был факт и психологический.

Вышли партизаны из смертельно опасного района, где каждый жил словно под петлей. А на Чайном домике в упор не стреляют, можно и костер распалить, сказать громкое слово, спеть даже. И получился нервный спад. Он был не менее опасен, чем налет ягдт-команд.

Это понимал Василенко. Понимал и Красников, но скорее умозрительно. Командир района считал, что есть предел человеческих возможностей, а комиссар утверждал: «А ты нашел этот предел? Человек неуемен».

У Чайного домика Василенко готов был дважды в сутки преодолевать снежные заносы и ходить на дороги; уверял, что никаких застав фашистских бояться не надо. С ним соглашались, пытались даже идти за ним, но ничего из этого не получалось. Это было похоже на буксовку колес на ледяной дороге. Все ни с места, подсыплешь под скаты песок, шагнешь чуток — и снова холостое вращение.

Комиссар ходил к Кузьме Калашникову. Какой там между ними разговор был — никто не знает. Можно только догадываться: осторожный командир Акмечетского отряда делал все, чтобы освободиться от шумного и беспокойного соседства.

Комиссар от встречи с Калашниковым ничего не добился. Без малого сутки он помалкивал. О чем же думал старый севастопольский рабочий? Может, о том, как в двадцатом году под началом Мокроусова налетал на Судак? Алексей Васильевич на белом коне в полковничьих погонах, его встречают судакские дамы, машут платочками, а он подгарцовывает на своем дончаке, только глаза ощупывают все сразу: и дам, и офицеров, отдающих

честь, и свиней, барахтавшихся в канаве, и ленивый строй солдат, марширующих в переулке, и белый флаг, полощущийся под морским ветром. И неожиданный поступок партизана 3-го Симферопольского полка чуть не «угробил» удачный маскарад. Парень развернул знамя партизан и с криком: «Бей буржуев!» — кинулся на белых офицеров.

Взяли город с боем, а матрос-партизан Василенко чуть-чуть не полонил начальника Судакского гарнизона полковника Емельянова.

А может, об этом он вообще сейчас не думал, а прикидывал: как сломить упорство Красникова и увести отряды туда, в центр Государственного заповедника, где лес полон партизан? Ведь в конце концов отряды должны иметь тыл. Пусть он будет в дикой глуши, куда не то что дорог, но даже торных тропинок вовсе нет. Да, по-видимому, с этой главной мыслью и жил севастопольский комиссар.

Вечером между комиссаром Василенко и командиром Красниковым был крупный разговор. Опять-таки свидетелей его нет. Кто остался в живых, помнят лишь одно: комиссар неожиданно собрался покинуть Чайный домик. Он требовал себе в проводники Азаряна, но Красников сказал:

— Не могу, его ноги и мне нужны!

Больше комиссара никто из севастопольцев не видел, никогда.

А я видел, мало того — встреча с ним памятна мне до сих пор.

14

Василенко был прав: центр заповедника набит партизанскими отрядами, штабами. Два штаба района — наш и третий, десять отрядов, почти две тысячи бойцов. Они в сердце Крыма, но щупальца их достают и до окраин Симферополя, Алушты, Бахчисарая, прощупывают Южный берег — от Кастеля до самого Фороса.

Мы еще только разворачиваемся, переживаем неудачи за неудачами, мечтаем о крупных налетах на гарнизоны и упускаем, что легко само идет в руки; не видя Мокроусова, читаем его строгие приказы, и порой они нас удивляют потому, что доходят к нам с опозданием.

Но факт остается фактом: фашисты тыла свободного не имеют и, видать по всему, иметь никогда не будут.

Вот что говорят немецкие документы. Из донесения

лейтенанта из роты самокатчиков:

«После того как русские потрепали наш передовой отряд, я и еще один офицер с людьми пробрались через горы в Шуры. На нашем пути мы впервые встретились с группой партизан из 14 человек, одетых в гражданское платье и вооруженных автоматами. Несколько километров они преследовали нас с ищейками (у страха глаза велики, никаких ищеек, конечно, у нас не было. И. В.), но нам удалось ускользнуть. Однако позже мы наткнулись на партизанский дозор, вооруженный пулеметами и минометом. В бою наша группа потеряла двух солдат, но все же и на этот раз нам удалось уйти. Пока наша группа проходила долину Марты, мы видели, как по хорошей дороге проходил грузовик, как временами появлялись группы партизанских всадников и парных дозорных, и слышали стрельбу из орудий, доносившуюся со стороны Бия-Сала».

И еще.

«Согласно полученным нами донесениям, — говорится в памятной записке от 14 декабря 1941 года, составленной офицером контрразведки армии Манштейна, — в Южной части Крыма действует хорошо организованная, руководимая из центра партизанская армия. В ее распоряжении в горах яйлы находятся крупные и мелкие базы, в которых имеется много оружия, продовольствия, целые стада скота и другие запасы… В задачи партизан входят уничтожение средств связи, транспортных сооружений и нападение на тыловые службы и транспортные колонны».

Вот еще один штришок:

«Район Кикенеиза в последние ночи систематически подвергался налетам партизан (это действовал командир Ялтинского отряда Николай Кривошта. — И. В.)».

Факт:

«В восьми километрах от Алушты (на Ялтинском шоссе. — И. В.) десять партизан напали на военный автобус и румынский грузовик. Убито восемь офицеров и два солдата».

Можно было бы продолжать, но в этом нет никакой необходимости.

Некоторые историки до сих пор считают, что крымское партизанское движение имело чисто локальный характер, отвлекало на себя незначительные охранные формирования.

Я приведу только один документ — немецкий, взятый из архива германского генерального штаба.

Выдержка из доклада командующего 11-й немецкой армией генерала Манштейна командующему южной группой немецких войск:

«Для ликвидации этой опасности в Крыму — по нашим сведениям имеется 8 тысяч партизан (нас в то время было чуть более четырех тысяч человек. — И. В.) — нами были приняты решительные меры, иногда для борьбы с партизанами приходилось отвлекать войска.

В данное время в действиях против партизан принимают участие:

а) штаб по борьбе с партизанами (майор Стефанус); в его задачу входит сбор информации и представление рекомендаций о проведении необходимых мероприятий;

б) румынский горнострелковый корпус с 8-й кавалерийской и 4-й горнострелковой бригадами;

в) на участке 30-го корпуса: румынский моторизованный кавалерийский полк и подразделения 1-й горнострелковой бригады;

г) 24-й, 52-й и 240-й истребительно-противотанковые дивизионы;

д) в Керченских рудниках: саперный батальон и подразделения пехотных полков 46-й пехотной дивизии;

е) на различных горных дорогах выставляются кордоны и используются эскортные команды…»

Манштейн умолчал, сколько солдат и офицеров было в этих кордонах и эскортах. Могу уточнить: десять тысяч немецких оккупантов да куча предателей-полицаев, жандармов и всякого другого отребья.

Вот сила, противостоящая нам. Немцы не отличались щедростью, старались как можно меньше войск подставлять под всякие удары. Они порой отказывались даже от некоторого тактического успеха, если этот успех можно было достигнуть только ценою больших потерь. Они совсем не те, какими их рисовали порой наши карикатуристы: пачками валятся под пулеметами.

С каким бы удовольствием они дали этим полкам время, чтобы зализать севастопольские раны, — ан нет, приходится бросать роту за ротой, батальон за батальоном в продутый ветрами, обледенелый лес, в горы с жуткими тропами и своими тайнами: поди узнай, в каком месте заиграют партизанские автоматы!

15

Вот уже который день гоняют нас каратели. Упорство — чисто немецкое: с шести утра до шести вечера. они, как

заведенные, появляются в наших лесах и прочесывают участок за участком.

Вы не видали лесного пожара на сосновой делянке?

Сперва туго вскидывается к потемневшему небу черный дым, не дым даже, сажа. Его как будто выстреливают из пушки. А потом дым вдруг исчезает, словно подсекается гигантской затворкой. Что-то начинает шипеть, вспыхивает пламя — яркое, как вольтова дуга. Через минуту-другую лес начинает краснеть, все гуще и гуще, пока не забушует сплошным пламенем. Впечатление такое, что не лес горит, а из недр земли вырвался багровый гейзер и, стараясь поджечь само небо, высоко выкидывает пламя.

Горят в разных местах делянки-острова; кажется, вот-вот сольются, и ты потонешь в море огня и вспыхнешь, как вспыхивает одиноко стоящая сосна: внезапно от корня до самой верхушки.

От жары тает снег на косогорах.

Только порой нам удается выскользнуть из опасной зоны, и мы принимаем невыгодный бой, тот самый, к которому нас и призывают все психологические и физические действия врага. Несем неоправданные потери.

А как горят лесные сторожки! Вон пламя над «Чучелью», над домиком, в котором прошла моя первая партизанская неделя. Смрад наползал на нас; над урочищами летают светящиеся снаряды; горы сотрясаются от взрывов; тоскливо воют мины, навесно падая в ущелья.

Нервы не выдерживают. Порой берет отчаяние, и тогда хочется броситься вперед, рвануть на себе рубаху и пойти навстречу этим сытым боровам, отлично экипированным, действующим против нас под солидным хмельком, крикнуть: «Стреляйте, гады!»

Случайный лагерь, штабеля дров, подгнивших от времени, между ними мы. Не штаб, не отряд, а народ с бору да с сосенки. Тот своих потерял, а того самого оставили ненароком, тот шел на связь, да в засаду угодил и едва ноги унес; того согнали с койки из дубовых жердей в тайной санитарной землянке, а другой сам из нее бежал, помня древнюю, как мир, поговорку: «На людях и смерть красна».

Наш Иван Максимович никак не может прийти в себя от предательства коушанского «дружка», оттого, что ни слова не знает о жене. А я знаю и мучительно молчу: его супругу уже давно арестовали и на днях расстреляли совместно с семьей комиссара Бахчисарайского отряда Василия Черного. Мне тяжело скрывать эту страшную правду, но я обязан скрывать. Я уважаю

Ивана Максимовича за его кристальную чистоту и честность. Он не строит из себя вожака, отлично понимая, что современная война ему не по плечу. Он оживляется, только когда речь заходит о прошлом, о днях партизанства в годы гражданской войны. Тогда у командира молодеют глаза. Он начинает ругать и немцев, и нас, и всех, кто допустил фашиста до самого Крыма: «Мыслимо ли, а? Какая же это война? Одно смертоубийство!»

Мы на Алабачевской тропе, на гребне исполинского перевала. Направо от нас — крутой скат, а за ним прыгающая на камнях горная река; налево — почти отвесный обрыв, под ним другая горная река — Писара, а между ними на небольшой делянке со штабелями черных дров располагаемся мы.

Смрадно, тошно.

Наша охрана остановила неизвестного человека в буденовке, с немецким автоматом за плечами. Глаза у него были воспалены, лицо измученное. Привели ко мне.

— Кто такой? Пароль!

— Передо мной начштаба района?.. — Он знал мою фамилию.

— Пароль! — потребовал я.

Он знал его, а потом с уверенностью представился:

— Я Домнин из штаба Мокроусова!

— Где Алексей Васильевич? — беспокойно спросил Бортников.

Домнин ответил:

— Там, где надо… Простите за такой ответ, но сами понимаете… Нужна срочная помощь: Центральный штаб без продуктов. — Он смотрел на нас так, будто умолял: не надо никаких вопросов, что можете — то сделайте.

Он чувствовал себя не очень твердо, да и было от чего: как это так, Центральный штаб оказался в таком положении? А он, его представитель, вынужден просить экстренной помощи.

Бортников захлопотал, мы кое-что собрали и обещали собрать еще.

Бортников предложил:

— Мокроусов может и у нас побыть, безопасность обеспечим.

— Спасибо. — Домнин взвалил на плечи тугой мешок, добавил на прощание: — Доложу командующему: штаб Четвертого района в форме!

Сказано было немного громко: до «формы» было далеко и нам, и самому Центральному штабу.

Проводили Домнина, задумались: что же дальше? Куда самим податься, что предпринять, чтобы остановить фашистский шквал, бушующий во всех заповедных лесах?

Через час Федосий Степанович Харченко привел к нам свой отряд: его вытурили из Басмановского выступа, правда дорогой ценой. Он прорвался с боем, нанес немцам потери, и, кажется, довольно ощутимые. Во всяком случае, немцы не преследовали отряд, и он благополучно добрался к нам.

Старик угрюм, но серая из каракуля папаха по-прежнему заломлена, и блеск в глазах еще сохранился.

— Убивать их, гадив, трэба! — его первые слова.

Нас стало человек пятьдесят, у нас было с десяток автоматов, немало противотанковых гранат — партизанской артиллерии.

Но бить фашистов в данную минуту? Их тьма-тьмущая, они только и ждут того, чтоб мы себя обнаружили.

Еще гость: Василенко — комиссар Севастопольского района. Он пришел со стороны речушки Писара, поднявшись на гребень по очень опасной тропе, на которой бывают горные обвалы.

Узнал он меня или нет — я не понял. Я сразу почувствовал его силу крутую, твердую как скала. Глаза его обдали меня холодком. Я даже машинально подтянулся и повел гостя к Бортникову.

Увидев Василенко, Иван Максимович разволновался и даже прослезился. Они друзья давнишние, герои гражданской войны, знаменитые мокроусовцы.

Я им не мешал. Они что-то вспоминали. Бортников, чувствительный ко всему, размахивал руками. Гость же молчал, глядя на догорающий костер. Но нельзя было не обратить внимания на его зоркую наблюдательность. Севастопольский комиссар вроде в одну точку смотрел, а видел все, что происходит вокруг. Треснула ветка, глаза — зырк, прошел человек молниеносный оценивающий взгляд.

Он и меня раза два-три обдал таким пристальным взглядом, что мне стало не по себе.

— Поди ближе, молодой человек! — неожиданно позвал он.

Я вообще терпеть не мог фамильярного обращения. «Молодой человек!» А тут еще сказано было с осуждающей грубоватостью. С трудом сдержал себя.

— Садись, попей чайку, — гость подал мне кружку с кипятком, потом просто и по-свойски, что было совершенно неожиданно, добавил: — Да ты не ерепенься, свои же.

Я промолчал.

Василенко подождал, пока я справлюсь с кипятком, потом с вызовом:

— Значит, бегаем?

У меня вырвалось:

— А вы у себя не бегали?

— Одно дело я или Иван, а другое — ты и твои сверстники. Вон у тебя какие ноги, прямо для драпа. Да, и мы бегали, черт возьми, но коленкор был другой: отходили, но снова били, обязательно давали сдачи. А вас полсотни гавриков, содрогаетесь от взрыва каждой мины. У вас глубинные леса, простор, а не «пятачок» — Чайный домик! Дивизии не страшны! В хвост, в гриву их, сволочей, зубами, зубами… А потом и повтикать можно.

«Повтикать» — так и сказал, чисто по-украински.

— Такой, брат, коленкор, не суди за слова строго, для дела говорю. Комиссар глотнул кипятку с кизиловым настоем, подсел ближе ко мне. — Какова обстановка, скажешь?

Доложил, что знал. Он слушать умел, отдельными репликами углублял мой доклад.

Лицо его стало приятным, грубые черты как бы расплылись, и севастопольский комиссар на глазах помолодел.

Гость остановил свое внимание на одном факте: поселок Чаир находится в пяти-шести километрах от Алабачевского гребня. Каждое утро туда на машинах прибывает противотанковый дивизион эсэсовцев, до четырех вечера прочесывают, лес, а потом на машины и — айда в Бахчисарай.

— Дай-ка каргу! — потребовал комиссар. Он хорошо читал километровку. Музыка может получиться. Оцени, браток!

Бортников понял:

— Что ты, Жора? Задавят к чертовой матери! Такая сила!

— Иван, драп-маневр не лучший вариант. Надо и по сопатке давать, иначе труба.

Василенко стал собираться. Дорога его лежала по морозной яйле.

— Дойду до ялтинцев, а оттуда махну на Чайный. — На прощание снова сказал мне: — Оцени, браток!

Севастопольский комиссар задел за самое живое. Ведь пока только бегаем да все меньше в себя верим.

Лес хмурился, дышал черной гарью, где-то за Басман-гору падали снаряды.

Чаир, а там батальон. Утром приходит, а вечером уходит.

Уходит, значит, и вечером, когда еще не темно, но и видимость не особенно четкая. Напасть? Рискованно, но что-то же надо делать, в конце концов.

Бегаем, бегаем… Как он сказал? «Ноги для драпа!» Точно попал, в самую середочку.

Нас пятьдесят мужиков, нам по двадцать пять, у нас есть автоматы.

Мои рассуждения перебивает сильный взрыв, горячая волна наотмашь бьет в лицо — шальной снаряд.

Партизаны плашмя падают за штабеля дров.

Снова хозяин — страх! Федосий Степанович выбранился:

— Я к зайци! Тьфу!

Я подхожу к старому скадовскому партизану. Он смотрит так, как смотрел Василенко.

— Кутерьма получается, — басит Федосий Степанович.

Я говорю ему о батальоне, на который можно напасть. Как он думает?

Он молчит, но глаза его отвечают: все можно, нужно только с умом, чтоб наверняка. Срываться никак нельзя.

Упал вечер, мы как-то приспособились на ночевку. Все мои думы вокруг Чаира, эсэсовского батальона. Мысль об ударе влезла крепко, что бы я ни делал — все вокруг этого вертится.

Утром послал разведку в сам Чаир. Там жил старый шахтер «дед Захаров», а у него был внук — шестнадцатилетний парень, готовый для партизан на все. Вот я и поручил связаться с ним, разузнать через него все подробности.

Разведчики мои пришли после полудня. Все! Сегодня батальон в последний раз будет в Чаире. Уже увели из поселка двадцать пленных партизан. Они захватили их где-то на плато Чатыр-Даг, а теперь погнали в Бахчисарай на муки и смерть.

Значит, в последний раз! Настроение у фрицев должно быть бодрым и в какой-то степени расхоложенным. Ведь солдат, уцелевший и возвращающийся к своим в безопасное место; не похож на солдата, идущего в бой. Он внутренне размобилизован.

Вдруг заупрямился Бортников. Он не верил в успех, жалел нас и не хотел лишней крови. Но тут отбрил его Харченко:

— Трэба быты! Чуешь свое сердце? Шо воно каже?

Бортников понял: остановить невозможно. Стал давать нам дельные советы. Он хорошо знал местность, каждую складочку на ней, предложил отличный маршрут, который скрывался в гуще мелколесья и выводил нас прямо на табачную делянку, полукругом легшую над дорогой.

Принято окончательное решение, готовились форсированно, в темпе галопа. По тревоге собрал партизан, выстроил.

— Кто болен, кто не сможет пробежать шесть верст, у кого силенок нет выйти из строя!

Вышло шесть человек.

Основная масса, подчеркиваю, до этой минуты разношерстная, собранная, по существу, стихийно, почти не знающая друг друга, стояла на месте. Она была готова к чему-то ответственному, всем своим видом как бы говорила: «Хватит! Сколько можно драпать!»

Скорее, не утерять темп. Разведчиков вперед, а за ними мы.

За час какой-то оказались на поляне, заняли выгодную позицию, всего в двадцати пяти метрах от дороги, — бить, так наверняка!

Заняли почти на виду врага, который отдельными машинами проскакивал по накатанной снежной магистрали.

Ожидание было трудным. Лежали на снегу, который под нами таял, сырость сквозь одежду проникала к телу, будто в ледяной воде купаешься. Но все-таки заряд наш не остыл.

Лежали целый час, наконец в поселке все вздрогнуло — одновременно заработали десятки дизельных моторов. Черт возьми, такой шум — горы трясутся.

Выдержать, главное — выдержать!

Гул машин нарастает — в ушах больно.

Вал накатывается.

Показалась первая колонна — разведка.

Я лежу за ручным пулеметом, моя длинная очередь — сигнал: бросай гранаты!

Через прорезь мушки вижу проходящие машины. Пусть идут, нам нужна сердцевина колонны.

И вот основные силы.

Голова колонны подо мной. И ее пропускаю. Вдруг одна из машин пошла боком, боком, забуксовала и перевернулась.

Остановилось все, что двигалось позади нее.

Немцы повыскакивали из машин — их ужасно много! — и окружили транспортер, потом, по команде, стали его поднимать.

Чувствую, как волосы шевельнулись под моей шапкой-финкой: самая пора!

Всю пулеметную очередь всаживаю в кучу машин и людей, а партизаны с противоположного обрыва бабахнули двумя десятками противотанковых гранат. Отличная работа!

Невероятное стало твориться на дороге: смешались люди, машины, кто-то пытался бежать вперед, другие валились в кюветы.

Паника! В жизни не видел ничего подобного. Стоны, крики…

У меня совершенно пропал страх, и я стал стрелять из пулемета, как на учении, а я когда-то считался неплохим пулеметчиком, это было еще в Дагестане, где служил в горнострелковом полку…

Бил в упор; бил, пока патроны были в дисках.

Партизаны подбавляли из автоматов и винтовок. Я мельком и на мгновение увидел Федосия Степановича. Он стоял за деревом во весь рост и пулял с потрясающей выдержкой. Тут наверняка стопроцентное попадание!

Фашисты стали приходить в себя, заработали пулеметы, а

потом и пушки. Серия осветительных ракет ударила над нами, и пучки трассирующих пуль вперемежку с огненными линиями снарядов разлетелись во все стороны. Но мимо нас: немцы, наверное, не могли поверить, что мы находимся от них так близко — в тридцати метрах, не более. Они обрабатывали косогор за поляной, что был выше нас метров на сто. Туда и пошел главный огонь.

— Отходить! — приказал я.

Спасительная бортниковская балка с абсолютной точностью вывела в безопасное место.

Настроение у нас было очень приподнятое: можно и таких бить! Что ж, спасибо севастопольскому комиссару. Крепко он задел нас, но не без пользы.

Собрались на полянке в двух километрах от места боя и устроились на полусгнившем сене. Наперебой делились впечатлениями, каждому хотелось высказаться. Даже скуповатый на слова Харченко поддался общему настроению.

— Жалко тилькы, що так швыдко потэмнило, хотив бы побачыть, як воны своих побытых фрицив убиралы, — досадовал Федосий Степанович, затягиваясь самосадом.

Старика хвалили, и заслуженно. Недолюбливая автомат, он действовал из своей привычной трехлинейки, и ни один его выстрел не пропадал даром.

Нервное напряжение прошло. Люди приумолкли, согревшись на сене. Когда было приказано подняться, многие спали; пришлось чуть ли не каждого в отдельности трясти и ставить на ноги.

Только к рассвету мы взобрались на Алабачевский гребень.

Иван Максимович не спал.

— Хорошо, что живы! — Старик обнял меня. — Уж очень стрельбы было много, чуть сердце не лопнуло.

Я подробно доложил о бое. Бортников слушал, угощая нас чайком. Руки мои при свете горящего костра показались ему слишком красными, — у меня не было перчаток. Он полез в свой вещевой мешок и долго в нем копался.

— Бери, — он подал мне шерстяные рукавицы. — Моя старушка связала. Бери, хлопец!

— Спасибо, Иван Максимович. — Я был рад подарку, но принимал его с тяжелым сердцем. Той женщины, что связала рукавицы, уже нет на белом свете. Иван Максимович ничего об этом не знает.

Смотрю на его взволнованное лицо, добрые глаза. Он рад нашему успеху, хочет чем-то порадовать и нас самих.

Удивительный результат удара: каратели повсеместно

покинули леса.

Удар был чувствительный; мы узнали: эсэсовцы целый день хоронили убитых.

Это была моя первая партизанская операция. Шел я к ней через многие дороги.

А вот что записал в своем дневнике капитан Пум, пойманный в плен частями Красной Армии где-то у предгорий Кавказа:

«Это был наш день. Горел лес, пылали дома русских лесничих партизанских лазутчиков. Мы уже торжествовали, но… Вечером наш дивизион вышел из поселка Чаир. И на нас напали внезапно и жестоко… Сколько убитых, раненых! Командование отдало под суд старшего офицера…»

Я понял одно: врага можно бить в самых неожиданных местах, в самых отчаянных положениях. И лучший вид партизанской обороны — внезапный удар.

После упорной трескотни автоматов, пулеметных татаканий, надсадных уханий снарядов, воя мин, нахлестного эха, перекатывающегося от одной горной гряды к другой и обратно, заповедный лес вернулся в свое первозданное состояние — в тишину.

Стал прозрачен зимний Лес, под ветром поскрипывают могучие дубы, звонко играет горная быстрина в царстве ледяных ущелий.

Лес живет.

16

В Чайном домике менялась обстановка.

Кончилось мясо, кончилась и соль. Кровоточили десны.

Связи с Севастополем так и не было. Пропал комиссар.

Красников посылал разведчиков на яйлу, но Василенко обнаружить не удалось.

Комиссар Василенко!

Он погиб вместе с ялтинским командиром Мошкариным: расстрелян в упор карателями из засады. Сейчас на шоссе Ялта — Бахчисарай, на самом выходе на яйлу, стоит каменная глыба, которую посещают тысячи туристов. И на ней высечено имя героя гражданской и Отечественной войн, севастопольского комиссара Георгия Васильевича Василенко.

Он погиб. Я часто жалел о том, что тогда, на Алабачевском гребне, не разговорился с этим человеком. Может быть, мне куда легче было бы переживать то, что я пережил после его смерти. И пережил с теми людьми, с кем он начинал партизанскую войну,

прямо во втором эшелоне фронта.

Стоит каменная глыба, порой на рассветах над нею парят черные грифы. Не люблю я этих птиц.

Над лагерем начал появляться самолет-разведчик. Он как-то в самое неожиданное время вылетал из-за пика Орлиный Залет и начинал кружиться.

На третий или четвертый день кто-то из леса посигналил самолету зеленой ракетой, тот ответил покачиванием крыльев и исчез в дымке Голубой долины.

Кто сигналил?

Искали тщательно, но никакого следа. А что сигнал был — подтверждали все посты.

Красников чувствовал двойную ответственность. Он спал урывками, лично обходил заставы, изучал окружающие высоты, тайники ущелий, пещеры. Он высматривал все пути подхода в лес. Командир готовил отряды на случай внезапного удара.

Он объявлял тревогу, бросал людей на высоты, организовывал систему огня.

Командирская активность как-то успокаивающе действовала на партизан. Несмотря на чувство тревоги, которое владело почти всеми, ни в отрядах, ни в боевых группах не было растерянности. Люди ждали, они понимали: предстоят новые тяжелые испытания.

И что должно было случиться — случилось, и раньше, чем предполагали.

…Холодное утро. Старый ясеневый лес. Деревья поскрипывают от жгучего горного мороза.

Тишина, покой. Покрикивают сойки. Они стали ронять радужные перья, напоминавшие спину скумбрии, светящиеся иссиня-блескучими полосами.

Пробилось солнце, разогнало утреннюю дымку, через толщу леса пятнами украсило снежную голубую целину. Все вокруг стало струиться чуть ли не всеми цветами радуги. Ничто не предвещало боя.

Вдруг Красников объявил боевую тревогу и послал связных к командиру Акмечетского отряда. Красников с самого рассвета вел себя не совсем обычно: неожиданно и тщательно проверил состояние станковых пулеметов, приказал раздать всем без исключения гранаты, заставил забросить за спины вещевые мешки.

Я понимаю чувства командира, нечто подобное сам переживал в июне 1942 года у истока реки Писара. Наш штаб находился в центре отрядов, но отдельно от них и в таком глухом уголке, что и самим отыскивать было нелегко. Штаб был

засекречен так, что ни одна собака о нем не могла знать. Живи, работай и поменьше оглядывайся — так можно было существовать и не день, и не два. И существовали, и похваливали себя за молодеческую находчивость.

Только как-то проснулся я раньше обычного, и тревога ожидания чего-то опасного завладела мною. Не было для нее видимых причин, но она липла ко мне как смола. Запретил поварихе разводить огонь, радисту приказалспрятать аппаратуру, дозоры вокруг разослал. Все недоумевали: что это со мною? Да и сам я вряд ли сумел бы ответить на такой вопрос.

На нас наползла темная-претемная туча и сыпанула крупным дождем; хлобыстнул раскатистый гром, еще и еще. Не успел я добежать до штабного шалаша, как шустрая автоматная очередь чиркнула за моей спиной. Поднял голову — и увидел немцев. Они скатывались с горы прямо на наш штаб.

Мы были готовы ко всему и приняли немедленный бой, группой очередей из автоматов согнали карателей с троп и вытеснили их за речку. При этом потеряли двоих партизан.

Не будь моего тревожного предчувствия — кто знает, как обернулось бы это внезапное нападение, прикрытое бурной горной грозой!

Конечно, ничего сверхъестественного тут не было. Красников, например, действовал так, как обязан был действовать каждый командир, не лишенный чувства обстановки, умеющий подспудно понимать ее.

Скоро полдень, ничего не произошло. Командир Балаклавского отряда попытался получить разрешение на разведение «малых костров».

— Нет! Балаклавцам выйти на позиции! — ответил Красников.

С дальней заставы вдруг просигналили: «Приближается опасность!»

И тут же пришла связь от акмечетцев. Калашников предупреждал: «Немецкая рота идет в лес по Маркуровской тропе».

Командир группы Якунин докладывает: «Две колонны фашистов обходят Чайный домик с северо-запада».

Через полчаса начался бой. Пятичасовой, зачастую рукопашный. Бой трех отрядов: Севастопольского, Балаклавского, Акмечетского, каждой боевой группы в отдельности, бой одиночек. Самый трудный и самый кровопролитный бой партизан Пятого района.

Попытаемся восстановить некоторые его эпизоды.

У Кузьмы Калашникова два командира-пограничника:

Митрофан Зинченко и Алексей Черников, а с ними по двадцать пограничников — отборный народ. У них два станковых пулемета, лент на три боя.

Пограничники — боевой козырь Кузьмы Калашникова, они же и укор его совести: за их спиной живут степняки.

Ударили кинжальным огнем — и первых цепей карателей как не бывало. Они разметались, сломались.

Потом все смешалось, и трудно было понять, где фашисты, а где наши. Бой рассыпался на отдельные очаги, и в каждом из них была своя драма.

Вот за толстым буком притаился партизан, а метрах в пяти от него, за другим таким же мощным деревом, — фашист. Поединок: кто кого? Малейший промах — конец. У кого нервы покрепче?

Один из перевалов в километре от Чайного домика… Тут действуют знаменитые якунинцы.

Михаила Филипповича Якунина хорошо знали до войны, во время войны, помнят его многие и сейчас. Жители Корабельной стороны города говорят о нем: «Вот это был секретарь райкома!»

Если Верзулов отличался тем, что старался как можно меньше ввязываться в бои с карателями и как можно чаще бить фашистов мелкими группами на дорогах, то Якунин отлично водил карателей за нос, выжидал, играл с ними, как кот с мышкой, а потом бил беспощадно.

Чтобы осмыслить действия якунинцев в этом трудном бою, не мешает вспомнить эпизоды из более ранней партизанской биографии группы Михаила Якунина.

…16 ноября 1941 года. Около сорока партизан, вооруженных в основном трофейными автоматами, пулеметами, после часового боя покинули свой лагерь. Не успели перевести дыхание, как разведка сообщила:

— Идет новая группа карателей!

— Много? — уточнял Якунин.

— Десятка два. Других не видно и не слышно.

— Значит, некрещеные! Не стрелять! Возьмем живыми!

Михаил Филиппович вскинул автомат, заткнул за пояс пару гранат, взял четырех партизан и выскочил наперерез карателям.

Идут немцы, оглядываются, автоматы наготове. Вроде тихо. Их командир нагнулся, махнул рукой. К нему подошел человек в немецкой форме с чужого плеча, но, в отличие от солдат, в серой красноармейской ушанке.

Смотрят на следы, спорят о чем-то.

Пора!

— Хальт! — крикнул Якунин.

Крик повторился многократным эхом.

Черные дыры партизанских автоматов смотрят на немцев.

— Руки!

Фашисты подняли руки, но трое отчаянных сорвались с места. Очереди по ним. Двое убиты, один сбежал, тот самый, что был в красноармейской ушанке. Предатель, конечно. Сволочь!

…21 ноября 1941 года. Запущенная лесная дорога, на ней камни — следы обвала. Двенадцать фашистских разведчиков осторожно прощупывали местность. Они научены горьким опытом. Шорох малейший — отвечают бешеной стрельбой.

Но невидимые для них глаза пристально наблюдают за каждым их шагом. Меня вот что удивляет до сих пор: почему немец не чувствовал этих взглядов? По-видимому, солдат на чужой земле теряет чувство местности.

Каратели вышли на просторную поляну, откуда рукой подать до горного села, где много войск и совсем безопасно. Они повеселели, разговорились, закурили. Недалеко — стог сена. Они туда. Совсем успокоились, даже кое-кто оружие положил, потянулся.

И вдруг… Свинцовый шквал уложил всех до единого.

— Обыскать, взять оружие! — простуженный голос Якунина.

…28 ноября 1941 года. Семнадцать солдат горной фашистской дивизии вышли в первую разведку севастопольского леса. Враг не из трусливых. Солдаты, как у себя дома, шагали по тесной тропе, и настроение у них было прямо-таки веселое. Они лихо обстреливали на ходу подозрительные тропы, кустики, бугорочки. Один из них — моложе всех — хвастливо поднял над головой автомат: «Эй, партизанен!»

За нахальство расплатились. Они неосторожно разожгли костер, стали варить обед. В котелках булькал горох. Запах жареного сала щекотал ноздри партизанам, сидевшим буквально в тридцати метрах от карателей.

Внезапный налет! Девять фашистов убито, остальные пленены. Трофеи богатый обед. Поели сами, накормили пленных, а потом переправили их через линию фронта.

…Я роюсь в областном архиве, ищу следы якунинских атак. Нахожу не все, но кое-что нахожу. И почему-то вспоминаю Вьетнам. Я вижу джунгли и узкоплечих худеньких людей, вооруженных бог знает каким несовременным оружием.

Ничего грозного в них не было. До вторжения американцев жили сугубо мирно, и только беда заставила их взять в руки винтовки, чужие автоматы. И будто эти люди не могли противостоять организованной и вооруженной до зубов армии.

Но их не могли остановить и полмиллиона американцев, и миллион, и сверхскоростные бомбардировщики, и напалм, и

химические авантюры. Их нельзя было остановить, как нельзя было остановить нас даже десятикратным превосходством сил. На то и народная война.

…И этот кровопролитный бой!

Якунин не сразу принял его. Пока Зинченко и Черников пулеметами прожигали первые ряды фашистов, Михаил Филиппович не спеша выбрал позицию.

Выбор партизанской позиции! Как это сделать?

Уставы и книги об этом молчат. Да и практически невозможно передать процесс созревания командирского решения. Тут снова сфера того самого человеческого чутья, которая позволяет в кромешной тьме пройти над головокружительной пропастью, или вдруг остановиться перед гибельным провалом, внезапно оборвавшим твою тропу, или точно выбрать нужное направление где-то в лесной глуши.

Якунинская позиция на Чайном домике. Она была точной: будто командир знал, что главная атакующая масса пойдет именно на этот хребет, что за спиной партизан найдется узкое зигзагообразное ущелье, по которому можно выскочить на следующую позицию.

Каратели шли напролом. Они были вдрызг пьяны. Хмельной солдат — воин неполноценный. Он лишен того самого чутья, инстинкта, который порой и спасет там, где спастись почти невозможно.

Они шли на якунинскне автоматы.

Партизаны ударили в упор.

Много трупов легло на снегу.

Но машина была заведена, она имела и обратную связь, которая все же сработала. И по якунинцам ударили с флангов.

Михаил Филиппович быстренько подобрал оружие, поднял раненых и по ущелью перебросил группу на новую позицию.

Каратели не отстали. Началась новая атака.

Сам Якунин строчил из трофейного пулемета. Уже дважды переменил ствол: гора пустых гильз лежала рядом.

Каратели поняли: перед ними небольшая кучка партизан. Фашисты в черных шинелях — эсэсовцы — прорвались в тыл якунинцам, перебили раненых.

Большинство партизан убито. Вырвалась небольшая группа во главе с Михаилом Филипповичем, каким-то чудо-маневром вышла из боя и добралась до старых баз у Кожаевской дачи, но здесь не задержалась, а вышла из лесочка, проползла поляну и втиснулась в трубу, проложенную под заброшенной дорогой.

Грели друг друга дыханием, приходили в себя. Ни пищи — помня наказ Красникова, базу не тронули, — ни огня.

Трое суток бродили у самого фронта, питаясь подмороженным шиповником, на четвертые встретили моряков-разведчиков из морской бригады Тарана. Вместе и переползли линию фронта.

Якунин тяжело болел, но постепенно организм взял свое, и партизанский командир поднялся на ноги. Мучила совесть: что в лесу делается? От Красникова ни слуха, а немцы хвастаются, пишут в газетах, кричат по радио: под Севастополем партизан нет!

Окрепли ноги, ритмичнее заработало сердце, и Михаил Филиппович не стал задерживаться, напросился на прием к секретарю Крымского обкома партии Федору Дмитриевичу Меньшикову.

— Пошлите меня, я найду Красникова.

Послали. Якунин пришел к нам и снова успел сказать свое партизанское слово, но об этом позже. Совсем недавно я побывал в тех «местах, где последний раз встречал Михаила Филипповича. В мае сорок второго года он умер от разрыва сердца.

Похоронили мы его у истока горной реки Донга, в дебрях заповедника. Я искал могилу, но время и дикие кабаны — их развели после войны — стерли следы. Шумела речка, в ее заводях играла горная форель. За безмолвным лесом высились одинокие сосны — стражники партизанских могил…

Стоит перед глазами Михаил Филиппович Якунин — секретарь Корабельного райкома партии. Крупное и отечное от недоедания лицо, серые глаза, чуть тяжеловатый подбородок. Одышка. Ничего в нем воинственного нет. Даже автомат носил как-то по-граждански. Карманы были почти всегда до нелепости вздуты: Якунин любил гранаты и при удобном случае начинялся ими до отказа. Бывало, прежде чем сесть, начинает выгружать из всех карманов гранаты и выложит их до дюжины.

— Тяжело же, Миша! — пожалеешь его.

— Еще как — аж спину ломит! — согласится он и начнет смазывать ружейным маслом трофейный пистолет — подарок разведчиков.

…Бой у Чайного домика был самым жестоким в истории крымского партизанского движения за время Севастопольской обороны. Но Красников и Калашников в основном сохранили отряды. Потерь было немало, но карателям не удалось очистить леса, подпиравшие их второй эшелон, и все надо было им начинать сначала.

Сколько потеряли сами фашисты — точно сказать невозможно. На этот раз им удалось убрать убитых до последнего трупа. Разное говорят, разное пишут, точно известно лишь одно:

фашисты перестали посылать своих солдат на партизанские стоянки, но все плотнее и плотнее блокировали выходы из леса.

17

У нас — в Четвертом районе — произошел своеобразный перелом в настроении партизанской массы. Через леса прошли целые вражеские дивизии, но им не удалось ни физически, ни морально сломить наше упорство.

Не успел последний солдат карательной экспедиции покинуть лес, как на дорогах, ведущих к фронту, снова заработали наши автоматы, взлетали в воздух машины.

Фашисты вынуждены были прекратить ночное движение.

У вас отпуск, вы следуете на Южный берег — к морю, к воздуху. Проявите небольшую наблюдательность, посмотрите из окна троллейбуса или машины на леса, что сопровождают вас до самого Алуштинского перевала, да и дальше до Кутузовского фонтана. Любопытная деталь: стометровая полоса над дорогой — лесной молодняк. Тут деревьям от силы четверть века, а старый лес начинается дальше, за стометровой полосой. Так с обеих сторон дороги.

Так вот, зимой 1942 года немецкие саперные батальоны с корнем вырывали деревья и полностью оголяли подступы к дороге. На всех крутых поворотах зияли щели долговременных оборонительных позиций, день и ночь моторизованный патруль совершал челночное движение.

Вся дорога была в плакатах: «Внимание, партизаны!», «Обстреляй поворот!», «Одиночным машинам проезд запрещен. Партизаны!»

В те дни три фронта действовали на полуострове: под Севастополем, на Керченском полуострове, в центре гор — партизанский. Последний — самый неожиданный, ставящий немцев в тупик.

В Крыму рождались легенды. Надо иметь в виду: трудно отличить правду от легенды, ибо сама правда была легендарна.

С севастопольской стороны пришла, например, такая весть: в отрядах Красникова появилась какая-то грозная и неуловимая четверка партизан. Один лишь слух о них так пугал фашистов, что стоило им только услышать об этой четверке, как они начинали сверх меры нервничать.

И последняя новость — четверка расстреляла роту карателей. И случилось это в двух километрах от линии фронта.

Говорили и так: севастопольские матросы знают тайный ход.

Он идет под окопами — нашими и немецкими — и выводит в тыл к фашистам отчаянных матросов-головорезов. Они вырастают из-под земли, переполошат все вокруг, утащат самых важных офицеров и с ними бесследно исчезнут.

Особенно упорно держался слух о дерзком расстреле немцев. «Это им за партизан попало!» — говорили связные, что проходили через наш штаб.

Всякая легенда имеет какую-то правдивую основу, потом она обрастает домыслами, окрыляется и летит от человека к человеку.

Легендарной четверки как таковой не было, но случилось кое-что такое, что позволило родиться легенде.

Сам поступок был довольно прозаический.

Только теперь, при встрече с Михаилом Томенко, кое-что выяснилось.

Вот что он рассказал.

— Тяжело стало нам после боя с карателями, — говорит Михаил Федорович. — Скольких недосчитались! И мой командир-учитель Федор Верзулов был ранен в том бою. Ничего, из крепких, быстро на ноги поднялся. Беда была в другом — еды не стало. Совсем не стало. Читал как-то, что можно привыкнуть и к голоду: мол, первые дни переживаешь, а потом ничего. Черта с два! Может, на кровати привыкают, а вот когда тебя припечет морозцем да насквозь продует ледяным ветром, так закачаешься… У меня голова кружилась, и тошнило.

Все посматриваем на Красникова: поведет нас на базу или нет? Черт с ними, с немцами, помирать — так с музыкой. Хоть наедимся вволю. Прошел слушок: пойдем на базу! Говорят, есть одна, по всем расчетам никем не тронутая.

Красников позвал меня к себе. Бегу, а сердце стучит: не на базу ли?

Командир поглядел на меня:

— Пойдешь?

— А будет там что? — Я сразу понял куда.

— Должно быть! — крикнул командир, да так, будто я окажусь виноватым, если дело сорвется.

Взял проверенных в испытаниях бойцов: Ларионова, проводника Арслана да еще Николая Братчикова. Того самого, кто предателя Ибраимова принял за своего партизана.

Шагали без подгона. Оно понятно. Хлопцы так рассуждали: абы подкрепиться как следует, а там, как слепой сказал, — поглядим!

Отмахали верст двадцать по таким кручам, что и не скажешь. Немца не видно, не слышно. Что за черт?

Ей-богу, тишины стали бояться, особенно если она нависала над Севастополем. Подкрадется к тебе сомнение: а вдруг немцы взяли город?

Затарахтит там, ходуном заходит земля — легче дышится.

Вот и Кожаевская дача. Рядом, значит, базы. И тут тихо, хоть бы выстрел какой, а то гробовое молчание.

Я базы знал, но не так чтобы подробно. Нашел на дереве метку, взял малость левее — яма. Пусто, все чисто выметено! Еще одна! И в ней один ветер!

Присел от ужаса, волосы дыбом… Неужели все пограблено? Хоть об камень головой.

Вдруг Ларионов мне шепчет: «Помнишь, на верхотуре? Сам командир прятал!»

Кинулся туда — чуть сердце не выскочило: есть, есть продукты! Глянул и сразу понял: тут гадов не было! Осторожно разгреб листву, поднял крышу. Сухари, мука, пшено…

Только беда! Вода здорово повредила. Она пробилась в углу. На стенах сырость, кругом влага сочится. Муку вымочило…

Теперь не мешкать! Я — срочную связь в одно урочище: там должны ждать нас человек сорок партизан, Красников вслед за нами их послал: так договаривались.

К вечеру люди пришли, и без всяких происшествий. Мы накормили их, каждого нагрузили по самую макушку, назначили старшего и приказали — срочно на Чайный домик, к своим, к утру быть там.

Сам с тремя своими хлопцами остался, хотя приказа такого никто мне не давал. Надо же было спасать продукты: вода сгубит все!

Работы много. Двое суток сушили яму, перекладывали продукты. Время летело — не замечали. Одно ужасно беспокоило: никто нам не мешал, будто и сёл рядом нет, фашистов всех побили. Но они были под боком — за первой же сопкой гремело все. Тут что-то неладное. Может, расчет какой? База вроде ловушки? Надо скорее сматываться. Завтра все замаскируем — и прочь отсюда!

Я проснулся рано, что-то меня разбудило. Вдруг слышу шум, потом смех пьяный, голоса. И совсем рядом. Фырканье лошади, крик: «Эй, Аблям!», снова смех.

Разбудил ребят. Ползу на шум.

Немцы и полицаи! Полицаи грабят базу — она ниже нас, но о ее существовании я и не догадывался.

У разваленной землянки стоит пароконная упряжка, телега очень вместительна. На нее и валят мешки с мукой, хохочут, — видать, пьяны. Старик в черной куртке и постолах, шатаясь, из

ведра черпает вино и подносит чуть ли не каждому. Хохот и выкрики.

Метрах в ста правее — немцы в зеленых шинелях. Они — ноль внимания на полицаев. Побросали автоматы как попало. Кто повесил прямо на дерево, кто бросил на куст. И, будто жеребцы, орут от дурной игры: солдата бьют по ладошкам, сложенным за ухом, а потом с хохотом выставляют большой палец узнай, кто ударил!

Сволочи полицаи как в собственном амбаре шуруют. Из-за них и голод и несчастья.

У нас пулемет, два автомата, гранаты. Так неужели уйдем так запросто и позволим грабить?! Нет, шалишь!

«Петро и Арслан! А ну к полицаям! Они ваши!»

А сам с Николаем Братчиковым подполз к немцам. Николая знаешь — вернее человека не сыщешь! Немцам не до нас, поднимись перед ними во весь рост за полицая посчитают. Позицию нашел — верняк! Выбрал подходящий момент и бабахнул гранату прямо в гущу солдат. Братчиков очередью махнул. Еще и еще по разу. Перебили всех до одного. А за спиной Арслан — молодой проводник с Петром Ларионовым полицаев добивали. Постреляли всех, ни один не ушел. А было их много, только считать не стали, а скорее начали следы прятать… Сами напугались — до того много перестукали в упор. Страшно сказать! Ночами и сейчас снится.

Рота не рота, а до взвода врага на партизанской базе все же легло.

Резонанс был потрясающий. Берлин пригнал сюда собственного уполномоченного некоего майора Генберга. Именно с этого случая и всплыло имя кровавого карателя. Говорят так: прибыл майор на место происшествия, долго смотрел на труп молодого лейтенанта, уложенного томенковской гранатой, а когда поднял глаза, староста деревни Скеля и начальник Байдарской полиции — они сопровождали Генберга — от страха попятились.

Каратели хватали всех, кто попадал под руку; на машинах подвозили захваченных на то самое место, где еще лежали трупы солдат и полицаев.

Генберг согнал старост, полицейских начальников, жандармов, старейшин из татарского «Мусульманского комитета» и на глазах всей этой своры расстрелял двести пятьдесят человек, взятых на облавах, — расстрелял без следствия и суда.

«Вандерер» носился по проселочным дорогам, дрожали начальники полиции и старосты. За неделю сменили офицеров карательных подразделений, всех их бросили под Севастополь, на

линию фронта.

Вообще Генберг оказался врагом серьезным. Он сразу же организовал четкое патрулирование дорог; имея неограниченные права, перекроил местные оккупационные власти, выдвинув на посты старост и начальников полиции тех, у кого руки были запятнаны кровью.

Новые пропуска для граждан, полный запрет новых передвижений.

Прибыли специальные подразделения егерей, прошедших обучение в Австрийских Альпах. Они стали располагаться в населенных пунктах, окружающих леса Чайного домика.

Все эти чрезвычайные меры, конечно, давали свои результаты. Любая попытка вырваться из леса на дороги кончалась полным провалом. Даже на самых крутых и глухих тропах, по которым могли пройти только опытные ходоки, стояли егерские секреты, они без предупреждения расстреливали будь то мужчина или женщина, старик или ребенок, партизан или мирный человек, покинувший крышу для сбора лесного сушняка.

Впечатление от дерзкого похода Томенко было двояким. Продукты, которые он доставил, всех, конечно, обрадовали, но расправа, которую учинили враги на партизанской базе над невинными, била по сердцу. Начштаба Иваненко кричал на Михаила Федоровича:

— Кто вам давал право на такую операцию?! Важно не то, что совершил, а то, как аукнулось на нашей шкуре! Посадил нас в капкан!

Красников помалкивал, приказал Томенко уйти в группу и нести свою службу, не ругал и не хвалил. Для Михаила Томенко это было хуже ругани.

Один лишь Верзулов поддержал:

— Все, Миша, правильно! Хоть круть, хоть верть, а Генберг пришел бы сюда. Уж к тому шло.

18

Январь бушевал. Посмотрите в зимний день с теплого и ласкового ялтинского берега на высокие горы, амфитеатром падающие к морю. Вы увидите грозные тучи над снежными крутовертями, которые никогда не стоят на месте, а будто в кипящем котле бушуют, сталкиваются, отскакивают друг от друга. От одного взгляда на зимние горы зябко станет. А как же мы, партизаны, тогда, голодные и холодные, без крыши над головой, ночью под вой ветра? Как же?

Ну, понятно в Белоруссии: бескрайние леса, болота, глухомань… Или там на просторах Украины, где можно совершать рейды; на Брянщине — с борами на сотни километров вдоль и вширь. Там понятно, а как тут, в Крыму, в горах, перебитых дорогами, окруженных городами, курортными поселками, деревнями? Как же мы жили?

Мне часто задают такие вопросы.

И я добавляю: думая об этом, не забывайте немецкую армию с боевым опытом, современным вооружением, сытую и тепло одетую, с офицерами, которым не откажешь в храбрости и силе воли. Она, эта армия, ломала себе голову: как уничтожить тысячу-другую фанатиков — а нас они так и называли, которых никакими силами из гор не выкуришь, не выманишь ни голодной блокадой, ни щедрыми посулами. Тот же немецкий комендант Ялты Биттер, убитый мастером часовых дел Кулиничем, Францию, Грецию, Италию, Югославию все прошел и везде выходил сухим из воды. Как говорят, из Рима в Крым прибыл. Уж чего-чего, а покой на южнобережных курортах обещал, утверждал уверенно: будут в этих великолепных дворцах лечить свои раны немецкие офицеры.

— Партизаны вам позволят жить на этом курорте? — спросили как-то у самоуверенного коменданта.

— Зима их спустит на берег. Они люди!

Прогноз подвел Биттера. Сложил он свои дородные кости над ущельем Уч-Кош.

Генберг знал судьбу Биттера, он не хвастался, корреспондентов близко к себе не подпускал. Фашистский каратель уделял внимание мелочам. Он действовал по правилу: сумма малых дает большое.

…В отрядах кончались продукты, доставленные Томенко. С утра дотемна падал снег, а ночью небо открывалось, и наваливался жгучий полярный мороз. Леденела душа.

Не выдерживали нервы, не выдерживало все существо твое. Давила неизвестность, тишина, — все это пострашнее лобовых атак.

Севастополь молчал.

Порой прятались в пещерах. Тут было теплее, хотя и страшнее. Монотонное шипение горящего телефонного кабеля — вместо свеч — выводило из равновесия.

Генберг может взорвать выход. Тогда нет никому спасения.

Но об этом только думали, вслух не говорили.

Один Иваненко чувствовал себя в сырой пещере, как в родной стихии. Красников видел его согнутую овальную спину. Начштаба был похож на алхимика в подполье.

Но сей «алхимик» умел сопротивляться. Он — против выхода разведчиков из района леса; доказывал: это равно гибели, Генберг только того и ждет.

Тактика была немудрой: вот проявим еще выдержку, спадут морозы, потеплеет, тропы освободятся от снега — тогда можно и рискнуть. Мол, Крым не Колыма, не всю жизнь зима.

Но безделье — панцирь, в котором задыхается все, что способно жить, бороться. Это смерть.

Красников, несмотря на слова начштаба, морозы, голод и холод, все-таки решил найти отдушину в генбергской блокаде и послать людей на разведку. Как ни прикидывай, но снова надо прощупать дорогу на Кожаевскую дачу. Там есть секретные ямы с продуктами, о которых не знал даже Ибраимов.

Надо послать Томенко. Он человек обстоятельный, всеми корнями сын земли, которую защищает. Предки его поселились в Крыму после присоединения полуострова к России, это было еще в конце восемнадцатого столетия. Конечно, не по своей охоте: кто из крестьян покидал родную крышу по своей воле?

Прадед машиниста Томенко строил Севастополь, а вот у деда крестьянская кровь взяла верх: он не любил городского шума, добился вольной жизни и поселился в предгорном селе Русский Бодрак, где и укоренялись такие же вольные люди, как он сам. Крестьянина потомственного всегда тянет к земле, на ней жизнь ему понятнее. И дед и отец, Федор Христофорович Томенко, немало земли переворочали штыковой лопатой — извечным орудием местных землеробов. Зато сад какой! Даже в 1966 году можно было увидеть яблоню, посаженную дедом Томенко. Я видел ее.

Только сам Михаил Томенко пошел по другому пути. Он был сыном двадцатого века и с детства бредил паровозами, машинами. Михаил вылетел из родного гнезда. Рабфак, а потом к Верзулову — в ученики. И привязался к локомотиву на всю жизнь. Изредка показывался в Русском Бодраке. Батя ждал: когда же городом насытится родной сын? Потом понял — отрезанный ломоть.

Обо всем этом говорили с глазу на глаз- Красников и Томенко. Красников тоже не из барских покоев. Отец и дед строили корабли, да и сам он смысл жизни начинал познавать с рабочим молотком в руках.

Машинист Томенко и бывший рабочий судостроительного завода хорошо понимали друг друга. Они понимали, почему так неожиданно возник разговор о том, кто какое место занимал на земле.

Красников хотел одного: выход Томенко не должен

закончиться бедой. Дойди до баз, прощупай их и вернись с доброй вестью: продукты есть, и их можно взять!

— Сам ничего не трогай! Ты понял? Иди бесшумно. Никаких встреч с врагом, ни единого выстрела. Чтобы птица не видела тебя!

— Я все сделаю, Владимир Васильевич!

— Учти: Генберг знает, что мы в лесу, но не знает, где точно. Нашумишь — погубишь всех.

Ушел Михаил Федорович и даже на спине чувствовал недоверчивый взгляд начштаба Иваненко.

Вел его, как всегда, незаменимый Арслан.

Наст твердый, ветки в белых чехлах — ворсистые. Ярко — аж глаза болят.

Томенко молчалив: разбередил душу разговор о стариках. Не так давно пересекал яйлу и с горы Демир-Капу разглядел родное село. Сердце защемило. Как они там, мать с отцом? Ведь уговаривал: «Нельзя оставаться, батя!» Кряхтел-кряхтел старик, а потом сказал: «Один раз помирать, сынок. Не приставай — тут останусь». Слово у него — кремень, тут ничего не поделаешь.

Третий месяц о стариках ни слуху ни духу, да и расспрашивать опасно. Узнают, что сын партизанит, — с корнем из земли вырвут.

Морозно, но ребята бодрые. От простора, что ли, дышится. Нельзя застаиваться, а мы застоялись. Сам Владимир Васильевич будто потерял живую нить, за которую все время цеплялся. Да и человека рядом нет. Василенко, комиссар, держал бы командира на подхвате. У него были сильные руки.

Арслан — как норовистый конь, застоявшийся в пульмановском вагоне. Худой до страха, руки болтаются, а в глазах все-таки искорки.

Ведет хорошо — открытую книгу читает. Чу! Остановился, ушки на макушке. Прошептал, улыбаясь: «Олень». И был прав: в густом кизильнике скользнула тень, кончики острых рогов проплыли над ветками.

Все время ели подмороженные ягоды терпкого шиповника. Вязко во рту.

Шагалось легко, и не чувствовали никакой опасности. Вдали покрикивают сойки, но лениво, — значит, покой вокруг и ни души.

Лесная просека — конца не видно, повсюду первозданная снежная целина.

Томенко знает места. Вот пройти до конца просеки, потом взять крутой подъем, а за ним будут видны развалины Кожаевской дачи, а там еще километр — и базы.

Все время вспоминался разговор с командиром, его наказ: «Запрещаю!» «Может, все с перепугу, а? — думал Михаил Федорович. — Проще надо: всех на ноги — марш на базу! Рисковать надо, узлы рубать одним махом, как мы, машинисты, берем крутизну. Главное, нигде не останавливаться, не терять силу разгона. А наш командир где-то уронил эту силу».

Вдруг — бах! бах! бах! Томенко от неожиданности присел.

Крик, еще выстрелы! Откуда-то взялись лошади, сани, бегущие румыны в желтых шинелях и белых папахах. Очереди из автоматов…

Действовали механически.

Шел себе обоз и не подозревал о том, что параллельно следуют партизаны. На перекрестке столкнулись.

И вся беда в Арслане. Он шагал впереди всех. Имея строжайший приказ не обнаруживать себя, нарушил его. Совершенно неожиданно увидел на передних санях рядом с румыном известного ему человека в черной мерлушковой папахе. Когда встретились с ним взглядом, тот выпрыгнул на снег и побежал, но Арслан бабахнул в него с ходу.

Человек — односельчанин, а теперь немецкий холуй, предавший семью Арслана. Она была зверски истреблена, в казни участвовал и этот предатель.

Только теперь Томенко понял, насколько тишина была обманчивой. Генберг знал свое дело. Началось с выстрела Арслана, а чем кончится?

Ожили лес, горы, вздыбились долины. Одиночный выстрел партизана был похож на включение безобидного на вид рычажка, который приводит в движение стотонные машины.

Затаившаяся силища вдруг заявила о себе от переднего края до самого Чайного домика.

Трое суток Томенко, подавленный тем, что нарушил строжайший приказ Красникова, лавировал в лабиринте с десятью неизвестными направлениями. Он шел к Чайному домику, как на эшафот. Не надо было быть особенно наблюдательным человеком, чтобы понять: выстрел Арслана наверняка аукнулся на отрядах. Каратели напали на Красникова, и один только бог знает, что с ними там произошло: кто жив остался, а кто мертв.

Чайный домик! Пещера, в которой порой отогревались. Вход в нее взорван.

Неужели случилось самое страшное?

Наступали минуты, когда человеку уже все равно — дышать или не дышать. Уткнулись под подпорную стену, спиной друг к другу, и молчали. Долго молчали.

И все-таки продолжали дышать, хотя в душе была одна лишь пустота.

И все-таки что-то подняло Михаила Федоровича на ноги, заставило осмотреться.

Он нашел убитую лошадь. Была не была: разделал ее и накормил партизан мясом.

Ничего, прошло. Так и не поняли, когда эта лошадь была убита. Зима в горах — холодильник.

Пища дала тепло, а тепло погнало в венах кровь быстрее. Повеселели малость, спокойнее обдумали создавшееся положение.

Пещера взорвана — это ясно, но ясно и другое: она была пустой; раскидали породу, проникли под землю, никаких трупов не обнаружили.

Значит, Красников вовремя убрал партизан. Но куда?

— Арслан, у тебя чертовский нюх, прикидывай, где наши!

Но Арслан сидит на снегу с убитым видом. Он знает, какой конец его ждет. Выстрела ему не простят.

Томенко понимает состояние проводника, боевого товарища. «Сколько с ним троп пройдено, в засадах перележано, у костров пересижено! Бог его знает, как бы я поступил, увидев человека, предавшего моих стариков? Тут заранее не решишь».

Прикидывал, размышлял: надо спасать товарища… Всю, абсолютно всю вину взять на себя, а там видно будет.

Красникова нашли на пятачке Орлиного Залета. Он как раз выстраивал партизан, чтобы снова вернуться на Чайный домик, где можно найти какую-то защиту от мороза.

Увидев Томенко, побагровел:

— Докладывай!

Командир кричал, ругался, сперва разоружил всех разведчиков, а потом оставил под арестом одного Томенко.

Никогда от Красникова не слышали грубого слова, а на этот раз он разошелся, как наипоследний биндюжник. Это было похоже на отчаяние.

Томенко вели под охраной, начштаба Иваненко крепко следил за ним.

19

Я уже говорил: к нам прислали комиссара — Захара Амелинова.

Не пойму, что за человек. Он похож на обрусевшего цыгана: брови как сажа, а глаза серо-синие, кожа на лице смугла, а залысины бледные, уши с большими раковинами и растопырены, но зато нос прямо-таки классически славянский, с широкими ноздрями.

Носит краги — единственный человек в лесу в крагах, толстых-претолстых. Я с завистью смотрю на них, прикидываю: сколько подметок можно накроить? Но, оказывается, краги сделаны не из цельного материала, они трехслойные, годятся разве на подзадники.

Ботинки у него скороходовские, даже щеголеватые на вид, почему-то не изнашиваются.

В походах Амелинов трехжильный. Засыпает мгновенно, отчаянно храпит.

Странный человек!

Вот умылся ледяной водой, на ходу взял охапку дров, свалил у печки, рядом с Фросей, нашей поварихой, с напевом сказал:

— Утро доброе, утро ласковое… — А потом неожиданно как гаркнет: Громадянский привет трудовой женщине! Как жизнь молодая?

— А как вы, товарищ комиссар?

— Жив-здоров, без хороших портков, чего и вам не желаю. — Резкий амелиновский смех, а острые глаза мигом обшаривают: не дымно ли топится очаг, есть ли в ведре вода, достаточно ли чист передник у поварихи. Комиссар любит порядок, сам выбрит и вымыт. Он не терпит разбросанности, категоричен в своих суждениях. Но все эти качества прикрыты мало что значащим балагурством, от которого порой даже тошнит. Вот и сейчас спрашивает с подъемчиком:

— Фросенька-душенька, чай будет с церемонией или без оной?

— Вчера еще кончился сахар. Три кусочка было.

Комиссар трезво и требовательно:

— Я понимаю: раненых надо жалеть, но это не дает права нарушать мой приказ.

Фрося виновато мнет передник.

Амелинов любит секретный разговор. Останемся в штабной землянке четверо: командир, комиссар, я, разведчик Иван

Витенко — бледнолицый аккуратист, любящий говорить больше шепотком, Захар выйдет из землянки, глянет туда-сюда, вернется и скажет: «Можно деловой разговор начинать!»

Бортников злится:

— Да что мы, предателями окружены, что ли?

— А ваш горький опыт, Иван Максимович? Куда денешь коушанского предателя?

Старика будто трахают обухом по голове, он низко нагибает голову и молча сопит.

Бортников вообще стал замкнутым, я знаю: он написал личное письмо Алексею Васильевичу Мокроусову. Я приблизительно догадываюсь, о чем оно: просьба об отставке.

На письмо быстро откликнулись и прислали нового командира района человека в капитанской форме, с маленькими усиками, сероглазого, по-армейски четкого и на шаг и на слово, башковитого. Фамилия Киндинов, до этого был в штабе Мокроусова.

Киндинов мне понравился. Он рассмотрел систему охраны штаба и пункта связи, сразу понял ее слабости, коротко приказал, где заново поставить посты. Уже через день мне стало ясно, насколько надежнее стала наша караульная служба. Людей в ней занято было в два раза меньше, а эффект наблюдения повысился.

Киндинов — кадровый воин, участник испанских боев, предельно требовательный, суховат, больше любит положения армейского устава, чем наши партизанские, как он назвал, «стихийные выверты». Четкость, четкость, еще раз четкость — вот что он требовал от всех служб. А гармония этой четкости ломалась раз за разом и выводила Киндинова из себя. Он даже пытался создать собственную гауптвахту, но Амелинов сумел отговорить от этой затеи. Зато Амелинов согласился с предложением переселить из штабной землянки Ивана Максимовича в шалаш обслуживающего состава.

Я восстал решительно, заявил: «И я уйду с Бортниковым!» К счастью, Киндинов отменил свое решение, а Иван Максимович так и не узнал, какую обиду ему готовили.

Киндинов знакомился со мной, выслушал мою биографию, особенно подробно в той части, что касалась военной службы.

Я служил в основном в авиации, до военной школы около года провел в горах Дагестана, в горнострелковом полку, там из меня и сделали солдата. Чему-чему, а умению подчиняться научили, наверное, на всю жизнь. А я был нелегким материалом. Выросший без отца и будучи старшим сыном в семье, привык больше командовать братьями, чем слушать команду матери. Вытравляли из меня эту привычку не без помощи толстостенной

комнатушки с решетками на окне — гарнизонной гауптвахты, стоявшей на крутой скале с красивым названием «Кавалер-батарея». Жители Буйнакска знают ее. Оттуда вид «Кавказ подо мною…».

Говорят, что комнатушка эта сохранилась до сих пор и что в ней посиживают такие же молодые солдатики без ремней на гимнастерках, каким был в свое время и я. Во всяком случае, комнатушка на «Кавалер-батарее» — не самое страшное место на земле.

Буйнакск научил меня шагать в строю, петь песни, чувствовать локоть товарища. Наш старшина Хижняк частенько гонял нас — упорных — на гору Темир и кричал: «Запевай!» В конце концов мы все же запевали.

А потом, между прочим, исполнять приказ легче, чем отдавать его. Это я понял значительно позже.

Отряды нашего района — Акшеихский, Бахчисарайский, Красноармейский, Ялтинский — воюют, добывают трофейные продукты, правда в очень мизерном количестве, и уже давно живут впроголодь, отбиваются от карателей, лечат раненых, хоронят убитых, отличившихся принимают в партию, выпускают стенные газеты, охотятся за оленями. Одним словом, живут трудной горной жизнью. Гремит фронт на западе, и звуки его для нас как музыка. Да, да, именно музыка. Не дай бог затихнуть под Севастополем — борьба наша потеряет свою главную остроту. И станут перед нами такие проблемы, к решению которых, честно говоря, мы сейчас не готовы.

Каждый из нас просыпается; как локатор ловит отраженный радиолуч, ловит звуки, идущие из-под стен города, где живут и действуют приморцы защитники морской крепости. Каждый из нас произносит как молитву: «Живи, Севастополь!»

Молчит только один отряд, самый далекий от нас и самый близкий к Севастополю, — Акмечетский.

Киндинов посылает туда меня и комиссара.

Итак, новый марш по студеной и снежной яйле. Мы ползем по пояс в снегу, крутой бок Демир-Капу мучает нас который уж километр! Амелинов тянет как добрая лошадка, только пар идет от его широких ноздрей, но зато мне каково?

Муки мученические претерпел, пока добрался до одинокой кошары с заброшенной сыроварней посередине.

Только комиссарский чаек с «церемонией» привел меня в чувство.

Взлохмаченное солнце щурится из-за гор, бросая на снежную целину бледные лучи. Ничего живого вокруг, одна оледенелая тишина.

Шагать трудно, нудно. Глянешь вперед — вроде равнина, думаешь: наконец-то!

А идешь меж хребтинок — вниз, вверх, снова вниз. Не только тело, но и душа изматывается.

Выручает один бесхитростный приемник: поищу точечку, за которую можно взглядом зацепиться, прикину: сколько до нее шагов-то?

Вот и считаю: шаг, другой, третий… и так до самой точечки. Глянь, и не ошибся. Может, потому я и сейчас почти точно определяю расстояние до любой видимой точки, только на море ошибаюсь — тут свой глазомер.

Перед вечером начали спуск к Чайному домику. Переход был изнурительный. И перемерзли.

Теперь дорога удобно бежит между могучими дубами, которые сторожко стоят по сторонам заслоном ветру и смерчу. Все вокруг спокойно, только на западе под Севастополем что-то поурчивает и хрипло охает, покрываясь татакающим языком пулеметов. То фронт, то свое, и нас сейчас некасаемо. Нам чтобы рядом пули не пели. Устали до того, что одним окриком можно с ног свалить.

И вдруг этот окрик:

— Положить оружие, лечь на землю!

Амелинов довольно спокойно:

— А, стреляй, коль хочешь. — Сам, правда, стал белым, а стоит на месте.

Из-за дерева вышел рыжеватый человек в кожаной обгорелой куртке, небритый, с отечной синевой под глазами.

— Кто такие? — автомат в мою грудь.

Я приказал:

— Убери, слышь!

Попятился назад, но автомат на меня.

Представились, спросили:

— Вы севастопольцы?

— Положим.

— Мы знаем Красникова, а он нас. Пошли человека, пусть доложит.

Ждали долго, пока наконец повели нас по поляне к полуразбитому сараю с перекошенными дверями. Показалась в стороне вооруженная группа. Впереди человек в железнодорожной форме, без поясного ремня и шапки — Томенко! Я сразу узнал его. За ним автоматчики, а потом следовал Иваненко. Он меня не узнал, а может, и не хотел узнавать. Плечи его еще больше сузились, глаза провалились, и губы — нитки синевы. Посмотрел на меня:

— Кто такие?

Представились более подробно.

Иваненко выслушал, извинился:

— На минутку.

К Амелинову подскочил рыжий партизан в обгорелой куртке, успел шепнуть:

— Шлепнуть хорошего человека хотят. Выручайте!

Имя Захара Амелинова больше было известно как специального уполномоченного командующего. Наверное, знал его и Иваненко.

Амелинов подошел к нему:

— Товарищ начштаба, я прошу вас отойти в сторонку.

Иваненко замешкался, но взгляд Захара Амелинова был чрезвычайно твердым: требовал безотлагательного подчинения.

— Обращаюсь к вам как специальный представитель командующего! Куда ведете машиниста товарища Томенко?

Иваненко насторожился: откуда нам известно о Томенко? Но все же ответил.

Итак, партизана Михаила Томенко собираются судить. Но чем-то не похож он на человека, умышленно нарушившего командирский приказ. Это нам не объясняли, но мы чувствовали, что именно так. Да и не случайно нам сказано: «Шлепнуть хотят!»

Амелинов просит настойчиво:

— Отложите суд до прибытия товарища Красникова.

— Томенко арестован по его личному приказу.

— И все же я требую! — Голос Захара — металл.

— Есть! — подчинился начштаба и ушел распорядиться.

Амелинов недоумевал:

— Непонятный человек!

— Обыкновенный пунктуалист, — подсказал я.

— Тут сложнее.

Красников был на Кара-Даге — у балаклавцев. Узнаю его и не узнаю. Это совсем не тот человек, кто поучал нас, бывших массандровцев, как командовать землей, кто считался передовым директором совхоза.

И вроде аккуратен, выбрит, подтянут, но все же не тот, кого я видел в последний раз на Атлаусе. Сразу видно — устал, до нестерпимости устал. Так глядят сердечные больные перед очередным тяжелым приступом. Их глаза как бы обволакиваются тончайшей кисеей.

Принял нас Красников по-братски, но был вял и совсем неразговорчив.

Амелинов- сразу признался, что превысил свои полномочия и вынужден был вмешаться в дела района, в частности в действия

начальника штаба.

Красников ответил:

— Томенко — человек боевой, но он нарушил строгий приказ.

Мы расспросили, где находится Акмечетский отряд; нам ответили, но холодновато.

— У вашего Калашникова кулацкий дух. Он на чужом горбу в рай едет, бросил обвинение Красников.

Тут я увидел Захара Амелинова в новом качестве и абсолютно поверил, что он не зря был первым секретарем райкома партии.

С большой выдержкой сказал:

— Владимир Васильевич! Мы постараемся разобраться.

Такая форма ответа на довольно резкую оценку действий Калашникова удивила Красникова и смягчила его.

— Нельзя оплетать собственный лагерь проволокой с навешенными на ней пустыми консервными банками, нельзя отказывать товарищу в беде, — совсем мирным тоном заметил Красников.

— А были случаи?

— Да! Отказал принять раненых, а у нас выхода не было.

— Факт подтвердится — накажем…

— Да я не к тому, я хочу, чтобы мы локтем чувствовали друг друга.

Амелинов выбрал момент и шепнул мне:

— Нам надо остаться.

Переночевали в закуточке сарая, заделанного хворостом. Было мучительно холодно и неудобно. Вспоминался Кривошта, ялтинские партизаны и ночь в кошаре. Следовало бы и здесь поступить так, но в чужой монастырь со своим уставом не лезут.

Какая-то внутренняя скованность и вялость чувствовалась у Красникова. Неужели это он так классически действовал во втором эшелоне фронта, где тылы вражеских дивизий?

А вся обстановка?

Она совсем иная, чем в нашем штабе, в наших отрядах. И у нас базы пограблены еще в ноябре, и мы мерзли — морозы у нас даже пожестче, и на нас нападали каратели, и мы хоронили боевых товарищей. И все-таки жили, даже в самые отчаянные минуты находили живое слово. На что уж наш Киндинов строг, но и он в хорошую минуту, бывало, спросит: «Куда наша «церемония» поцеремонила?» Это он об Амелинове. Меня, например, называли пророком, посмеивались над тем, как однажды я оленя-самца принял за лазутчика и пальнул из пистолета, а попал в старый дуб. Я забывал об этом факте, иногда

хвастался умением отлично стрелять, но меня слушали и шутливо поддевали: «А кто попал пальцем в небо!»

Все это никого не обижало.

Здесь же вообще шутки немыслимы, а жаль.

Утром мы умылись с особенной тщательностью — так у нас заведено, — и на нас посматривали как на людей с того света.

Завтрак начался с того, что мы вывалили содержимое наших вещевых мешков в общую кучу. Оно не ахти какое, но килограмма два вареной конины было.

Иваненко жевал как-то украдкой, будто боялся окрика, Красников ел молча. Он ко всему еще был тяжело простужен, белки глаз в красных прожилках. Встретишь такого на улице и непременно подумаешь: болен, сильно болен.

После завтрака нас повели к партизанам-железнодорожникам, боевым друзьям Томенко, познакомили с их командиром — Федором Тимофеевичем Верзуловым.

Он худ, но широкоплеч, с твердой постановкой серых глаз. Человек с собственной жилочкой. Понравился и тем, что был рад нам, извинился за скудность угощения (а нам все-таки выставил тонкие кусочки конины), и тем, как слушал наш рассказ о действиях крымских партизан.

Амелинов с этого и начал. Честно признаюсь: поначалу слушали обычно, как слушают всегда, когда говорящий вспоминает: где-то рядом не так, как здесь, а намного лучше. Назидания люди не любят.

Захар был прост, но не простоват. Его простота была той самой, за которой стоят большие дела. Он как-то сразу расширил границу Севастопольского партизанского района, как бы поднял слушателей на самую высокую точку Крыма — Роман-Кош, и сказал: «Смотрите, сколько в лесах нашего брата, и вот какие дела мы творим. Партизан из отряда Чуба под Судаком свалил в кювет машину врага. Можно считать его бойцом за Севастополь? Конечно!»

— Двадцать пять отрядов защищают Севастополь, — говорит комиссар. — Но ваши отряды — правофланговые. А на правом фланге не всем устоять, а вы стоите три месяца, и мы снимаем перед вами свои шапки, мы учимся воевать у вас. Учат нас ваши рейды во втором эшелоне, ваша победа над карательной экспедицией…

Даже Красников не мог остаться равнодушным к таким словам — я исподволь наблюдал за выражением его лица. Он был взволнован, посмотрел на партизан, на самого себя как бы со стороны.

Иногда очень полезно послушать со стороны оценку

собственным действиям, конечно объективную, честную.

Рассказ как-то расшевелил всех, вызвал взаимную откровенность.

И хотел того Красников или нет, но ему пришлось услышать слова Николая Братчикова, самого смирного человека среди партизан-железнодорожников:

— А мы сейчас как потерянные. Жить не хочется!

Кто-то вспомнил о Томенко, о том, что он настоящий человек, смелый, а вот его собираются чуть ли не расстрелять. И за что? За то, что он спасает своего проводника, который убил предателя и поднял шум на весь лес.

Красников только тут узнает правду о походе своих разведчиков. Он при всех допрашивает Арслана и дает приказ немедленно освободить Михаила Томенко.

Мы прощаемся с севастопольскими партизанами.

Красников провожает нас, говорит:

— Не забывайте.

Мне почему-то грустно: всех, кого я увидел на Чайном домике, где-то в душе я считаю сейчас на время оторванными от основного партизанского организма. И самый лучший выход из положения — слить их с нами, для чего отряды Красникова без промедления перебросить в заповедные леса.

Амелинов со мной согласен, обещает написать специальную докладную на имя командующего Алексея Мокроусова.

20

Мы вернулись на свое трехречье. Амелинов послал рапорт в Центральный штаб. Последствия были неожиданными.

Партизанская связь! Ах, если бы она была пооперативнее!

Связь от Центрального штаба до Чайного домика ползла со скоростью арбы в воловьей упряжке.

С этой связью в Пятый район шел новый комиссар — Виктор Никитович Домнин; он шел очень и очень медленно.

И всему виной яйлинский буран. Каждый километр брался штурмом, а когда этот штурм не удавался, то единственное спасение — карстовая пещера. Но ее надо голыми руками очистить от залежалого снега.

Пятеро суток в пути! А эти дни, по существу, решили судьбу многих и многих людей из Севастопольского и Балаклавского отрядов.

Успел бы комиссар — все могло принять другой оборот, наверняка другой.

Но он не успел.

…Над Севастопольским районом продолжал висеть нерешенный вопрос: как быть дальше, где держать отряды?

Иваненко продолжал гнуть свою линию: настаивал на полной ликвидации района, на отходе в Севастополь. Он рассуждал: «В заповедные леса идти? А зачем? Разве нас ждут там целехонькие базы? Или партизаны тех отрядов, что живут там, по горло сыты? И там голод!»

Командир Севастопольского отряда Константин Трофимович Пидворко заявлял:

— Правильно думает начштаба! Все, что могли сделать, сделали. А теперь — шабаш! Севастополь от нас не откажется. Мы еще покажем себя!

Пидворко — авторитет: смел, с партизанами добр, но без панибратства. Он постоянно утверждал: пробьемся в Севастополь, голову на отсечение даю будем там! На линии обороны мы принесем пользы куда больше, чем здесь, в лесу, где бегаем как зайцы или отсиживаемся словно в гробу.

Ему казалось, что «бегаем», но сам он никогда не бегал и умел смотреть смерти в лицо. Пидворковские засады известны, о них передавало Совинформбюро.

Красников чего-то ждал, скорее всего решительного слова от самого Мокроусова. Это слово уже шло, но на его пути стал зимний буран.

На человека по-разному действуют равные по значимости обстоятельства; убедительнее те, что под руками. Их видишь, ощущаешь, они давят не только на мысли, но и на чувства. Ты видишь, как с каждым часом слабеют люди. И тебе больно, на тебя смотрят, от тебя ждут последнего слова.

И Красников поддается всему этому и принимает решение. Он начинает с того, что переформировывает район. Балаклавский отряд не трогает — он никогда не приближал его к себе, и там были свои беды, своя драма, не менее трудная, чем собственная.

Из сильного Севастопольского отряда командир формирует три самостоятельные боевые группы, в каждой — командир, комиссар, по сорок пятьдесят партизан. Была еще группа штаба района — около пятидесяти человек.

Командирами групп были назначены Пидворко, Томенко, Верзулов.

Они получили четкий приказ: готовиться к большому маршу! Но куда?

По некоторым приметам — на запад, в Севастополь!

Вот эти приметы: отдали балаклавцам два станковых пулемета; поменяли противотанковые гранаты на пехотные;

котлы, палатки и другое имущество оставили при штабе.

Михаил Сергеевич Блинов — комиссар томенковской группы. Он, как и Михаил Федорович, из железнодорожников, бывший заместитель начальника Севастопольского вокзала. Дотошный: любит во всем порядок. Кое-кто в Севастополе помнит Блинова и до сих пор. Один из них как-то недавно сказал мне: «Как же, Михаил Сергеевич! Аккуратный был начальник! Увидит на путях соринку какую — бледнеет. Очень уж порядок любил!»

За день кончили формирование, еще день подождал Красников, а потом отдал приказ: трем боевым группам в составе 140 партизан выйти в район старых баз — Алсу, Атлаус. Старшим — Константин Пидворко, сопровождает начштаба Иваненко.

Это был шаг отчаяния, но тогда непосредственным исполнителям красниковского приказа он не казался таким.

Томенко размышлял так, точнее — сейчас размышляет:

— Надо было на что-то решаться. Ясного плана у Красникова не было. Одни думают так: Красников бросил людей на базы с тем, чтобы забрать продукты, какие есть там, а потом всем махнуть в заповедник; другие — ближе к истине: настроения Пидворко и Иваненко взяли верх, и Красников нацелил отряды на Севастополь.

Пидворко на седьмом небе, он возбужден; как метеор, появляется то там, то тут, энергия у него зажигательная: на ходу других воспламеняет.

Начался марш в никуда!

Шли быстро. Летучая разведка бежала впереди групп и докладывала утешительные вести: «Тихо. Карателей не обнаружены. На дорогах обычное движение».

Но эти вести принимались по-разному. Для Пидворко — как укол морфия при почечном приступе: сразу приходит блаженно-кроткое состояние; для Томенко и его комиссара Блинова — как неожиданный провал дороги, развернувшаяся на глазах бездна, куда и заглянуть страшно.

И еще: Михаил Федорович не верил, что какая-нибудь база могла уцелеть. Как же она может уцелеть после того, что случилось: сколько немцев там перестукали!

Такое везение, чтобы и враг не видел марша трех партизанских групп, чтобы на базе были продукты и поджидали партизан, — практически невозможно.

Надо остановить этот безумный поход!

Бросился к Пидворко, отдышался:

— А не слишком ли тихо, Константин Тимофеевич?

— А что тебе — шума хочется?

— И все же! — настаивал Михаил Федорович.

— Фрицы нас не ждут! Нет человека, которого бы мы потеряли с той минуты, как был объявлен приказ Красникова. Значит, Генберг тут не зряч. Нагрянем на базы, подкрепимся и… — Пидворко посмотрел в глаза Томенко, но ничего такого, что располагало бы к полной откровенности, по-видимому, в них не прочел. — И будем действовать по обстоятельствам.

Базы… Те самые, которые «сушил» Томенко, те, возле которых он набил кучу карателей. И они целы?!

«Ловушка, да?» — вот первая мысль, которая встревожила каждого.

Решили так: основную массу оставить в районе Кожаевской дачи, а Верзулова послать за продуктами.

Так и поступили. Верзулов бросился к базам. В настороженной тишине, прерываемой редкими залпами немецкой батареи, стоявшей за пригорком, выставив тайную охрану, партизаны срочно и до отказа нагружались продуктами.

Они доставили их товарищам.

В эту ночь и надо было уходить. Но не ушли, решили все же подкрепить себя поосновательнее.

Расчет — через двое суток покинуть главную базу. Самое важное: не потерять ни единого человека, не дать врагу даже случайного «языка».

Надо понять состояние людей: после голодных дней проделали нервный марш.

А тут еды вволю. Разрешили по сто граммов спирта. Всех разморило.

Томенко вспоминает:

— И я, человек осторожный, ничего против большого привала не имел. Мы так устали!

Через два дня на рассвете с поста исчез партизан Иван Репейко. Как в воду канул — никакого следа.

Дезертировал?

Не было, кажется, никаких оснований для такого подозрения. Парень из железнодорожников, воевал, как все, как умел, был безотказен. И сушняк соберет, и землянку выроет, и на посту без ропота постоит, и голод по-мужски переносит…

Полчаса ушли на поиски пропавшего — никаких следов. Странно все же, человек — не иголка в стоге сена.

Томенко подошел к тому месту, где был пост. Ночной снег присыпал следы, но если быть поглазастее, то можно заметить небольшие углубления. Они явно вели от поста в сторону Атлауса.

Пошел по ним Томенко, метров через четыреста вынесло его к натоптанной тропе.

След человека — от поста на тропу. Сам ушел?

Томенко вдруг вспомнил сигнал, данный фашистской «раме». Постой, постой, а ведь и тогда исчезал Репейко! Правда, начальник разведки района Николай Коханчик — человек, подозрительно относящийся ко всем, кто по той или иной причине исчезал из отряда, — тогда дотошно допрашивал Репейко и ничего дурного в его поступке не обнаружил.

Прошляпил разведчик! И все прошляпили!

— Репейко предатель!

Пидворко не стал выяснять подробности.

— Тревога! — приказал поднять всех.

Но было поздно.

Сразу же затарахтели автоматы. Пули прямо-таки секли верхушки кизильника. Потом густо заработали пулеметы. Они знали, куда бить.

Ранило Пидворко, рядом с ним охнул начальник штаба группы Гуреенко.

Томенковская группа раскололась на две части. Большую увел политрук Блинов, а с Михаилом Федоровичем осталось несколько человек.

Цепь карателей прорвалась между томенковской и верзуловской землянками. Томенко с фланга атаковал ее, отбросил и залег за камнями.

Верзулов выскочил из-за пригорка, крикнул:

— В атаку! — Увидел Томенко. — Поднимай своих!

Но уже через секунду он плашмя упал на снег.

— Миша, я готов!

— Иду!

Но прийти к командиру, учителю, другу, с кем водил тяжелые составы по родной таврической степи, не успел.

Раньше его выскочили фашисты и штыками добили Федора Тимофеевича.

Томенко снял троих очередью, но в это время раздался рядом другой зовущий голос:

— Командир, меня убили!

Это проводник Арслан, Минный осколок разворотил ему живот.

Оттащил умирающего, шепнул:

— Прощай, друг!

Не было сил, не хотел подниматься, так бы и лежать, лежать. Пусть что будет, хуже не станет, куда уж хуже.

Кто-то схватил цепко за руку.

— Скорее! — Это был Братчиков. Он поднял Михаила Федоровича.

Бежали, ветки хлестали по лицам, кто-то на ходу пристал — Алексей Дергачев, свой, железнодорожник; потом кого-то сами чуть не силком подхватили: человек полубезумными глазами смотрел на все, что окружало его, и ничего не видел. Харьковчанин — так звали его в отряде. Томенко до сих пор помнит его. Все фотографию жены и двоих детишек показывал. И еще всем говорил: «Я с самого ХТЗ!»

Эти безумные глаза напугали Михаила Федоровича больше, чем свист пуль, которые вихрем носились повсюду.

— Вон немцы! — Братчиков показал на бугорок. Там стояла кучка фашистов.

Кинулись влево — обрыв! Первым прыгнул Томенко. Катился, не помня как, очнулся от удара в бок: харьковчанин плюхнулся на него. Братчиков и Дергачев не отстали, но оказались немного левее.

Сверху ударили очередями, но не доставали — скрывал уступ. Можно было переждать в этой «мертвой» зоне, однако каратели нашли спуск — они знали тропы получше партизан.

Пришлось снова бежать. Завернули за уступ и наткнулись на убитых фашистов.

— Взять автоматы и гранаты! — приказал Томенко. Он становился более хладнокровным; перенасытясь всем, что было с ним сегодня, понял: бежать бесполезно.

Мелькнули тени карателей. Харьковчанин было рванулся, но Томенко силой остановил его:

— Стой!

Спрятались за деревья, стали поджидать преследователей. Увидели их полоснули струйками свинца. Перебрались через речку, вышли на острую кромку каменистого хребта. Вилась барсучья тропка, но она быстро оборвалась перед известняковой пещерой. Вход в нее был, а выхода запасного не было.

Отступать некуда — тропку пересекли немцы. Они внимательно огляделись и поняли: партизаны в ловушке.

Вот и все, крышка захлопнулась.

— Что ж, будем устраиваться поосновательнее, — почти по-домашнему сказал Томенко.

Никто не спешил к развязке — ни те, что были внизу, ни те, кому, может быть, остались считанные минуты жизни.

Занимали боевые места. Все улеглось, наступало время, когда человек начинает примиряться с чем-то неизбежным. Ясно было: или продержаться до вечера, или никакого вечера не будет.

Каратели перестали перекликаться, наступили секунды, как бы повисшие над пропастью.

Залп!

Сотни пуль впились в известняк — взвихрилась желтая пыль. Еще и еще залпы…

Минут двадцать кромсали вход пулеметным и автоматным огнем.

Лицо харьковчанина стало белее камня.

Затихло.

— Сейчас пойдут, — шепнул Томенко.

Боковой ветер тут же рассеял синий пороховой дым над хребтиной: по кромке осторожно ползли каратели — около взвода.

— Тихо, — сдерживал Томенко.

Он был абсолютно спокоен и знал, что делать. Все похоже было на то, как он однажды в ледяную стужу вел тяжеловесный состав на Джанкой. Перед ним лежал крутой подъем. Он знал только одно: останавливаться нельзя. Скорость, скорость… Ему, знавшему свой паровоз, как крестьянин знает собственную лошадь, не надо было смотреть на стрелку манометра. Дыхание паровоза говорило больше, чем все приборы, вместе взятые. Он находился в том состоянии, в котором бывает летчик и его самолет в минуты критического напряжения — в слитном. И он верил: подъем будет взят!

Но человек никогда не может всего предвидеть: на одном из переездов он напоролся на стадо овец, — что может быть хуже для машиниста, ведущего состав на подъем!

Надо остановиться — так требовали правила. Нарушишь это требование покаешься. Ему как человеку было выгодно следовать букве инструкции. Никто его не осудит, скажут — случай помешал.

Но те, кто сопротивлялся, не верил в обещания молодого машиниста, скажут другое: нельзя водить такие тяжеловесные составы.

Томенко состава не остановил, не тормознул даже, он только давал тревожные гудки для пастухов, если они были там, где кружилось стадо.

Побил немало овец, лишился надбавок, премий, его прорабатывали при всех возможных случаях, даже пересадили на маневренный паровоз, но все-таки было то высшее, во имя чего он вполне сознательно шел на отчаянный риск: «Томенко состав до Джанкоя довел!»

И через годы составы, подобные томенковскому, шли по этой дороге, и все считалось в норме. Главное: хоть одному перейти черту невозможного, и оно станет возможным, обыденным.

Томенко, рассказывая мне об одном критическом дне своей жизни слишком много их у него было! — почему-то вспомнил

именно о первом своем тяжеловесном составе. А тогда не думал об этом, тогда глаза его видели острую кромку хребта, по которому хотят подняться фашисты; видел и тех, кто был рядом.

Братчиков и Дергачев держали себя в руках, но с харьковчанином творилось что-то неладное: тот почему-то был уже оголен до пояса.

Однако выяснить времени не было, немцы были в двадцати шагах.

— Давай! — скомандовал Томенко и очень расчетливо чиркнул длинной очередью из одного конца тропки в другой. Точно стреляли и его товарищи.

Цепь поспешно отступила.

Затихло, но чувствовали: только на время.

Каждая минута длиною в год!

Худо и непонятно было с харьковчанином. Он держал в руках фотографию и неожиданно запел.

Через двадцать минут атака возобновилась. Вход в спасительную пещеру стал совершенно неузнаваем: будто не лавиной свинца, а тесаком обрабатывали бока каменных выступов — до того они были ровно срезаны.

Харьковчанин стал разуваться, снимать брюки, кальсоны и все аккуратно складывал в тесный угол приплюснутой пещеры.

— А я буду купаться! Нельзя быть в грязном белье. Я буду купаться. Улыбаясь, стал протискиваться к выходу… — Не дурите, ребята! Неужели вам жаль шайки воды!..

Это было страшнее атаки.

…Начался пятый шквал: немцы на этот раз били прямой наводкой из полковой пушки, кромсали камень бронебойными из крупнокалиберного пулемета. Так подтесали вход в пещеру, словно камнерезом прошлись.

Немецким пушкарям изменял глазомер: они ни разу не сумели забросить снаряд прямо в отверстие пещеры, а все остальное ничего не значило, кроме, конечно, психической обработки.

— Атака!

Потемнело. Снизу по-русски крикнули:

— До завтра! А там на штык!

— Заткнись, холуй! — Томенко сочно выругался.

— Это ты, Миша?! — раздался голос Репейко.

Вот когда чуть не захлебнулся Томенко, чуть было не рванулся вниз. Братчиков и Дергачев схватили за плечи.

Фашисты долго шумели и в темное небо пуляли ракеты.

Уйдут или нет?

Только за полночь Томенко заметил: ракеты продолжают

падать на лес, но не с той стороны, с которой падали раньше.

Пригляделся — их швыряли из Атлауса, небольшого селения метрах в семистах — восьмистах от пещеры.

Неужели на отдых ушли? Вполне возможно. Да, да, не будут они торчать до утра, не такие! Нарочно продолжают обкладывать ракетами, берут на бога приемчик!

— Собираться!

Легко приказать, товарищи приросли к месту, оно теперь им кажется самым безопасным.

— Собираться! — Томенко силой начал расталкивать партизан.

Никак не могли одеть харьковчанина — так он ослаб.

Томенко светил карманным фонариком — не опасался, пусть видят, а Дергачев с Братчиковым возились с ослабевшим товарищем.

Но харьковчанин почти не подавал признаков жизни… Он конвульсивно дернулся и как будто сразу уменьшился.

Послушали сердце — оно не билось.

Сняли шапки, труп накрыли камнями.

Томенко рискнул спуститься почти по отвесной скале. Человек в опасности особенно зряч, ночью может пройти там, где не рискнет далее опытный скалолаз пройти днем.

Мы совсем недавно с Михаилом Федоровичем посетили ту самую пещеру, искали останки харьковчанина. Никаких следов, но зато вокруг было много свинца и разных осколков.

Время неузнаваемо меняет местность, даже горы перестают быть похожими на самих себя.

Просто невозможно понять, как удалось нашим товарищам спуститься в русло реки с высоты в полусотню метров по совершенно отвесной скале!

…Надо было искать своих, двигаться на Чайный домик: там Красников, туда придут те, кто вырвался из этого ада.

А многие ли вырвались? Ведь Пидворко стремился на Севастополь. Братчиков, например, утверждает, что лично услыхал команду Пидворко, когда подняли его на руки после ранения: «Пробиваться на Севастополь! Группами, поодиночке, на животе ползти!»

Значит, наши вот сейчас пробиваются туда, а знает ли об этом город?

Откуда ему знать? Надо кого-то послать в Севастополь. А лучше самому пойти. Да, да, он, Михаил Томенко, пройдет! Он самого черта вокруг пальца обведет, а своего добьется. После пещеры он всего добьется.

И вдруг рядом:

— Миша, пусти меня в город…

Это Дергачев, бывший проводник скорого поезда Севастополь — Москва.

Посмотрел на него со стороны: человек не в себе, худой как скелет, в глазах — муки мученические. Он старше Томенко на десять лет, слабее.

— Пройдешь? — спросил, проглатывая подкатившийся к горлу ком.

— Уж сделаю все, только позволь.

— Ладно. Ты обязан дойти! И скажи: наши пробиваются! Об этом скажи первому попавшемуся на твоей дороге нашему красному командиру. Иди и пройди!

Дергачев понимал, какую жертву приносил человек, которого он знал, но с которым никогда не был близок. Он вообще был далековат от тех, чьи фотографии висели на досках Почета.

Он обнял товарищей и исчез в тумане, который наседал с моря.

Дергачев прошел через линию фронта (правда, он не любит вспоминать об этом). Недавно мы встретились, я спросил Алексея Яковлевича:

— Как шел?

Ответил трудно:

— Все было, ладно уж.

Алексей Яковлевич жив и здоров, несмотря на преклонный возраст, работает на станции Севастополь на прежней, довоенной должности единственный из восьмидесяти двух партизан-железнодорожников вернувшийся туда, откуда уходил на войну.

Приказ Пидворко: «Пробиваться на Севастополь!» — практически остался только приказом. Мало, очень мало пробилось на Севастополь — считанные люди. Кто-то из них жив до сих пор?

Константин Трофимович Пидворко был смелым командиром и страстным человеком. Но, по тогдашним нашим понятиям, он нарушил партизанскую дисциплину и был строго осужден особым приказом Мокроусова.

Но суд был запоздалым.

Раненый Пидворко, Гуреенко, партизанка Галя, дорожный техник, фамилию которого никак не могу установить, попали в плен.

Сначала к ним отнеслись как к рядовым воинам, в силу различных обстоятельств оказавшимся в партизанском отряде, посчитали за военнопленных и поместили в общий лагерь, но потом предатель Илья Репейко опознал всех, и участь их была решена.

Пытали в Бахчисарайском дворце — в подвалах, мучили, терзали. Теперь известны кое-какие немецкие документы о гибели Пидворко.

Видавшие виды палачи-гестаповцы были потрясены стойкостью Константина Пидворко — человека мирной профессии: он был до войны директором завода шампанских вин. Они устали его мучить.

Партизан вывели на публичную казнь. Они по-солдатски встретили свой последний час.

День этот помнят старожилы.

Пидворко, Гуреенко, Галя шли медленно под эскортом немцев в черных шинелях. Партизаны ни на кого не смотрели. Пидворко щурил глаза; Галя то и дело откидывала спутанные волосы назад; Гуреенко тяжело хромал.

Ни дроби барабанов, ни громких команд, ни единого городского звука. По сторонам стояли старики в барашковых шапках и колючими зрачками искали глаза обреченных. Столетний старик в тулупе качал головой.

Казнь долго не начинали.

Майор Генберг стоял рядом с эшафотом и нервно посматривал на часы.

Наконец показалась черная машина. Она протиснулась к подмосткам, и из нее вывели мертвенно-бледного мужчину с обезумевшими глазами.

Пидворко изумленно посмотрел на человека с сумасшедшими глазами и громко сказал своим товарищам:

— Это же Ибраимов!

Да, да, именно тот самый знаток крымского леса, — помните, как он предугадал холодную зиму? — кто готовил для севастопольских партизан базы, а потом их выдал.

Его повесили первым и чуть в стороне от партизан.

За что же повесили предателя?

В чем же дело?

Немцы подбирали буржуазно-националистическое отребье, на которое возлагали главную миссию — оградить немецкие войска от ударов партизан. Предатели-полицаи старались вовсю, они обрекали нас на холод и голод, но не достигли самого важного: не сумели сдержать наш натиск. Мы прорывали все преграды и били «чистокровных» и их холуев в самых неожиданных местах и на самых важных коммуникациях. Мы заставляли врага окружить нас линейными полками, дивизиями, посылать на прочес крымских лесов тысячи и десятки тысяч солдат и офицеров.

Публичная казнь Ибраимова была намеком тем, кто сотрудничал с оккупантами. Мол, заигрывать заигрываем, но

можем и кнутом махнуть, коль нужда в этом будет. Да и повод основательный: Ибраимов не все выложил врагу, кое-что оставил для себя «в заначке» — те базы, которые он знал, но не выдал, — и за это поплатился головой.

…Погибли боевые группы Красникова, практически перестали существовать. Осталось около ста партизан, да и те не представляли из себя ударной боевой силы. Правда, был Балаклавский отряд, но там дела обстояли не лучше. На Кара-Даге, где в основном и жили балаклавцы, царил голод.

Невозможно было поверить в то, что случилось, в предательство Репейко, на которого даже подозрения не падало.

Многие судьбы до сих пор остались невыясненными. Кончились биографии почти ста тридцати человек, но конкретно, как она оборвалась у каждого, темный лес.

И сейчас можно услышать разное. Где легенда, а где действительный факт — не проверишь.

Вот как отложилась в моей памяти судьба части томенковской группы, которая при внезапном ударе действовала под началом политрука Блинова.

Пятнадцать партизан с Михаилом Сергеевичем сумели пробить двойное кольцо карателей и дойти до истока горной речушки Черная. Но тут поджидала их секретная засада, очень похожая на ту, что погубила Мошкарина. Блинов принял бой, хотя позиции у него как таковой вовсе не было. Немцы предложили капитуляцию. Партизаны отказались и заняли круговую оборону.

На ровной местности плечом к плечу стояли изможденные и оборванные партизаны. Они стреляли во все стороны, но карателей спасали всякого рода прикрытия, а наши герои были как на ладони. Трагедия продолжалась десять минут. Остался в живых лишь сам Блинов. Он был тяжело ранен, но стоял на ногах.

Немцы крикнули:

— Бросай оружие и иди куда хочешь! Мы не тронем!

Политрук поднял наган к виску и выстрелил. Немцы согнали жителей, заставили выкопать большую могилу. Туда снесли трупы партизан, схоронили. Две роты егерей стояли вокруг свежей могилы. Раздался салют.

Одни говорят — был салют, другие утверждают, что немцы стреляли от страха.

Факт сам по себе чрезвычайный, но нечто подобное мне приходилось встречать и на фронте. Помню случай, как фашисты по своим окопам водили захваченного в плен нашего летчика с Золотой Звездой и показывали своим солдатам: «Этот офицер в одном бою сбил пять наших самолетов!»

Виктор Никитович Домнин, вновь назначенный комиссар Севастопольского района, — по специальности инженер-дорожник, представитель послеоктябрьского поколения советской, интеллигенции.

Слесарь, рабфаковец, студент. Потом инженер крупного гаража, главный механик строительства шоссейной дороги, неизменный секретарь партийного бюро стройки.

Он был невзыскателен в быту, довольствовался одним приличным костюмом. Виктор не расставался с сумкой Осоавиахима, в которой главное место, сменяя друг друга, занимали томики Синклера, Есенина, Стендаля, Дю Гара и непременный томик Эдуарда Багрицкого, стихи которого он знал наизусть и любил читать вслух. Заведуя промышленным отделом райкома, а затем горкома партии, за письменным столом или шагая по цехам завода, порой мог машинально повторять строки из «Думы про Опанаса»:

Опанас, работам чисто,
Мушкой не моргая,
Неудобно коммунисту
Бегать, как борзая!

Просился в Испанию — отказали. Рвался в коммунистический лыжный батальон на финский фронт. Но судьба вручила ему пост секретаря горкома по промышленности.

В партизанский отряд пришел с распахнутой душой, мечтал о набегах на гарнизоны врага, романтических вылазках в стан фашистов.

Любимым героем оставался Олеко Дундич. Но первые же стычки с фашистами охладили романтический пыл, заставили заниматься будничными многотрудными партизанскими делами: рыть землянки, перетаскивать продукты из одного места в другое, думать о том, как содержать себя в чистоте.

Пошел в рядовые, в матросскую группу — была такая при штабе Мокроусова. Стоял на постах, ходил на связь с подпольщиками, голодал, участвовал в молниеносных ударах на дорогах. Отморозил пальцы и не роптал. Тяжело переживал голод. Высокий, худой, большерукий, с лицом буденновца такие лица рисовали на плакатах, — с добрыми голубоватыми глазами.

Красников ничего не знал о новом комиссаре, принял его почти безразлично.

Трудно было Красникову: гибель трех боевых групп — рана незаживающая.

Сперва он не поверил, раскидал летучие разведгруппы

вокруг, никому не давая покоя: «Искать людей! Искать Пидворко! Его живым не возьмут!» Красников лично облазил всю местность вокруг Алтауса и находил только трупы.

Это было страшно.

Пришел Томенко с тремя партизанами, вернулся Иваненко и с ним несколько человек. Вот и все!

Начштаба был в полубреду и ничего путного сказать не мог. Он боялся всего: Красникова, каждого партизана, даже самого себя. Вид имел жалкий, и язык не поворачивался осудить его, накричать.

Новый комиссар знал, куда идет, с какими трудностями столкнется, готовил себя к самым неожиданным крайностям, но встреча с действительностью его оглушила.

Он ходил из группы в группу, побывал у балаклавцев — их подтянули к Чайному домику; он стоял рядом с Красниковым, но слов не находил. Единственный случай в жизни, когда он не знал, что сказать человеку, что ему обещать, какую дать надежду. Он не знал, как смотреть Красникову в глаза, как быть с человеком, с которым обязан делить ответственность за судьбу людей, за настоящее и будущее оставшихся в живых партизан.

Но Виктор Никитович знал самую простую и самую важную истину: нельзя опускать руки даже в минуты безвыходного отчаяния. Надо дело делать.

Первый, трудный, но самый важный вопрос: способен ли Красников командовать районом?

Этот человек держал в руках боевые группы и бил фашистов там, где другой отступил бы. Кто его обязывал на такой дерзкий шаг? Домнин хорошо помнит: еще в двадцатых числах ноября, то есть почти два месяца назад, в Центральном штабе созрело принципиальное решение — убрать севастопольских и балаклавских партизан из второго фронтового эшелона. Последнее слово оставили за Красниковым и комиссаром Василенко. Они показали железный характер и не ушли из смертельно опасного района.

Но сейчас перед Домниным другой Красников. Командир замкнулся, ушел в себя, и будто не существует более двухсот душ, переживших непереживаемое.

О Красникове ничего худого не услышишь, никто не требует решительных мер. Но есть нечто большее, чем жалоба или прямая хула. Это трудно объяснить, это можно только сердцем понять… Есть ошибки, которых не прощают.

Да, Красников ошибся — это очевидно. Он не имел права посылать отряды на старые базы, сочувствовать тем, кто уводил партизан на Севастополь.

Домнин честно переговорил с командиром. Красников понял его без вводных слов, сказал напрямик:

— Района уже нет, а теми, кто остался в живых, обязан командовать другой человек; лучше, если это будет «варяг».

Он сказал «обязан», а не так, как в таких случаях говорится, «должен». И этим сказал все.

Азарян снова пересекал яйлу, нес доклад комиссара Домнина о положении дел в районе Чайного домика, рапорт о гибели боевых групп и требование срочно командировать человека, который должен заменить Красникова.

Красников был освобожден. Назначили нового командира. Эта тяжелая обязанность легла на… мои плечи.

Приказ Мокроусова настиг меня в очень трудный час.

22

Мы — штаб Четвертого района, — как и прежде, под Басман-горой, просыпаемся рано. Я выхожу из теплой землянки, щурюсь: очень уж ярок снег. Бегу к ручейку, умываюсь.

Вода ледяная, а год назад боялся даже комнатной, от любого сквозняка сваливался с ног. Партизанство не только калечит, но и лечит. У нас много легочнобольных, но что-то никто не жалуется на свою чахотку. А может быть, эти самые палочки Коха не выдерживают того, что может выдержать человек? Так или не так — не знаю, но на здоровье никто не жалуется. Нет и простуженных, понятия не имеем, что такое грипп. Врачи наши мало изучают человека в такой необыденной обстановке, в которой мы живем. А жаль!

По заснеженным тропам, через хребты и ущелья, сквозь сеть хитроумных застав идут и идут подвижные партизанские группы на дороги. И что бы там ни предпринимал враг, какие усилия ни проявлял бы — все равно мы проникаем к его чувствительным нервам и режем их нещадно. Где-то под Бахчисараем взлетела машина с пехотой, под Судаком отряд Михаила Чуба зажал фашистский батальон на «подкове», алуштинские партизаны прервали связь Симферополя с Южным берегом Крыма, лейтенант-партизан Федоренко вошел в офицерскую палатку и в упор расстрелял одиннадцать фашистов. И вздрагивает вся налаженная машина охраны и самоохраны, шоком охвачен штаб майора Стефануса, командарм Манштейн шлет в Главную квартиру фюрера оправдательные рапорты, в которых больше отчаяния, чем военной прозорливости.

С ненавистью смотрят фашисты на треклятые синие горные

дали; если бы они только могли — подняли бы их на воздух, выжгли леса, дотла сровняли бы деревни и перетопили в Черном море всех жителей без исключения — от мала до велика.

Террор! Террор! Террор!

Заложники. Их ловят на дорогах, улицах, берут в домах, мужчин и женщин, подростков и стариков. Не найдут в районе партизанского удара берут в городах, степных селах.

Это страх, отчаяние.

Рабочий поселок Чаир. Это недалеко от него мы нападали на целый дивизион. Это в нем были наши глаза и уши: старый шахтер Захаров, его внук, шестнадцатилетний Толя Сандулов… Не было случая, чтобы они не предупредили партизан об опасности.

От поселка лучом расходятся лесные дороги. Много отрядов вокруг: Бахчисарайский, Красноармейский, Евпаторийский, Алуштинский, Симферопольский-первый, Симферопольский-второй, Симферопольский-третий, и ко всем отрядам идет из Чаира тайная тропа.

Чаир — наш «нервный» узел. Мы берегли Чаир. Никто из партизан без особого приказа не мог там появиться, а приказ этот давался только в исключительных случаях.

В поселке был староста, некий Литвинов, тщедушный человек, боявшийся и гитлеровцев и нас.

Как он попал в этот переплет — шут его знает, но выпутаться из него не мог.

Была у него в руках власть, но только видимая. Жители Чаира последнего слова ждали не от него, а от Захарова, нашего человека.

Ближе всех к поселку жил наш, Красноармейский отряд. Он воевал активно, но голодал.

Однажды на этот отряд внезапно напали, так внезапно, что и старик Захаров предупредить не успел. Было убито три партизана, ранено пять.

Мы ломали голову: «Кто предал?» В самом отряде люди были верные.

Тяжелое ранение получили два партизана-красноармейца, они нуждались в специальном уходе. Комиссар отряда Иван Сухиненко спрятал раненых в поселке, на квартире у шахтерки Любы Мартюшевской, которую знал еще с времен своей журналистской работы.

Она умела молчать, но фашисты что-то пронюхали. Вдруг староста Литвинов на свой риск собрал сход, чего он никогда не делал без совета Захарова.

Человечек-невеличек вроде стал поосанистей, когда внушал

жителям: нам надо быть осторожней. Немцы прицепятся… тогда быть большой беде, а к чему прицепятся — дите и то знает.

Литвинов говорил, а сам поглядывал на Захарова. Потом он более решительно бросил следующие слова:

— Да ведь всем известно: тропы в лес протоптаны. Да и партизаны, бывает, что захаживают.

— А ты почем знаешь, что захаживают? Видал, что ли? — отрезал Захаров. — Смотри, староста!

— Да я что… разве худого желаю. Хорошо бы тихо, мирненько…

— Ты дочь уйми! Уж больно тянет ее к чужим.

— Что — дочь? Она взрослая. Одним словом, поселяне, я предупреждаю: беда не за горой держится, к нам ползет. — Снова взгляд на Захарова. — Мы сами по себе, а они, — кивок на лес, — пусть сами по себе.

Сход на этом и кончился. Он встревожил Захарова. Литвинов явно намекал: уберите раненых!

Старик послал связного к нам, в штаб района. Наш командир Киндинов аж побелел: кто разрешил помещать раненых?

Отдан приказ: Литвинова арестовать, раненых убрать в санземлянку.

Но мы со своим приказом не успели.

Рано утром 4 февраля в поселок на пятнадцати машинах нагрянули каратели. Жителей в один момент согнали на площадку перед клубом.

Саперы с удивительной быстротой минировали каменные дома рабочего поселка.

Группа гестаповцев обнаружила раненых и бросила их под ноги майора Генберга.

По его приказу немецкий врач осмотрел их.

Генберг подошел к красноармейцам:

— Где ранены?

— На Мангуше.

— Кто вас принял в дом?

— Никто, мы сами зашли и заставили лечить…

— Рыцари, благородство проявляете. — Генберг подошел к толпе, кивнул на Мартюшевскую: — Взять!

Потом взяли Захарова, инженера Федора Атопова, еще и еще.

Раненых увели в деревянный сарай, заперли там и подожгли.

Взрывались дома, факельщики подожгли клуб, столовую. Фашисты поторапливались, десятки пулеметных стволов смотрели на лес.

Поселка не стало. Торчат голые стены взорванных зданий, догорает клуб. Дым, смрад, летящий из подушек пух.

Двадцать жителей повели к оврагу, поставили на краю пятнадцатиметрового обрыва. За ничтожную долю секунды перед залпом Никитин, Зайцев и Анатолий Сандулов прыгнули в овраг. Сандулова тяжело ранило, но все-таки ему удалось добраться до Евпаторийского отряда.

Убили Захарова, его внука, Мартюшевскую, инженера Атопова, Николая Ширяева, Федора Педрика и других.

Оставшихся в живых женщин и детей погнали в Коуш, который стал укрепленным фашистским бастионом; там было и гнездо предателей, услужливых фашистских холуев, поставщиков «живого товара» для палачей.

Нельзя никому простить трагедию Чаира. Так настроен весь наш штаб, настроены все партизаны.

Я был в поселке всего один раз, но помню многих жителей — таких наших, что готовы были вытянуть из себя жилу за жилой, только бы помочь лесным солдатам. Они знали, на что шли их мужья и сыновья, которые дрались в партизанских отрядах.

Надо ворваться в Коуш и разгромить, к чертовой матери, карательный отряд!

Мы связываемся со штабом Третьего района; его командир Георгий Северский и комиссар Василий Никаноров близко к сердцу принимают наш отчаянный риск и дают в помощь три отряда.

Нас пятьсот партизан, мы без долгих проволочек ворвемся в самый центр Коуша и покажем, какие последствия ожидают карателей за трагедию Чаира.

Я сам напрашиваюсь на командование штурмовой группой: дайте мне два отряда, и я войду в Коуш, чего бы это мне ни стоило!

Я дал себе такую клятву, сам себе.

Михаил Македонский ворвется с другой стороны, Евпаторийский отряд — с третьей, и все мы соединимся в центре, там, где главный штаб карателей.

Киндинову мешает привычка к точности. Он хочет по-армейски: чтобы и приказ был заранее написан, и дислокация отрядов перед боем уточнена, и вооружение соответственно распределено. Все это нужные вещи, поступки, но они задерживают нас, ослабляют сжатую пружину.

Тут комиссар Амелинов более тонко чувствует настроение партизанской массы, оно ему дороже киндиновских расчетов. Скорее в Коуш!

В чем-то уступает Киндинов, в чем-то Амелинов, — в общем, мы теряем двое суток, а можно было обойтись и потерей одного лишь дня — для подтягивания отрядов.

У меня нетерпение, — странно, я такого настроения в лесу еще никогда не испытывал. Мне дали Красноармейский и Алуштинский отряды. Двести партизан. Сила! Есть автоматы, пулеметы, много гранат.

Вот готовлю факелы — мы будем жечь каждый дом на пути, где сидят фашисты.

В разгар подготовки, в час наивысшего напряжения, мне приносят весть, от которой по спине пробежала судорога.

Поскрипывая постолами по снегу, кто-то подошел к штабной землянке.

— Можно?

— Азарян! Ну, здоров, иди на кухню, жалую тебя одним лапандрусиком и стаканом кизилового настоя. И уходи, у меня каждая секунда…

— Я к тебе, товарищ командир.

«Товарищ командир»! С каких пор Азарян так заговорил?

— Что там?

Вид его настораживал. Он посмотрел на меня, вынул из-за пазухи завернутый в тряпицу пакет.

— Это тебе, товарищ командир!

Приказ Центрального штаба: я назначен командиром Пятого района. Через двое суток я должен быть на месте.

Итак, мой курс на Чайный домик!

В голове как на экране: несчастный Красников, Томенко без оружия, трагические глаза начштаба Иваненко.

— Поздравляю. — Киндинов был сдержан. — Когда выходишь?

— После Коуша! — машинально, но твердо ответил я.

— Штурм — риск, а приказ командарма надо выполнять.

— У меня двое суток впереди.

Киндинов был нерешителен: с одной стороны, он не хотел нарушать ритм коушанской операции, а с другой — побаивался: а вдруг со мной что случится?

— В Коуше я должен быть! — почти умоляю его.

Он молчал, но комиссар Амелинов понял меня: коушанский штурм мне нужен, я не смогу от него отказаться.

— Завтра мы тебя проводим. И все будет как надо!

…В кромешной темноте мы шли на Коуш, не шли, а бежали.

До этого я повел свою штурмующую группу на руины Чаира. Мы сняли головные уборы и постояли перед свежей могилой, потом смотрели на развалины.

Комиссары не говорили зажигательных слов, командиры еще глубже затягивались самосадом, партизаны прощупывали карманы: хватит ли гранат?

Мы бежали на Коуш, и нас не могли остановить никакие доты.

Ночь темным-темна, где-то за Бахчисараем висит гирлянда разноцветных ракет.

Колючие кустарники. Они нас держат, раздирают лица. Неужели заблудились? Эй, проводники, в трибунал пожелали?

В тревоге смотрю на часы: явно опаздываем. Где-то впереди загудели машины. Неужели пронюхали, бросают подкрепление?

Без четверти два почти рядом с нами вспыхнула красная ракета, а за ней серия белых. Это фашисты. Значит, Коуш под нашими ногами!

Лают собаки, постреливают патрули.

Высоко взлетела зеленая ракета: сигнал Киндинова на штурм!

На северо-восточной окраине вспыхнуло пламя. Сейчас же поднялся второй огненный очаг. Это же Македонский! Он уже действует!

Скорее!

По колено в воде перебежали речку. Кто-то плюхнулся в воду и… вспыхнул ярким огнем — в кармане разбилась бутылка с горючей смесью, партизан сгорел. Серия трассирующих пуль ударила по горящему человеку.

Все чаще вспыхивают подожженные бахчисарайцами дома.

Мы, разгоряченные, вбегаем на улицу. Прямо перед моим носом мелькнул красный свет, в темноте повис испуганный голос:

— Хальт!

Я ударил короткой очередью, в ответ вырвалась длинная пулеметная трель с такой стремительностью, с какой вырывается сжатый воздух из лопнувшего автомобильного ската.

Громкие крики карателей, истошные сирены автомашин, хлопки ракет, пулеметные и автоматные очереди — все слилось в одно, и нельзя было понять, где свои, а где чужие.

В окна летели гранаты — это наши, об крыши бились зажигательные бутылки, вспыхивали короткие, как молния, отсветы, из окон прыгали полуодетые фашисты.

У речки захлебывались пулеметы.

Партизаны рассыпались по улицам и штурмовали дома подряд, жгли их.

Хорошо освещенные пламенем пожаров, гитлеровцы бежали нам навстречу занимать окопы — они не понимали, что их боевые позиции позади нас. Мы расстреливали их в упор. Но и на нас обрушивался град огня. Падали наши, рядом со мною простонал проводник. У меня вздрогнула рука и стала почему-то неметь.

Пожар уже охватил две трети села, но юго-восточная сторона

была темна. Значит, евпаторийцы в село не вошли?

Я посылаю разведчиков, но им не дают пройти и ста метров — возникает стена из огня.

Очень отчетливо запомнил все подробности этого первого для меня ночного боя. Удивляла партизанская выдержка. Вот почти рядом со мной паренек лет двадцати из Красноармейского отряда поджигает двухэтажный дом, с балкона которого неистово строчит пулемет. Поражает невозмутимое спокойствие партизана: дом никак не загорается, но он настойчиво делает попытку за попыткой. Наконец приволакивает большой камень, и, встав на него, не обращая внимания на грохот и трескотню ночного боя, на светящиеся пули, которые шальными стаями носятся в закоулках, парень продолжает свое дело, будто вот это и есть главный смысл всей его жизни. И упорство вознаграждается: пламя охватывает балкон, карниз, добирается до крыши. Уже не дом, а только скелет в океане огня. Он обрушивается на землю, и на его месте поднимается столб черного дыма. А парень перекатывает свой камень к следующему домику.

Стрельба вокруг то утихает, то опять неистовствует с возрастающей силой, особенно там, где Македонский со своей штурмующей группой. Я сумел связаться с командиром бахчисарайцев и узнал: евпаторийцев на месте нет, фашисты пришли в себя; их здесь больше тысячи, и надо уходить.

Киндинов молчит.

Выстрелы почему-то раздаются уже на северо-западной стороне и все выше и выше, на путях нашего отхода.

Македонский уходит, а я все еще держу свою группу в селе, в самом центре его, и огневой шквал охватывает нас с, трех сторон.

Обстановка складывается устрашающая: есть убитые, раненые, их все больше и больше. И вот критическая минута: нашу группу — около ста партизан — прижали к пропасти.

Кончались патроны. Цепь гитлеровцев залегла метрах в пятидесяти от нас, а тут вот-вот рассветет.

Пятый район! Случится так, что я там и не буду.

Вдруг… Что это? Кто? Боевая группа на фланге фашистов!

Неужели евпаторийцы наконец показали и себя? Это же спасение!

Партизаны, стреляя в упор, идут на немецкую цепь. Впереди человек в черном пальто, с пулеметом, прижатым к круглому животу. Идет, и будто никакая пуля его не берет!

Так это же пулеметчик алуштинцев, бывший шеф-повар санатория Яков Берелидзе!

Он отбросил фашистов за овраг.

Мы бежали через улицы, полные дыма и смрада, впереди нас

— повар Яков Берелидзе. По заброшенной тропе выскочили в горы.

Рассвело. Медленно, очень медленно мы карабкались в высокогорье. Горящий Коуш оставался внизу, мы его полностью не взяли, но нанесли крупный урон, очень крупный. Три недели лихорадило коушанский гарнизон: менялись подразделения, сортировались офицеры; три недели ни один каратель не высунул и носа, и отряды вокруг уничтоженного Чаира жили как у бога за пазухой. Золотое правило борьбы действовало безотказно: не жди, пока ударят, а бей сам.

А мы шли в горы, похваливали повара Якова Семеновича Берелидзе, который на вопрос: «Как это ты догадался ударить по флангу?» — отвечал, по-ребячьи улыбаясь:

— Понимаешь, другого выхода не было.

У меня надсадно ныла рука; выбрал время, рассмотрел, что с ней.

Оказывается, пулей разорван кончик безымянного пальца.

Меня тошнило. После перевязки, которую мастерски сделала лобастая Дуся Ширшова, стало легче, но в штаб дошел в полубессознательном состоянии. Мне дали глоток чистого спирта, уложили, и я проспал десять часов.

Быстро оделся в дальнюю дорогу. Амелинов подсел рядом, ткнулся плечом к моему плечу:

— Отночуй еще, пророк!

— Пойду, Захар.

— Возьми! — Он положил с десяток лапандрусиков и два куска сахару. — В дороге чайку с «церемонией» хлебнешь. Ну, держи хвост пистолетом.

Киндинов был официален:

— Свяжись с ялтинцами, знай: в беде поможем.

— Спасибо, товарищ капитан.

С Иваном Максимовичем Бортниковым прощался с глазу на глаз: старик ждал меня на тропе. Он до сих пор не знает о гибели супруги — так мне кажется. Но я, как и Амелинов и Киндинов, очень ошибался.

Иван Максимович обнял меня, заплакал:

— Хотел тебя борщом накормить, а вот какая беда стряслась.

Я стиснул старика покрепче и молча ушел.

23

И снова распроклятая крымская яйла, и снова горный ветер.

Вышли мы на нее при сильном морозе. Однако чувствовалась

перемена погоды. Нас догоняла плотная туча, похожая на дождевую: налитая, с темными краями, которые резко выделялись на фоне беловатого неба.

И гора Демир-Капу — оголенная, ветреная — враз потемнела. Туча и нагнала нас, сыпанула густым и необыкновенно теплым дождем. На глазах яйлинский снег оседал, ломался наст, и мы стали тонуть в мокром месиве. Еле выбрались на пик одной из скал и засели там, потрясенные парадоксом природы. С неба падал поток воды и будто мощным прессом вдавливал снег, и горы как бы стали униженно уменьшаться и чернеть.

Но когда мы, промокшие до костей, перевалили через южную кромку яйлы, дождь мгновенно прекратился, и повеяло ледяным холодом. Снег начал замерзать, замерзала и наша одежда, вздуваясь от морозного ветра, подкравшегося с таврических равнин.

Мы бежали по насту и боялись остановиться. Азарян отыскал карстовую воронку, спустился по ней в пещеру, уходящую в землю уступами.

Азарян, обычно веселый, любящий побрехать всласть, подначить, на этот раз просто удивлял меня. Сел и сидит, низко опустив голову. Куда подевал винодел-щеголь свои кокетливые кавказские усики, улыбку покорителя сердец? Ничего этого и в помине не было. Усталый, постаревший человек, который не соблюдает даже элементарное правило: не чистит оружие. А ведь у него автомат.

Азарян застрял на нижнем уступе, мостится к сухой стене.

— Иди за сушняком, — приказываю я.

Он смотрит на меня обиженными и просящими глазами: «Не трогай меня, командир!»

Идет, покряхтывая, и долго не возвращается. Мне хочется пойти помочь ему. Нет, нельзя!

Он приносит коряги, засохшую картофельную ботву, зябко дует на руки.

— Растапливай, только осторожно, — приказываю ему.

Растапливает, посапывая носом.

От лапандрусиков он все же веселеет, а два стакана кизилового настоя приводят его в норму. Но это не прежний говорливый Азарян, а человек, который горя хлебнул по горло.

Меня, конечно, интересуют партизаны, отряды. Я знаю, что там новый комиссар, знаю то, чего не знает до сих пор и Азарян: Акмечетский отряд подчиняют штабу нашего района, а в нем, как мне известно, есть и харчишки кое-какие. Я прикидываю: сколько же там всего будет партизан? Пятьсот с лишним! Так неужели мы так-таки ничего не сможем сделать?

Я мало что знал о севастопольских и балаклавских партизанах, ведь, по существу, дважды видел Красникова, группу Верзулова, Иваненко, видел голодный штаб, чувство растерянности, неуверенность Красникова, понимал, что над отрядами что-то нависло, что преодолевать это надо срочно, иначе не выкарабкаешься.

Потом рассказы связных, которые непременно проходили через штаб нашего района. В них, конечно, была правда, но не вся. Не было той самой, которая может быть до конца понята только при непосредственном и длительном соприкосновении с ней.

Что-то мой Азарян скрывает от меня: такое впечатление складывается после неоднократного расспроса.

Почаевали, подсушились, переобулись.

Я неожиданно:

— Какая беда стряслась, выкладывай! Ну!..

Азарян растерялся, но скрывать дальше не мог:

— Беда страшная, товарищ командир. Какой народ пропал…

…Сколько всякого горя пережил я в крымском лесу, каких только испытаний не падало на мои плечи, как иногда горько разочаровывался в близком человеке; узнал хорошее и плохое, но никогда прежде у меня не было таких тяжелых минут, какие я испытал в часы раздумья в карстовой пещере.

Но, должно быть, человеку положено перейти и через такое. Не скрою, вышел я в Пятый район с твердой мыслью: взять людей в руки и с ними воевать, бить тех, кто осадил Севастополь.

Мы шли тихо, проскочили дорогу Ялта — Бахчисарай. Шагали, и восточный ветер толкал нас в спину. Таким манером мы скатились на площадку Чайного домика. Встретил нас опаленный остов полуразрушенной печи; обгоревшие кроны сосен сиротливо торчали над пустынным местом, где пахло гарью.

Стволы деревьев исчирканы пулями, косяк леса, что клином уперся в бугорок над домом, торчал рассеченными верхушками.

Комиссара я нашел в трех километрах от поляны.

— С прибытием, командир! — Голос у него спокойный, только немного простуженный. Он посмотрел на Азаряна, который стоял рядом с опущенными глазами. — Он все тебе рассказал?

— Да, я потребовал.

…Журчит хрустально-чистый родник, по ущелью стелется дымка. Севастопольский фронт дышит мне в лицо; внизу, в долине, — облако густого дыма над станцией Сюрень: бьют дальние морские батареи.

— Неужели достают? — удивляюсь я.

Никак не могу привыкнуть к такой близости фронта, мне кажется, что это каратели идут на нас, а пока жарят из пушек, мне хочется сейчас же объявить боевую тревогу.

— Привыкнешь, командир, — говорит Домнин.

Мы сидим на буреломе, между нами идет большой разговор, но почти без слов, смысл его один: с чего начинать?

Я час назад побывал в Севастопольском отряде, вернее — встретился с остатками его.

Впечатление жуткое. Люди оборваны, опалены кострами, не глаза, а бездонные колодцы.

Боже мой, как смотрят на меня!

Мне и Домнину командовать этими людьми, но прежде — поднять их на ноги… А как, чем? Пока одно чувство наваливалось как стена — чувство ответственности.

Я ничего не обещал, только в два раза уменьшил охрану да велел убраться из сырой полупещеры, построить легкие шалаши под сосняком.

Отряд имел в резерве одну лошадь.

— Забить ее и накормить людей мясом, — приказал я категорически.

Красникова нашел на тропе, ведущей к фронту. Рядом с ним был Азарян, который, по-видимому, успел вручить Владимиру Васильевичу приказ командующего.

— Наследство сдаю не из легких, — сказал он виноватым голосом.

В приказе Мокроусова сказано: судьбой Красникова распорядиться самостоятельно. Я могу назначить его командиром группы, политруком, послать в рядовые. Не знаю, какой шаг будет правильным, но мне захотелось оставить Владимира Васильевича при штабе района. Его опыт был нужен, да и нельзя человека в таком состоянии удалять прочь.

Ведь Бортников остался при штабе и не был лишним, почему же Красникова нельзя оставить?

Появился начштаба Иваненко, как-то вымученно козырнул нам.

Мне хотелось узнать кое-какие подробности трагического похода на старые базы.

Рассказывал Иваненко обстоятельно, при этом больше смотрел на Красникова, чем на меня и комиссара, словно искал одобрения словам своим у бывшего командира района, будто всю ответственность подчеркнуто перекладывал на плечи Владимира Васильевича.

Он начал подробно говорить о самих базах:

— Если помните, там есть три ямы, вроде колодцев. Вернее,

вход в яму напоминает колодец…

И остановить нельзя, дотошность во всем, будто докладывает о дебетах и кредитах на балансовой комиссии.

Меня невероятно возмущало холодное спокойствие этого человека. Но что я мог сказать, видя его второй или третий раз в жизни, ни разу не видя его в бою?

Красников прервал доклад, задумчиво заявил:

— Не может того быть, чтобы кто-то из наших не пробрался в город. — Он на что-то еще надеялся.

— Город сумеет дать об этом весть? — спросил я.

— Трудно, но возможно. Он знает, где мы.

— Давно нет радиосвязи с Севастополем?

— Пусть радист доложит.

Худой партизан в старом морском бушлате, в заячьей шапке с наушниками медленно подошел к нам:

— Я слушаю.

— Рация в порядке?

— Рация? Она в порядке, да толку… Батарей нет, — безнадежно отвечал радист. Видно было, он уже ни во что не верил и на все махнул рукой.

…Немой диалог между мною и комиссаром продолжается под аккомпанемент фронта.

И в этом диалоге я слышу разные слова, но все об одном: не суди людей с ходу, поставь себя на место Красникова, в положение его партизан. Сто с лишним суток жить под носом, двухсоттысячной армии, на виду у сел, в которых тебя не ждут, где шагают в немецкой форме предатели-полицаи, готовые идти в лес по первому фашистскому приказу. О, они знают этот лес получше тебя! Да, ошибки были, и горько за них расплачивается Владимир Красников, но эти ошибки от исключительности обстановки.

В таком положении мне не приходилось бывать, да и в больших партизанских командирах я не ходил…

Я об этом вслух не говорю, но удивительное дело: догадывается Домнин о ходе моих мыслей:

— А ты думаешь, я ходил в комиссарах? У нас три задачи, командир: накормить людей, установить связь с Севастополем, бить фашистов! А теперь пошли к балаклавцам.

24

Их, балаклавцев, потомков листригонов, до ста человек, они недавно потеряли своего командира Нафара Газиева. Погиб он в

бою. Получил тяжелую рану и, увидев бегущих к нему карателей, последнюю пулю пустил в себя. Был он человек тихий, осторожный, вперед не рвался, но при случае умел и показать себя.

Сейчас командует отрядом пограничник лейтенант Ткачев, бывший начальник Ялтинской пограничной заставы.

Он где-то на старых базах у Кара-Дата; основной костяк отряда перешел к Чайному домику и расположился в затхлой и сырой пещере.

Нас встречает худоплечий человек с немецким карабином за спиной. Он осторожен. Дважды или трижды уточняет: а нет ли за нами «хвоста»? «Вполне может быть, — утверждает он, — тропу-то к нам пробили вы».

Ведут по каким-то лабиринтам, — невольно хочется позади себя разматывать катушки ниток, иначе из этой пещеры и не выберешься. То гулкий простор, то узкая горловина, через которую надо проползти по-пластунски. В тусклом свете горит трофейный кабель.

Увидели людские тени.

Худоплечий — он, оказывается, исполняет обязанность комиссара отряда представляет нас партизанам. И сразу голоса:

— Выводите нас отсюда!

— Тут живая могила.

— Придет командир — выйдем! — кричит комиссар.

Мы с Домниным переглянулись, и я тут же дал приказ:

— Выйти всем из пещеры.

Ко мне подошла высокая девушка с решительными глазами:

— Я медицинская сестра Надежда Темец! У меня есть раненые, им нужно тепло.

— Будет тепло, Надя! — успокаивает ее Домнин.

Она недоверчиво смотрит на него и потом, улыбнувшись, спрашивает:

— И марлю дадите?

— Постараемся.

Вышли на свет божий. Лица бледные, но живые. Тут, на мой взгляд, меньше отчаяния, чем у севастопольцев; да оно и понятно: отряд не пережил такую трагедию, хотя и ему досталось по первое число.

За перевалом находим тихую поляну, строим шалаши. Я делюсь тем, что когда-то увидел у Македонского… Бахчисарайцы расчищают от снега площадку, в центре роют яму для костра, на три метра от ямы вбивают восемь кольев, образуя квадрат. На колья натягивают плащ-палатки, а на полметра ближе к костру еще восемь кольев повыше, к которым прикрепляют концы

палаток. Одна палатка служит дверью. В таком легком жилище сравнительно тепло, и в нем могут расположиться двадцать партизан.

Строим — получается, разводим костер — тепло отдается от палаток и греет спину. Хорошо!

Главный наш сюрприз — партизанская баня! Тут сгодилась бортниковская выучка. Стоит о ней сказать. Снежная поляна, на ней восемь жарких костров из граба. Они бездымны. Час горения — и снег, вокруг тает, земля подсыхает, и можете между кострами купаться, как под доброй крышей. Жарко, удобно и воздуха — на все легкие: дыши!

Домнин — главный кочегар. Он выкладывает костры, поджигает их, как заправский добытчик древесного угля. Он первым сбрасывает с себя одежду — и плюх на себя ведро чуть ли не кипятка.

Я не выдерживаю, влетаю на площадку между двумя пылающими кострами, кричу:

— А ну, поддай!

Кто-то обливает меня до жути горячей водой, я вскрикиваю и начинаю выкамаривать какой-то танец, который в нынешнее время приняли бы за твист.

Худоплечий комиссар смотрит на нас, как на сумасшедших, кривится в улыбке, но наш азарт его не трогает. Однако ему не удается остаться в стороне, мы силком тянем его в кучу.

Перемыли всех до одного, а вот накормить было нечем. Правда, кое-какой запасец конины был, но комиссар никак не хотел отдавать его без командирского приказа.

Заставили отдать, утешив обещанием, что завтра кое-что мы выделим для отряда.

Мы не ахти что совершили, и все-таки какая-то искорка надежды пробежала через партизанские сердца.

Среди партизан я увидел знакомого пограничника: начальника Форосской заставы Терлецкого, того самого, что был ко мне придирчив у Байдарских ворот.

Он меня, конечно, узнал, но, как и приличествует дисциплинированному человеку, держался в стороне.

— Здравствуйте, товарищ Терлецкий.

Он четко приложил руку к козырьку пограничной фуражки, на которой не было ни единого пятнышка.

— Здравия желаю, товарищ командир района!

— Посидим, — пригласил я.

Он стоял по команде «смирно».

— Как партизанится?

— Плохо! — Ответ решительный, глаза стального оттенка —

на меня.

— Объясните.

— Много отсиживаемся, мало бьем фашистов.

Третья встреча у меня с ним, и все так уставно, словно экзамен сдаем по строевой дисциплине.

— Как вас величают по имени и отчеству?

— Александр Степанович.

Я подошел ближе, тронул его за рукав обгоревшей, но аккуратно заштопанной шинели:

— Есть у вас что-нибудь конкретное?

— Прошу разрешить напасть на фашистскую батарею у деревни Комары!

— Там линия фронта?

— Не совсем. Подступы отличные, знаю каждую тропинку.

Развернули карту, и Терлецкий точным военным языком доложил все, что знал о батарее, добавил:

— Убрать ее надо, товарищ командир района. Она бьет по Севастополю.

Чувствую: Терлецкий уже давно в мыслях совершил эту дерзкую операцию.

Спрашиваю:

— Когда будете готовы к выходу?

— Через час.

— Сколько людей надо?

— Пять пограничников.

— Действуйте!

Двое суток ждали Терлецкого. Я сомневался: вряд ли фашисты, допустят до Комаров. Хотя надежды не терял, особенно после того, как поближе познакомился с группой, которой командовал Терлецкий. Тут народ был боевой, походивший по тылам со своим командиром. Домнину пришлось даже удивиться: партизаны выпускали собственную газету, в которой высмеивали своего товарища за неряшливость. Будто дело обычное, удивляться тут нечему, но в такой обстановке люди думали о чистоте не только душевной, но и телесной.

Волосы у солдат подстрижены, щеки побриты, даже ногти содержатся в порядке.

В отряде нет комиссара. А почему им не может стать младший лейтенант Терлецкий, человек характера, видать, крутого, но умеющий работать с людьми? «Да, именно работать», — утверждает Виктор Никитович, и я не могу с ним не согласиться.

Вот сжатое изложение похода Терлецкого на батарею.

Методично, через равные промежутки времени, ухают

немецкие орудия. Вспышки тревожат ночь; воздух, как живой, перекатывается по ущелью, с силой бьет в лицо, В небо взлетают ракеты, часто татакают пулеметы.

Рядом бродит одинокий луч прожектора с иссиня-розовыми краями.

Терлецкий, прижимаясь к холодной жесткой земле, ползет по увядшим травам с терпким талым запахом. Когда луч погас на мгновение, партизаны перемахнули через проселочную дорогу и нырнули под колючий можжевельник.

Тишина была долгая, томительная, но вот снова ударили пушки, — прямо над ухом четырежды раскатисто лопнул сжатый воздух.

Терлецкий увидел, как в отсветах выстрелов у орудий копошились немецкие артиллеристы, посылая на Севастополь снаряд за снарядом.

— Скорее, — прошептал Терлецкий.

Партизаны поползли, а потом залегли у самых пушек, передохнули и бесшумными тенями подобрались вплотную к расчетам. Пахло угаром. Терлецкий вложил в противотанковую гранату капсюль.

— Файер! — кто-то скомандовал над самым ухом.

И через миг ударила пушка, другая, третья, четвертая…

Терлецкий ждал новой команды. На этот раз она раздалась без промедления:

— Файер!

Граната Терлецкого ударилась о лафет и отлетела под ноги наводчика. Терлецкий отпрянул от земляной насыпи. Взрыв догнал его за кустом и с размаху бросил на землю. Он поднялся… Опять взрыв… Он качнулся, но устоял на ногах.

Еще дважды ночной воздух содрогался от партизанских противотанковых гранат.

Четыре автомата полоснули свинцом в темноту, и только тогда ожила долина от криков, трескотни автоматов, беспрестанно взлетавших в бархатное небо ракет.

— Пошли, хлопцы, — сказал Терлецкий и увел партизан по тропе, известной только ему.

…Рапорт Терлецкого был краток, как и его подход под Комары. Доложил, козырнул и замер.

— Молодцы! — говорю ему.

— Служу Советскому Союзу!

— Отдыхайте.

— Есть! — Поворот и твердым шагом прочь в группу.

— Так просто? — смотрю на Домнина.

— Созрело.

— И все же…

— Не удивляйся. За ним особый подвиг — Байдарские ворота.

— Неужели он? — Я ахнул.

— Точно.

…Тогда немецкие полки и дивизии рвались к Севастополю, Шли по шоссейным дорогам, просачивались через тропы, перевалы и ущелья, искали любую лазейку — лишь бы скорее обложить город с суши. Вдоль берега горели курортные городки и поселки, от их отсветов пламенело море.

На «Чучеле» кто-то прикидывал:

— Ох, у Байдарских ворот придержать бы их!

— У тоннеля?

— Конечно! Там двумя пулеметами можно батальон уложить.

А через день или другой — не помню — народ лесного домика был взбудоражен: какие-то пограничники у Байдарских ворот такое натворили, что и поверить трудно. На целые сутки задержали немецкий моторизованный авангард. Трупов там — не счесть.

…Александра Терлецкого — начальника Форосской пограничной заставы срочно вызвали к командиру части майору Рубцову.

— Где ваша семья, младший лейтенант?

— Эвакуирована, товарищ майор.

— Хорошо. Отбери двадцать пограничников и явись с ними ко мне.

Никто не знал, зачем их выстроили так внезапно. Командир части лично обошел строй, посмотрел каждому в глаза.

— Мы уходим, а вы остаетесь. Будете держать немцев у тоннеля целые сутки. Запомните — сутки! И сколь бы их ни было, держать! Кому страшно признавайся!

Строй промолчал. Командир дал время на подготовку, на прощание отвел Терлецкого в сторонку:

— Ежели что случится, Екатерину Павловну и Сашкб будем беречь. Иди, Александр Степанович.

В тесном ущелье гудят дальние артиллерийские взрывы — бьется Севастополь. На каменном пятачке, нависшем над пропастью, стоит табачный сарай — толстостенный, из звонкого диорита.

Внутри пусто, под ветерком играет сухой табачный лист, шуршит. Только на чердаке едва слышны голоса — там пограничники.

Кто-то подходит к сараю, стучит прикладом в дверь. В ответ — ни звука.

Неожиданная автоматная очередь прошивает дверь. Узкие пучки света от карманных фонариков обшаривают темные уголочки.

Немцы входят скопом. Дышат повольнее, тараторят, рассаживаются.

Медленно подползает рассвет.

Глаза с чердака пересчитали солдат. Их было восемь — рослых, молодых, без касок, с автоматами на животах. Они слали.

За стенами, подпрыгивая на сизых камнях, шумела горная вода, далеко на западе просыпался фронт.

В этот уже привычный шум стали осторожно вплетаться новые звуки немецкие машины ползли к тоннелю.

С чердака полоснули автоматной очередью — ни один солдат не поднялся.

— Забрать оружие, документы! — Терлецкий первым спрыгнул с чердака. Убрать, прикрыть табаком!

Никакого следа не осталось, лишь под ветерком, как и прежде, играет сухой табачный лист, шуршит.

Светло. Терлецкий посмотрел на тоннель, ахнул: ночной взрыв оказался не ахти каким сильным.

Показал своим пограничникам:

— Плохая работа! Вы меня поняли?

Ниже тоннеля остановились бронетранспортеры, из них высыпали солдаты.

— Вы меня поняли? — еще раз спросил Терлецкий и лег за пулемет, установленный на чердаке. — И тихо!

— Иоганн! — голос снизу.

— Не стрелять! Подойдет — штыком. Бедуха, тебе поручаю.

— Понял.

— Иоганн! — голос у самых дверей.

Двери скрипнули, приоткрылись, показалась каска и тут же скатилась на желтые табачные листья.

Мотопехота подходила к тоннелю. Солдаты сбились, начали отшвыривать камни.

Одновременно ударили два пулемета. Те, кто был у тоннеля, удрали. Остались лишь убитые и раненые.

Пулеметы строчили по транспортерам.

…Прошли сутки. Уже на табачном сарае ни чердака, ни дверей. Остался каменный остов, остались в живых пять пограничников с Форосской заставы.

Терлецкий, черный от гари, в изорванной шинели, лежал за последним пулеметом.

— Десять гранат, два набитых диска, товарищ командир, — доложил сержант Бедуха.

Подошли танки. Орудия — на остов сарая. Ударили прямой наводкой.

Пограничники выскочили до того, как новый залп до основания срезал всю правую часть сарая.

…К начальнику штаба Балаклавского партизанского отряда Ахлестину ввели пять пограничников — опаленных, с провалившимися глазами, едва стоявших на ногах. Один из них, высокий, сероглазый, приложив руку к козырьку, отрапортовал:

— Группа пограничников Форосской заставы из боевого задания… Пограничник упал.

— Так это вы держали Байдарские ворота? — спросил Ахлестин, поднимая Терлецкого.

…Александр Терлецкий стал комиссаром Балаклавского отряда.

25

Теперь нам предстоит труднейшее: встреча с командиром Акмечетского отряда Кузьмой Никитовичем Калашниковым.

Пока Терлецкий ходил на Комары, а мы поджидали его, балаклавцы послали своего делегата к Калашникову за солью. Не дал, человека и в лагерь не пустил, ни единым сухариком не угостил.

Нас останавливает патруль, требует пароль. Но мы не знаем его. Ко мне подходит человек в черной шапке; наставляя винтовку, командует:

— Сдать оружие!

К счастью, меня узнает один из патрульных: он видел, как я гостевал в калашниковской землянке в свой прежний приход.

Нас ведут под конвоем.

Навстречу сам Калашников.

— О, гости, рады, рады. — Кузьма Никитович протягивает теплую ладонь, а глаза в ожидании: с какой новостью пришел к нему, за каким чертом привел севастопольского комиссара? Для блезиру спрашивает у Домнина: — Как житушка, сосед?

— Твоими молитвами, Кузьма Никитович. А вы как?

— А мы перед своим начальством отчет будем держать, — он кивает на меня, все еще думая, что я начальник штаба Четвертого района.

— Теперь нет соседей, товарищ Калашников, а есть вот что, — даю приказ Мокроусова, где черным по белому написано, кому подчинен отряд и сам Калашников.

Молчание затягивается; наконец акмечетский командир

переводит дыхание:

— Худо, будет всем.

Колоритен Кузьма Никитович: плотен, широкоплеч, по-мальчишески белобрыс, ноги, как у кавалериста, бубличком. Как ни щурит глаза, но спрятать затаенную хитрость в них не может…

— Решим так… — говорит Домнин, голос которого с каждым словом твердеет. — Пять мешков муки отдашь Севастопольскому отряду, два Балаклавскому, мешок — штабу района. Это приказ.

Я дополняю:

— Штаб будет располагаться у тебя под боком. Десять партизан на охрану, троих на связь. И чтобы боевые…

Мне где-то и жаль Кузьму Никитовича.

Калашников разводит руками:

— Откуда у меня мука, товарищ комиссар!

Он продовольственные базы рассредоточил так, что самый опытный предатель обнаружить их не смог бы. И все же Домнин знал — продукты есть, иначе скупой Калашников так щедро не кормил бы своих партизан. А кормил он по тем временам сытно. И нас сейчас потчует недурно, и землянка у него теплая, и вообще в отряде порядок, достойный хозяйственного человека.

Калашников партизанит семьей. Только природный ум, смекалка позволили ему почти под носом у врага жить без больших происшествий, жить и сохранить боевой состав, базы. Тот кровопролитный бой с фашистами, когда каратель и партизан стояли за деревьями с глазу на глаз, Кузьма Калашников принял в пяти километрах от собственного лагеря, там потерял более десяти партизан, оттуда приволок одиннадцать раненых и тихо их выходил.

Это все же было удивительно: существовать в двадцати километрах от переднего края, насыщенного войсками, иметь с начала декабря соседей севастопольских партизан, на пятки которых беспрестанно наступают каратели, мало того — быть рядом, всего в четырех километрах от Коккоз, крупного гарнизона врага, и оставаться там, где начинал партизанскую борьбу. Три с лишним месяца прожить под носом у гитлеровцев, и прожить в теплых землянках, с пищей и санитарным пунктом.

Как это удалось?

Из многих источников, которые сейчас стали известны, есть основание предположить, что майор Генберг знал о существовании отряда Кузьмы Калашникова. Почему же он не трогал его?

Да потому, что был уверен в его бездействии.

А отряд воевал, однако с калашниковской хитрецой. Корень его тактики: бить фашистов там, где бьют их севастопольские

партизаны, не обнаруживать перед противником своего существования.

Он снаряжает партизан в засаду, прикидывает так и этак, но больше присматривается к соседям: где они вчера бабахнули фашистскую машину? Ага, под Шурами! Туда он и посылает своих да наказывает: идти по натоптанным тропам и отходить по ним. Своего следа не должно быть.

Существовал мокроусовский приказ под номером восемь. Подписан был он в начале декабря 1941 года, и в нем имелся главный пункт: каждый партизанский отряд в течение месяца должен совершить не менее трех боевых операций! Это железный закон! Откуда взята такая норма — неизвестно, и почему именно такая — непонятно, но приказ был доведен до каждого отряда, в том числе дошел и до Калашникова.

Кузьма Никитович шел по нему как по натянутому канату: и ни влево, и ни вправо. В декабре три операции, в январе — три. Сейчас февраль, и наметка у Калашникова прежняя: три операции!

Акмечетцы пришли в лес из далекого Тарханкута, стороны ветра, полынной степи. Отряд состоял из молчаливых степняков, знаменитых чабанов, которые больше общались с небом, степью, солнцем, чем с человеком, — людей, никогда и никуда не спешащих.

Они оказались в горах не по своей охоте, хотя в партизаны пошли добровольно, мечтая бить фашистов не сходя с места, в степи, но попали в горный край полуострова.

Им назначили командира — Кузьму Калашникова, комиссара — секретаря райкома партии Анатолия Кочевого, вооружили, снабдили продовольствием и приказали: «Следуйте на Южный берег — это километрах в ста тридцати от того района, в котором вы родились и жили, — ищите место для стоянки отряда и базируйтесь».

Вот и оказались они у Чайного домика, никогда не видавшие ни гор, ни лесов. Им еще повезло: у них командир — голова, цепкий человек.

И еще в одном повезло: народ был свой, знающий друг друга. Из отряда никто не бежал и никаких тайн врагу не принес.

Я все это говорю к тому, что тогда у меня было такое ощущение, что акмечетцы никогда не приспособятся к лесной жизни, что из них получились бы настоящие партизаны не здесь, а там, на просторах Тарханкутской степи, на берегу Каркинитского залива с его глубокими пещерами, древними колодцами, хуторами и кошарами.

На Тарханкуте в конечном счете было партизанское

движение, но возникло оно стихийно, без того главного костяка, который отсиживался в глухом углу Чайного домика.

Калашников и комиссар Кочевой сразу же смекнули, и это делает честь их прозорливости: отряд сам по себе боеспособным стать быстро не сможет, его надо без промедления подпирать настоящими солдатами, понюхавшими пороху, бывавшими в переделках.

Шло отступление на Севастополь; по лесным тропам, горным дорожкам отходило немало бывалых людей: и матросы, и кавалеристы, и пограничники. Ближе и понятнее были последние: тарханкутцы знали их по службе на заставах у себя на родине. А тут подвернулся начальник именно Тарханкутской заставы — старший лейтенант Митрофан Зинченко. У него человек двадцать хлопцев как на подбор, да при автоматах, пулеметах, таких бравых, будто только что вышли на строевой смотр.

Позже, в декабре 1941 года, в отряд пришел политрук пограничных войск Алексей Черников во главе солдат, вооруженных автоматами, двумя ручными пулеметами и одним минометом.

Так и сколотилась главная боевая сила Акмечетского отряда.

В своих рапортах в штаб района Кузьма Калашников не отделял степняков от пограничников, а писал примерно так: «Группа партизан под командованием товарища Зинченко взорвала немецкий грузовик, убила десять солдат, взяла трофеи: два автомата, три винтовки и разную мелочь».

Степняки кормили пограничников, несли охранную службу, рыли утепленные землянки, смотрели на своего командира как на бога и спасителя, понимали его с полувзгляда.

Калашников был глазаст, тайно наблюдал за селами, что окружали лес. Был у него один наблюдательный пункт под названием «Триножка». Это высокий пик над лесом, возвышающийся над всей Коккозской долиной.

На самой вершине «Триножки» стояли развалины древнейшей крепости.

На «Триножку» вела единственная тропа, которая шла по кромке острого хребта. Поставь на вершину два пулемета — и даже дивизией не достичь крепостных развалин.

Но Калашников пулеметов не ставил, а вот телефонную связь из «Триножки» провел в собственную землянку и все, что творилось в долине, в десятках окружающих сел, узнавал через минуту. И это давало ему непревзойденное преимущество — неожиданностей для Кузьмы Калашникова не существовало.

Знали ли фашисты о «Триножке»? Конечно! А догадывались ли, что там партизанский наблюдательный пункт?

Каждую неделю из небольшой горной деревушки Маркур выходили немецкие разведчики, нащупывали единственную тропу, поднимались на развалины древней крепости и… ничего не находили. Никаких следов пребывания партизан.

Куда же исчезал наблюдательный пункт?

И тут сказалась калашниковская живучесть.

Наблюдателей было трое, один из них постоянно смотрел за Маркуром только оттуда можно попасть на тропу, ведущую на «Триножку». Стоит группе немцев показаться в кривом переулке, откуда и начинается тропа, и сразу же звонок к Калашникову:

— Идут!

В ответ приказ:

— Сгинуть!

Отсоединяется кабель, прячется, тщательно осматривается площадка чтобы никаких следов; потом партизаны спускаются в подземелье, отодвигают большой камень, закрывающий тайный ход, исчезают в провале, не забыв поставить камень на место.

Немцы на «Триножке», но тут, как и прежде, тишина, посвист ветра, а вокруг синие дали.

Часок потолкаются, для самоуспокоения постреляют в небо и торопятся восвояси. Как-никак, а край партизанский, лучше подобру-поздорову вовремя уйти.

Калашниковские наблюдатели незримо сопровождают немецких разведчиков, но не трогают их.

Именно с «Триножки» предупредили о карателях, что шли в декабре на большой «прочес». Калашников убрал отряд, замел следы и принял бой там, где принимали его партизаны Красникова.

Хитер командир Акмечетского отряда!

26

Мы в землянке пограничников Митрофана Зинченко.

Сам командир встретил нас уставным рапортом. Я, откровенно говоря, не приучен к таким докладам, но здесь пришлось выслушать его по всей форме.

В землянке просторно, удобно, пахнет горными травами. Лежанки, ароматное сено, кустарная, но удобная пирамида для оружия.

Партизаны-пограничники — в гимнастерках, сапогах, животы туго подобраны, все до одного бритые, мытые. Да вправду ли мы в партизанском отряде?

— Здравствуйте, товарищи!

— Здравия желаем, товарищ командир района!

Восемнадцать солдат и один командир.

Вспоминаю редкие калашниковские рапорты в штаб Четвертого района: «Отличились партизаны Бедуха, Кучеров, Малий…» Наверняка они здесь, отличившиеся, хотя Калашников никогда не писал о них как о пограничниках.

— Бедуха!

— Есть сержант Бедуха! — докладывает белобрысый парень.

— Малий!

— Я Малий! — Партизан с рябоватым безбровым лицом.

Да, я прав. Герои акмечетцев здесь, не где-нибудь в другом месте. Я пристально всматриваюсь в лица. Не шибко сытые они: щеки подзапавшие, подбородки острые. Интересно, на каком пайке держит их Калашников? Щедро или по правилу — «будешь живой, но худой»?

— Ваш дневной паек? — спрашиваю у сержанта Бедухи.

— Две лепешки и полфунта конины.

Не жирно.

Вдруг мысль: а не взять ли всю команду в штаб? Вот и будет отличный комендантский взвод. За такими ребятами как за широкой спиной.

Но нужно ли?

Интересно, а какие планы у самого Зинченко?

— Продолжать службу, — говорю я и усаживаюсь за импровизированный стол.

Партизаны расходятся, Зинченко усаживаю рядом с собой.

Сейчас он расслабил плечи, стал проще, понятнее.

— Как живете, Митрофан Никитович? — спрашиваю обыденно.

— Ни шатко ни валко. Надумаю много, а до дела не дохожу.

— Что мешает?

— Многое… — Он смотрит в мои глаза.

Я понимаю его.

— Какие же планы у тебя, старший лейтенант?

— Думал напроситься на рейд в Коккозскую долину.

— И что же?

— Калашников не пускает.

— Почему?

— Осторожничает.

— Может, правильно поступает?

— Нет! Фашисты оседлали долину, напичкали ее тыловыми службами и в ус не дуют. Они не боятся нас. Надо заставить бояться!

До предела ясен Зинченко, и мне эта ясность по душе.

Впервые за последнее время я испытываю нечто похожее на радость.

— Что ж, Митрофан Никитович, подумаю. Мне, например, твой план по душе.

В это время в землянку вбежал шустрый дед с прокуренной рыжей бородкой полулопатой. К густоволосой голове по-смешному приложил руку:

— Пробачьте, товарышы начальники…

Это же дед Кравченко! Помните тот случай, я говорил о нем в первой тетради, когда мы обманным путем забрались в его одинокий лесной дом? И пустил он нас с надеждой добыть спиртного, но ничего у нас такого не было.

— Здравствуй, дед! Каким манером оказался здесь?

— Куды ж мэни диваться? З цим проклятым нитралитетом чуть було без башкы нэ остався… Я к тилькы вы пэрэночувалы, так и пишло… Прыйшов гэрманэць и давай з мэнэ душу трясты… Гыком, як цуценята, на мэнэ бросылысь… «Дэ Ялтыньскый отряд? Дэ Бортников, дэ Мошкарин?» Пытають, за бороду хватають… Кажуть: дэнь, ничь — и шоб отряд я найшов, а то пук-пук, а хауз, мий дом, значыть, — бах, — и гранату показують… Зайнялы мий дом, а одын — гадюка — в чеботях на кровати розвалывся. Мэнэ из хаты выгналы, кажуть: «Давай партизан». Помэрз я до вэчора на камнях, та всэ дывывся на свою хату. З трубы дым идэ, а я, як бездомна собака, на холоди зубами клацаю… К утру взяв фатаген[3] да и облив хату. Пожалкував трохы, тай пидпалыв. Пропадать так пропадать… Загорилась хата, а я до товарища Мошкарина. Вин мэнэ и послав в Акмечетский отряд, хотив з ним буты, да вин сказав: «Богато брешешь».

— Как же здесь партизанится?

— На повну катушку!

У деда явное намерение поговорить поосновательнее, но мы ему это не позволяем и отпускаем.

Зинченко, улыбаясь, говорит:

— Занятный старик. Не жадный, но любит поклянчить, производить всякие обмены, похожие на обман, надует от души — вины не признает. Выдумщик страшный и готов на все, лишь бы обратить на себя внимание.

— Нашел себя в отряде?

— А он ничего не терял, товарищ командир, он всегда при своих. Мы к нему пришли, это его лес, он вырос в нем.

— Пожалуй, правильно.

— Ему все здесь знакомо. И следопыт настоящий, и нюх, как у хорошего пограничника.

Мне по душе зинченковская обстоятельность. Зрелый

человек. Вот кого командиром Севастопольского отряда!

Однако не надо спешить, пусть-ка исполнит свой план: рейд по Коккозской долине.

Переговорил с комиссаром. Домнин со мной полностью согласился.

И он и я поставили точную цель: возродить Севастопольский отряд, сделать его действительно севастопольским, достойным имени славного и героического города.

Познакомился я и с Алексеем Черниковым. Это был рослый, угрюмоватый политрук пограничных войск, медлительный, склонный к долгим размышлениям.

Общее с Зинченко одно — традиция солдат, которые всегда в строю, и в мирное и военное время.

Более или менее ознакомился с составом района, с командирами, часами наблюдал за Коккозской долиной. Зинченко прав: немцы тут совсем обнаглели.

Обстановка вокруг приблизительно прояснилась. Пора действовать!

Как? Можно ли продолжать линию Красникова и держать отряды на пятачке у Чайного домика? Или немедленно вывести их в район трехречья, где мне все близко и знакомо?

Я и комиссар обстоятельно взвешиваем все «про» и «контра».

Первая задача: связаться с Севастополем! В любых случаях мы это обязаны сделать.

В принципе нам нельзя здесь оставаться. Так или иначе, но каратели будут блокировать наш район. Это сделать не так трудно, сама природа постаралась: вокруг обрубленные кручи, выходов — раз-два, и обчелся. Мы не можем жить в постоянном окружении, нам нужна отдушина, нужен верный тыл. Его можно создать только в заповедных лесах, там, где сейчас располагаются партизаны двух других районов.

Значит, марш по яйле!

Но можно ли вот сейчас поднять отряды и повести их по ледяной шестидесятикилометровой дороге? Дойдут ли они?

Акмечетцы дойдут, остальные — нет! Ведь дойти надо за одну лишь ночь!

Партизаны физически ослабли, морально подавлены событиями на Кожаевской даче, гибелью боевого костяка района.

Окрепнуть физически, морально. Но этого мало. Важно, какими путями этого добиться. В один присест разделаться с калашниковскими продуктами, отлежаться в сухих шалашах и марш на яйлу? Ничего из этого не выйдет. Продуктов мало — раз; бездействие еще больше разрушит потенциальные силы партизан — два; так запросто оторваться от Севастополя, не сделав для

него ничего важного, — значит струсить перед сложившимися обстоятельствами три!

Начинать надо с активных боевых действий. Зинченко в рейд, Терлецкого в Байдарскую долину!

Еще больше внушать делами и словами: мы и Севастополь — едины; прикажет Севастополь — пойдем в заповедник, нет — до последнего будем драться здесь!

Комиссар собрал коммунистов, и я обстоятельно доложил обо всем, что тревожило штаб, попросил коммунистов высказать свое мнение.

Откровенность была полная: в таких обстоятельствах человек выкладывается без оглядки. Коммунисты говорили о том, о чем думали, что их беспокоило.

Мы с Домниным были удовлетворены: наши планы в основном совпадали с тем, что предлагали коммунисты. Мы не могли говорить о них с полной ясностью — оперативная тайна, но мы согласились с тем, что нам подсказывали.

С гибелью первого комиссара района Василенко партийно-политическая работа в отрядах не проводилась. Иным казалось: до нее ли? Но Домнин считал: в любом случае «до нее». Сам комиссар был начисто лишен ораторских способностей, он хорош в камерной беседе, в разговоре с глазу на глаз. Здесь у него живые душевные струны, и он чувствует, что нужно человеку.

Однако все это не мешало ему добираться до сердец масс, и добирался он своим путем.

Как-то на Адымтюре наши разведчики подобрали ослабевшего человека в советской сержантской форме, привели в штаб.

Парня накормили, стали расспрашивать. Он первым делом разулся и из-под стельки достал партийный билет, завернутый в противоипритовый пакет.

Сожалею, что запамятовал фамилию севастопольского солдата.

Парень был на батарее Заики, которая первым залпом оповестила мир о начале севастопольской эпопеи.

Известные герои Анисимов и Нечай были его однополчанами.

Это первый человек среди нас, который знает все о боях под Севастополем.

Домнин ходил с сержантом из землянки в землянку, от шалаша к шалашу, и партизаны слушали рассказ севастопольца, человека, который встретил фашистов на просторах качинских степей.

Ярко и образно говорил сержант. Я до сих пор помню каждое его слово. Оно как бы приобщило меня к тому, что делалось на

батарее, на линии боя.

…За лето выжженные палящим солнцем бурые качинские степи с разноцветными заплатами виноградников, плешивыми холмиками и дорогой, заезженной машинами, тачанками, солдатскими двуколками. На западе, сколько видит глаз, — море, бурливое, иссиня-темное.

Утро. На пыльной дороге — никого. Такая тишина, что слышно, как пищат суслики и под ветерком шелестят высушенные добела травы.

За небольшим курганчиком, в бетонном доте, скрытом от самого наблюдательного глаза, притаились сержанты Анисимов, Нечай и наш разведчик Костя.

— Не по душе тишина, — говорит Анисимов, не спуская глаз с туманной дали.

— Мабудь, сьогодни и почнэться, — басит Нечай, прижав ухо к телефонной трубке. — Костя, а ну подывысь.

Смотрит Костя до боли в глазах, видит желтые полосы и дорогу до самого горизонта, на которой ни единой точки.

Солнце достигло зенита и начало медленно клониться к морю. Небольшая тучка с востока подкралась, будто невзначай бросила на землю несколько крупных капель и умчалась в далекое многогорье, туманящееся на востоке.

Кругом ни звука, ни шороха. Лежит дорога, избитая, истоптанная отступающими на Севастополь. Лежит, словно в раздумье, как ей принять на себя бронированную тяжесть чужих войск. А они уже катятся из северной Таврии, их душное дыхание чувствуется каждой клеточкой.

После полудня небо почернело, ожило, взвихрился воздух. Многоэтажным строем на Севастополь шли пикировщики, а вокруг них каруселили истребители, как мошкара вокруг шмелей.

— Смотри в оба! — крикнул Анисимов, до белизны пальцев сжимая кулак, лежащий на стальном теле тяжелого орудия.

Через несколько минут Костя повернул к товарищам побледневшее лицо.

— Идут, — с придыханием сказал он, показывая на пыль, клубящуюся вдали.

Черное облако катилось по земле со стороны Сакских озер. Скоро сквозь серую мглу стали выползать тяжелые танки. Они шли, ощупывая каждый метр затаившейся степи.

Командир батареи лейтенант Заика был еще с утра предупрежден, что авангард фашистов занял Саки и идет на Севастополь.

Береговая батарея располагалась, если можно так сказать, в узле самых уязвимых естественных подступов к Севастополю,

Широкие поля для танковых атак, буераки для пехоты, холмы для артиллерии. Это был ключ к столице Черного моря, к ее Северной стороне.

Дважды пискнул зуммер телефона. Лейтенант взял трубку. По тому, как приподнялись у него брови и вздрогнула щека, рядом стоящий комиссар батареи понял, что решающая минута наступила. Он только спросил:

— Много их?

— Пока десять танков, семьдесят машин, около четырехсот солдат.

За батареей над городом — тяжелые взрывы.

— Бомбят Севастополь, скоро нас атакуют… Я иду к расчетам, — сказал комиссар, надел каску и вышел.

— Батарея, к бою! — Телефон разнес приказ командира по всем железобетонным отсекам, а Костя подтвердил его, бегая от орудия к орудию.

Через двадцать минут раздался первый залп. Он возвестил всему фронту о начале героической обороны города русской славы — Севастополя. Произошло это 30 октября 1941 года в пятнадцать часов тридцать минут по московскому времени, в погожий осенний день. Тогда наш истребительный батальон еще швырял в Алупкинском парке болванки в макет танка…

…Прошли сутки. Батарея жила. Вокруг бушевал огненный шквал. Тысячи снарядов, мин, бомб глубоко вспахали древнюю крымскую землю, обнажая бетонные стены. Десятки пикировщиков с тоскливым воем кромсали южное небо, обкладывая батарею сверхмощными фугасными бомбами. Но батарея жила, громила танковый таран, звала Севастополь к смертельному бою.

Прошли вторые сутки. Батарея жила.

Защитники города — под оглушительные залпы заикинцев — готовились к неравному многомесячному поединку двух армий.

Прошли третьи сутки. Батарея жила.

От накала почернели орудийные стволы, но крепка уральская сталь. Один за одним падали артиллеристы, в узких проходах отсеков лежали раненые, но пушки стреляли…

Радист принял радиограмму; волоча раненую ногу, дополз до командира.

— «Батарея героически выполнила боевую задачу! — прочитал вслух лейтенант Заика. — Приказываю погрузиться всем на тральщик и следовать на новый рубеж».

Раненые подняли головы.

— Старшина, следить за морем!

— Есть!

Потемнело, старшина крикнул:

— Вижу на подходе тральщик!

— Выносить раненых! — приказал лейтенант, не спуская, однако, глаз с затихшего поля. Он чувствовал, что вот-вот начнется новая атака.

Один за другим шли раненые к тральщику, многих несли на руках, на плащ-палатках.

И тут показались немецкие танки. Они шли на предельной скорости, шли курсом на батарею.

Заика сам улегся за пулемет.

— Комиссар, немедленно отправляй тральщик!

Танки разделились на две группы, стали с флангов охватывать батарею.

Последнего раненого подняли на борт, на берегу оставался комиссар.

— На корабль! — крикнули ему несколько голосов.

— Отчаливай! Я — к командиру! — Комиссар посмотрел на палубу, козырнул: — Прощайте! — И, согнувшись, побежал на батарею.

Она еще жила.

…Морской солоноватый ветер гуляет над полем боя. У озера Кизил-Яр, на равнинах Карабаха догорают тридцать немецких танков. Черные скелеты двухсот машин — семитонных, тупоносых, гусеничных, легковых и штабных автобусов — усеяли все поле. Восемьсот солдат и офицеров отборной немецкой дивизии полегли на ржавой полынной земле.

Так был смят и уничтожен первый танковый клин врага, пытавшийся прорваться в столицу черноморцев.

…Точен и лаконичен рассказ нашего гостя. Я так и не запомнил его фамилии. В мартовских боях с карателями он пропал без вести, скорее всего замерз в горах, во время нашего трагического перехода по ледяной яйле. Но об этих днях позже.

…Через сутки враг, стремившийся к Севастополю, решил сманеврировать. Он оставил район заикинской батареи и двинул танковый таран на Севастополь по Симферопольскому шоссе. Предвкушая победу, немцы торопились, сметая наши слабые заслоны.

Но мощные залпы новой тяжелой батареи под командованием капитана Александера, затем капитана Матушенко потрясли горы. Колонны эсэсовцев шарахались в стороны и попадали под убийственный огонь морской пехоты.

Но наступила критическая минута, когда немецким танкам почти удалось овладеть высотой за Дуванкоем, с которой проглядывался Севастополь. Это была ключевая позиция отдать

ее — открыть дорогу к Инкерману и далее на Северную сторону.

И тогда совершилось чудо. То чудо, которое будет служить загадкой для тех, кто не знал наши души: пять отважных севастопольцев 18-го батальона морской пехоты — матросы Иван Красносельский, Даниил Одинцов, Юрий Паршин и Василии Цибулько, возглавляемые политруком Николаем Фильченковым, преградили путь вражеским танкам. Красносельский и Цибулько были смертельно ранены. Фильченков, Паршин и Одинцов обвязались гранатами и бросились под немецкие танки. Танковая атака была остановлена.

Каждая минута обороны рождала героев. Имена их, за редким исключением, оставались неизвестными. Но их подвиги обретали крылья и летали от окопа к окопу, от матроса к матросу, от корабля к кораблю.

Десятки дней продолжался первый штурм. Убедившись в несокрушимости защитников Севастополя, фашисты после тяжелых двадцатидневных боев вынуждены были перейти к изнурительной позиционной войне.

Потом пришел студеный декабрь, начался второй штурм города, но и он не принес врагу успеха, а устлал подступы к Севастополю новыми кладбищами, которые соседствовали с теми, что остались после вторжения чужеземцев в половине девятнадцатого столетия, — английскими, итальянскими, французскими, турецкими.

Отгремели декабрьские бои, рассеялся горький дым пожарищ, расстилавшийся не только над ущельями и ложбинами, во и над городом, над всеми бухтами…

27

Наблюдатели с «Триножки» докладывают:

— На окраине Албата взрыв. Туда идут немецкие машины!

Это же Зинченко!

— Продолжать наблюдение, докладывать немедленно. — Я положил трубку, посмотрел на Калашникова: началось!

Он короткопалыми руками теребит серую мерлушковую шапку, посапывает.

Телефон молчит.

Калашников встает, потом снова садится.

— Не мельтеши! — требую, продолжая смотреть на полевой телефон. Звонок! — Да, да!

— Стрельба на шоссе от Коккоз до Бахчисарая!

Калашников сердито:

— Я же предупреждал! Теперь возьмутся за нас…

Я молчу, мысленно слежу за группой Зинченко. Она должна сейчас подойти к небольшой деревеньке Гавры и отсидеться до вечера в густом кизильнике.

Стрельба повсюду, но центр ее — шоссе. Гавры километра на три выше, и там пока тихо.

Перед закатом сообщение:

— Товарищ командир, под Гаврами что-то горит! Огонь до неба!

Молодец, Митрофан Никитович!

Я обнимаю за плечи угрюмого Калашникова:

— А ты сумлеваешься!

— Не кажы гоп, покы не перескочыв! Еще ночь, еще день. Как все обернется!

— Ну и маловер ты, Кузьма! Какое же партизанство без риска?!

— Рискнул Красников и сколько людей погубил!

— Это из другой оперы, Кузьма Никитович.

Никак не могла угомониться растревоженная долина. Стрельба, собачий лай, зависшие в небе осветительные ракеты! Только к рассвету поутихло.

Я думаю: а где сейчас Митрофан? Поводырь его — дед Кравченко, старик хитрее самого сатаны, обведет немцев вокруг пальца. Верю: зинченковский рейд окончится благополучно.

Ночь холодная, ребята наши в шинелишках и где-то сейчас жмутся друг к другу, может, слушают байки старого лесника, который неистощим в своем балагурстве.

Перед рассветом от моего оптимизма мало что остается. С «Триножки» доклады за докладами. Зашевелился враг по всей долине, зашныряли машины, по деревням тревога, слышны команды.

Телефон меня уже не устраивает, я спешу на «Триножку».

Крутой подъем дается легко — у меня такое нервное напряжение, что не замечаю ни усталости, ни того, что поранил ноги на острых камнях…

Вид с «Триножки» потрясал; просматривался даже краешек Севастополя.

В боевой бинокль увидел море и кораблик на нем. Вокруг него поднималась вода. Стреляют по кораблю? Так и есть! Какая близость между нами и Севастополем!

В другой раз я бы неотрывно смотрел на запад, но сейчас важнее было разобраться в том, что происходит под моими ногами.

Прошелся взглядом по дороге от Коккоз до самых сторожевых

скал где-то под Бахчисараем. Много патрульных машин, проскакивают мотоциклы, Противник встревожен и нервничает.

На пригорках мелькают люди в черных шинелях. Это контрольный прочес!

Зинченко надо искать на левом фланге, в узкой горловине, сжатой обрубленными скалами.

Там пока тихо.

Ближе всех к «Триножке» лежало село Узунджа — небольшое, дворов на сто, но с завзятыми полицаями. На пятачке между нами и Узунджей и началась бешеная перестрелка. Мы увидели цепь карателей, охватывающих мелколесье с флангов. Неужели Зинченко в ловушке?

Стрельба рассыпалась на несколько очагов, потом оборвалась.

Но я чувствовал: что-то сейчас произойдет!

Внимательно обшариваю взглядом от куста к кусту, от тропы к тропе. Вдруг вижу: бежит человек, размахивая малахайкой.

— Это же дед, наш дед! — кричит наблюдатель. Его голос покрывается трескотней автоматов под самой «Триножкой».

Кравченко исчез, но стрельба такая стала, что пришлось оглядываться: не по нас ли бьют?

Трещит телефон. Голос Калашникова:

— Что же случилось, а? Объявляю тревогу!

Как можно спокойнее:

— Разрешаю, но без шума. Не отходи от телефона.

Минут через десять я увидел всю зинченковскую группу.

Партизаны залегли за каменным выступом, протянувшимся параллельно основанию нашей «Триножки». Позиция у них отличная, если не считать тыла. Он доступен со стороны Маркура.

— С Маркура глаз не спускать! — приказываю наблюдателю.

Карателей до роты, они приближаются к Зинченко с трех направлений. Вижу, как Митрофан Никитович расставляет свою семерку. У каждого хорошая позиция, и — что очень важно — наши над немцами, и тропы к ним крутоваты. Но тыл?

Звоню Калашникову, объясняю, в каком положении находится Зинченко, приказываю группу Черникова аллюром направить на перекрытие маркуровской тропы.

Немцы не спешат сближаться, они явно чего-то ждут.

— Еще выходят из Маркура! — кричит наблюдатель.

Около сорока солдат с пулеметами на вьюках быстро движутся по тропе они хорошо нам видны.

Бросаюсь к телефону:

— Где Черников?

— На пути!

Через три-четыре минуты увидел черниковскую группу. Ребята бежали на Маркуровский перевал.

Кто скорее достигнет его?

У Зинченко стали постреливать, немцы начали перебежку. Пограничники заметили ее. Вот кувырнулся один солдат и не поднялся. Еще один!

Зинченко повернулся к нам, но мы себя не обнаруживали, хотя было ясно, что пограничник просит нашего внимания.

Он трижды показал рукой на Маркур; мы понимали его отлично и ждали только одного — чтобы Черников успел!

И он успел, минуты за три до немцев оседлал перевал и сделал это не без хитринки, по-пограничному. Сам перекресток оставался свободным; чтобы скрыть себя, Черников скосил его и вышел на тропу, что прямо вела в тыл Зинченко. Здесь он и засел над тропой.

Немцы добежали до перевала, оглянулись и свободнее пошли по тропе, выпустив ракету — белую!

На Зинченко пошли с трех сторон; пограничники отстреливались с выдержкой, но Зинченко все время поглядывал на «Трииожку». Мы отлично знали, что он сейчас переживает. Ничего, ничего, Митрофан Никитович, еще минута — и тебе все будет ясно!

Маркуровская группа карателей вытянулась на тропе. Черников ударил по ней длинной пулеметной очередью из конца в конец. Пошли в ход гранаты!

Зинченко, услыхав черниковский пулемет, атаковал ближнюю к себе цепь.

Первым я увидел деда Кравченко: на шее два немецких автомата, за плечами солдатская кожаная сумка, под мышкой фляга.

Зинченковский рейд, не ахти какой по результатам — разбита машина, подожжен пятитонный заправщик, взорван мост на проселочной дороге, — имел большой резонанс. Три месяца немецкие тылы жили в долине и страха не знали. Они окончательно решили: партизаны не посмеют заявиться в район, напичканный полицаями и охранными подразделениями. Ведь штаб майора Генберга располагался в долине — в Коккозах — и гарантировал безопасность.

В долину прибыл главный каратель Крыма генерал войск СС Цап. Он объездил села — все без исключения, — лично говорил со старостами, начальниками полиции, представителями «Священного мусульманского комитета». До нас дошли слухи: генерал предупредил местных националистов, что в случае новых

действий партизан в долине за каждого убитого солдата будут расстреляны десять жителей, независимо от того, к какой они нации принадлежат.

Приутихла долина, ощетинилась штыками; даже козьи тропы взяты под усиленную охрану. Еще одна мера: немцы убрали отсюда военные госпитали. Мало того, сюда стали стягиваться каратели.

Что ж, в какой-то степени мы цели своей достигли. Пока, до поры до времени, оставили долину в покое; что касается дальнейшего, то у нас возникли кое-какие планы.

28

Боевая жизнь района налаживается, хотя и со скрипом. Калашниковская мука плюс трофейная конина свое дело делают. А тут враг будто позабыл о нас и носа не сунет в наш район.

Но почему он себя так ведет?

Я постоянно думаю о связи с Севастополем и исподволь готовлюсь к ней, но меня смущает одно: почему сам город молчит? Не может того быть, чтобы там не знали нашего положения. Разве они будут бездействовать?

И они, те, кто непосредственно руководил обороной, не бездействовали.

Вот что происходило в Севастополе.

Февраль — предвесенний месяц. В это время на юге порой бывают ласковые дни, схожие с майскими.

Утро. На Корабельной стороне рвутся редкие снаряды. Прилетели пикировщики и пытались сбросить бомбы на линкор, серой громадой застывший в Южной бухте. Зенитчики отогнали их. Сбросив бомбы в воду, самолеты нырнули в пушистый слой облаков, которые плыли в синем небе и таяли где-то над лесами.

Улицы полны народу. Особенно шумно на Графской пристани. Здесь узнаются новости, встречаются друзья, земляки. Здесь же вывешивается сводка «На подступах к Севастополю». С военной лаконичностью она сообщает о положении на фронте за последний день.

Расталкивая локтями толпу, к карте военных действий протискивается пожилая женщина, повязанная белой шалью.

— Что там, милые, на фронте-то?

— Не шуми, тетка, а слушай: «Вчера на фронте велась редкая артиллерийская и ружейно-пулеметная перестрелка. Наши снайперы уничтожили двадцать восемь фашистов».

— Ну и слава богу! — перекрестилась женщина, вытащила из-

под шали тарелку с жареной рыбой и заголосила: — Ставридки! Кому свеженькой ставридки?!

— Мне. Отваливай с десяточек! — остановил ее старший лейтенант с раскосыми глазами и забинтованной шеей.

— Бери, миленький, бери. На вот, парочку поджаренных… с хрустом…

Старший лейтенант жадно набросился на свежую рыбу. После госпитальной пищи из сухарей и консервов рыба показалась ему очень вкусной.

Это был Маркин, житель Севастополя. Он более месяца пролежал в госпитале в Инкермане, истосковался по небу, свободе, улицам родного города. Он шагал по городу, останавливался у заборов, смотрел…

— Идешь и как солнце сияешь! — знакомый голос остановил его.

— Товарищ Якунин! — бросился Маркин к бывшему секретарю Корабельного райкома партии. — Вы же партизанили?!

— Было дело… — Якунин с подчеркнутой заинтересованностью посмотрел на Маркина. — Ты, кажется, просился в партизанский отряд!

— Еще как!

— В лес дорога и сейчас не заказана.

— А наши там есть? — не без волнения спросил Маркин.

— Еще бы! Вчера пленного допрашивали. Рассказывает, как партизаны вздыбили Коккозскую долину. Нам нужен проводник, а ты лес знаешь. Как?

Маркин загорелся:

— А что?

…Бухта все больше обволакивается темнотой, всплескивают прибрежные волны, у маленького причала слегка подрагивает катер с заведенным мотором.

По берегу ходит Маркин.

Якунин, радист — молодой паренек в ватнике с ящиком за плечами, а за ним секретарь обкома Меньшиков попадают под луч электрического фонарика, направленного на них Маркиным.

Секретарь обкома отводит в сторону Маркина и Якунина:

— Помните: с завтрашнего дня мы дни и ночи ждем вас в эфире. Передайте партизанскому командованию — пусть готовят посадочные площадки. Мы пошлем к ним самолеты с продуктами и медикаментами. По выполнении задания возвращайтесь в Севастополь, дайте знать по радио. Мы укажем вам район перехода линии фронта, встретим вас.

— Будет сделано, товарищ секретарь обкома! — говорит Маркин.

Катер отчалил от берега и вышел в открытое море.

Поднялся ветер.

Маркин и Якунин стоят на палубе, прислушиваются к шуму мотора, к свисту холодного ветра.

Темная южная ночь, и чем дальше в море, тем сильнее ветер. Он тугими порывами набрасывается на катер, клонит его к воде. Соленые волны гуляют по маленькой палубе.

Маркин поднимается на командирский мостик.

— Правее Голубого залива высадишь нас, — говорит он командиру. — Бывал там?

— А где я не бывал? Разве у черта на рогах не сидел! — невесело ответил тот. — Там подводные камни.

— Знаю. До берега шлюпкой доберемся.

Командир посасывает трубку, смотрит на компас.

— Ну и ночка, прямо-таки для турецких контрабандистов, — беспокоится он за свое суденышко. Волны бросают его как щепку.

Неожиданно командир приказывает:

— Лево руля, приглушить мотор!

Становится тихо, ветер доносит до слуха отчетливый шум другого мотора.

— Немецкие охотники, ищут, — говорит командир.

Вскоре шум пропадает за кормой, катер меняет курс и на полном ходу приближается к Голубому заливу. Связные готовятся к высадке, на маленькую шлюпку укладывают рацию, батареи, прощаются. Волна подхватывает шлюпку и поднимает на гребень. Но сильные руки Маркина налегают на весла, поворачивают ее поперек волны и направляют к берегу.

Ветер гудит в расщелинах скал, подгоняет людей. Они торопливо покидают берег и идут по тропе через виноградники и огороды.

Вдруг из-за соседней скалы взлетает в небо несколько ракет.

— Ложись! — командует Маркин и первый падает на мерзлую землю.

За ракетами следуют трассирующие пули, слышатся пулеметные очереди.

— Не спят, гады. Надо торопиться, — предлагает Маркин.

Он идет впереди, бесшумно. Радист с первых шагов спотыкается и падает.

— Ставь ноги крепче, — шепчет ему старший лейтенант.

Через полчаса подкрались к Севастопольскому шоссе.

Маркин уходит в разведку, а Якунин и радист выжидают в кустах. Над самой головой трещат моторы, с полузатемненными фарами по шоссе проскакивают мотоциклисты.

Возвращается Маркин.

— Самое время переходить дорогу, патруль только проскочил.

Первый перебегает дорогу Маркин, присматривается и дает сигнал радисту. Тот делает несколько шагов и… падает.

— Батареи, батареи… разбил, эх… — кричит он истошным голосом.

— Тихо! — Маркин подхватывает радиста и несет через дорогу, кладет под кустом. — Можешь идти?

— Могу, только сильно зашибся. Эх, лучше бы на грудь упал, а то на батареи, — горюет паренек.

— Лучше бы ты совсем не падал, растяпа, — распекает его Маркин.

Они идут дальше. На вершинах красуются белые исполинские шапки, окаймленные черными линиями лесов.

Идут по снежной целине. Рассветает. Радист выбивается из сил. Привал.

— Нам надо переждать до полудня, а потом на яйлу подниматься, там тропа на Чайный домик, — предлагает Якунин.

Попеременно помогают радисту.

К закату добрались до западного участка яйлы. Якунин уходит на разведку, а Маркин дает обессилевшему радисту глоток спирту.

Тропа все круче. Вот она вьется по кромке обрывистой скалы. Радист бледнеет, руками хватается за снег. Неожиданно он вскрикивает и падает.

— Дер-жи-ись! — Маркин бежит на помощь, но поздно. Радист исчезает.

Маркин и Якунин стоят над бездной, молчат.

— Э… э… э! — кричит Якунин.

В ответ ни звука…

Через час Якунин и Маркин находят радиста… Он без дыхания лежит на глыбе диорита… Рация и батареи разбиты.

— Эх и везет, черт возьми! — кричит Маркин и закрывает руками лицо.

29

Ставим на ноги Севастопольский отряд в буквальном и переносном смысле слова. Им сейчас командует Митрофан Зинченко. Дали им пограничников, муку из калашниковского запаса, станковый пулемет, одного быка, взятого у румын, пару лошадок.

Только тремя весенними днями порадовал февраль, потом

пошла кутерьма: закружило снегом, завыли ветра по всему кругу. Над горами торчмя стали тучи.

То валом валит снег, то воздух леденеет, а вместе с ним леденеем и мы.

Комиссар увлекается — днюет и ночует у севастопольцев, он божится и клянется: создадим самый боевой отряд! Дай бог!

Я готовлю связь на Севастополь. Посылать наобум нельзя, тут не должно быть никакой осечки. Главное — кого послать?

Начштаба Иваненко решительно предлагает: Азаряна! Хороший ходок, знает местность, физически еще крепок.

Все верно, но не нюхал пороха, а дорога такая, что его вдоволь наглотаешься, и без привычки можно задохнуться.

Байки Азаряна о необычных происшествиях, которые якобы с ним. приключались на яйлинских тропах между Чайным домиком и Центральным штабом, мало кого утешают. Все знают — это обычный треп.

Конечно, нельзя списывать со счета те физические муки, которые претерпевал партизанский связной на яйлинских тропах. Переход по яйле, да еще зимой, и сейчас, в дни мира, не каждому по плечу. Но каждое время дает свою оценку поступкам. То, что сегодня можно принять за героизм, в те дни считалось обычным. Для перехода же через линию фронта одного умения шагать по тропам было совсем недостаточно.

Азарян отпадает.

Михаил Томенко!

Этот подходит по всем статьям. Томенко командует группой в возрождаемом Севастопольском отряде. Он единственный командир-ветеран. Можно ли его отнимать от Зинченко?

Домнин, например, категорически заявляет: «Нет!»

Но я думаю по-другому: связь важнее даже становления отряда.

Мы спорим, горячимся. Вообще мы с ним разные по годам, жизненному опыту. Комиссар, например, тяжелее меня переносит голод. Он страдает, его глаза, помимо воли, пристально наблюдают за руками нашего снабженца Тамакчи, делящего вареную конину.

Комиссар подвержен простуде. Глаза его всегда воспалены, голос похрипывает. Но Виктор очень вынослив, ходить с ним для меня мука. Сдаваться не хочется, а угнаться за ним — силенок нет. Мы часто подтруниваем друг над другом.

Вот я задел его:

— У тебя, Виктор, нос точь-в-точь как у запойного винодела Фирсова. Помнишь такого?

— Только ты ошибаешься. Фирсов пьяницей не был. У него и

нос был не синий, а красный, плавленый. Его носу завидовали актеры, особенно те, кому надо представлять роль Сирано!

Это адресовано мне. Я плохо знаю литературу, и комиссар спуска мне не дает.

— Сирано? Кто такой? — спрашиваю уже не без любопытства.

Домнин знает много — столько, что порой просто удивляет нас.

Вот разведчики комиссара Терлецкого принесли трофей — мешок пшеницы, подарок нашему штабу. Пшеница — не мука: жуй не жуй — удовольствия никакого. Инженерная башка комиссара умеет находить выход из любого положения. Домнин отыскал два крепких камня, каким-то манером взял их в кизиловый ободок и начал перетирать зерно и тут же рассказал, как неразумен человек. Пшеница имеет все, что имеет материнское молоко, а человек на мельнице обдирает с нее шкуру и этим самым ухудшает качество на две трети, а оставшуюся треть губит в печке и жует фактически мочевину. Люди в горах живут долго потому, что растирают зерна между камнями, без дрожжей и заквасок пекут лаваш… Ах, какой лаваш!

Виктор Никитович умел печь лаваш и не любил слово «лапандрусик».

Я чем дальше, тем больше привязывался к комиссару. Но плохо понимал начальника штаба. Иваненко достался нам в наследство от Красникова, и мы пока его терпели. Готовясь ко сну, он медленно, каким-то канцелярским движением слишком белых рук отстегивает командирский ремень, кладет его рядом, стараясь никого не задеть. Это хорошо, когда человек не мешает другим, но Иваненко любое свое движение как бы подчеркивает, и это неприятно. Спать ложится подальше от Красникова — они соседи — и долго лежит, устремив взгляд на темный потолок штабной землянки. Лицо его без красок, без выражения. Никогда не поймешь, как он воспринял слова, совет, приказ, доволен или нет, согласен или готов протестовать.

Домнин как-то предложил: откомандируем Иваненко в один из отрядов! Я не согласился. Думал при этом о настроении партизан, среди которых появится пришибленный отставной начальник. Да и Красников просил пока не трогать штабиста.

Красников — казначей района. У нас полмиллиона денег. Я не пойму, зачем они. Но казна есть, числится за нами и требует хлопот.

Красников сушит купюры, носится с мешком, как черт с торбой. Смешно и горько.

Но деньги и возня с ними всего-навсего камуфляж душевных мук. Красников живет думами о прошлых боях, ошибках, которые

ему со стороны стали куда как видны.

Он не делится с нами, но, когда мы срываемся, осторожно поправляет нас.

Услышав мой спор о Томенко, без навязчивости заметил:

— Я думаю так: вот-вот Севастополь сам найдет нас.

Красников как в зеркало глядел. Через день я увидел деда Кравченко, летящего ко мне навстречу.

— Прийшов военный и наш Якунин, тот самый, шо фрицев богато побыв! выпаливает дед одним духом.

Я не смел поверить: неужели связь из Севастополя?!

Бегу и ног под собой не чую, у штабной землянки вижу расстроенного Кузьму Калашникова.

— Что случилось?

— Прислали, а радио нет!

— Не может быть!

В землянке негде повернуться. Военный без петлиц мне докладывает:

— Товарищ командир района! Прибыла связь из Севастополя. Высадились в Голубом заливе с катера-охотника. — Он мне вручает пакет, шифр, расписание работы радиостанции.

— Где рация, батарея, радист? — кричу я.

Маркин подробно докладывает о своем неудачном походе к нам, у меня в ушах звон, и лицо севастопольского связного ни с того ни с сего уменьшается и уменьшается.

Я встряхиваюсь, но зрение не улучшается: никого не узнаю.

Кто-то усаживает меня, дает глоток воды.

Немеют на руке пальцы.

Не знаю, что со мной: такого еще не было; чувствую, как кто-то расстегивает на мне ворот гимнастерки.

Я очнулся: в землянке комиссар, Маркин, Якунин. Моментально вспоминаю все, тихо говорю:

— Как же не уберег главного, а?

Маркин молчит.

— Но отдыхать я тебе не дам! Понимаешь?! Ты завтра же пойдешь в Севастополь!

— Так точно!

Поднимаю на него глаза и вижу человека, уверенного в себе.

— Я перейду. У Верхнего Чоргуна перейду!

Я удивлен:

— Откуда такая уверенность?

— Я трижды переходил линию фронта.

Атмосфера немного разряжается. Начинается расспрос о Севастополе.

Через двое суток Маркин уходит на Севастополь. Его

сопровождают наши проводники.

30

Мы наблюдаем за дорогами и видим все передвижения врага. Но мы не знаем, почему он не трогает нас. О чем он думает, какие у него планы?

В заповеднике, там, где в последнее время находился карательный батальон — в шахтерском поселке Чаир, — мы имели своего человека, старого рудокопа Захарова.

Македонский бил фашистов под Шурами, Улу-Сала, под Мангушем потому, что имел глаза и уши в селах.

Да, здесь рядом фронт, немцев — пруд пруди, пособников их предостаточно, но не может того быть, чтобы не нашлись те, кто, несмотря на жесточайший режим, полную блокаду леса, не работал бы на нас, на советских партизан.

Надо искать таких; нельзя ходить, дышать, думать с закрытыми глазами.

Федор Данилович Кравченко говорит на татарском языке. Его знают по всей Коккозской долине, он имеет даже кличку «Ай, молла». Чернявый, плутоватый, сноровистый, никогда не унывающий, знающий великое множество анекдотов. Он мог часами рассказывать легенды о Насреддине, причем каждую легенду заканчивал восклицанием: «Аи, молла!»

Никому не удавалось проникать в окружающие нас села, а вот Федор Данилович бывал там. Вооруженные добровольцы-карателе не трогали старого «Ай, моллу», набивали его карманы табаком, а вещевой мешок — едой и выпроваживали прочь.

В последнее время дед прилип к партизану — проводнику Мамуту Камлиеву. Тот был из хороших знатоков леса и мог закрыв глаза спуститься в долину с самого пика Орлиной скалы. А уж там стена стеной стоит — глядеть страшно, а не то что спускаться.

Мамут был официальным связным от Калашникова при штабе. Шустр, ходит пританцовывая. Парень с высшим образованием. Он единственный из нас мог говорить с Домниным о книгах Фейхтвангера, вспоминать о Фирдоуси и Низами.

В спокойную партизанскую ночь Мамут и Федор Данилович пели татарские песни…

Мы сперва пригласили в штаб Федора Даниловича, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз.

Старик как-то смешно стукнул постолами, явно копируя выправку пограничников, смерил острым взглядом меня и комиссара, громко отрапортовал.

Я все время приглядываюсь к Федору Даниловичу. Он сложный человек. Мы и сейчас в этом убеждаемся. Нашу мысль о постоянной связи с одним из окружающих горы сел он выслушал со вниманием, но она не пришлась ему по вкусу. Это мне понравилось: не люблю тех, кто не задумываясь готов выполнить любой приказ с ходу. И позже, командуя полком, я многократно убеждался, что такие, скорые на слово, в деле ненадежны. Бывало, заявят: «Так точно, «язык» будет взят!», или: «Есть подавить огневую точку», или: «Оборону обеспечу на все сто процентов». Легко дают обещания и еще легче их не выполняют. Потом причины найдут самые уважительные.

Мне ближе те, кто, прежде чем пообещать, подумают, все взвесят, а потом уж «так точно».

Федор Данилович прикидывал:

— Покумекать треба.

— Что ж, «кумекай», а пока скажи: Мамут — напарник подходящий?

Старик потер лоб.

— В сватах з ним не був.

— Иди думай.

Через день пришел без вызова и с Мамутом.

— Я к кажут: попытка-копытка, чи почеше, чи садане!

Уже через день Кравченко и Камлиев вернулись из долины.

Камлиева я отпустил отдыхать, а деда пригласил в штаб.

Он был невеселым.

— Беда случилась? — поторопил я.

— Хлопчика, гады, погубылы.

Дед и Камлиев побывали в Коккозах. Это большое село, хорошо проглядывается с гор. На его окраине стоит охотничий дом-дворец, когда-то принадлежавший князю Юсупову. В наше время там интернат для детей со слабыми легкими.

В самом дворце штаб майора Генберга — на одном крыле, а на другом публичный дом для офицеров карательных отрядов, спрятанный под вывеской «Казино».

На днях там произошло событие, которое вызвало большую панику, да и совпало оно с дерзким рейдом Зинченко по Коккозской долине. Фашисты решили, что источник обоих событий один, и буквально растерялись.

Кто-то из молодых парней подобрался ночью к окну «Казино», выждал время и в самый разгар пьянки швырнул в зал шесть гранат.

Много офицеров было убито, само помещение сильно пострадало. Из руин вытащили до двух десятков раненых.

Паника была страшенная.

Парень бежал к нам, на Маркуровской тропе его преследовали и в перестрелке убили.

Много лет спустя в севастопольских архивах я напал на след этой дерзкой операции и установил фамилию отважного героя. Начальник политотдела Отдельной Приморской армии бригадный комиссар Леонид Порфирьевич Бочаров, погибший в 1964 году в белградской авиационной катастрофе, когда он летел с группой советских генералов на празднование двадцатилетия освобождения столицы Югославии, докладывал Политуправлению Крымского фронта:

«Партизан Малышев проник в село Коккозы и бросил в окно 6 гранат… Оставшиеся в живых фашисты бросились на улицу. Тов. Малышев уничтожил из выбежавшей группы 4-х офицеров, при этом сам погиб». (Фонд Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя. Микрофотосборник документов Великой Отечественной войны, вып. 20, короб. 7.)

Факт потрясающий, но человек действовал один, на свой страх и риск. То, что последовало за этим, нас крайне заинтересовало.

Фашисты подобрали труп героя и бросили на свалку, но утром он… исчез. Исчез, и все!

Федор Данилович нетерпеливо доложил:

— Це маркуровские пацаны. Воны схоронылы хлопця.

Маркур, значит? Село ближе всех к нам. Мы в срочном порядке изучали его со своих наблюдательных пунктов.

Небольшой гарнизон, две улицы, народ редко появляется на них. За сутки дважды приезжает машина, бывают конные из Коккоз.

Камлиев и Кравченко довольно подробно рассказывают историю этой ничем не примечательной горной деревушки.

Фашистов она встретила без цветов и хлеба, никто не вышел из глухо закрытых домишек.

Насильно сгонять жителей не стали, однако посадили на шею маркуровцам небольшое румынское подразделение. Румынам и хлопот мало, они больше думают о том, как набить животы…

Молчание деревушки, равнодушие к новым порядкам не понравилось коккозскому коменданту, но сдерживала «гросс-политика», которую проводили в этих краях различного рода гебитскомиссары.

Маркуровцев пока терпели.

Однако в самой деревне настроение оказалось более боевое, чем предполагали и мы, и немцы. Маркуровцы локтем чувствовали партизан, чуть ли не каждый лесной выстрел отзывался в их душах как надежда.

Шестнадцатилетние смотрели на пик Орлиного Залета: за ним партизаны.

Маркуровцам не так уж трудно было связаться с нами, но они все же не торопились. Нужен был толчок.

Камлиев остался на окраине, а Федор Данилович ловко обошел румынскую заставу и нырнул в нужный переулок.

Осмотрелся, потом юркнул во двор, огороженный глухой каменной стеной.

Жила здесь пожилая женщина — когда-то в лесу вместе уголь выжигали. Приняла деда молча, хорошо понимая, откуда он пришел, накормила, а потом покликала внука — семнадцатилетнего паренька.

И тот, видать, сразу догадался, что за гость в доме, обрадовался и стал куда-то спешно собираться.

— Куды? — Федор Данилович перегородил дорогу.

Паренек обиделся:

— А я не сволочь какая. Нужных ребят позову.

Кравченко понял:

— Добрэ, сынок.

Через полчаса паренек привел друзей своих, и они стали наперебой рассказывать леснику обо всем, что знали, видели, слышали. Они давно собираются подняться к Чайному домику, да вот старики протестуют. Теперь же всё — их никто не остановит.

Федор Данилович осторожничал, а ребята жадно ловили каждое его слово.

Подвиг неизвестного, бросившего гранаты в «Казино», их наэлектризовал. Дай команду — они поднимутся и пойдут в лес.

Команда им давалась другая. Они с большим вниманием слушали наказ старого лесника: жить, как жили сегодня, вчера, только быть поглазастее, уметь видеть, слушать и виду не подавать. Никаких сборищ, никакого сопротивления старосте и полицейским. Никого не трогать, оружие не изымать. Самый лучший для партизан и Севастополя подарок — разведка. Держать под наблюдением всю Коккозскую долину. Есть у кого пропуск?

У одного паренька нашелся. Его отец был полицейским, малость приторговывал в Бахчисарае, часто посылал туда сына.

— Вот и отлично! Ты один можешь сделать больше, чем целый партизанский отряд.

Договорились о встрече: где, когда, кто с кем, какой пароль.

И словно открылась створка для потока важнейшей информации в партизанский лес!

Мы как бы получили второе зрение. Ребята оказались смелыми помощниками.

Мы сравнивали донесения со своими наблюдениями с «Триножки» с данными, которые приносили наши боевые группы. И убедились: наши помощники работали добросовестно.

Обстановка вокруг прояснилась, как проясняется в свежем проявителе негатив, — быстро и четко.

Немцы пока оставили нас в покое, всерьез готовясь к более решающим ударам. Но зинченковский рейд, трагический эпизод в «Казино» насторожили их. До этого немцы считали: севастопольские партизаны разбиты на Кожаевской даче. Калашников продолжает отсиживаться, продукты у него на исходе. Одним словом, единой партизанской силы нет, остались отдельные группы, обреченные на вымирание. Их добьют голод и холод.

Это был просчет майора Генберга.

…О майоре Генберге много и с восхищением рассказывает полицейский у себя дома за обеденным столом. Сын слушает его с особым вниманием.

Этот парень ходил из Маркура в Бахчисарай и даже в сторону фронта, чуть ли не до переднего края. Там его двоюродная сестра работала машинисткой в штабе немецкого корпуса.

Мы получили потрясающие данные для Севастополя и себя. Но город пока для нас недосягаем. И это равносильно проигрышу большой боевой операции.

А данные такие: немцы готовят переброску свежей дивизии из второго эшелона фронта на Керченское направление. При этом они хотят обмануть бдительность Севастополя и авиаразведки Крымского фронта. Путь дивизии не совсем обычен. Маршрут удлиняется почти на сто километров. Зато полки дивизии пройдут скрытно по горным дорогам, упрятанным в лесах.

Балаклава — Ялта — Алушта — Судак — Феодосия… Дорога через сердцевину партизанских районов. На пути дивизии двадцать пять отрядов!

По одному удару — двадцать пять ударов!

И мы, севастопольцы, балаклавцы, акмечетцы, должны, обязаны начинать!

На карту ставится судьба всего района. Удар по дивизии — боевое возрождение, успех в этом ударе — физическая и моральная победа над огромной карательной машиной Генберга.

Есть историки, которые считают: боевая биография севастопольских партизан закончилась в феврале 1942 года, когда фашистская петля упала на шею Константина Пидворко.

Это глубоко ошибочное мнение.

Боевой путь севастопольцев под командованием Митрофана Зинченко продолжался. Трудный, порой трагический, но

героический путь.

31

В нашем штабе чувствуется подъем. Все ждут чего-то необычного. Конечно, необычного: связи с Севастополем, — Маркин, должно быть, уже в городе. Ждут часа удара по подразделениям дивизии, которая вот-вот двинется по своему засекреченному маршруту.

Произошел психологический перелом в настроении партизанской массы.

Чистят оружие, сбривают бороды — долой их! — чинят одежду. Питание не ахти какое, но все же один раз в сутки едим, мясо — строго ограниченную дозу конины — и стограммовую лепешку.

Мы придерживаемся строжайшей конспирации. Даже непосредственные исполнители не должны ничего знать до поры до времени. Мы верим людям, но случайно сказанное лишнее слово может стать известным противнику. (Впрок пошел урок, преподнесенный предательством Ильи Репейко).

Даже начальник штаба Иваненко не знает деталей нашей связи с маркуровцами. Внутреннее чутье диктует мне и комиссару: пусть лучше не знает.

Иваненко недолюбливает деда Кравченко, да и есть за что. Тот малость бравирует, что подчинен только командиру и комиссару. Правда, беда небольшая, Иваненко легко бы ее переживал, но дед нет-нет да и подковырнет нашего штабиста. Я сам слышал, как он громко предупредил группу партизан, которая только что хохотала от его баек:

— Тикай, хлопцы, сама ходячая смерть шугуе!

Иваненко, конечно, понял, в чей адрес брошена реплика.

— Товарищ Кравченко! — твердо и спокойно обратился начштаба. — За нарушение дисциплины два дня подряд таскать вам дрова на общую кухню!

— За що?

Иваненко не удостоил даже ответом. Дед ко мне с жалобой.

— Придется потаскать дровишек, Федор Данилович, — вполне серьезно говорю я: надо же позаботиться об авторитете начштаба.

И в эти часы, когда я и комиссар готовим район к боевому выходу, неожиданное событие нарушает весь налаженный ритм жизни района: Маркин в Севастополь не прошел.

Он и его проводники стоят сейчас со мною рядом —

обросшие, голодные, в донельзя истрепанных одеждах.

У самого Маркина растерянный вид. Еще бы! После такой уверенности печальный финал.

Только пересекли долину, как началось невезение.

Куда ни подавались — повсюду их засекали. Маркин упарен, он лавировал, бросался в одну сторону, потом в противоположную, но конец был один натыкались на засаду.

Пошли на самый левый фланг — под Кадыковку, там стоят против фашистов пограничники, которые часто обшаривают тыл немцев. Но и до Кадыковки не смогли пробраться. Измотались, изуверились и с повинной явились в штаб.

Кричать на них, упрекать? Ребята сделали все, что могли.

С тяжелым сердцем отпускаю их на отдых.

Комиссар смотрит на меня:

— Есть утечка. Враг кое-что о нас знает.

— Каким манером, Виктор?

— Давай подумаем.

А Маркур? Может, дед проболтался, а?

Нет, это исключено. Никто не знал, куда пошел Маркин, где именно думал перемахнуть фронт.

Мне трудно примириться с тем, что дело со связью срывается. Если бы рация! Мы такое бы натворили! Мы — Севастополь и наши отряды. Они с воздуха по дивизии, а наши в хвост, в гриву…

Эх, жалко, черт возьми!

— В отрядах о провале связи не должны знать, — советует Домнин.

Я понимаю: нельзя, чтобы огонек надежды, который загорелся, так сразу погас, надо не ослаблять подготовку к боевым выходам.

Мы продолжаем нажим на командиров, инспектируем боевые группы, проверяем оружие, делаем все, чтобы ритм жизни не снижался.

Снаряжаем срочную эстафету в южные леса к ялтинцам, дальше в штаб Киндинова. Мы начнем, а они продолжат — передадут боевую эстафету, а те, через Алуштинское шоссе — в зуйские леса к Генову, а Генов — в штаб Первого района, под самый Судак.

И я в мыслях вижу родной Крым от Севастополя до самой Керчи, вижу горы, сосновые рощи, густые стены кизильника, среди буреломов шалаши, землянки и людей, братьев по оружию, — крымских партизан, безусых командиров моего возраста, бывалых ветеранов, пожилых и молодых комиссаров, озабоченных тем, как сподручнее встретить подразделения

немецкой дивизии, которые немцы вздумали тайно перебросить от Севастополя на Керченский участок фронта.

Командир этой дивизии, наверное, думает, что на пути его частей могут произойти лишь отдельные стычки с «этими лесными бандитами».

Очевидно, и майор Стефанус, референт фон Манштейна по борьбе с партизанами, в своей ежедневной оперативной сводке, которая вечером ложилась на стол командарма, ничего настораживающего не писал. А майор Генберг на пути из Германии в Крым был в довольно радужном настроении как-никак, а смертельный удар партизанам под Севастополем он все же нанес. И председатель так называемого «Священного мусульманского комитета» в бывшей резиденции хана Гирея в своей вечерней молитве не просил самого аллаха облегчить путь немецких войск, пообещавших навечно вернуть на древнюю землю ислам.

А чего особенно тревожиться: ведь совсем недавно прошли по всем крымским лесам усиленные карательные части! А сама зима! Разве она бывала в Крыму такой жестокой, как ныне? И она работает против «лесных разбойников»! Ну, в худшем случае могут быть отдельные инциденты, на то и война, на то и неустойчивый тыл Востока, о котором уже знает весь мир.

Возможно, так, а возможно, по-другому думали наши противники — не знаю. Но знаю другое: фашистская спесь снова их подвела.

Идет, идет партизанская эстафета от горы к горе, от ущелья к ущелью.

Командиры и комиссары склонились над картами и прикидывают: как же встретить гостей?

Я вижу спины партизан — в ватниках, полушубках, в обыкновенных гражданских пальто, латаных-перелатаных, острые локти и мослы, — люди, которым нет и тридцати, но которые хлебают горя на три поколения вперед. Я вижу их оружие — оно в образцовом состоянии.

Вот идут уже боевые группы — по пять-шесть отлично вооруженных лесных солдат.

Голубые снега на рассветах, искрящиеся пики заснеженных гор, ставших на пути первого солнечного луча.

Идут, идут боевые группы крымских партизан на дороги.

Но начинать нам, севастопольцам.

Сейчас, через много лет, я мысленно слежу за первым походом нового командира Севастопольского отряда Митрофана Никитовича Зинченко.

Слово к пассажирам скорого железнодорожного поезда Москва — Одесса.

Вы стоите у окна вагона с зеркальным стеклом; мчится, мчится скорый. Даешь, даешь юг, — говорят колеса.

По тамбуру идет плотный человек, с крепкой шеей, в точно подогнанной железнодорожной форме, по-хозяйски оглядывающий и пол с красным ковром, и карнизики, на которых нет и пылиночки.

У человека острые серые глаза, морщинистое лицо, но энергичное, подвижное.

Человек этот пройдет мимо вас вежливо и легко, не надо вам жаться к стенке вагона — он вас не заденет. Он умеет не задевать никого даже в самых узких проходах.

Человек этот — бригадир вашего скорого поезда, и вы никогда не догадаетесь, кем он был в прошлом, настолько вся его фигура плотно вписалась в движение, в ритм, в жизнь состава, мчащего вас на юг.

Имя этого человека — Митрофан Никитович Зинченко.

Мне теперь известны подробности необычного марша Митрофана Никитовича через снега и крутые скалы.

Мы дали ему все: взрывчатку, сапера, снабдили самой точной картой, а вел севастопольцев сам Федор Данилович Кравченко — потомственный лесник горного Крыма.

…Путал карты снег. Он изменил окружающий пейзаж неузнаваемо. Дед Кравченко, на что уж знаток троп, чувствовал себя не в своей тарелке, то и дело присматривался к сугробам, скалам, к кромкам перелесков. Со скал свисали белые ледяные козырьки, готовые сорваться от любого шороха.

Наконец нащупали место, по которому можно спуститься на шоссе, к мосту. Со взрыва его все и начнется.

Спускались по Чертовой лестнице, сто раз вспотели, но оказались там, где и надо было быть.

— Ось тутэчки, за поворотом, и мист. Чуетэ, журчить вода! — Кравченко успокаивал товарищей.

Приближался рассвет. Зинченко с Федором Даниловичем пошли к мосту.

Небольшой перевальчик и… мост.

Освещенные бледноватой предрассветной луной, маячат фигуры рослых часовых.

Время все же упущено, вот-вот станет светло. Куда деваться? Подняться наверх? Сколько сил потребуется, чтобы снова спуститься!

— А що, як мы сховаемся на дэнь в сарайчику, — робко предложил дед.

— Где сарай? Веди!

Недалеко от дороги нашли каменную постройку — низкостенную, с полуразваленной крышей. Она удачно расположена в густом кустарнике. Зинченко все же колебался: от дороги всего двести метров.

Ярче стала луна, осветила снежные горы; они как бы приблизились, и от них шло безжизненное дыхание.

— Затихнуть! — Командир повел партизан в сарай.

Рассвело, и шоссе ожило, захлопали выстрелы патрульных.

Идут машины. Мелькают перед партизанским наблюдателем, осторожно выползшим на бугорок, опознавательные знаки. Они разные. Слава богу, идет обычное движение.

Партизаны сидели в сарае, молчали, только бледнее стали их лица; кто-то заметил, как трижды перекрестился дед Кравченко.

Утро пришло с солнцем, бьющим через щели прямо в глаза, усиленным движением по дороге, от которого подрагивали стены развалюшки и сыпалась мелкая штукатурка.

Что-то задумано: уже несколько часов Зинченко пристально следит за отрезком магистрали, выгнувшимся правее и выше невидимого от сарая моста. Там машины, редкие пешеходы, шагающие в обе стороны, мчащиеся с выхлопами-выстрелами мотоциклы с седоками в круглых шлемах.

Вот показалась группа женщин с тяжелой ношей за плечами.

«Значит, движение гражданским позволено!» — делает вывод командир.

Зинченко поглядывает на деда и вдруг требует:

— А ну, снимай пиджачок! А ты, Малий, гони шапку. Быстро!

…На откосе дороги появился сгорбленный пожилой человек с мешком за плечами. Жалкий, в кургузом пиджачке. Вот он оглянулся по сторонам, мгновенно перепрыгнул через небольшую стену, мирно побрел по дороге в сторону, моста.

Он был спокоен и ко всему равнодушен. Так шагает человек, которому жизнь не мила, и тянет он свою лямку, пока ноги носят, и ему наплевать, что с ним может случиться.

Зинченко — это он шагал с мешком, — наблюдая искоса, взглядом опытного разведчика «фотографировал» и берега горной речушки, и самую речушку, и пути подхода к мосту, и сам мост. Молниеносно возникла картина ночной диверсии: подходить надо по речке, прямо по ледяной воде. Другого пути нет.

Вот и мост, и часовые на нем. Они приблизились друг к другу, круто, как по команде, повернулись, хотя никто ими не командовал. Это, видать, от скуки.

Зинченко идет себе, и нет ему вроде никакого дела ни до моста, ни до строевого шага часовых. Идет себе как ни в чем не бывало. Но тут, по всей видимости, наш командир, переиграл.

Не успел пройти от моста метров пять, как раздался властный оклик:

— Стой!

Остановился, не спеша повернулся к двум немцам, идущим прямо на него…

Зинченко потом рассказывал:

— Я знал — мое дело табак. Только спокойствие и хладнокровие могут спасти. Наступила минута, которая должна сказать, что стоит моя десятилетняя служба на границе.

И я был спокоен, я видел детали: фонарик у немца справа, висящий на пуговице, был старый, с облезлой краской, лопнувшим стеклом, а у другого из-под шапки выглядывала рыжеватая седина, и весь он был морщинистый, тусклый.

Они подошли нормальным шагом, потребовали документ. Я выжидал. Тусклоглазый был решителен, дернул за вещевой мешок, истерично крикнул:

«Аусвайс!»

«Да, да… Есть, есть аусвайс!»

Я стал рыться в кармане — в одном, другом, а мысль одна: не было бы осечки! Нащупал пистолет, спокойно вытащил, как вытаскивают самый безобидный предмет, и сразу:

«Получай!»

Первым упал тусклоглазый. Тот, что с фонариком, крякнул», потом оглашенно закричал и плашмя брякнулся в снег. Вторую пулю в него — удачно.

Откуда-то взялись немцы, стали стрелять. Зинченко через стену — за насыпь.

Там уже ждали свои. Двинулись вдоль шоссе, прикрываясь деревьями, опутанными лианами, как бечевой, потом круто перемахнули его и в горы. Но далеко не пошли. В расщелинах камней дождались вечера и, когда сгустилась темнота, спустились к мосту по ледяной воде.

Немцы даже не подумали о том, что партизаны смогут сюда вернуться. Да и вообще, были ли партизаны? Кто-то убил часовых, а кто — след простыл. Так прикидывал Зинченко, так было и на деле.

В полночь подобрались под мост, заминировали его к через час взорвали.

Немцы восстанавливали его двое суток; надо им отдать должное: действовали очень оперативно. Оно и понятно — дорогу ждала части дивизии, Они уже были на шоссе и торопились.

И Черников отличился: разделался с двумя мощными машинами, набитыми солдатами. Это была, надо сказать, на редкость удачная операция — хоть вставляй ее в учебник партизанской тактики. Потребовалось всего два снайперских выстрела по фашистским водителям на крутом повороте. Их уложили насмерть, а машины с грузом, никем не управляемые по инерции в… пропасть. Отлично!

Говорят, голь на выдумки хитра. У нас выдумщиков — хоть штучно, хоть дюжинами.

Позже, летом 1942 года, в дни самых напряженных боев за Севастополь, когда после долгих неудач, которые нас мучили до середины весны, мы наконец-то! — установили прочную радиосвязь с городом и когда к нам стали прилетать самолеты, произошел такой случай.

Дед Кравченко после контузии отлеживался в шалаше и ужасно тосковал. Отлежался кое-как — и ко мне.

— Что скажешь, Федор Данилович?

— Я хотив спросить, чи нэ можна знайты таку вынтовку… Ну, таку… з биноком?

— Снайперскую, что ли?

— Ага!

— Зачем?

— Добрэ було б из скалы на спуске по шофэру — бах!., А машина сама в обрыв, тилькы зашелэстила б… А, товарищ командир?

— Ишь ты, а кто же стрелять умеет?

— Знайдутся, ей-богу, знайдутся!

Мысль деда была интересной.

— Ладно, насчет снайперской винтовки попросим Севастополь, дадим радиограмму! Отдыхай, дед.

Мы послали радиограмму, и к вечеру следующего дня нам привезли три снайперских полуавтомата.

Харченко, друг Федора Даниловича, долго вертел в руках лакированную новенькую винтовку.

— Добра штучка и сподручна. Я гарно стриляв из вынтовки з оптыкою, из трехлинейной. На триста мэтрив в блюдце попадав. Товарыщ начальник, а що як я пиду? Выбэру мистэчко на дорози и по фашистах… а?

— Да куда же вам, еле на ногах держитесь…

— На ногах! Да будь воны прокляти, ци сами ногы! А як бы я в самому Севастополи був? Ни, я пиду… На карачках полизу… Давайтэ дида Кравченко.

Взяв пятидневный запас продуктов, два старика отправились к Байдарским воротам на охоту за немецкими шоферами.

Прошло несколько дней, к нам прилетел летчик из Севастополя Битюцкий. Он рассказал о боях под городом. Но героем нашего костра был дед Кравченко.

— От скаженный Фэдосий, так и остався на своему мисти, а мэнэ прогнав, — рассказывал дед. — Ты, каже, Фэдя, иды скажи, яки у нас дила, та попросы у командырив бронэзажигательных пуль. Я спросыв: «Для чого?» Вин каже: «Бачыш, скилькы бакив з горючым? Их треба спалыть».

— Расскажи толком, а то понять тебя трудно, — добивался начштаба района, приготовив лист бумаги для рапорта.

— Прыйшлы мы, значыть, к Чертовой лестнице, товарыш пидполковныk. Ишлы два дни. Спустылысь на дорогу. Метрив трыста вид нэи — отвесна скала. От мы, два дурни, и карабкалысь ночью на нэи. Утром пишлы машины… Кучамы, кучамы. Пройдэ одна куча, за нэю друга — и всэ на фронт… Харченко и каже: «Ты по сторонам дывысь, а я машины буду подстрелювать».

Вот показалась одна машина — подстрелив. Машина тилькы задом выльнула… В обрыв пишла. Добрэ, сыдымо опять. Знов пошлы машины кучэю. Нихто нас нэ бачэ. Чэрэс час-два легкову пидчэпылы. Шофэра — на бок, машина — стоп! Багато понаихало фрицив. Нас шукалы, а мы сыдымо мовчкы. Ночью попрощалысь со скалою, найшлы другу ближчэ Байдар. И там дви машины пидбыли. Гарно выйшло… Тилькы одна пуля — шоферу, останне самэ дорабляется. Машина без хозяина идэ туды, дэ ныжчэ, та кубарэм, кубарэм…

— Расскажу в Севастополе про двух дедов. О них уже сам командующий расспрашивал, — восхищался Битюцкий, предлагая деду папироску.

— Ни, я самосаду. Покрипше. Розкажить, товарышу летчик, як там в городи?

— Атакуют день и ночь. Вчера фашисты четыре раза ходили в атаку. Эх, аэродромы у нас там неподходящие, а то бы мы им всыпали!

— Товарищ летчик, пора. Все готово к полету, — доложил дежурный по партизанскому аэродрому.

Попрощавшись с нами, Битюцкий — в который уже раз! — отправился в свой опаснейший рейс.

…И балаклавцы лицом в грязь не ударили: комиссар Терлецкий открыл счет на третьи сутки. Он рейдировал по Байдарской долине и ударил по немцам на том самом перевале, где били врага еще томенковцы с проводником Арсланом, снял кабель под Шурами, убил немецкого подполковника под носом у

штаба бригады и, потеряв в бою двух партизан, вернулся на базу.

А вот Калашников с трудом выскочил из Коккозской долины. Она, эта долина, как заноза в пятку Кузьме Никитовичу. То-то он противился, хитрил лишь бы отвести от себя поход, но я не уступил. В конце концов степняки должны показать, на что они годны.

Пошел Калашников с обходцем, где-то на задворках разбил одинокую машину, но этого было достаточно, чтобы растревожить весь улей. Батальоны егерей прочесывали долину, заблокировали все выходы из нее, и Кузьма Никитович с трудом ноги унес. А теперь вот сидит в штабе и доказывает, что его напрасно обижают, и он бы не хуже Зинченко разделался с мостом…

Я улыбаюсь: эх, Кузьма, Кузьма, как ни выкручивайся, а должок за твоим отрядом и за тобой лично так и остается.

Он уходит, нахлобучив шапку на лоб.

Большой, взрослый человек, а вид как у наказанного ребенка.

Вообще-то мы довольны. Район, на мой взгляд, первый боевой экзамен выдержал!

От нас пошла цепная партизанская реакция: дивизию бил Кривошта со своими ялтинцами, затем алуштинцы подключились, симферопольцы — три отряда, били Городовиков, Чуб, Генов. Подсыпали ей и наши летчики с кубанских аэродромов, Ей досталось как следует, но дело в гораздо большем. Манштейну мы будто заново показали себя: вот наша сила! Она как сжатый кулак. Мы не только по носу щелкаем, но можем бить наотмашь!

Что же касается связи с Севастополем — ни шагу вперед!

Нет важнее задачи, чем эта!

Маркин снова пойдет, но с кем?

Крупная задача по плечу человеку с крупным характером.

Александр Степанович Терлецкий! Характер, упорство! Вспоминаю Форосскую заставу, Байдарские ворота, взрыв батареи. Сух, официален, но тому, кто помешает выполнить данный ему приказ, оторвет башку. И местность знает.

Отряд без него проживет, хотя лишать его такого воина, каким являлся Александр Степанович, грешно.

Но связь! Связь! Сколько важнейшей информации пропадает!

Вызываю Терлецкого.

Комиссар со мной рядом, и больше ни единой души. Пограничник четко докладывает, но, пристальнее всмотревшись в нас, словно догадывается, зачем вызвали.

Только одно слово сказал Домнин:

— Севастополь!

Молчание.

— Кто тебя заменит?

— Старший лейтенант Ткачев решит.

Ткачев держится тихо. Правда, говоря об одном бое, прежде всего вспоминают Ткачева. Он лежал за пулеметом и короткими очередями отгонял карателей, так и не дал им преследовать отряд. Лежал за пулеметом, как на стрельбище, — по всем правилам. И огонь его был по-снайперски точен. Что ж, человек пограничной школы.

Терлецкого и Маркина проводили без шума, скрытно для всех: мол, ушли с пакетом в Центральный штаб. И все! И маршрут выбрали с хитрецой.

34

Здорово-таки мы расшевелили фашистский тыл! Какие-то высшие офицеры заседали в Бахчисарае; говорят, встретились они там с самим фон Манштейном. Попутно там же происходило сборище предателей. До двух тысяч карателей из местных жителей дефилировали по плацу перед бывшим ханским дворцом. В древнем Тепе-Кермене учились стрельбе из автоматов и горных пулеметов. Немцы предателей экипировали в военную форму. Только нарукавные знаки отличали их от доподлинных гансов и фрицев.

Разведка фашистов обхватывает нас со всех сторон. Добровольцы гестапо стараются организовать наблюдение за партизанскими тропами.

Мы все оцениваем трезво: вот-вот нападут на нас. И решительно.

Как быть? Задача — поставить отряды на ноги — выполнена. У нас больных практически нет, но до поры до времени… Физически мы истощены, есть среди нас такие, что, как говорят, дышат на ладан. Первое же трудное испытание и в санземлянки.

Мы стараемся поддержать таких как только можем, но харч… время… Тут не мы диктуем.

Выход, конечно, один — уйти. Перебросить всех без исключения в дальние горы, в главный партизанский край — заповедные леса.

Но легко сказать — перебросить. Это шестидесятикилометровый маршрут по гребню Таврического хребта… Это сугробы и февральские ураганы.

Есть древняя поговорка: «У бегущего тысячи дорог, у догоняющего одна». Но в данном случае и она отвергается. У нас только одна дорога — в заповедник, а у нашего врага — десятки.

Давайте мысленно представим наш путь. Не так трудно это сделать, особенно тем, кто знает Южный берег Крыма и кто смотрел с берега на высокие горы, стеной стоящие над морем.

Вспомним курортный поселок Симеиз, станем на скалу Кошка, посмотрим на горы, нависшие над дорогой Ялта — Севастополь. Так вот, на их вершинах, там, где нет ни единого деревца, должен начаться наш маршрут. Десять километров до Ай-Петри, потом Никитская яйла — двенадцать километров, потом Гурзуфская, наконец, высшая точка Таврии — гора Роман-Кош, спуск в междуречье. По идеальной прямой тридцать два километра, по извилинам, хребтам, ущельям — все пятьдесят!

Достаточно врагу подняться на любую точку с берега — дорога наша перерезана. Уйти некуда. Вправо и влево головокружительные пропасти, впереди… враг, позади… тоже враг.

Вот что значит покинуть район!

Но это не все. А вдруг ураган? Тогда те, что сейчас на ногах, могут оказаться на носилках или еще хуже — без дыхания на ледяной яйле.

И еще одна важнейшая проблема — вечная и неразрешимая пока — питание.

Тщательно прикинули свои возможности: паек надо срезать до минимума. Даже не срезать, а почти прекратить выдавать его тем, кто не дежурит, не идет в разведку или в засаду… Голодная норма в самом штабе. Сам как-то переношу голод. Не знаю почему, может, потому, что в детстве часто недоедал, а то и просто голодал.

В штаб приходит Кузьма Калашников. Он никогда сразу не высказывает свои думы, обычно начинает издалека. И на этот раз не изменяет себе.

— Черников охрану поубавил. Как бы не прозевать.

— Правильно сделал, — говорю я, отлично зная, что Кузьма Калашников не за этим пришел.

Калашников нахлобучил шапку на самые брови. Выждал, а потом сразу же:

— В Маркуре харчишек можно поджиться.

— А точнее?

— Дед расскажет.

Шустрый лесник тут как тут. Он только что пришел из разведки, встречался с маркуровскими ребятами.

Немцы организуют в селе усиленную комендатуру. А начали с того, что навезли продуктов: ребята наши выследили.

Молодежная группа — наше второе зрение, но что-то оно в последнее время стало притупляться. Данные вроде и обильные, а

приглядишься к ним как вода сквозь пальцы.

Комиссар говорит: «Унюхал Генберг что-то».

Но продукты! Ведь они нужны как воздух, без них и думать нельзя о походе по яйле в заповедник.

Решили так: сегодня же ночью ворваться в Маркур, опустошить продбазу, а всех наших маркуровских помощников взять в отряд.

Тихо вошли в село, даже собак не потревожили. Нас встретили три хлопчика и задворками повели в нужную сторону.

Вот цель! Черников с пятью партизанами перескочил через забор и… напоролся на пулеметную очередь. Со всех сторон затрещали автоматы, двух наших срезали наповал.

Стрельба сгущалась, причем инициатива оказалась в руках врага. Кравченко с трудом пробился к своим ребятам, но… внук знакомой женщины лежал на пороге ее дома с пробитым черепом.

Несолоно хлебавши вернулись в лагерь.

Кто-то выдал ребят. Кто же?

С дотошной придирчивостью Иваненко допрашивал Мамута Камлиева попутчика Кравченко.

Камлиев не трус, много раз бывал в переделках. Никаких подозрений.

Иваненко был упорен.

— Пора кончать, — наконец посоветовал ему Домнин.

— Очевидно, придется. Однако позвольте покопаться в повадках Кравченко?

— Выясни, конечно, но не копайся.

Дед любил балагурить, но в деле он был всегда серьезен, и дотошность Иваненко вывела его из себя.

— Шо ты из мэнэ юду-искариота хочешь робыть, га?

— Молодежная группа вся знала о наших планах?

— А як же! Воны ж нас поклыкалы.

— Вы не имели права всем сообщать о нашем нападении. Только старший должен был знать.

— Хлопцы там наши.

— Ясно. Выболтал планы, а теперь удивляемся провалу. Вы арестованы, Кравченко.

Больно ретив был начальник штаба.

Комиссар решительно приказал:

— Отпусти деда.

— Как же так? Мы порядка не наведем, если такое прощать, разволновался начальник штаба.

— Отпусти, — коротко приказал и я. — Вернуть оружие.

— Вот спасибочки. — Дед на радостях выскочил из землянки.

Иваненко обиделся и вышел.

Домнин посмотрел на меня.

— Что ты думаешь?

— Странно, почему он на этот раз ретив?

— Чувствует наше недоверие, вот и выслуживается. От штаба надо его сейчас же отстранить.

На рассвете началась пурга. Такая кутерьма поднялась — ни зги не видать! Продувало насквозь. И за скалой не скроешься. Приткнешься к ней — и всем телом чувствуешь ледяное завихрение.

Осталось два мешка муки.

Третьи сутки ветер. Намело сугробы — горы Гималайские!

Как сквозь землю провалился Терлецкий. Сколько дней прошло! Мы с ним уговаривались: попадет он в Севастополь и тут же попросит послать самолет в район Чайного домика. Мы дадим сигнал, обнаружим себя.

Но небо слепое. Была, правда, одна звездная ночь, но никаких самолетов над нами не появлялось.

Наконец тучи рассеялись. Ослепительно забелели горы.

Надо найти выход из создавшегося положения. Меня, в частности, начинает интересовать Юсуповский дворец в Коккозах. Я поглядываю на него в восьмикратный бинокль, изучаю подступы, пути отхода. Интересно. Положим, Севастопольский отряд Зинченко сосредоточится у подножия горы Бойко, по дну ущелья навалится прямо на дворец. Я с Балаклавским отрядом появлюсь со стороны яйлы, Калашникова снова пошлем на отвлечение. Пусть нашумит где-нибудь у Фоти-Сала.

Убеждаемся: во дворце большой продовольственный склад. Охрана рядовая. Немцы даже не подумают, что у партизан может возникнуть такой отчаянный план.

Комиссар еще не высказал своего мнения. Приглядывается, прислушивается, часами стоит на вершине Орлиного Залета, не спускает глаз с дворца, с долины.

А я решаю: сбор — в 16 часов 30 минут. Марш — в 17.00.

В 12 часов пришел связной от Мокроусова. Командующий одобрял наши действия, но приказывал срочно покинуть севастопольские леса. Видимо, командование партизанским движением решило обезопасить нас. Позже я узнал: Мокроусов получил информацию из Симферополя, в которой было точно обозначено: в первых числах марта против нас начнется крупная карательная экспедиция.

Часовая стрелка подходит к четырем тридцати, я набрасываю на плечо вещевой мешок. Не отстает и комиссар.

Замешкался Красников — наш казначей.

— Командиров ко мне!

Отрядные у штаба докладывают о готовности к выходу, Но среди них нет Митрофана Зинченко.

— Где командир севастопольцев?

Ответить не успевают, появляется из-за кизильника Митрофан Зинченко. Он подходит, встревоженно, тихо докладывает:

— Из Коккоз немцы!

По спине пробежал холодок.

— Тревога! Занять боевые позиции.

Беззвучное движение, только шелест кизильника.

Бегу к Черникову — у него станковые пулеметы.

Серия ракет в нашу сторону и стрельба. Шквал огня прошелся ниже лагеря.

— Алешка! — кричу я.

— Норма, товарищ командир. — Черников плотнее прижимается к земле и не спеша берет на прицел косогор, что-то шепча при этом второму номеру.

Тот подтягивает коробки с лентами и зачем-то снимает шапку-ушанку.

До двухсот немцев на косогоре.

Два наших станковых пулемета бьют кинжальным огнем. Мы видим, как падают убитые и раненые, несутся крики команды.

Я бегу к штабу, сталкиваюсь с каким-то… немцем с глазу на глаз. Вдруг он бросает винтовку и ошалело кидается прочь, Я вытащил пистолет, но поздно — стрелять было не по кому.

Молниеносное нападение молниеносно отбито. Пока «ничья». А что будет дальше?

У нас двое раненых. Мы обнаружили на косогоре семнадцать немецких трупов, подобрали кое-какие трофеи.

Безнадежно сорвана операция. Неужели среди нас есть предатель? Кто предупредил немцев?

Кто знал о Юсуповской операции? Многие. В штабе — я, комиссар и начальник особого отдела Коханчик, верный товарищ. Знали командиры и комиссары отрядов, связные, те, что были на пике Орлиного Залета, откуда мы изучали подступы к дворцу.

Кто отлучался из партизанского лагеря?

Их трое — дед Кравченко, Бекир Османов и Мамут Камлиев.

Кто таков Бекир Османов? Известный на всю Коккозскую долину специалист — табаковод и виноградарь, человек уважаемый. Он опытный ходок, часто бывает в штабе Четвертого района — там я с ним и познакомился.

Вызываем Камлиева.

— Еще раз повторите данные вашей разведки.

Камлиев спокоен, уравновешен, отвечает с готовностью:

— В Коккозах было около двухсот пятидесяти немцев и полицаев, утром прибыла туда одна машина, забрала двух коров и уехала. В ближайшем селе Фоти-Сала гарнизон до тысячи человек, но вооружены слабо, ни минометов, ни пушек нет.

— Откуда у вас такие точные данные?

— Мы зашли к знакомому кузнецу. Он сообщил.

— Вы ему ничего не говорили?

Камлиев обиделся и пожал плечами.

— А вы давно знакомы с этим кузнецом?

— Еще с детства.

Домнин вдруг оборвал допрос:

— Хорошо, идите. Позовите Османова и Кравченко.

Камлиев ушел.

Домнин стал сомневаться:

— Понимаешь, все у него без сучка и задоринки. Дед потрепаться любит факт, Османов не с охотой на пост становится, бывает, что и с командиром поторгуется. А этот во всем правильный.

— Правильный, — значит, плохой? — подает голос Коханчик. — Что-то новое…

— Человек есть человек. Он не натянутая струна, звенящая одной нотой. Короче, Мамут вызывает у меня сомнение, — заключил Домнин. — Бекиров, например, не знал о первом выходе Маркина, а Мамут сопровождал его до определенного места — раз. Правда, и дед был рядом. Деду верю, как себе. Мамут ходил в Маркур — два. Все как-то в одну точку сходится.

Внимательно допрашиваем Османа Бекирова. Ведет он себя нервно, волнуется, руки подрагивают.

Он повторяет все, сказанное Камлиевым.

— Что с вами?

— Не знаю, но видите, как получается…

Можно понять тревогу Османа. Он боится стать жертвой ошибки, он понимает, что без предательства не обошлось, Сам он — один из тех, на кого может пасть подозрение.

— Иди, Бекиров, — говорит комиссар.

— Куда? — совсем теряется человек.

— В отряд!

Домнин молчит, ходит туда-сюда снова и снова и вдруг мне шепчет: «Надо арестовать Камлиева, только тихо».

Домнин вызывает деда, шепчется с ним. Тот бежит за Камлиевым.

— Слухай, иды до штаба.

— Зачем? — спрашивает Мамут.

— Шею и тоби и мэни намылят, а то и пид суд.

— Но мы же не виноваты, ты сам знаешь. — Он настораживается.

— Черт знает, а не я… Мы ходылы? Мы! За нами прышлы фрыцы? За нами. Вот тоби и сказки кинец. А ты думав, по головки погладят, чи спиртягу дадут? Шиш, брат!

Дед был так непосредствен, что и подумать было невозможно о каком-либо розыгрыше. Но он разыгрывал. Не знаю точно, какие только слова он говорил, но помню: здорово напугал Мамута. У того не выдержали нервы.

Вдруг он остановился на середине тропы, быстро сбросил с плеча полуавтомат, но Кравченко наставил на него карабин.

— А ну не смий!

— Это почему же?

— Не смий! Стрелять буду.

Камлиев чуть наклонился, а потом с молниеносной быстротой подмял деда под себя.

— Встаньте, Камлиев! — пистолет Домнина смотрел на него.

Мамут поднялся, не спеша стряхнул с себя снег.

— Он меня предателем назвал, товарищ комиссар! Я не могу позволить… А все получилось от болтовни старого дурака, могло получиться! Это же первый трепач, хвастун. Он меняется, как хамелеон.

Дед действительно изменился. Побагровевший, с налитыми кровью глазами, он подошел к Камлиеву:

— Брэшешь! Тэпэр я з головою. Мэнэ за язык даже нэ наказувалы, а шоб я потим болтав?! Ничего звалюваты! Сам усэ кузнецу выдав.

Домнин в это время упорно возился с ватником Камлиева.

— Зачем пиджак портите, товарищ комиссар? Пригодится! — запротестовал тот.

— Ничего, залатаешь. — Комиссар продолжал тщательно рассматривать каждую складочку. Вдруг он поднялся, шагнул к Камлиеву. — Есть! Попался, сволочь!

Лицо того стало неузнаваемо.

— Читай! — Домнин передал мне тоненькую, свернутую в трубочку бумажку. В глаза бросилась большая фашистская свастика. Это было удостоверение, выданное Мамуту Камлиеву гитлеровской контрразведкой.

— Грубая работа! — крикнул Домнин. — Не новая. Они всех предателей снабжают такими документами…

— Теперь давайте рассказывайте, — приказал я Камлиеву.

После длительного молчания он решительно поднял глаза.

На допросе мы узнали подробности о его предательстве.

Мамут Камлиев — виноградарь. Воспитывался в богатой

семье. До коллективизации отец Мамута был фактически хозяином села. Сам он учился в школе, а вечерами корпел над Кораном. Получил высшее образование в сельскохозяйственном институте.

Началась война. Мамут сумел увильнуть от призыва в армию и устроился в истребительном батальоне. Когда на базе батальона сформировался партизанский отряд, Мамут попал в лес.

Он тщательно собирал сведения о том, как гитлеровцы относятся к дезертирам, и, найдя удобный момент для отлучки, сам отправился к ним.

В Коккозах, в Юсуповском дворце, тогда располагалась специальная контрразведывательная часть майора Генберга.

Камлиев был принят самим майором.

— Гутен таг, герр майор!

— Мираба, мурза!

Они могли изъясняться на двух языках.

Мамут Камлиев обстоятельно изложил цель своего прихода.

На этом свидании Мамуту Камлиеву было предложено выдать партизанский отряд, а самому, оставаясь в партизанах, работать на майора Генберга.

— Ваш отец получит все свои двадцать гектаров виноградника. Потом помните: мы возьмем Севастополь, и вы свободны. А Севастополь мы возьмем!

Камлиев согласился.

Генберг разбрасывал широкую сеть агентуры специально для связи с Камлиевым, а тот пока выжидал… Участвовал в операциях, даже делал видимость, что смело бьет фашистов.

Его чрезвычайно устраивал дед Кравченко. Простоватый, добродушный, немного болтливый старик был неплохой ширмой для шпиона.

Прошло довольно много времени, пока Генбергу удалось установить связь с ним.

— Вы взвалили вину на Кравченко? — допрашивали мы.

— Я подсказал Иваненко, что дед болтал лишнее.

— Вы выдали партизан Севастопольского отряда на базах?

— Нет, об этом я ничего не знал.

— Вы встречались с Генбергом лично после вашей вербовки?

— Да, встречался. В Маркуре и в доме кузнеца, на окраине Коккоз.

— О выходе связи на Севастополь вы предупредили?

— Да, я сообщил о выходе связи на Севастополь и указал намеченный район перехода.

— А о новом выходе Маркина вы знаете что-нибудь?

— Догадывался. Но куда ушел Терлецкий с Маркиным — не знаю.

— А о нападении, которое мы готовили на продовольственные склады в Юсуповском дворце, тоже вы сообщили?

— Я.

— Каким образом?

— Я напросился на эту разведку, хотя Калашников долго не соглашался. Я уговорил, доказал, что лучше меня никто этого не сделает. В доме кузнеца, пожимая ему руку, я передал заранее приготовленную записку.

— Почему вы, зная о готовящемся нападении на нас, подвергли себя опасности быть разоблаченным или убитым во время боя?

— Немцы должны были выступить в пять часов дня, к моменту выхода на операцию, но выступили немного раньше. Я не успел своевременно уйти.

— Вам известны силы, направленные против нас в данном наступлении, и его продолжительность?

— Нет, этого я не знаю. Знаю только, что наступление будет решающим.

Больше Камлиев ничего сказать не мог.

Мы расстреляли его тотчас же. Не мешало бы, конечно, сохранить предателя для дальнейших допросов, но трудно сказать, как сложатся наши дела завтра, может еще убежать.

35

Десять суток, десять страшных суток, десять дней и десять ночей. Они никогда не забудутся.

Я переживал их четверть века назад, но не забыл и сейчас ни одного часа. Разбуди меня в полночь, на рассвете, когда угодно, спроси: «Где был в десять часов утра третьего марта одна тысяча девятьсот сорок второго года, что делал, что переживал?» — отвечу не задумываясь: «Находился у родника Адымтюр, стоял за толстым буковым деревом и ждал цепь карателей. А что я чувствовал? Я хотел есть, хотел тепла — и даже больше, чем пищи!»

Тут не память, а рубцы на сердце!

Мои боевые товарищи, спутники тех дней!

Митрофан Зинченко! Он чуть выше среднего роста, будто литой, со стальными мускулами, легкий в походе, умеющий мгновенно засыпать и еще мгновеннее просыпаться, всегда

точный в словах и поступках.

Глаза Митрофана! Вот делят трофейную конину. Калашников всячески хитрит, стараясь хоть на один кусочек объегорить кого-нибудь.

Но на контроле глаза Зинченко, они в одни миг, одним лишь взглядом разрушают всю калашниковскую тактику. И Калашников не случайно называет Митрофана «сатана глазастая» и старается быть от него подальше.

В минуты крайней опасности глаза Митрофана Никитовича сужаются, и зрачки куда-то тонут. Только слегка вздрагивают надбровные дуги.

Картина: откос, снежная вата на деревьях, падающая тропа, на ней люди. Не морозно, но сыро, ветер пронизывающе влажный. До двухсот партизан, одетых во что попало, небритых, с проваленными глазами от голода, полусонно стоят, безразличные к тому, что делается вокруг.

Мы — группа командиров — на пригорке. Внимательно прислушиваемся к собачьему лаю, который снова несется со дна долины. Он пока еле слышен, но медленно приближается к нам. Рядом севастопольцы — человек сорок, среди них Михаил Томенко — командир боевого взвода. Это наша надежда, все беды ложатся на их плечи, но ребята выносливы, им можно верить.

У Митрофана Зинченко сузились глаза.

— Топают сюда! — говорит он.

Я посмотрел на Зинченко. Он кивнул: севастопольцы бесшумно скользнули за командиром.

Проходят минуты, долгие как часы; лай совсем рядом. Приказано занять боевые позиции.

Напряжение — как перетянутая струна, вот-вот лопнет!

— Огонь! — зычный зинченковский голос.

Отчаянная трескотня автоматов, не менее отчаянный собачий визг, немецкие команды и двусторонняя пальба.

Я слежу за каждым шорохом, стараясь угадать, что происходит за горкой. Наконец сердце мое начинает стучать спокойнее: стрельба! Пошла левее, еще левее, собачий лай почти умолк.

Через час появляется Зинченко. Перекрещенный трофейными автоматами, флягами с ромом, а на широких плечах здоровенная овчарка с оскалом и потухающими глазами. Он бросает пса под ноги, подмаргивает:

— Чем не харч, товарищ командир!

За Зинченко показывается Черников. Мы называли его «тяжеловозом». Крупноплечий, крупнолицый, с широким мясистым носом, большерукий, с басовитым голосом. Физически

на редкость силен. Однажды за один раз вынес из боя двух тяжело раненных партизан и не охнул.

Мастак был за пулеметом, классик в своем деле. Уж выберет позицию сам Суворов ахнул бы, похвалил. Много покосил немцев за эти дни.

Правда, на восьмые сутки мина разворотила пулемет, а самого Черникова так оглушила, что собственного голоса он не слышал, все спрашивал:

— Товарищи, голос у меня прорезывается, га?

Мы не могли сдержать улыбки, он нас при этом прямо-таки оглушал.

Поднял кулачище, потряс:

— Брешете, а все-таки вертится!

Вот он идет, проваливаясь по колено в глубоком снегу. На правом плече «дегтярь», на груди три автомата, за спиной ужасно вздутый вещевой мешок, а на руках раненый партизан, обливающийся кровью. Тащит все наш «тяжеловоз» и басит:

— Врешь, сволочь! А все-таки вертится!

…Когда мне трудно, невозможно трудно, я вспоминаю Алексея Черникова и его слова: «Врешь, сволочь! А все-таки вертится!»

Ну, а если совсем невмоготу, я еду к нему в Симферополь, и мы молча сидим друг против друга.

Еще один Никитович — Кузьма Калашников. Он старше нас, опытнее. Умел хитрить, обмануть врага, а если нужно, и соседей — лишь бы польза была степнякам, как мы называли акмечетцев.

Ушел из отряда Зинченко, отделился Черников, и примолкла боевая слава калашниковцев. Я уже говорил: хитрость Калашникова позволила отряду жить под носом у врага почти четыре месяца, жить при сносных харчах и в относительном тепле. Походами себя не утруждали, больше думали о том, как бы не навести на себя карателей.

А теперь отряд оказался в равных условиях со всеми, и дело пошло туго, очень туго.

Севастопольцы закалялись с самого начала партизанской жизни. Потому они не только держались сами, но и держали других. А вот акмечетцы сдавали на глазах.

Кто первым опухал от голода? Они. Кто поставлял людей в санземлянки? Снова они. А ведь еще месяц назад они выглядели рядом с севастопольцами прямо-таки откормленными дядями.

И совсем опустил руки наш Калашников, когда открылось предательство Камлиева. Как же так? Тысячу раз осторожный Калашников принял в отряд предателя-шпиона?!

Калашников растерялся, размяк и перестал командовать

отрядом, все больше времени проводил в кругу семьи. А она была с ним, в отряде, — жена, сын. Может быть, этим частично и объясняется калашниковская осторожность?

Разговор Калашникова с комиссаром.

— Как настроение, Кузьма Никитович?

— Что там спрашивать!

— А все-таки?

Калашников пожимает плечами:

— Кому сдать отряд?

— Кто отстранил тебя? Командир?

— А чего цацкаться?! Не заслужил.

Обрушивается на него комиссар:

— Руки поднял — сдаюсь! А мы в плен тебя не возьмем и слабости твоей не отдадим. Командуй отрядом. И на этом точка!

Поначалу я не очень одобрил решение Домнина. Снимать Калашникова надо! Но потом согласился. Какой-то перелом все же в душе Калашникова происходил. Я это заметил по отряду. Появилось что-то похожее на порядок, да и сам Кузьма Никитович стал бодрее смотреть на мир.

Десять страшных дней и ночей!

Что нас держало, почему мы еще жили?

Продуктов у нас не было, о медикаментах даже забыли вспоминать, связи с Севастополем по-прежнему не имели, выход на яйлу блокирован. Пятьдесят партизан сбились в сырой пещере. Каждый день хоронили по пять-шесть человек. Голод, блокада, собаки, предатели, февральские ураганы, листовки пропуска врага, падающие на лес, костры вокруг, а на них каратели смалят жирных баранов.

Ох как трудно, до невозможности трудно! Но мы начинаем ощущать — враг тоже устает.

Вначале каратели старались не шуметь, нападали на нас врасплох. Это им не удавалось — мы держали ушки на макушке. В результате они несли большие потери. Мы становились хозяевами местности и уже не уступали самым опытным проводникам из местных уроженцев. Беда учит.

Теперь походы врага против нас начинаются шумно. Кричат, подают команды, перекликаются друг с другом, швыряют ракеты, стреляют и нужно и не нужно, будто специально обозначают: «Мы здесь!»

Сперва мы думали, что они пугают: «Нас много — всех перебьем!» Но, оказывается, мы были не совсем правы. Скорее было похоже на другое: «Мы идем, уходите и вы, вот и разойдемся».

Может быть, я и неточен. Возможно, враг желал нас доконать

своей настойчивостью, системой прочеса, который всегда начинался ровно в шесть утра и в шесть вечера заканчивался.

Но мы замечали все больше: каратели боятся нас. Бывало, пяток партизан внезапно ударит по флангу наступающих, и вся линия ломается, как хрупкая сталь.

Каратели устают — признаков до черта!

А вот природа совсем безжалостна к нам. Морозы, оттепели, сырость, что еще хуже, чем морозы. Мы не смели жечь костров. Пытались — нас засыпали минами.

Холод вошел внутрь, и изгнать его не было никакой возможности. Даже форсированные броски нас не спасали: мы потели, задыхались, но ощущение холода не покидало. Оно было похоже на лихорадочное состояние, а возможно, «ас и лихорадило. Меня, например, мучили головные боли.

На девятые сутки выбрались из ущелья, поднялись на горку, перевалили через нее и оказались в густом кизильнике, перебиваемом крохотными полянками. Я пригляделся повнимательнее и приказал разжечь костры невысокие, бездымные.

Люди в момент разбежались за сушняком, и через десяток минут затрещал валежник. Так жались к теплу, что не замечали тления одежды. Многие попалили себе бока, ноги.

Целый час грелись. А потом стали лететь мины, не очень прицельные. Немцы стреляли до полуночи; только одна мина попала на полянку, но вреда не принесла.

Жгли костры и на десятые сутки. Мы рассредоточились, и получилось более полусотни очагов. Поначалу не придали этому никакого значения, но днем случайно взяли в плен разведчика. Оказалось: немцы ошеломлены. Они прикинули так: у каждого костра группа в 15–20 человек, значит, партизан не менее 750–1000 человек! Это же сила! Вот почему карательные меры не дают окончательного результата!

На одиннадцатые сутки день выпал спокойный. Ни единого выстрела, нас это даже напугало. Мы провели тщательную разведку: немцы подтягивают свежие батальоны. Вот чем обернулись наши костры! Было над чем задуматься.

Хочешь не хочешь, но под такой удар попадать нельзя — сомнут наверняка. Как же поступить?

Запас — два мешка муки — наш сверхсекретный резерв. И ни грамма мяса.

Мы предварительно провели интересную вылазку. Все знали: дорога с Чайного домика на яйлу одна.

Но оказалось: есть еще один ход. Правда, трудный, фактически там не дорога, а глухая тропа, пробитая когда-то

заготовщиками древесного угля, но все-таки она существует.

Принимали одно из труднейших решений: будем выходить! На яйлу!

— Как с больными? — беспокоится комиссар акмечетцев Кочевой.

— Пока хватит сил, будем тащить. Никого не оставим!

Тех, кто ослаб, сильно истощен, распределяем поровну между взводами, ставим в строй рядом с более или менее крепкими товарищами, даем им наказ: за каждого несете ответственность.

На срочную разведку уходит Федор Данилович, уходит в единственном числе — никто не должен знать о запасном ходе, никто!

Приближается ночь, по-прежнему горят костры, правда теперь почти на поляне Чайного домика. Вокруг нас высоты, а на них костры немецкие.

Ночь лунная, хотя небо не совсем чисто. Порой набегают темные тучи, проглатывают луну, гигантские тени ползут над вершинами.

Немцы обстреливают нас. Подходит дежурный:

— Как с кострами?

— Жечь!

Жечь вовсю!

Разведчики донесли: после полудня по тропе из Коккоз поднялись в лес здоровенные солдаты. На ботинках шипы, на плечах канаты, крючки. Это пришел батальон альпийских стрелков! Именно он уничтожил наших раненых и больных. Завтра, наверное, начнет бить по нам.

Жду деда.

Вот он трет над огнем руки, на бороде сосульки, но глаза озорные:

— Никогисенько там нема.

— Далеко дошел?

— На Ветросиловой був, ей-богу!

— Круто?

— Не дай бог!

Отпускаем деда.

— Ну что, Виктор? — спрашиваю я.

— Надо уходить.

— Дойдем, комиссар?

Вдруг он говорит совсем о другом:

— Что-то обязательно должно случиться.

— Что, например?

— Помню, как моя мать встречала меня после долгой разлуки. Говорила: «Я знала, что ты сегодня приедешь». —

«Откуда могла знать?» — «А мне сон приснился». Ее сны — мечта о встрече с детьми. А у меня сон — встреча с Терлецким.

— Неужели надеешься?

— Такой не может пропасть, — горячо убеждает меня Виктор Никитович.

И я легко поддаюсь его убеждению. Еще бы!

Мы имели два мешка муки. Знали о ней я и комиссар. И потому, что знали, еще больше испытывали муки голода. Домнин страшно осунулся и однажды признался мне, что страдает галлюцинациями. Я предложил немедленно вытащить последний запас. Он отказался наотрез:

— Еще не настало время!

А теперь настало.

Калашников, Черников, Кочевой, Якунин и другие пошли следом за Домниным, еще не зная зачем. Когда мы с комиссаром убедились, что неприкосновенный запас цел, Домнин предупредил:

— Здесь два мешка муки. Мы выдадим каждому отряду его долю, но не разрешим расходовать ни одного грамма.

Насколько это важно, вы без меня понимаете. Муку нести лично, или командиру, или комиссару отряда. Расходовать муку в каждом отдельном случае только по личному приказу моему или командира района.

Конечно, все были поражены. Никто и предполагать не мог, что имеется такой запас.

Муку тщательно разделили кружкой по количеству людей. Командиры отрядов спрятали драгоценный груз в вещевых мешках.

К полуночи партизаны собрались на поляне у Чайного домика.

Еще тлели оставленные карателями костры.

По небу неслись большие тучи. Пробиваясь между ними, полная яркая луна озаряла поляну и высоты, над которыми взвились ракеты гитлеровских застав. Горели заново разожженные костры. Морозный ветер заставлял партизан жаться к пламени. Многие спали сидя.

Обойдя лагерь, мы с Домниным разрешили командирам отрядов сварить затирку из расчета — полстакана муки на человека.

— Товарищ командир, а для чего вы растапливаете снег? — с какой-то странной надеждой спрашивали партизаны, еще не знавшие о муке.

— Сейчас увидите.

Вдруг послышался гул приближающегося самолета. Кто-то

выругался: «Проклятый фриц, и ночью не дает покоя!»

— От костров! — раздалась команда.

Но самолет сделал круг, потом второй, третий… Все ниже, ниже… Вдруг зажглись бортовые сигналы. Они закачались.

— Сигнал! Сигнал! — закричали партизаны.

Да это же сигнал, переданный нами в Севастополь!

— Скорее, скорее ракету! — бегая по поляне, кричал я сам не зная кому.

Мне подали ракетницу. Я заложил в нее единственную оставшуюся у нас белую ракету. Руки дрожат. Не могу нажать на крючок ракетницы.

Совершенно неожиданно для меня раздался выстрел, и что-то белое, шипя, вспыхнуло ярким пламенем у моих ног. Оказывается, я бросил ракету себе под ноги, но и этого было достаточно, — летчик ответил сигналом.

Самолет развернулся, от него отделились большие белые купола парашютов. Потом что-то со страшным свистом полетело к нам, врезалось в землю.

Торпеда-мешок сорвалась с парашюта.

Люди бросились к месту падения грузов. Несколько минут прошло, пока я сообразил: «Ведь надо немедленно все собрать!»

— Командиры и комиссары, ко мне!

Домнин и Кочевой навели порядок. Летчик еще несколько раз зажег бортовые сигналы и взял курс на Севастополь.

По поляне бегал дед, больше всех крича и ругаясь. Видать он уже успел кое-что припрятать. Что-то уж слишком вздулись его карманы. Увидев меня, он увильнул в сторонку.

— Искать всем парашют с радио! — крикнул Домнин.

Через несколько минут из глубокого ущелья донесся голос радиста.

— Есть батареи, целый мешок, только побитые.

И этот мешок сорвался с парашюта!

Я пошел к опечаленному радисту. Собрали немало полуразбитых банок. Кто-то нашел записку.

— Товарищ командир, бумага!

«Уважаемые товарищи, — прочли мы с комиссаром. — Ваша связь пришла после десятидневных скитаний. Маркин здоров, Терлецкий в госпитале. Они герои. Теперь мы знаем о вас и ваших делах все.

Гордимся непреклонной волей партизан к борьбе в этих тяжелых условиях. Будем помогать всеми силами — завтра выходите на связь: мы бросили достаточно батарей. Скоро пришлем рацию. Ждем в эфире ежедневно: 10.00, 14.00, 22.00. Будем ждать всегда. Вам лучше перейти в заповедник. Пожмите

за нас руки тт. Мокроусову, Мартынову, Северскому, Никанорову, Чубу, Генову… И всем народным мстителям Крыма. Будьте севастопольцами, помогайте городу. Разрушайте немецкий тыл, убивайте фашистов и их приспешников.

Обком партии».

Эта записка, прочитанная нами при свете луны, пошла по рукам и вернулась к нам настолько истертая, что с трудом удалось разобрать буквы. Теперь все заговорили о Севастополе, все предлагали свою помощь радисту Иванову, который возился с банками разбитых батарей.

Мы собрали полтонны сухарей, двадцать килограммов сала, триста банок консервов, десять килограммов сливочного масла, тысячу пачек двухсотграммовых концентратов и даже мешочек сушеных груш. К затирке, которая два часа назад была неожиданным пиршеством, прибавились продукты, сброшенные для нас с самолета.

Каждому партизану выдали по три сухаря, куску сала и налили из десятилитровой банки по нескольку граммов спирту. Затирку заправили консервированным жиром и мясом из разбитых банок.

В лагере наступила необыкновенная тишина. На снежной поляне, освещенной лунным светом, темнели фигуры партизан. Люди молча ели.

Это была одна из самых чудесных партизанских ночей. Есть правда на земле, когда такое случается!

Приближалось утро. Мы решили немедленно выходить, чтобы до рассвета подняться к северным склонам горы Беденекыр. Там переждать день, набраться сил, а на рассвете следующего дня начать подъем на яйлу.

Растянувшись цепочкой, друг за другом, окрыленные надеждой на будущее, шли мы на яйлу, шли все до единого, неся в вещевых мешках небольшой запас сухарей, консервов, концентратов из самого Севастополя. Рядом со мной шагал богатырского роста лейтенант Черников. Он нес пару ручных пулеметов, автомат и еще старался помочь мне.

Утром до нас донеслись разрывы мин и треск вражеских автоматов на месте нашей ночной стоянки. Но мы уже были в пяти километрах от нее, на занесенной снегом опушке леса. С запада на северо-восток на десятки километров тянулась яйла — наш путь в Госзаповедник.

Южный мартовский ветер нагнал тучи. Дождь, смешанный со снегом, весь день поливал нас, прижавшихся к расщелинам скал. К вечеру ударил сильный мороз. Одежда обледенела. В сумерках командиры решили разжечь костры. Рискуя загореться, люди

теснились у огня, стараясь растопить ледяную корку на одежде.

Внезапно со стороны Коккозской долины с пронзительным свистом и воем налетел вихрь, забивая наши костры. Мгновенно вырастали дымящиеся снежной пылью сугробы. Люди жались друг к другу, каждый старался укрыться за что-нибудь. Холод никому не дал заснуть. Карабкаться по скалам на яйлу ночью при таком ветре было невозможно.

С рассветом мы продолжали идти. Ветер не утихал. С еще большей силой одолевал нас сон, словно нарочно стремился сбросить в обрыв обессилевших людей. Поддерживая один другого, мы по скалам подымались вверх.

— Эй, проводник, сбились с пути, что ли?

— Идем правильно! — едва донесся ответ.

Отставшие ругали идущих впереди, те — проводников, и все вместе немилосердную природу, обрушившую на нас еще одно испытание.

Вот и яйла. Разбушевавшаяся на просторе метель осыпает нас снежной пылью, слепит глаза. В двух шагах ничего не видно. Держимся друг за друга. Лишь по ощущению подъема догадываемся, что идем правильно.

Нам нужно было во что бы то ни стало добраться до бараков ветросиловой станции.

Ветер стих так же внезапно, как и налетел. Порывы его становились слабее, реже, и через несколько минут мы разглядели контуры недостроенного здания ветросиловой станции.

36

В бараках ветросиловой станции жарко горели печи. Мы топили не маскируясь. Едва ли карателям придет в голову, что в бараках — мы. Партизаны умывались, некоторые даже брились.

Мы с радистом заняли маленькую комнату, запретив тревожить нас.

— Ну как, Иванов, есть надежда?

— Попробую, может, и выйдет.

— Ну, давай, давай. Судьба наша в твоих руках.

Я всячески старался помочь радисту соединить банки. Заряд в банках не пропал. С включением каждой банки стрелка вольтметра все ближе подвигалась к заветной красной черте — «норма».

Только слишком медленно работали руки радиста. За последние дни он очень сдал, тень осталась от человека.

Работает, соединяет банки, но делает все это как-то безжизненно. Мне и жалко его до смерти, и обругать хочется, но тогда, пожалуй, он будет совсем ни на что не способен.

— Иванов, родной, скорее, ведь надо выходить на связь.

— Я знаю, я тороплюсь.

Батарея анода готова. Подбираем накал. Дело пошло лучше. Подобрав несколько штук четырехвольтовых батарей, мы соединили их параллельно. В приемнике раздалось характерное потрескивание.

— Шифр не забыл? — с замирающим сердцем спросил я Иванова.

— Нет.

— Возьми, — я протянул ему бумажку с набросанным коротким текстом: «Обком партии. Продукты получили, батареи разбились, бросайте рацию с питанием. Переходим в заповедник. Завтра ждите в эфире».

Иванов долго возился. Я страшно боялся, как бы он не запутался. Десятки раз повторяя позывные, Иванов посылал в эфир наши отчаянные сигналы.

И вдруг!

— Что-то есть!.. — не своим голосом закричал радист.

Я схватил наушники и наконец услышал, да, услышал долгожданный сигнал. Все отчетливей и отчетливей Севастополь посылал в эфир тире и точки: «Мы вас слышим, мы вас слышим, переходим на прием, переходим на прием».

— Иванов, давай передачу!

Оба мы дрожали от нетерпения. Наконец-то связь, такая долгожданная!

Через каждые десять минут мы взаимными сигналами проверяли связь. И только через сорок минут получили ответ.

Здорово ругал я себя в ту минуту, что не удосужился изучить радиодело. Иванов долго возился. Карандаш в его руках дрожал, и потребовалось более получаса, пока он протянул мне готовую радиограмму:

«Переходите заповедник. Ждем координаты на выброску. Сообщите сигналы для летчиков. Налаживайте разведку. До свидания.

Секретарь обкома Меньшиков».

Это был праздник! Каждый хотел лично прочесть радиограмму. Бумажка пошла по рукам. Люди читали и чувствовали: новые силы вливаются в их сердца.

Теперь все смотрели на радиста с уважением. Еще вчера этот человек ничем не отличался от остальных, а сегодня он стал самым почетным членом коллектива. Каждый предлагал ему свои

услуги. Подсовывали даже сухарики из своих мизерных запасов.

Но радист был скучен, вял и почти не реагировал на внимание товарищей. Видимо, он чувствовал себя очень плохо…

Мы все встревожились.

— Что с тобой, Иванов?

— Ко сну что-то клонит.

— Ложись, вот ватник. Парочку часов успеешь поспать.

Радисту тотчас отвели место. Его берегли. Он стал необходим, как никто другой.

…Темнело. В горах подозрительно тихо. Тусклая луна большим круглым пятном показалась из-за гор, едва освещая яйлу, окутанную огромным белым саваном. Все мертво. Нам предстоял большой, трудный переход: за ночь пересечь Ай-Петринскую и Никитскую яйлы и у Гурзуфского седла по горе Демир-Капу спуститься в буковые леса заповедника.

К утру переход необходимо было закончить.

Как обычно, растянувшись в цепь, мы вышли из этих гостеприимных, теплых бараков, где за один день испытали столько хорошего: поговорили с Севастополем.

Гурзуфская яйла — самая высокогорная часть Крыма. Она пустынна, пейзаж ее однообразен. Зимой бывают здесь ураганы исключительной силы. Они внезапны, коротки и сильны.

Когда мы вышли, ночь была тихая, морозная. На снегу образовался наст, ноги не проваливались, идти легко. И все-таки с первого же километра наш радист стал сдавать.

Отдав другим свой автомат и мешок, я взвалил на плечо рацию и распределил радиопитание среди партизан штаба. Только вещевой мешок с продуктами Иванов никому не решился отдать.

Мы уже пересекли утонувшую в сугробах Коккозскую долину, когда с востока внезапно подул ветер, вздымая смерчи снежной пыли. А с ветром стала надвигаться черная туча, подбираясь к диску уже поднявшейся луны.

— Нэдобра хмара, товарыш командир, — сказал шагавший рядом со мной дед.

— Похоже на пургу, как думаешь? — забеспокоился я.

— Нэдобра хмара, — вздохнул он.

В ушах зашумело. Наверно, понизилось давление.

— Не растягиваться, держаться друг за друга! — дал я команду. — А ты, дед, иди сзади, следи, чтобы не отставали.

С ним пошел Домнин. Они мгновенно растаяли в снежной дымке.

Другого пути у нас не было. Люди насторожились. Застигнет пурга спрятаться негде: по сторонам обрывистые скалы, до леса

далеко. Если спуститься вниз — сомнительно, хватит ли сил подняться обратно. Да и опасно спускаться. Можно опять наткнуться на противника.

Все сильнее и сильнее становились порывы встречного ветра. Нас запорошило. Впереди не видно ни зги — густой белый туман.

Со страхом я видел, что радист выбивается из сил. Он от; дал уже свой вещевой мешок с продуктами.

— Иванов, тебе плохо?

Радист не сказал, а прошептал:

— Я дальше не могу… Оставьте меня.

Я сам остановился как вкопанный, и все остановились за мной.

— Да ты понимаешь, что говоришь? Как это оставить? Ты должен двигаться!

— Но я не могу…

Я схватил его руки. Они были холодные. Да ведь он умирает! Что же делать?

— Иванов, Иванов, мы тебя понесем. Ты только бодрись…

Партизаны без команды подхватили почти безжизненное тело радиста.

Ветер налетал на нас с бешеной силой, забивая дыхание, Все чаще и чаще преграждали путь только что наметенные сугробы. С каким трудом преодолевали мы их!..

Вдруг я услышал шепот комиссара:

— Командир, он умирает!

— Кто?

— Радист.

— Не может быть! — закричал я и осекся…

Люди окружили Иванова, пытаясь сделать все возможное, лишь бы помочь ему. Спинами загораживали его от ветра. Жаль было товарища, да и каждый понимал, что значит для нас сейчас смерть радиста.

Радист умер.

С Ивановым, казалось людям, ушло все: надежда, силы, вселенные в нас вестью из Севастополя. Я не знал, на какой волне работал Иванов.

Быстро вырыли яму в глубоком снегу. Простившись, опустили тело и забросали снегом. В гнетущем молчании снова пошли вперед.

Двигаться становилось все труднее и труднее. Люди выбивались из сил.

Никогда в жизни не испытывал я такого урагана. Невозможно было удержаться на ногах. Ветер отрывал ослабевших партизан от земли. Что-то со звоном пронеслось в воздухе и сгинуло в

пропасти, — партизанский медный казан.

Ураган стал убивать. Первыми жертвами оказались наиболее слабые. Ветер как бы подстерегал мгновение, когда партизан выпускал руку товарища. Самостоятельно один человек не мог удержаться на ногах.

Ураган усиливался.

Не хочу скрывать правды: я пережил минуты, когда силы покидали меня и хотелось только одного: зарыться в снег и спать. Спать, не думая о последствиях. Я не мог слышать воя этого сумасшедшего урагана.

Как мне хотелось тишины! Хотя бы минут пять покоя, чтобы в слабые легкие попал хоть глоток воздуха, чтобы было чем дышать. Наверное, была права мой врач Мерцалова: «Куда вам с такими легкими?»

Но я был командир, и мне нельзя было сдаваться, нельзя… Виктор Домнин, Артем Ткачев, Митрофан Зинченко, Алексей Черников, Кузьма Калашников, Михаил Томенко, Николай Братчиков, комиссар акмечетцев Кочевой, пограничники! Они не сдавались, не прятались в сугробы. Они шли и вели других!

Но были такие, что не выдерживали, падали на снег и больше уже не поднимались.

Мы поступили так: к самым сильным привязали слабых — ремнями, лямками вещевых мешков, тряпьем. И группы в пять-шесть человек ползли по яйле, вытаскивая друг друга…

Отряды растянулись на большое расстояние. Была опасность: кое-кто мог остаться без помощи.

Зинченко, Черников и я поотстали немного и начали поджидать партизан. Вот движутся черные точки, растут, приближаются.

Сильный бросок ветра, человек сгибается в три погибели, руками хватаясь за воздух, поворачивается к ветру спиной. Ветер с посвистом умчался, партизан почти на четвереньках ползет вперед.

И так человек за человеком.

Кто-то истошно кричит, слышится: а… аа… ааа… ааа!

Иду на крик. Вокруг тишина, а за ней устрашающий рывок, будто спрессовали воздух до стальной плотности, а потом швырнули все это мне в спину. Я теряю точку опоры, ураган подхватывает меня и с необыкновенной легкостью бросает в пропасть…

Пулей влетаю в исполинский сугроб, и мне сразу становится тепло-тепло, будто меня окутывают горячей шубой.

Я тут же засыпаю — сладко-сладко. Видится синее-пресинее небо и почему-то одинокий сип, склонивший к земле белую

голову… Сип летает надо мной, кричит, я даже слышу шорох его могучих крыльев.

И только где-то в недосягаемо далеком-далеком живет тревожная мысль. Она в тумане, но все же я ее чувствую, как чувствует глубоко спящий человек неожиданные шаги постороннего, неизвестно откуда появившегося в комнате.

Человек внезапно просыпается и готов к защите.

Так случилось и со мной. Вдруг что-то меня подтолкнуло, и я начал раскидывать снег.

В гвалте и свисте урагана я услышал далекий голос:

— Эй, командир!

Я шел на голос, он будто удалялся, но я беспрерывно слышал:

— Эй, командир!

Стал искать Большую Медведицу. В разрывах быстро бегущих облаков увидел Полярную звезду. И пошел.

Уже начало светать. Ветер стихал. Вдали показались движущиеся навстречу мне темные фигуры.

Первым подбежал комиссар:

— Жив?

— Жив! А как люди, собрались?

— Многих нет, — сказал Домнин. — Думаю, еще подтянутся.

— Где расположились?

— Под скалой Кемаль-Эгерек.

— Неужели все-таки дошли до Кемаля? — обрадовался я.

Когда из-за облаков показалась гора Роман-Кош, наступила тишина. Как будто не было страшной ночи, не было урагана и метели.

Открылся горизонт. Под лучами восходящего солнца блестит снег. Вдали, на пройденном нами пути, виднеются отдельные фигурки. Их-то мы и поджидаем.

В девять часов утра начали спуск в леса заповедника и через два часа разожгли костры под горой Басман.

В двенадцать часов дня над яйлой появился вражеский самолет «рама». Очевидно, потеряв наш след, гитлеровцы искали нас с воздуха.

Этот небывало трудный переход — более пятидесяти километров — стоил нам жертв. Но цель была достигнута: мы перебрались в основной партизанский район.

Наш штаб расположился в бывших землянках Четвертого партизанского района. Знакомые, родные места!

Первым делом мы с Домниным пошли на Нижний Аппалах к заместителю командующего — начальнику Третьего района Северскому и комиссару Никанорову.

Третий партизанский район — наш непосредственный сосед, а руководство — командир Георгий Леонидович Северский и комиссар Василий Иванович Никаноров — прямые начальники.

Северский в роли заместителя командующего оперативно координирует действия не только подчиненных ему отрядов, но и всего нашего соединения.

Я почему-то представлял себе Северского пожилым, суровым на вид мужчиной и был крайне удивлен, когда увидел перед собой человека лет тридцати. Строен, сероглаз, в добротном спортивном костюме, свежелиц, будто только из бани вышел. Порывист, категоричен и абсолютно уверен в каждом слове своем.

Удивил меня и комиссар Никаноров. Он был куда проще. Чуть старше Северского, в черном пальто, в бостоновом костюме. Ни ремней, ни других военных атрибутов. Автомат носит кособоко. Он совершенно не подходит к его внешности, чужероден, как чужеродна граната-бомба, подцепленная на поясной ремешок. По внешнему виду — обычный мирный гражданин, каких в довоенное время можно было встретить на каждой улице, в каждом городе.

А район был ядром партизанского движения. От лесов, где он располагался, ближе всего к центру полуострова — Симферополю, в котором был штаб фон Манштейна.

Симферополь — военный и пропагандистский узел врага; там опергруппа Стефануса, цель которой уничтожить партизанское движение на полуострове. Заслуга Северского в том, что он сумел протянуть щупальца разведки к самым затаенным замыслам врага. Враг задумал — Северский узнал.

Командир обязан этим бесстрашным разведчикам Нине Усовой, Екатерине Федченко, Марии Щукиной, особенно Николаю Эльяшеву. В третьей тетради я расскажу об этих бесстрашных солдатах. Ими дирижировал начальник разведки района — опытный чекист Федор Якустиди. Он оригинал, говорит нервно, а глаза — округлые, как переспелая вишня, так и обшаривают тебя. Сами они глубоки, сколько в них ни заглядывай — дна не увидишь. Худущий, с фигурой «вопросительный знак»; говорить с ним трудно, впечатление такое, что он вот-вот уйдет куда-то, потому слушает тебя на ходу.

Штаб Северского резко отличается от нашего. Прежде всего, все в нем были сыты, жили в тепле — в лесной сторожке Нижний Аппалах, топили печи, спали в нижнем белье, пели песни.

Это не в укор ему, Северскому, а к тому, что я и Домнин были ошеломлены, увидев все это. Ну, например, стол, покрытый

скатертью, хлеб настоящий хлеб!

Нас встретили по-братски, обрадовались, особенно Никаноров.

Увидел нас — ахнул:

— Вывели-таки отряды!

— Общипанными, — улыбнулся Домнин.

— Хлебнули, видать, горя. Так, товарищ? — Северский крепко пожал мне руку. — Надо было ошибку Красникова исправлять сразу же… А вы подзадержались там…

— Не считаю, что напрасно, товарищ замкомандующего. — Нервы у меня как оголенный электрический провод. Коснись — искра.

— Потом, потом, — мягко говорит Никаноров, тянет меня к столу.

— Ничего, злее будем, — отшучиваюсь я.

— Да уж дальше некуда. Из вас зло и так прет. Посмотрите-ка на себя. Северский, смеясь, подал мне зеркало.

— Сколько вам лет? Наверное, пятый десяток меняете, — посочувствовал мне Никаноров.

Я сказал, что мне еще далеко до тридцати.

— Отношения потом выясним. — Северский посмотрел на входную дверь. Фомин!

Входит стройный моряк, готовый в огонь, в воду, к черту на рога только прикажи.

Каблуками щелк, глаза на командира:

— Есть Фомин!

— Братию в баню, да по-нашенски.

Неправду говорят, что в тяжелой обстановке не бывает счастливых минут. Мы, по крайней мере, от всей души наслаждались баней.

После бани нас ждал накрытый стол.

— За выход из кольца врага, за новые, боевые успехи! — Северский поднял стопку и молодцевато опрокинул. — Поход ваш похлестче ледяного марша Каледина. Исторический!

— Мраморные обелиски потом, — остановил его Никаноров, повернулся лицом ко мне и к Домнину: — Севастопольские партизаны совершили подвиг, но… Не мне вас напутствовать, а по-дружески скажу. По-дружески, Виктор, хлопнул Домнина по плечу. — Вот сейчас ударите по врагу поближе к фронту это и будет высшая награда за пережитое, лучашая память погибшим. Ну, хлопцы, за победу!

У меня запершило что-то в горле.

Северский вдруг расщедрился:

— Выделяю двух коров, два пуда соли. Действуй, братия.

Междуречье Кача — Писара — Донга — дикий край Крымского заповедника. Головокружительные скалы, древний лес, сейчас молодящийся набухающими почками, шумные потоки горных рек, недосягаемые кручи.

Непонятная, непривычная тишина.

Странно мы чувствуем себя в большом лесу, настороженно прислушиваемся к глухой тишине и чего-то ждем.

Проходят еще одни сутки, начинаем медленно осваиваться с местностью; а тут Севастопольский участок ожил или слышимость стала лучше, но с запада доходят до нас звуки разрывов и даже отдельные пулеметные трели. Это нас возвращает к испытанному.

Но есть еще одно чувство: удалившись от фронта, мы будто покинули близкого человека, который очень нуждается в нас.

В первые же дни Севастопольский отряд совершил нападение и уничтожил гарнизон в деревне Стиля. За севастопольцами пошли другие наши отряды. После всего пройденного, испытанного, пережитого людям казалось, что ничего не страшно. Главным образом этим можно объяснить проявившуюся в первые дни боевую активность района.

Группа партизан Севастопольского отряда на десять дней ушла ближе к фронту, чтобы отомстить врагу за товарищей, за раненых.

Дед Кравченко и тут с ходу нашел себя, вернулся из разведки, доложил: «В Ялте отдыхают эсэсовцы».

Черников с десятью партизанами спустился на Южный берег.

На побережье была уже весна. Ослепительно сверкало солнце. Выдвинувшись далеко в море, темнело исполинское туловище Медведь-горы. Через несколько дней эта группа вернулась благополучно, с трофеями. В первую минуту мы даже растерялись, пораженные необычным видом наших партизан: они стояли в строю в немецких, мышиного цвета шинелях, в сапогах, в пилотках с наушниками.

Путаясь с непривычки в длинной шинели, ко мне подошел бородач и, пытаясь доложить по форме, громко выкрикнул:

— Товарыш начальник Пьятого району! Товарыш командыр! Фу, заплутався… З задания прыйшлы, побыв фашистов цилых симнадцать штук…

От деда пахло тонкими духами.

— Фашисты, видать, холеные?

— А як же? Оцэ вам подаруночек, — Кравченко достал из кармана флакон.

Большой путь совершили эти духи. Думал ли француз фабрикант, что его парижская продукция окажется в кармане

старого лесника и хозяина крымских лесов Федора Даниловича Кравченко?

Группа Черникова уничтожила немцев из особой команды тайной полевой жандармерии. Той самой, которая участвовала в карательных операциях в районе Чайного домика.

Партизаны принесли два офицерских удостоверения, четырнадцать железных крестов, пятнадцать автоматов, семь пистолетов, двенадцать пар сапог, десять комплектов обмундирования, а главное — карту карательных операций на яйле.

В лесу становилось теплее. Под соснами снег сошел, стало сухо. Немного ниже нашей стоянки, под горой Демир-Капу уже виднелись черные пятна талой земли.

Однажды вечером к нам пришел Иван Максимович Бортников. Он был все такой же, разве усы стали длиннее да под глазами углубились складки.

Я усадил своего старого командира рядом с собой, с радостью жал его костлявую руку.

— Что нового, Иван Максимович?

— Вот читай, там и есть новое, — он передал мне приказ командующего.

Отряды Пятого района вливались в Четвертый. Мокроусов назначал меня командиром объединенного района.

— А комиссар? — сразу вырвалось у меня.

— В другой бумажке сказано.

Мартынов — комиссар Центрального штаба — отзывал Виктора Никитовича Домнина в свое распоряжение.

Новость меня опечалила. Сжился, сработался, сдружился я с Домниным.

С болью прощались с Виктором Домниным и другие партизаны. По такому случаю мы зарезали трофейную овцу. На столе стояли ром, вино — трофеи, принесенные партизанами из последних рейдов.

Дед Кравченко сидел рядом с комиссаром. Повеселевший от рома, он что-то рассказывал.

— А здорово врешь, дед! — подзадоривали его ребята.

— А як же! Бильше всього брэшуть на вийни и на охоти. А я вроди и военный и вроди — охотник. Так мэни и брэхать до утра…

Потом пели. Комиссар читал стихи. Хорошо читал! С каким наслаждением слушали мы Пушкина, Лермонтова! Дед от удовольствия покряхтывал. Когда же Домнин прочел строки:

…Кто вынес голод, видел смерть и не погиб нигде,

Тот знает сладость сухаря, размокшего в воде,

Тот знает каждой вещи срок, тот чувствует впотьмах
И каждый воздуха глоток, и каждой ветки взмах…
дед даже привстал, воскликнул:
— Цэ ж про нас!

Ушел Виктор в далекие восточные леса — там теперь Центральный штаб.

Как мне его потом недоставало!

Стою на тропе, кого-то жду. «Кого же?» — спрашиваю себя. Да комиссара… Вот он покажется из-за дерева, высокий, в шлеме, высморкается, скажет: «Опять простудился».

Где он?

Недавно узнал: он вроде своеобразного секретаря парткома всего партизанского движения. На плечах — партийная работа в отрядах. Трудное дело! Шагать, шагать по Крымским горам…

«Мы ехали шагом, мы мчались в боях… И «Яблочко»-песню держали в зубах. И песенку эту поныне хранит трава молодая — степной малахит…» эти светловские строчки сопутствуют мне до сих пор. И всегда помню, что услышал я их о, т Виктора Домнина, нашего комиссара.

38

Мы в заповеднике. Здесь край партизанский, живой.

Но связи с Севастополем по-прежнему нет. Кто заменит радиста Иванова?

Радисты нашлись, но никто не знал, на какой волне наш Иванов связывался с городом, каким шифром вел передачу.

…Севастополь ничего не понимал: была связь — и нет ее! Ждали сутки, другие, секретарь обкома партии Меньшиков то и дело заглядывал в аппаратную. Наше молчание было необъяснимым — ведь никто в городе не знал, что мы на ледяной яйле оставили радиста.

Эфир упорно молчал.

Терлецкий, подлечившийся, помолодевший, ожидал назначения в пограничную часть. Он уже побывал в гостях в полку майора Рубцова. Его обнимали, тискали, поздравляли. Рубцов обещал выхлопотать его на службу, в свою часть…

Как-то Терлецкого срочно разыскали и привели прямо в кабинет Меньшикова. Секретарь обкома без обиняков заявил:

— Беда, Александр Степанович. Что в горах случилось, не знаем, но связи с отрядами нет.

— Как это нет? — ахнул Терлецкий.

— Горы молчат. Ушли отряды в заповедник и молчат. Вот

так, Александр Степанович.

— Ясно…

— Мы высадим вас и двух радистов. Все уже готово.

…Поднялись к дороге. Терлецкий и два радиста. Терлецкий прислушался. Тихо.

— Пошли, — шепнул и побежал через дорогу. За ним радисты. Он в кизильник, на тропу и тут… взрыв! Наскочили на секретную мину. Радисты погибли. Терлецкий упал без памяти.

Утром жители поселка Байдары увидели, как дюжие фашисты вели по улице высокого советского командира в изорванной, окровавленной шинели, с забинтованной головой.

В комендатуру сгоняли жителей поселка. Вводили поодиночке, показывали на контуженного командира, лицо которого уже разбинтовали.

Серые глаза Терлецкого неподвижно смотрели на того, кого к нему подвели. Комендант спрашивал одно и то же:

— Это есть кто?

Те молчали, хотя знали Александра Степановича, застава которого была за перевалом у самого моря. Очная ставка продолжалась и на следующий день, на этот раз отвечали жители деревни Скели. Торопливо подошел худощавый мужчина нарукавным знаком полицейского и крикнул:

— Так это же Терлецкий! Начальник Форосской заставы и конечно, партизан.

* * *

Невдалеке от Байдарских ворот стоит одинокая церквушка. Здесь до войны был ресторан, сюда приезжали туристы и с площадки, что за церковью, любовались Южным побережьем.

В холодный мартовский день несколько женщин, в потрепанной одежде, с узлами на худых плечах, испуганно жались к подпорной стене. Снизу, со стороны Ялты, истошно сигналя, приближалась черная машина. Остановилась. Немцы в черных шинелях вытащили из кузова чуть живого человека. Он не мог стоять. Фашисты опутали веревкой колени лежащего и потащили к пропасти. Что-то влили ему в рот и поставили над самым обрывом. Подошли офицер и скельский полицейский. Офицер что-то кричал, показывал вниз, на Форос, на море. Скельский полицай заорал:

— Признавайся, дурень! Сейчас тебя сбросят в пропасть…

Офицер отступил на два шага, а полицейский намотал конец веревки на чугунную стойку парапета.

Фашисты толкнули Терлецкого в пропасть. Зашуршали падающие камни. Крикнула одна из женщин и замерла.

Офицер долго смотрел на часы. Взмахнул рукой. Солдаты тянули веревку показались посиневшие босые ноги. Терлецкого бросили в лужу, он шевельнулся, открыл глаза, пристально посмотрел на женщин, наклонил голову и стал жадно пить. Его торопливо подхватили под руки, подняли, швырнули в машину. Она умчалась в сторону Байдар.

— Это Катин муж, нашей официантки. Да, Екатерины Павловны. У нее сынок — Сашко.

— Господи, что они сделали с человеком!

…Выдался ясный день. Ударили барабаны. По кривым улочкам забегали солдаты, полицаи. Жителей Скели согнали к зернохранилищу, на выдвинутой матице которого болталась петля.

Под Севастополем гремели пушечные залпы.

Терлецкого волокли по улице. Бросили под виселицу.

Еще залп. Внизу, в Байдарской долине, — облако густого дыма. Это ударила морская батарея. Терлецкий вдруг поднял голову, прислушался и долго смотрел на молчаливую толпу, потом подошел к табуретке под петлей, оттолкнул палача и сам поднялся на эшафот.

Залпы грянули с новой мощью — один за другим. Терлецкий повернул лицо к фронту и, собрав последние силы, крикнул:

— Живи, Севастополь!

Тетрадь третья. За Басман-горой

1

Бахчисарай — городок древний, бывшая столица татарского ханства. Он втиснут в ущелье, как противень в духовку. Улицы узкие, дома-мазанки с глухими стенами наружу, черепица на крышах замшелая. И вообще здесь многое кажется замшелым: и бывший ханский дворец с обшарпанными минаретами, полутемной посольской, гаремом, и серые двухэтажные дома с высокими венецианскими окнами, и сизые подпорные стены, с которых сочится вода.

Оживлена одна улочка — центральная. По ней два раза в день прогромыхает автобус с открытым кузовом — рейсовый нз Симферополя, проскочат две-три машины из Ялты — экскурсанты во дворец; бывает, пройдет пролетка с местным начальством. Дымят шашлычные, пахнет перекисшим вином и катыком — кислым козьим молоком.

В воскресные дни толпится народ — разноязыкий, шумливый, охочий до шашлыков, караимских пирожков и, конечно, до белого вина, которое здесь дешевле газированной воды с сиропом.

Много стариков. Они на виду зимой и летом. В шапках, с сухими спинами, подпирают каменные заборы, щелками глаз следя за прохожими. Молодежь их почитает, но сторонится. Вообще горожане смотрят на старцев, как на отжившие век деревья в саду.

Городок — районный центр, но главная жизнь не здесь, а в знаменитых долинах: Качинской, Альминской, Бельбекской. Там сады роскошные, виноградники, на горных делянках — душистый дюбек, там работящий люд.

И в городке и в селах население почти не меняется. Разве молодежь отбудет на службу, на учебу, но и она непременно вернется в родные долины.

Каждый новый жилец — на виду.

В начале тридцатых годов в Бахчисарае появился бухгалтер — плотный крепыш с жилистой шеей и добродушно-хитроватой улыбкой.

Звали его Михаилом, фамилия была громкой — Македонский!

Приветливый, вежливый, улыбающийся, с почтением уступающий дорогу старшим.

В провинциальных городках любят о человеке знать все.

Появился выкладывай подноготную!

Македонский о себе не особенно распространялся. Поговорить о том о сем, выпить стакан вина, побаловаться шашлычком — пожалуйста.

Не скуп, заразительно смеется: закинет голову назад и хохочет. А что касается душеизлияний — не умеем и не желаем.

Было ему десять годков, когда в холодный осенний рассвет поднял его с постели отец:

— Иди, сынок!

Мальчишка пришел к богачу немцу Янсону. Тот поглядел на крепыша, сказал:

— Путешь, как фсе! Ити рапотай!

Парень был смышлен: скидки на малолетство не жди!

В голодный двадцатый год в один месяц похоронил отца, мать и старшего брата. Шестнадцать неполных годков, и на руках восьмеро ребят мал мала меньше.

В 1942 году, в студеный февральский вечер, в партизанской землянке Михаил Андреевич признавался нам:

— Чуть не надорвался. Приду с поля, гляну на братишек, сестренок волком выть хочу. Мне казалось, что с пятипудовым мешком иду по узенькой улочке, а по сторонам — дубы-гиганты! И все они под корень подпилены. Дунет ветер — бац! — и от меня мокрого места не останется. Вот так и тащил своих желторотых!

Заработка едва хватало на еду, ребятня бегала в чужих обносках.

Пропала бы вся семья и сгинул бы и сам Михаил, да тут вовремя сельхозартель подоспела. Взяли туда парня со всей ребятней.

Дотянул до призыва; уходил в солдаты с душевным покоем: подросли младшие, да и артельный народ сказал:

— Служи, в обиде твои не будут!

Три года в эскадроне червонных казаков. Научился не только скакать на коне, лозу рубить, из карабина стрелять, но и вынес со службы точное понятие: где свои, а где чужие. А чтобы все и всем было ясно, подал заявление в партию большевиков.

В родную степь вернулся в горячее, беспокойное время.

Македонского — молодого коммуниста — избрали председателем сельского Совета.

Бывший батрак хорошо знал земляков, знал, как они любят сообща лепить мазанку, молотить пшеницу. Его не удивляло их стремление объединить не только земельные наделы, но и труд. Раздражало другое: неумеренная ретивость некоторых наезжавших в село уполномоченных. Один из них и подступился к Македонскому:

— Почему не вывез хлеб?

— Нет его, дорогой товарищ!

— А в амбаре?

— Там семена.

— Гони вчистую, а придет сев — потряси мужичков.

— Голову снимешь, а семена не дам!

— И сниму!

Человек этот был зол на Михаила и воспользовался случаем, чтобы отомстить за старую обиду. Сумел доказать в районе, что Македонский умышленно утаивает от государства зерно.

Македонского вгорячах сняли с работы и исключили из партии. В тридцатых годах вновь получил Михаил партийный билет.

К тому времени братья и сестра вышли на свою жизненную дорогу. Михаил ходил по Крыму: в одном месте обрезал деревья, в другом поднимал плантаж, в третьем таскал мешки с зерном. Но годы шли, и надо было как-то определяться в жизни. Отец мечтал хоть одного сынка вывести в люди. Предел его мечтаний — воспитать в роду своем счетовода. Может, это и было толчком, а может, вспомнились минуты, когда он, двенадцатилетний парень, стоял у конторского окошка янсоновского имения и следил за старичком в толстовке, усердно щелкающим костяшками счетов. Он, батрачонок, старику тогда здорово завидовал. Во всяком случае, поступив на бухгалтерские курсы, учился усердно и кончил с отличием.

Сестра жила в Бахчисарае, хвалила городок, его покой и тишину.

Вот и напросился туда, нашел службу, женился. Но всегда чувствовал в себе избыток сил; казалось, что походит на машину, энергию которой искусственно сдерживают. Дай простор — любая работа не страшна!

В Бахчисарайском райкоме партии приглядывались к бухгалтеру строительного участка. Заинтересовался им молодой секретарь Василий Ильич Черный. Он бывал на партийных собраниях строителей, слушал два раза Македонского. Весомо человек говорил, да так, что сам начальник участка казался на три головы ниже его.

Вызвали Македонского в райком партии.

— Работой доволен?

— Не жалуюсь.

— А все-таки? — Черный заглядывал в глаза.

Молодой секретарь нравился Македонскому и своей откровенностью, и веселостью. Михаил часто видел его среди молодежи и поющего, и танцующего, и серьезного: выступал не

краснобаем, а всегда говорил слова нужные…

— Не знаю! Чего-то мне не хватает, — признался честно.

— Давай вдвоем подумаем, а?

Но подумать не успели — война!

2

Нежданная, как пропасть, которая разверзлась вдруг под ногами.

На долины надвинулась давящая тишина. А косогоры, как нарочно, выстилались урожаями, на кустах искрились гроздья сладких-пресладких мускатов. Душно было у душистого дюбека и далматской ромашки, так и не убранной с долин.

Затих городок, с главной улицы исчез дым шашлычных, позакрывались винные погребки, только старцы по-прежнему терли сухие спины о каменные стены.

Райвоенком принес к секретарю список коммунистов, подлежащих немедленной отправке на фронт. Василий Черный внимательно изучил его и перед некоторыми фамилиями ставил маленькие отметинки-птички. Такая птичка появилась и перед фамилией Македонского.

— Пока этих не трогайте, товарищ военком.

Рапорты, заявления, личные просьбы… На фронт, на фронт; Трудно сказать, кого было больше в приемных военкомата: тех, кого вызывали по повесткам, или тех, кто пришел по личной воле…

Я не так давно обнаружил в архиве заявление нашего совхозного секретаря партийного бюро Дмитрия Ивановича Кузнецова. Он был ходячая смерть, на наших глазах чахотка сжигала его. И вот строки из его просьбы: «Я знаю: больше года не протяну, чахотка спалит. Но я хочу умереть с оружием в руках. Умоляю: дайте мне такую возможность!»

Дмитрий Иванович добился своего: защищая Севастополь, был смертельно ранен и умер солдатом.

Пять рапортов Македонского лежали на столе секретаря райкома. Литые строки: я хочу на фронт, я обязан быть там!

— И ты считаешь, что в райкоме не знают, где сейчас место каждого коммуниста? — спросил Черный.

— В данном случае — нет, не знают. — Македонский был категоричен.

— Объясни!

— Бухгалтер не нужен — строительство заморожено. Я здоров, стреляю, умею и с саблей, и за пулеметом лежал!.. Немцы

под Перекопом! Так где же мое место, товарищ секретарь?

Василий Ильич молчит, думает. Он вчера был на бюро обкома партии, и там предложили срочно сформировать партизанский отряд, найти командира.

Но… согласятся ли с такой кандидатурой члены бюро? Черный помнит, как кто-то уже бросал фразу: «Этого Македонского из партии исключали, не забывайте!»

Черный спросил:

— А если райком поручит тебе эвакуацию скота?

Македонский почуял: секретарь райкома имеет в виду другое. Он ответил так, как отвечает человек, которому выбора не дано:

— Прикажут — погоню и скот.

Черный улыбнулся:

— С тобой не соскучишься. Сядь поближе. — Черный подал список. Прицельсь к каждому и скажи: подходящий народ для партизанства или нет?

Быстро, но придирчиво оглядел список, сразу же увидел и свою фамилию, и самого Черного, и многих, многих, которых знал лично… Не то что глазами, а вроде руками каждого прощупывал…

Два секретаря райкома партии — Черный и Андрей Бережной, все заведующие отделами райкома и райисполкома, цвет партийного актива: агрономы, механизаторы, учителя, председатели колхозов и сельских Советов… Девяносто коммунистов района! Вот так костяк отряда!

Македонского определили в заместители командира. Отряд дали Константину Николаевичу Сизову. Он командовал местным истребительным батальоном, был ловок, быстр, не робел в любом деле. Не признавал невозможного.

Отряд сразу как бы поделился на две части. Кто пошел в лес из истребительного батальона — держался поближе к Сизову, кто держал власть в прифронтовом районе, угонял скот, спасал добро, эвакуировал семьи — к Македонскому.

И даже стояли группы в разных местах, а связывал их только комиссар Василий Черный.

Сизов спешил, хотел сразу же взять фашистов на абордаж. Его партизаны на кургузых лошадках врывались в села, через которые уже прошли передовые немецкие части, но куда не дошли оккупационные власти. Под руку попадались обозники, тыловики, они бежали от первого выстрела, и Сизову казалось, что он на коне. В села заходил как хозяин, поднимал над сельским Советом красный флаг и говорил:

— Советская власть жива!

Македонский начинал с мелочей: учил партизан наматывать

портянки, натягивать на них сыромятные постолы, вспоминал, как в летних лагерях на войсковом учении быстро строили шалаши, показывал, каким манером разжечь бездымный костер, как ходить по тропам…

Народ у него был равнинный, горы видал только издали Все было интересно и нужно.

Македонский с оглядкой приближался к шоссе Бахчисарай — Бешуй, по которому двигались немецкие обозы — правда, не густо, но с охраной. Присматривался. Разобьет отряд на пятерки, скажет старшему:

— Посиди над дорогой, погляди. Хорошо гляди, а потом все расскажешь.

— Швырнуть гранату дозволяешь?

— Делай, как велел!

Правая рука Македонского — его шурин Михаил Самойленко. Ну и выдержанный человек! Черты лица мягкие, голос глуховатый, но зато умеет ближе всех подобраться к шоссе, да так разглядит немцев, что будто книгу открытую читает. И в лесу свой человек: глаза завяжи, а точно возьмет нужную тропу. Их, таких, при Македонском много. Взять, к примеру, Михаила Горского. Пройдет по каменной круче — песчинка не шелохнется.

А Сидельников — председатель Бия-Салынского Совета? Село за горой и за бором — и дыма с того места, где стоит сейчас отряд, не увидишь, — а он знает все, что там приключается. Треух на затылок и слушает: «Трехтонка ихняя с мертвым грузом!» Или так: «Пехтура идет, усталая». Не слух, а звукоулавливающий аппарат.

Сизов пошумел в предгорье, но только пошумел. Навалилась оккупационная машина и сразу же бросила Константина в горы.

Так жили две половинки рядом. Рядом, но врозь. Сизовцы кинулись было «пошуровать» в Качинской долине, но Македонский решительно воспротивился:

— Рано! Надо бить, а не пугать!

С Сизовым пришел армейский капитан из окруженцев — Андрей Семенов. Вояка, дважды раненный, с орденом. Поглядел он на Македонского и раскричался:

— Отсиживаетесь, даром хлеб жрете! А Севастополь в огне, в крови… мать вашу…

Михаила Андреевича не так-то легко сбить. Он спокойно выслушал капитана, а потом спросил:

— Чего ты хочешь?

— Разреши выйти в Альминскую долину! Я там кое-кому зубы покромсаю.

— Пожалуйста, дорога не заказана!

Комиссар с удивлением посмотрел на Македонского: почему так легко соглашаешься?

Македонский дал капитану опытного проводника, пожелал доброго пути.

Комиссар сказал:

— Слишком горяч.

— Но не из тех, кто с пустыми руками приходит, — заметил Македонский.

Через два дня Семенов вернулся, троих в отряд не довел — убили каратели.

Но Семенов не успокоился, стал подбивать Сизова походом идти под самый Бахчисарай. И Константин Николаевич пошел бы, да кое-что помешало.

3

Задождило. И льет, и льет — сухого места не найдешь. Плащ-палатки повздувались, шуршат.

У костра, бездымного, но жаркого — граб палят, — сбилось с десяток бахчисарайцев. Ближе к огню распаренный Иван Иванович Суполкин — дорожный мастер, друг Македонского.

Рассказывает с захлебом:

— Топаем, значит, а он как даст разрывными. Амба — думаю! Шурую, а селезенка… Весь стал деревянный, негожий. Мамочка моя!

Сидельников — пожилой, морщинистый, сонноглазый, — кротко улыбаясь, перематывает бинт.

— Вон глянь, как шибануло осколком из разрывной… Сидельник, покажь, покажь…

Сидельников улыбается: трави, Иван, время есть!

Ничего особенного не происходило: облазили долину, понаблюдали, а потом немцы их погоняли. Руку поранил, когда сигал с обрыва, — пришлось.

С мест повскакивали от неожиданной стрельбы за горой. Си дельников навострил свой «звукоулавливающий», встревоженно сказал:

— Никак в Бия-Сала! Точно!

Прибежал Македонский:

— Суполкин и Сидельников! Выяснить!

Отряд по-боевому собрался, готовый на марш, на бой — на что прикажут.

Стрельба продолжалась, но отходила в сторону яйлы и понемногу затихала.

Возвратился Суполкин. Возбужденно докладывает:

— Кавардачок получился — пальчики оближешь! То морячки дали жару!

Обычная история тех дней: взвод матросов выходил из окружения, наголодался и по пути в Севастополь решил заглянуть в деревню Бия-Сала. А там стояли немцы, вот и схлестнулись.

Врага поколошматили, прихватили овец — и в горы…

— Где Сидельников? — забеспокоился Македонский.

— Морячков в долину выводит.

Сидельников вернулся попозже и отвел Македонского в сторону. Что там он говорил Михаилу Андреевичу — неизвестно, но Македонский прямо-таки зажегся от его слов, подошел к комиссару и, энергично размахивая руками, стал доказывать: так, мол, и так…

Накатывался вечер, дождь пошел на убыль, в речушках и буераках рвалась вниз мутная вода, унося палую листву.

Появились в лагере Сизов и Семенов. И они были в необычно собранном состоянии.

— Миша! — на ходу крикнул Сизов. — С полсотни ребят мне подбери!

— На Бия-Сала, да? — ахнул Македонский, по-видимому подумав о том, как порой все сходится в одну точку.

— Что мне твоя Бия-Сала! Нас в Ауджикое ждут! Вон у капитана спроси!

Оказывается, командир отряда и капитан наблюдали за селом, что лежит поближе к Бахчисараю, почти в центре Качинской долины. Туда сходится немало дорог. Так вот, в Ауджикое два эскадрона румынской кавалерии. Охрана тяп-ляп; когда в Бия-Сала поднялась стрельба, то драгуны Антонеску заметались по кривым улочкам и долго не могли собраться под руку своих командиров.

Капитан Семенов лаконично подтвердил:

— Войду, расколошмачу, и дело с концом. Там растяпы!

Македонский молчал.

Семенов очень настойчиво:

— Да вы что: в куклы играть пришли?! Под Севастополем кровь, а в-вы-ы!

Капитан как бы с огнем в сердце жил: сгорал на глазах, высыхал, как щепка на солнцепеке.

Сизов покосился на комиссара:

— А ты?

Черный надеялся главным образом на Македонского. Правда, тот ничего выдающегося еще не совершил, но комиссару он нравился.

Комиссар ждал последнего слова Македонского, — собственно, он знал его: доклад Сидельникова был ему известен.

Македонский категорически не согласился с планом Сизова. Он знал упорство командира, но решил взять логикой. Доказывал: в Ауджикой войти войдем, но не выйдем. Уже через полчаса нас окружат. Отряд еще ни одного партизанского боя не провел, зачем жить по правилам «первый блин комом»?

Другое дело удар по Бия-Сала! Немцы уже побиты моряками, но главная суть не в этом, а в том, что проводник есть замечательный, Сидельников, сам бия-сальский предсовета. Он проведет ударную группу через сад прямехонько на фруктовую базу, а там и немцы.

— Надо первый удар выиграть во что бы то ни стало! Дозвольте мне, и я его выиграю.

Капитан Семенов был неудержим, но солдатский нюх его выручал. И сейчас он заставил себя вслушиваться в убедительные доводы Македонского, хотя и относился к его военному мастерству недоверчиво: ведь бухгалтер! Но тут прикинул: «А что, налет на Бия-Сала может получиться!»

— Дело говорит! — крикнул он. — Давай добро, Константин Николаевич!

…Полночь, небо беззвездное. На вершине горы Петушиной — Сизов, Черный, Македонский.

Внизу, где ревмя ревет бурная Кача, лениво постреливают.

Зябко жмется к скале Сизов, комиссар поглядывает на фосфоресцирующие стрелки часов: уже пора, пора!

Тяжелые взрывы — их было несколько — словно рашпилем продрали ночь. И огненные столбы! Один, другой, третий…

Македонский по-мальчишески подскочил:

— Дает капитан!

Нетерпеливо-встревоженно проснулась долина. Глухая ночь замережилась трассами светящихся пуль, заплясали сигнальные ракеты аж до самого Бахчисарая.

Быстротечен партизанский налет. Догорал его очаг, а люди по глухим буеракам спешили в горы, в свой Большой лес.

Разведчик Иван Иванович с птичьей легкостью выскочил на гору и положил у ног Сизова два трофейных автомата и флягу с ромом:

— От благодарных воспитанников!

Сизов довольный:

— Рассказывай, черт!

Иван Иванович только настроился поэффектнее преподнести случившееся, но появился сам капитан. Отрапортовал по всей форме:

— Ночная операция завершена, убито двенадцать солдат противника, сожжено семь грузовых машин, взяты трофеи: автоматы, ранцы, карабины. Отлично действовал проводник товарищ Сидельников, прошу объявить перед строем благодарность.

Первый блин! Но не комом, не комом…

4

В штабе нашего соединения — Четвертого района — думали, гадали: что с бахчисарайцами? Никаких вестей.

А тут страшная беда: побег партизана из коушанского колхоза. Знает, гад, все наши базы, особенно бахчисарайские. Командир соединения Иван Максимович места себе не находит. Всем не сладко.

Четыре года я прожил на Южном берегу, видел удивительно спокойные осенние дни, когда в тишине и море и небо и дальние горы с потускневшими вершинами. И никак нельзя было предположить, что почти рядом, за вершинами, осень другая — холодная, сырая, постылая.

И вот судьба бросила меня, рядового совхозного механика, молодого коммуниста, — только за месяц до начала войны вступил в партию, увлекавшегося чтением книг о героике гражданской войны, за перевал, в холодные горы, в неизвестность.

Иван Максимович — наш командир, я — начальник штаба соединения, беспокойно смотрим в просвет сосен. Там — тропа, тянется она с реки прямо к нам.

Командир ждет связных от Сизова. И я жду.

Спрашиваю у него:

— А они знают, где нас искать?

— Знают!

Командирская тревога едва ли не все заслоняла — он не сходил со своего места, стоял согнувшись, уперев взгляд в тропу.

Дождался: пришли бахчисарайцы. Лучше бы не приходили.

Андрей Бережной — старший связной, бывший секретарь райкома — без всяких вводных оглушил:

— Базы разграблены! Командир отряда Сизов убит!

Мы дали время Бережному на отдых. Он поспал, подкрепился олениной и подробно рассказал о том, что произошло в Бахчисарайском отряде.

И вот что мы узнали.

* * *

Семеновский ночной удар круто изменил обстановку в Качинской долине: строгая патрульная служба, никакого движения населения, вокруг сел окопы, комендантский контроль…

А через два дня неожиданный и ошеломляющий удар по главной партизанской базе. Нападал батальон, а вместе с ним явились и коушанские полицаи с тремя десятками подвод. Базу не искали — знали; начали с вина: выбили днище бочки, приложились как следует, и начался пьяный разгул. Пылали костры, жарилась каурма, звякали об деревья бутылки.

Сизова сдерживали вдвоем: Македонский и Черный. Он хотел бросить на грабителей отряд в полном составе, но разведчики Иван Иванович и Сидельников точно выследили: фашистам это и нужно. У них в резерве два батальона пехоты, ждут только момента, чтобы захлопнуть в капкан отряд целиком.

Кто-то из местных полицаев пьяно орал:

— Эй, Си…зо…ов!! Выходи! Ага, штаны мокрые, анасен-бабасен…

Грабеж, шумный, разухабистый, продолжался до поздней ночи.

Македонский увел отряд к лесничеству Марта.

Небо хмурилось, с деревьев слетали последние листья, только дубы, оставаясь одетыми, еще пуще потемнели.

Все черным-черно, черно и на душе.

Хозяйственный мужик и в самую тяжкую беду, когда смерть косит напропалую, не выйдет со двора, не закрыв за собой калитку.

Нечто подобное делал и Македонский. Положение отряда было гибельным, но Михаил Андреевич разведывал всю местность вокруг, на ходу подобрал под Мангушем скот, одну базу, о которой знали только он и Сидельников, к полуночи перепрятали в более надежное место.

Ему нужно было знать самое главное: завтра нападут фашисты на отряд или еще помешкают денек-другой?

В три часа ночи стало ясно: нападут! Уже в урочище Славич две роты, с Мангуша спустился в долину батальон, на Коушанском хребте — минометы.

Уйти или принять бой?

Комиссар осторожничает, предлагает перемахнуть шоссе Коуш — Бешуй и быть поближе к штабу района, то есть к нам.

Семенов, как всегда, рвется в бой. Он предлагает уже к рассвету захватить немецкие минометы, а потом шарахнуть по

Славичу.

Сизов помалкивает и ждет, что предложит Македонский.

А Македонский не отрывал глаза от карты-километровки. Комиссар не сомневался: он отряд под удар не подставит.

И вдруг Македонский заявляет:

— Легко карателя войдут в лес в первый раз — легко войдут в десятый. Надо драться!

Все разом обернулись к Михаилу Андреевичу — от него таких слов не ждали.

— Объясни! — не стерпел комиссар.

Македонский объяснил. При этом я не был и точных слов его не знаю. Но, наверное, именно в эти минуты и начала определяться та самая тактика лесной войны, о которой после войны Михаил Андреевич писал: «Дай врагу по зубам, да так, чтобы он даже не понял — кто, что, откуда, а тебя уж след простыл, ты уже в другом месте подстерегаешь его».

Решение приняли такое: капитан Семенов с группой боевиков остается на месте, — значит, на Марте, усиленные группы под командованием Глушко и Горского прячутся на флангах. Они заявят о себе только после того, как Семенов отойдет.

Македонский держит резерв и использует его по обстановке. За комиссаром тыл.

Сизов не сопротивлялся, как бы добровольно отошел на второй план. Потеря главной базы ему дорого стоила.

Быстренько перегруппировались, поели всухомятку, бесшумно заняли боевые точки.

Утро началось с тумана, но он был жидковат и недолговечен: сбоку потек ветер и выдул мглу. Ветер холодел, и вскоре кроны охватило голубоватой сединкой — первой изморозью.

Снаряды выскочили из-за гор внезапно и с нахлестом врезались в серую теснину. Покатило эхо — туда-обратно, воздух зажелезнел.

Семенов и его бойцы прижались за каменным уступом, легшим поперек поляны. Впереди краснела черепица лесного домика. Опытный глаз капитана точно предугадал путь карателей: появятся на поляне с двух сторон, а потом кинутся на домик.

Так оно и получилось: немцы одновременно показались справа и слева, стали, постреливая, сходиться у центра поляны.

Капитан ждал. До двух взводов карателей спиной к нему.

— Огонь! — Семенов поднялся и прилип к толстому дубу. — Бей!

Упало несколько солдат, а другие в момент исчезли.

Над головой Семенова прошипела низко ракета — сигнал

Сизова: уходи!

Семенов не ушел. Участник этой засады рассказывал:

— Увидали сигнал, было поднялись, а капитан как крикнет: «Лежать!»

После небольшой паузы стал нарастать шум, вроде приближался сильный ветер…

Это мина, еще и еще! Они густо нависали над поляной, падали на пожухлую отаву, смачно жвакаясь. Едкий дым стал забивать низины.

Минометный огонь расчетливо наступал на семеновцев. Еще одна сизовская ракета перечеркнула небо, а потом фонтаном вскинулись две красные: предупреждением флангам — показать себя!

Все это совпало с появлением немцев на поляне.

Семенов истошно закричал:

— Огонь!!!

Забушевало на флангах, самый момент Семенову уходить, но он не ушел.

Сразу же сноп мин взорвался точно там, где лежали Семеновцы.

Одна на куски разорвала капитана, а другие еще пятерых убили.

Македонский с резервом бежал на минометные позиции и лоб в лоб столкнулся с цепью карателей.

Так сблизились, перепутались, что и стрелять стало невозможно. Иван Иванович, сам Македонский, Бережной — у всех саженные плечи, железной крепости руки-клещи — схватились с карателями врукопашную.

Иван Иванович поднял немца и бросил в пропасть, другому размозжил прикладом карабина голову.

Смяли цепь, смешали с грязью, на ходу хватали немецкие автоматы, стреляли в упор и выскочили на Коушанский, хребет. Тут увидели комиссара и трех партизан.

— Где тыл? — спросил Македонский.

— В Камышлах.

Сноп автоматного огня. А каменные осколки со свистом носятся, скошенные пулями. Македонский увидел немца, выстрелил.

— Миша, вправо! — кричит комиссар.

Пуля, обжигая щеку, пролетает мимо.

Сбоку хлестнули короткой пулеметной очередью. Иван Иванович сиганул вниз, а за ним Бережной. Они задушили расчет.

Сизовские фланги начали приближаться: по стрельбе заметно.

Неожиданно немцы исчезли. Нет их, и все!

Сидельников прибежал с тропы:

— Идет драп, Михаил Петрович!

Карателя покидают Большой лес, воют моторы на дорогах.

Эх, Семенов, Семенов! Отчаянная твоя голова. Прощаются всем отрядом. Братская могила.

Первый лесной бой, первый урок, дорогой урок: десять партизан убито.

5

Была причина для радости — как-никак, а бой в лесу выиграли. Но порадоваться не пришлось. Утром новость — как удар: сбежал помначштаба отряда!

Он почти всегда находился под рукой Сизова, во время боя был рядом и вот будто испарился.

Ничем не примечательная личность, только и знал: «Так точно!»

Может, ранили человека или еще что-нибудь приключилось с ним? Да нет же, еще перед рассветом видел его Иван Иванович.

Обыскали на версту вокруг — никакого следа.

Македонский спросил у комиссара:

— Что думаешь, а?

— Может, струсил?

— Это полбеды.

— Нам оставаться здесь нельзя!

Сизов категорически против того, чтобы напрасно подозревать человека.

— Я с ним четверть века рядом жил. Порядочный человек!

Как-то незаметно, но верно вся разведывательная служба отряда сосредоточивалась в руках Михаила Самойленко. Его спокойствие в бою и беспокойство перед боем и определяло положение в отряде. Только лагерем стали, а Самойленко сейчас же руководству: того послать туда, другого сюда, взять под наблюдение то-то и то-то. И что главное: целился точно.

И вот сейчас Михаил Федорович шепчет Македонскому (вообще Самойленко любит говорить тихо):

— На Мулгу советую.

— А что там?

— Там нас не ждут.

Десять километров марша, но необычного, тайного. Пройти так, чтобы и кустик какой не шевельнулся.

Раздали продукты, патроны, гранаты, предупредили: шагать

на цыпочках, дышать так, чтобы и самому не слыхать собственного дыхания.

Тяжелы за яйлой ноябрьские ветры — влажные, знобящие. Крупный дождь косо сечет тропы.

Шли всю ночь. Впереди маячила лесистая Мулга — заветная точка. Отсюда, правда, рукой подать в долину, где сёла с гарнизонами, но расчет: затихнуть и переждать опасность.

Рассвет застал у подножья. Здесь место полуоткрытое, и земля схвачена первым морозцем.

Приткнулись спина к спине и затихли в чащобе, обставленной высокими соснами.

Первым это принес Сидельников. Он приближался к Македонскому, и по его глазам можно было понять: беду несет!

— Немцы! — сказал сдержанно, а будто в упор бабахнул.

Македонский раздвинул ветки: на просеке, что пересекала ущелье, отделявшее отряд от Мулги, промелькнули солдаты.

Через полчаса стало ясно: каратели ждут отряд!

Вспомнили: вчера ночью в штабе была высказана мысль, что можно пересидеть опасное время на Мулге, а потом снова вернуться в Большой лес. И еще вспомнили: Досмамбетов догадывался о разведке Самойленко.

Безбожное невезение: многие убиты, не меньше раненых, потеряны базы. И самое страшное — предательство.

В командире отряда Константине Николаевиче Сизове вдруг проявилась та решительность, которой не было в прошлые дни, словно сейчас только по-настоящему понял, что именно он, а никто другой, командует отрядом.

— Самойленко! Ко мне! — Голос у Сизова твердый, будто только прорезался. — Обшарь правый фланг! Даю двадцать минут.

Иван Иванович летел на левый, Сидельников и Бережной пересекли ущелье и выползли на скат горы.

Сизовскую волю вдруг почувствовали все. Он только глаза поднял, а Македонский тут как тут.

— Решаю так: ты, Миша, идешь на правый фланг и. ждешь до той поры, пока фрицы бок под твои автоматы подставят! Я за час обойду Мулгу с тыла и нанесу первый удар, подгоню немца под пулеметы Коваленко и Глушко…

После войны я был на том месте, откуда Сизов смотрел на Мулгу, где выложил свой план молниеносного боя. Надо сказать — план отличный! Бюро Бахчисарайского райкома партии, видать, хорошо знало, кому доверить отряд. Жаль, что Константин Николаевич Сизов не успел развернуть свой талант.

Немцы укрепляли на уступе Мулги минометы, громко

стучали топорами, кто-то играл на кларнете, но далеко-далеко. Видно по всему: они не догадывались о том, что отряд, которого ждут, у них под ногами в буквальном смысле слова.

Сизов отобрал сорок партизан и налегке — даже без вещевых мешков двинул в обход. Он простился с Черным, Македонским.

Они обнялись, здоровые, плечистые — Сизов и Македонский.

— Смотри, Миша! — последние сизовские слова.

За станковыми пулеметами два командира Красной Армии: капитан Коваленко и лейтенант Глушко. Они из Семеновской группы, упрямые хлопцы. Такую позицию выберут, как на ученье, и с нее не уйдут, пока не прикажут.

Чуть поодаль рассыпался в шахматном порядке взвод под началом Андрея Бережного.

Бережной — молчун. Интересно, какой из него секретарь райкома? Говорить же с народом надо. Черный рассказывал: «Сидит Андрюша на бюро, глаза на красное сукно, руки меж коленками и вроде спит. Первый спрашивает: «Дремлешь, товарищ Бережной?» Молча глаза подымет, руки потрет — вроде на перекур собирается. Сонный, а слышит все и впросак не попадет. Вон у Македонского, на стройке. Появится Бережной и пошел пехом по всему участку, один — без начальников. Вопроса не задаст, но уж потом начальник участка дает дражемент: не дай бог вызовет!»

Кажется, прошла вечность с той минуты, как Сизов скрылся за кустарником. Пора, пора бы и начинать!

Холодно, зуб на зуб не попадает. Скорее бы, только не лежать на этой насквозь промокшей земле…

Мулга еще молчит.

Македонский на фланге, шапку то на затылок, то на лоб: где же Костя?

Началось с ракет: они вылетали из-за Мулги. Немцы обозначили себя, но никакого движения не произошло.

И тут за Мулгой загремели противотанковые гранаты.

И пошло.

Стрельба фронтально падала с Мулги — быстро, дружно. На линии коваленковского пулемета промелькнули первые немцы, но капитан еще не строчил, а только покрепче сжал рукоятки.

Первым ударил Глушко, сыпанул свинцом, как водой из шланга под бешеным давлением.

Заголосил и коваленковский пулемет. Он бил низом и ни одного немца к обрыву не подпустил.

Тогда немцы двинулись в лощину, а с нее туда, где ждал их Македонский.

Там наперебой затрещали автоматы вперемешку с частыми

хлопками из полуавтоматов.

Ракеты: белая, зеленая и снова белая!

Фашисты уходят. Быстро они это делают.

Македонский рванулся на Мулгу к Сизову.

И вдруг надрывный женский крик:

— Костю… уби… ли… иии!

Это Дуся из тыловой службы.

Откуда-то появился комиссар. Лицо у него восковое, он без шапки.

Македонский присел — сердце зашлось.

— Командира убили! — закричал Иван Иванович и закрыл лицо руками.

Сизов лежал на палых листьях, лицо у него успокоенное и будто помолодевшее. Грудь прикрыта зеленой телогрейкой. Македонский нагнулся, приподнял полу: темное пятно над Костиным сердцем.

Убит… убит… убит…

6

Иван Максимович Бортников был бахчисарайцем и близко к сердцу принял все, что рассказывал Бережной. Он предложил мне:

— Собирайся в их отряд, посмотри на все своими глазами, Вернешься — и обо всем решим.

* * *

В отряде встретили меня тихо, обыденно. Остановил часовой. Повели на возвышенность. Под сухими соснами довольно странный шалаш из плащ-палаток, пахнет сырым дымком.

Из шалаша вышел человек с усиками и большими белками глаз, уставился на меня.

— От Бортникова! — сказал сопровождающий. — Начштаба!

— Черный, — протянул мне руку комиссар, приоткрыл конец палатки. Миша! Гость!

— Ась?! — зевнул плотный бровастый мужчина, уставился на меня и протянул теплую ладонь. — Македонский.

Он был какой-то домашний.

— Дуся! Побалуй чайком!

Вошла краснощекая девушка, протянула полную кружку кипятку, заваренного душистыми травами.

Я чувствую: Македонский изучающе наблюдает за мной, но старается делать это вежливо.

Михаил Андреевич мне понравился с первого взгляда.

Кажется, англичане говорят: кто прав, тот не спешит. Не спешил и Македонский. Попили чайку, покурили, Михаил Андреевич заинтересовался моим регланом.

— Летный?.. Красивый.

Трое суток я жил рядом с Македонским и Черным. И с каждым часом мое настроение изменялось к лучшему. Мы — наш штаб — сидели где-то под Кемаль-Эгереком, думали и гадали, что с бахчисарайцами. Чувствовали себя неуверенно и робко нащупывали связь с отрядами, которыми должны командовать, Но все это было там, в отрыве от чего-то главного.

Там мне, например, казалось, что ничего не выйдет с партизанской борьбой в этих непартизанских условиях, когда кругом враги, в селах полно карателей. Бахчисарайцы думают иначе.

Отряд живет в трех километрах от Коуша — там большой гарнизон врага; слышны не только выстрелы, но даже команды. Это не беспокоит бахчисарайцев. Знают: в Коуше ничего нового не происходит.

И во всем домовитость, простота. Здесь не принято становиться по команде «смирно» или называть официально «товарищ командир отряда», «товарищ комиссар»… Величают друг друга: Михаил Андреевич, Василий Ильич, а то и просто по именам — Ваня, Коля, Миша. Здесь упор не на внешнюю сторону дисциплины, а на ее, как говорит Македонский, «золотую сердцевину товарищескую спайку», на партизанское братство.

Перед Македонским разведчик Иван Иванович. Голос ядреный, глаза блестят, щеки — маков цвет.

Командир слушает, но лукавинки так и бегают в его выразительных глазах.

— Ваня, этого не было.

Суполкин поперхнулся:

— Так почти было, пусть бог меня покарает!

Три километра от врага, а спят уютно: раздевшись и разувшись.

Черт возьми, но это же опасно!

Македонский успокаивает:

— Случайного ничего быть не может!

Трудно этому поверить, но факт остается фактом: противник никогда бахчисарайцев врасплох не заставал. Отряд хоть за час, но точно знал: сколько фашистов шло на его стоянку, с каких сторон, и даже знал, кто из предателей вел врага.

Мне повезло: в начале своей партизанской жизни я повидал бахчисарайцев, понял, что группа вооруженных людей в великой самодисциплине может совершить очень многое. Это я помнил всю войну, помню и сейчас.

Но возможно это при непременном условии: когда тебе в твоем доме помогают и собственные стены.

Будто полностью блокированы окружающие села, отбиты от партизан — уж постарались оккупанты!

Но это только так кажется. Не проходит дня, чтобы бахчисарайцы с кем-нибудь не встречались или кто-нибудь из них не побывал там, где, по мысли врага, партизанам быть невозможно.

Деревня Шуры прорезана дорогой, тут немцы, немцы. А все же ночами в окошко сельской учительницы кто-то осторожно постукивает — Иван Иванович явился на очередную связь. Ни одна собака на него не залает, ни один полицай не перережет его тропу. Он знает такие ходы и выходы, что пройдет сквозь игольное ушко, а не только через немецкую охрану.

Председатель Бия-Сальского Совета гость в родной деревне довольно частый. Видать, достойно представлял Советскую власть: все село знало о его партизанстве и не менее полсела о том, что Сидельников появляется под родной крышей. Знали, но не выдавали, берегли, даже некоторые полицаи берегли — на всякий случай.

Николай Спаи — высокий черноусый партизан — пробил дорогу в Лаки родное село.

Вся эта связь питала отряд, как кровеносные сосуды питают человеческое тело до кончиков пальцев.

Потрясающая новость! Принес ее Иван Суполкин.

В Шурах появились немцы, битые под Севастополем. Усталые солдаты, разозленные офицеры, разбитые машины, орудия. Хотят отдохнуть, раны зализать, пополниться, а потом снова на Севастополь.

Македонский дотошно расспрашивает разведчика, сколько немцев, где они точно расположены, как с охраной…

Командир как спринтер на старте — сжатая пружина.

Я начинаю догадываться… Но возможно ли это?

Македонский бабахнул кулаком по импровизированному столику из пустых канистр:

— Баста! Ночью ворвемся!

Он горячо и уверенно доказывал, почему можно смело идти на ночной удар.

Командир убеждать умел. И не только меня, но и комиссара, который в успех удара верил, но боялся за его последствия. И я

боялся.

Македонский отобрал добровольцев — тридцать партизан.

Мы — я и Черный — поднялись на Коушанский хребет и ждали. Время, казалось, остановилось, куда легче было бы шагать в цепи Македонского, чем пережидать эти тревожные минуты. Я позже убедился: в строю и в бою легче, нет времени на размышления, исчезает оно, как ненужный довесок.

Легко вел ударную группу Михаил Македонский. Без шума, благополучно миновали засады и секреты, вышли огородами на школьный двор, где чернели остовы машин.

Без передышки бросились на ничего не подозревавших немцев.

Страшен внезапный удар. Фашисты ошалело метались по улицам, падали под автоматными очередями. Горели машины.

Как появились, так и ушли — молниеносно. Потеряв двух партизан убитыми и унося двух раненых, никем не преследуемый отряд утром был с нами рядом.

Македонский поднял лагерь и за час перебросил его подальше от лесничества «Славич». Вовремя сделал: на рассвете танки ворвались в лес и секли пулеметами дороги и тропы.

Михаил Андреевич начал кочующую жизнь: окружив себя разведкой, быстро менял позиции и ни разу не подставил партизан под пули карателей.

Это была и моя первая школа маневра. Я еще одно понял: нет безвыходных положений.

Неделю Большой лес глотал свинец, но потом каратели поняли: воду в решете не удержишь.

Отряд живет, только в партизанском котле не густо. Конина прочно входит в быт.

Уходил я в сложном состоянии. Я своими глазами видел партизанскую тактику, в то же время думал: как же овладеть ею и мне, и всем нам?

7

Битва на дорогах и в лесных урочищах продолжалась. Она давала опыт обеим сторонам: мы учились бить фашистов, а они — нас преследовать.

Какие бы силы ни противоборствовали, стрелка компаса все же склоняется к магнитному полюсу Земли.

Мы голодны и холодны, а крыша над нами — звездное морозное небо.

И все-таки мы диктовали правила движения на крымских

дорогах: заставляли держать для их охраны войска, двигаться по ним не круглые сутки, как этого хотелось врагу, а только днем, солдат — писать слезливые письма в Германию, офицеров — заполнять дневники записями: «Снова партизаны! И снова нет покойного тыла, и снова отсутствие уверенности. Грустная жизнь…»

Если из нашего штабного шалашика смотреть прямо на север — взгляд упрется в каменную спину Басман-горы.

Гола и крута эта спина, почти безжизненна. Разве нетребовательная сосенка зацепится за иной уступчик, да и то с оглядкой.

Зато за Басман-горой жизнь щедро стелется по лощинам, вымахивает к небу двадцатисаженными соснами, шуршит в травах чаиров. Там Большой лес, окруженный селами, изрезанный дорогами.

И там Бахчисарайский отряд.

Белка и в колесе за сутки проскакивает десятки километроц. Сколько пройдено дорог бахчисарайцами в этом Большом лесу! Не измеришь!

Ни один отряд не принес врагу столько тревог, беспокойства, наконец, жертв…

И что только не предпринято, чтобы и духу этого отряда не осталось!..

Все было: и экспедиции, и посулы, и террор…

Но за Басман-горой живет и живет отряд, и никто не в силах остановить эту жизнь. И снова злобный террор.

Идет в горы черная весть, несет ее партизанка Дуся — повариха и разведчица. Это такой груз, что может придавить намертво.

Убита, зверски уничтожена вся многочисленная семья и вся родня комиссара Василия Черного.

Их всех собрали в кузов серого немецкого грузовика с вонючим мотором, повезли в лес, в наш Большой лес.

На первом перекрестке вывели из машины жену комиссара — молодую, черноглазую.

— Где твой муж — комиссар Черный?

— Мама! Мамочка, прости меня за все!

— Стой!

Палач ударил ее прикладом и снова втолкнул в машину.

Еще перекресток. Теперь волокут седую мать с остановившимися глазами, ставят ее лицом к югу.

— Где твой сын — комиссар Черный?

— Дети мои…

Выстрел в затылок, и маленькое тело крестьянки уткнулось в

дорожный кювет.

— Мама!

Их все возят и возят на большой машине, и на каждом перекрестке остается труп.

Шумят крыльями черные грифы.

И последней выводят уже не черноглазую и красивую жену, а старуху с сожжённым сердцем.

— Где твой муж — комиссар Черный?

Выстрел!

…Медленно плывут над горами сбитые в черноту тучи. Над Большим лесом устрашающая тишина.

Плащ, вздувшийся от горного ливня, что шел день, ночь и снова день.

И из глубины капюшона смотрят неживые глаза. И ходит человек с утра до вечера и с вечера до утра по тропе, начисто разбитой его ногами.

Страшно смотреть в его глаза — куда страшнее, чем лежать в десяти метрах от дороги, по которой шагает взвод палачей.

Василий Черный, наш Василий Ильич. Сердце свое одень в панцирь…

Живет и страдает, борется и побеждает за Басман-горой партизанский отряд Македонского и Черного.

Отряд без предателей, дезертиров…

Скрр… иип! Скрр… иип!

Ну и морозище!

Двухсотлетний дуб треснул на глазах, и кора его ощерилась от кроны до земли.

Ударишь топором по сухому грабу — полено на шесть частей.

Морозище!

На спине Басман-горы ледяные навесы.

Я и Семенов, связной, долбим лунку на ледяной Донге. Мороз на лету хватанул бегущую горную реку, скрутил ее в жгут и уложил на днище.

Градусов под тридцать — не меньше!

Небо и то взлохматилось.

У Семенова в глазах голодная тоска. Уже о девочках своих ни слова — а то не было дня, чтобы фотографии в нос не совал, — одни лишь по-волчьи голодные глаза.

Семенов! Разбитной алупкиийский шофер…

Вчера у нас неладно с тобой вышло. Но сам виноват, сам…

И я человек, а ты придешь в штаб, станешь у порога и смотришь мне в глаза. И во взгляде твоем такая тоска, что мне в горло кусок не лезет. И я отдаю его… тебе.

Раз отдал, другой, третий… А сам… Ты же знаешь, что

лишнего не беру. Или не знаешь, а?

И вчера отдал ему последний кусок конины.

Но накричал:

— Ты на меня так больше не смотри…

Ушел ты в комендантский шалаш, а мне от жалости муторно стало.

Двигай же руками, Петро! Смотри, как хорошо колется граб! Мороз — он и помощник.

Тяп! Тяп!.. Эх ты…

Почему я не мерзну?

Семенов смотрит на мои трофейные ботинки на номер меньше и наконец решается поднять на меня глаза:

— Могу мехом обшить, а? У меня трофейная сумка…

— Обойдемся, Петро!

Полено граба сразу на шесть частей…

— Эй, товарищ начальник! Идут!

Их трое, нет… И четвертый, но этого четвертого ведут на веревке…

Кто бы это мог быть? Никак бахчисарайцы? Точно! Македонский, Иван Иванович, Горский, а за ним… кто-то высокий в немецкой шинели, руки связаны.

— Михаил Андреевич! Кого ведешь?

— Фашиста! Шут его знает, не то офицер, не то начальник какой.

Подойдя, Македонский улыбнулся и крепко пожал мне руку.

Давненько я не видал Михаила Андреевича. Он почти не изменился коренастый, смуглый. Шапка сдвинута набок, на груди автомат. Большая пухлая рука привычно лежит на цевье автомата. Быстро слился с партизанской жизнью бухгалтер Македонский!

Я подумал: да, сама природа создала его не для сидения за столом.

— Рассказывай, как дела и куда ты спешишь с этим трофеем? — кивнул я на немца, который с настороженностью смотрел на меня.

Допрашиваем пленного.

Смутил меня этот допрос. Вроде немец на все наши вопросы отвечает, но так, что его правда, которой он служит, оказывается над твоей.

Уверен, сволочь, на редкость уверен.

И Севастополь возьмут — дай время, и войну выиграют, и сталинских комиссаров на тот свет спровадят.

Он говорил с циничной откровенностью и нас не боялся.

Я приказал увести нахала, но на душе было тягостно. Македонский посматривает на меня, и в его взгляде вопрос: что

скажешь, начальник?

— Плохо мы знаем врага! — сказал я.

Македонский к врагу ближе всех, насмотрелся. Вот рассказывает: три дня тому назад напал на машину, совсем внезапно, автоматами прошил ее, гранатами забросал… «И что ж? «Ты думаешь, драпанули, а? Черта лысого! Очухались в момент, раненых сразу вынесли и давай по нас палить. Действовали — позавидуешь».

Есть среди партизан люди, даже бывшие руководители отрядов, что признают за Македонским только дерзость.

Нет! Дерзость дерзостью, но только после точного расчета.

Вот дело, которое неожиданно привело Македонского в наш штаб.

Большой лес в железном кольце, оборваны многие пути связи с селами, есть опасность, что фашисты наконец получат себе верного помощника повальный голод. Они не дураки, и цель у них сейчас разъединственная: полностью отрезать отряд от сел, не пропустить к Македонскому ни килограмма мяса, ни ломтя хлеба, ни щепотки соли.

Есть один выход. Он дерзкий, трудно с ним так сразу согласиться.

Вот наш тогдашний диалог.

Македонский неожиданно:

— Надо покинуть Большой лес!

Я ахнул:

— Отдать фашистам все, что за Басман-горой?

— Нет!

— Так куда же, в воздух поднимешься?

— В прилесок под Лаки пустишь? Весь отряд, а?

Это было так неожиданно, что я не нашелся что и ответить, а он в спешке развернул передо мной карту-километровку и ткнул пальцем в малюсенький кружочек:

— Лаки и рядом лесок… Вот туда и махну!

— Это же немыслимо…

— Можно! Там наши люди, на смерть пойдут, а не выдадут!

Лаки ближе к Севастополю, к дорогам, к селам, к фашистам. Там леса нет, а одни прилески… Полицаи… коменданты.

И Македонский хочет держать в таком окружении целый партизанский отряд!

Он доказал мне: под Лаки продержит отряд сколько нужно.

Македонский ушел, широкая спина бахчисарайского командира долго мелькала между деревьями.

Маленькая горная деревушка Лаки приютилась между двумя грядами невысоких гор. Приветливая, чистенькая, она славилась древностями. На высоком холме до сих пор сохранились развалины церкви, построенной лет шестьсот тому назад.

Гордый народ здесь жил — потомки листригонов. Он умел работать, веселиться, погулять, дружить с соседями, щедро принимать гостей, одаривать их подарками.

Табак лакский славился: известный табачный король Месак-суди когда-то платил за дюбек золотом.

И колхоз был работящий, зажиточный. Было в нем и добра «выше крыши», и счастья полный кошель.

Деревня стояла вдали от больших дорог, и первые немцы появились со стороны деревушки Керменчик как-то неожиданно. Пробыли несколько часов, настреляли кур, выпили вина и ушли.

Но однажды в промозглое зимнее утро серая машина остановилась у дома председателя колхоза Владимира Лели.

— Деревня… партизан иесть? — сердито спросил толстый, с добродушным лицом фельдфебель.

— Партизан нет, — ответил председатель.

— Колхоз гут, и… ниет партизан?

— Колхоз хороший, а партизан нет.

Немец в сопровождении керменчикского полицая обошел постройки, заглянул в дома колхозников, потом в школу, в клуб, парники и даже в спящий сад, Он смотрел по-хозяйски, приговаривая:

— Корошо, гут, корошо… — Вдруг повернулся к Лели: — Ты есть кто?

— Местный я, колхозник.

— Председательствует тут, — разъяснил полицай.

Немец уставился на Лели:

— Глаз умный, хозяин гут. Да?

— Мы все хозяева…

— Нет!

Лели помолчал.

— Ты будешь староста. Понимаешь? Бургомистр.

— Я человек больной, куда уж мне в начальниках ходить.

— Ты есть назначенный немецким командованием староста. Саботаж фьют! — щелкнул пальцами перед носом Лели фельдфебель и, указывая на дальние высотки, покрытые мелким кустарником, спросил: — Там партизан иесть?

— Партизан вон там, — услужливый полицай указал рукой на наши горы.

…Бухгалтер колхоза Григорий Александрович, в потертой куртке, бледнолицый, с маленькой реденькой бородкой, в

последние дни не покидал правления колхоза. Он что-то усердно считал, пересчитывал, ворочал толстые конторские книги.

После отъезда фельдфебеля, за каждым шагом которого он следил через маленькое окошко, подхватил под мышку счеты, постучался в дом председателя.

Лели встретил бухгалтера суховато, он не особенно доверял ему и терялся в догадках: «Что-то он появился, а?»

Сели за стол, выпили по стакану сухого вина, поговорили о том о сем. Председатель почувствовал некоторую робость гостя, сам задал вопрос:

— С чем это вы? Теперь так запросто в гости не ходят, не то время.

— Добра у нас осталось многовато.

— И что же…

— Фашисты все вчистую подберут, — бухгалтер поставил перед председателем счеты и с профессиональной привычкой кривым узловатым пальцем начал пощелкивать косточками… Табак, овцы, вино, зерно. Все точно, как на эталонных весах. Да, только кое-что успели эвакуировать, остальное в закромах, сараях, винных подвалах. — Вот так, товарищ председатель, для фашистов у нас продовольственный склад… Да что я, хозяин, что ли? спохватился бухгалтер и сдвинул очки на самый лоб.

— Да что же вы-то предлагаете? — уже с волнением спросил председатель.

— Тут умишком прикинуть надо. — Старик хитровато прищурился, посмотрел в окно: вдали темнели крутые обрывы Басман-горы. — Говорят, наш Николка Спаи там, а?

Лели пристально посмотрел на Григория Александровича: неужели это тот самый бухгалтер, что в мирное время вел себя замкнуто, не проявлял никакого интереса к общественным делам и только тогда показывал характер, когда нарушали заведенный им бухгалтерский порядок?

«Может, хитрит, чью-то волю исполняет?» — подумал председатель.

— Где Николка — не знаю, а за совет спасибо. Покумекаем.

Григорий Александрович наершился:

— Это ты напрасно! Я старый человек и в кошки-мышки играть не умею. Сказано было с большим достоинством.

Председателю стало неловко.

— Вы правы: Спаи наш у Македонского. Только вот беда — перестал появляться.

— Может, появится, а?

Лели протянул руку:

— Большое вам спасибо.

— Как с добром решать будешь?

— Посоветуюсь с членами правления… Сегодня и соберемся, у меня… И вас прошу прибыть…

— Непременно буду.

* * *

В эту же ночь в просторной квартире председателя собрались три члена правления и Григорий Александрович. Пока Лели обходил село — он это делал ежедневно, выставляя колхозников на неприметную охрану, — в комнате шел разговор о приезде фельдфебеля, о боях под Севастополем: голос фронта хорошо доходил сюда, в ясный день пулеметное татаканье даже слышно. Здесь же поругивали друг друга за то, что не успели вовремя эвакуировать все добро.

Бухгалтер сидел в сторонке, в разговоре не участвовал.

Пришел Лели и дал первое слово бухгалтеру. Он сказал, что вина в подвалах до тысячи сорокаведерных бочек, много ценного табака в шнурах, есть еще полтысячи овец, до ста коров, есть и зерно… Все это лежит рядом, фашисту остается лишь руку протянуть. И бери, сколь душе угодно.

Судили, рядили и решили так: табак затюковать и спрятать в сухой пещере, туда же переправить и вино. А скот, зерно — партизанам.

Только где они сейчас? Жив ли отряд, в нем ли Николай Спаи, односельчанин? Почему перестал бывать? Ведь до этого частенько наведывался, через него в лес кое-что было отправлено…

Лели подробно рассказал о встречах с Николаем Спаи.

Не было во всем Бахчисарайском отряде человека сильнее Николая Спаи. Перед ним пасовал и сам Иван Суполкин, хотя и мог двумя руками разогнуть подкову.

Николай Спиридонович лихо носил серую каракулевую шапку — зависть партизан.

— Положишь меня на обе лопатки — шапка твоя!

Смельчаков было много, но шапка оставалась на голове хозяина.

Забегу вперед: за два года партизанства так никто и не смог положить его, кстати самого пожилого партизана в отряде, на обе лопатки. Убили Николая Спиридоновича в 1943 году, и его знаменитая шапка была с ним вместе и похоронена.

Я много раз встречался с Николаем Спаи, и трудно было отвести взгляд от его красивого мужественного лица, светлых

живых глаз, черных как уголь усов. Никто его не называл ни по фамилии, ни по имени и отчеству. Для всех он был дядя Коля.

Отряд остался без продуктов, но не голодал. И этим частично обязан Николаю Спиридоновичу Спаи. «Дядя Коле — конокраду», — шутили партизаны.

Да, что касается немецких короткохвостых лошадей, — выкрадывал он их классически.

Спаи был росл, грузен, но ни у кого в отряде не было такой вкрадчивой походки. Он проходил мимо немецких часовых бесшумно, словно скользил по полу, намазанному глицерином.

«Кони по мне с ума сходят!» — шутил дядя Коля, но в этой шутке была истина. Я помню картину: в отряд привели двух артиллерийских лошадей; седоки оставили их под деревьями; не успели оглянуться — след простыл.

Дядя Коля как-то по-чудному присвистнул, издал еще какой-то призывный звук, и «живой трофей» самолично прибыл к нашему чудо-конокраду.

Дядя Коля воевал лихо. Помню случай один. Македонский послал его в разведку: считай, сколько подвод за день пройдет, машин, пушек, — и тут же назад!

Сидел в кустах с молоденьким партизаном Пашкой Кучеренко, добросовестно считал, что приказано считать. Наступил вечер, животы подвело, а тут, как назло, идут под носом фрицы и жадно глотают куриные лапки.

Такие спазмы в желудке — волком вой. Особенно страдал Пашка. Вдруг он сжался, высунул карабин. Дядя Коля его в охапку и отшвырнул от себя прочь под куст можжевельника.

Парень от ярости заплакал, а чтобы не выдать себя, кусал рукав.

До ужаса жаль стало хлопца. Дядя Коля прикинул умишком, а потом с величайшей осторожностью пополз на самую обочину дороги.

Идет одинокий немец, за плечами тугой вещевой мешок, сам что-то жует.

Немец прошел мимо, а дядя Коля легко выпрыгнул на дорогу и неслышными шагами двинулся за немцем.

Огромным кулачищем ударил немца по голове, и тот свалился на асфальт.

А дяди Коли на дороге будто и не было, он стоял над Павлушкой и совал ему мешок:

— Давай рубай!

— Очнется фриц, шум будет, — испугался Пашка.

— Получил на совесть, рубай спокойно.

Дядя Коля выкидывал такие номера частенько, но это был

очень серьезный и вдумчивый человек. Одна лишь биография чего стоит…

Родился он в Лаки в бедной безлошадной семье, рано осиротел. Одним словом, судьба его была похожа на судьбу самого Македонского.

Удивителен душевный мир таких, как Николай Спаи. Уж в Лаках не было красавицы, чтобы откровенно не заглядывалась на черноусого, рослого и сильного хлопца, каким был он. Жених в любой дом!

А судьбу связал со скромной молодой вдовушкой, потерявшей неожиданно мужа и уже отчаявшейся. Двое детей, слабые руки — кому нужна…

Началось от жгучей жалости к женщине, такой беспомощной, а потом родилась и большая любовь. Да, большая! У таких, как Спаи, все в жизни большое, крупное. Сам и погиб малограмотным крестьянином, а приемные дети получили образование: дочь Анастасия стала врачом, сын Иван — механиком. Десять шкур с себя спускал, но образование детям высекал с упорством, с каким высекают огонь из кресала.

Партизанская дорога Николая Спиридоновича — продолжение той, по которой шел он всю жизнь.

Дядя Коля плакал в отряде, а может и во всей своей пятидесятилетней жизни, один раз — это когда немцы грабили базу. От беспомощности плакал. Его сдерживали, как и командира — Константина Сизова.

Спаи можно было понять: своими руками готовил продовольствие для боевых товарищей, готовил с такой любовью, даже с сюрпризами: новогодние подарки каждому и то не забыл. Но это одна сторона дела, другая пострашнее будет. Вот еще тогда не особенно верил коушанскому заготовителю партизанской базы, всеми фибрами души не верил, а доказать — почему? — не смог.

Почти за месяц до выхода в лес пошел на прием к председателю райисполкома — он-то и был ответственным лицом за подготовку материальной базы отряда, — сказал:

— Требую: отстраните Ягью от нашего дела.

— Причина?

— Не верю я ему, и все!

— Но почему не веришь?

— Сердце не верит.

— Иди делай, что приказано, и панику не разводи!

И ушел на свою голову, даже в райком партии не заглянул, хоти и собирался.

Характера не хватало доказать то, что сердце-вещун

чувствовало.

Простить такое себе не легко.

Дядя Коля не только с лица спал, а что-то внутри у него сгорело, и не было прежнего весельчака, что смешил товарищей при каждом удобном случае; рассказывал, как мог на ходу остановить пароконную упряжку или поднять на второй этаж два мешка по пять пудов каждый. И все это не выдумка.

Ожил малость только после того, когда заявил Македонскому с присущей ему категоричностью:

— Снабжение отряда беру на себя.

Македонский понимал его:

— К своим, да?

— Если позволишь.

— Обдумать надо.

Обдумали сообща: комиссар, командир, разведчик Самойленко, дядя Коля. И решили: если Магомет не идет к горе, то гора пойдет к Магомету. Всем отрядом туда, поближе к селам.

* * *

Зима заглянула и в Лаки. Ранним утром серой массой с гор сползали туманы и окутывали деревню.

Колхозный вестовой с первыми зорями оповещал людей о выходе на работу.

Сопротивлялись:

— Вы что — ошалели? На кого работать?

— На Родину, на детей наших, — отвечал пожилой вестовой.

К вечеру в контору заглядывал Лели. Проделав немалую дорогу пешком по бригадам, он садился рядом с бухгалтером и, покуривая цигарку, делал подсчеты.

Вино перелили и спрятали в надежном месте. И годы не испортится, а, наоборот, выдержку пройдет. И табак перетюковали, спрятали в сухую пещеру.

Забегу вперед: в 1944 году части Красной Армии получили дорогой дар лакских колхозников: вино, табак. Правда, открыли им это добро не те, кто зимой 1942 года прятал его. Тех в живых уже не было.

Вскоре прибыл от немецкого коменданта приказ: направить на ремонт качинской дороги пятнадцать крестьян. Приказ привезли фашисты с одним погоном на черных шинелях — эсэсовцы.

Первая официальная бумага фашистов!

Она забеспокоила.

На западе под Севастополем шел тяжелый бой, вокруг в горах постреливали немецкие патрули, а здесь решали свою судьбу: как же нам быть, жить дальше?

Одни предлагали сжечь деревню и всем податься в лес. А куда денешь женщин, малышей, стариков? В лесу голод.

Другие советовали не предпринимать ничего, ждать, что будет дальше. Тут же возражали: ну и жди, пока на шее веревку не затянут!

И решили так: хитрить с немцем, водить его за нос, а пока суд да дело, связаться с Македонским, с Советской властью. Пусть она и скажет: как нам жить?

Послушали и бухгалтера, слова его многих поразили: никак не подозревали в старичке в потертой куртке человека, способного сказать:

— Товарищи, я Македонского лично знаю. Он у меня на бухгалтерских курсах учился. Доверите — я поищу его!

И ему доверили.

…Фельдфебель с добродушным лицом вскоре опять побывал в Лаках. На этот раз с ним было отделение солдат из полевой жандармерии и несколько полицаев из Керменчика.

Войдя в председательский дом, немец по-хозяйски уселся за стол и усадил своих солдат.

Подали закуску, вино, холодную баранину. Лели — председатель — достал даже пахучий розмарин.

— Гут… молодец, староста! — потирая руки, смеялся фельдфебель, внимательно следя, однако, за лицом Лели.

Долго и аппетитно ели фашисты. Фельдфебель старательно наливал вино в кружку, пил, закусывая янтарным яблоком. Он поднял кружку, посмотрел на председателя: «Зер гут!»

Лели ждал, что же будет дальше.

— Севастополь капут! — дожевывая, сказал немец. — Солдат много… кушать много… Немецкий командований частной собственность никс… брать не желает. Колхоз Лака богатый… Много общественный фонд?

— Было много, но все эвакуировали, часть взяла Красная Армия. Так что, господин офицер, ничего нет.

— Как — нет? — Добродушие как ветром сдуло. — Нам все знать… Коров, барашка, шнапс, дюбек… Есть, да! — выкрикнул немец.

— Было, все было… А сейчас нет, — спокойно, почти умиротворенно ответил Лели.

Фашист поднялся, медленно надвинулся на председателя.

Они долго смотрели друг другу в глаза. Солдаты перестали жевать, полицаи побледнели…

— Ты коммунист… партизан… тебя — фьют!

Фельдфебель гаркнул что-то солдатам, те бросились к оружию и выбежали прочь. Один с автоматом стал у дверей.

Солдаты возвращались попарно и докладывали фельдфебелю одно и то же:

— Ничего нет, пусто!

Фельдфебель глаз не спускал с молчаливого председателя, дождавшись возвращения последнего солдата, он перед глазами Лели разжал два толстых пальца:

— Два суток, два день, два вечер — двадцать пять коров, двести барашка, сто декалитров шнапс приготовить, а нет… — фельдфебель начертил в воздухе нечто похожее на петлю, указывая вверх.

— Я все понимаю, господин офицер. Но нет ничего, откуда я возьму…

— Молчать! — Фашист ударил Лели по лицу.

Председатель шатнулся, в глазах его блеснула такая жгучая ненависть, что фельдфебель машинально отступил от него и руку положил на кобуру парабеллума.

Но Лели быстро справился с собой и низко склонил голову:

— Я готов сделать все, господин офицер, но откуда взять столько?

* * *

Старая лесная дорога. По обочинам мелкий кустарник. Оттепель. На желто-буром снегу — ни единого следа. Тихо. Журчит талая вода.

Оглядываясь по сторонам, устало плетется путник: маленький, сгорбленный, с палочкой в руках, едва передвигает ноги.

Часовой, притаившись в густых зарослях, внимательно следит за ним, еще не решаясь остановить этого странного, неожиданно появившегося в Большом лесу прохожего.

Дорогу перерезает тропа. Свежие следы! Старик нагнулся, присматривается.

— Стой! Руки вверх! Руки вверх, папаша! — Парень в стеганке навел автомат.

— Убери-ка свою штуку. Скажи лучше, сынок, ты партизан? — устало спросил старик, с надеждой глядя пареньку прямо в глаза.

Задержанного привели в лагерь к штабному шалашу.

— Товарищ командир! — крикнул паренек с автоматом.

Из землянки вышел Македонский. Он зыркнул на старика и ахнул:

— Постой… постой… Неужели?! Григорий Александрович! Вы ли это, господи?!

— Я, я… Видишь, я, — бухгалтер обнял командира.

Михаил Андреевич поил чайком бывшего своего учителя.

Старик пил и, наверное, не ощущал вкуса кизилового настоя. Он во все глаза глядел на смуглое, дышавшее лесной силой лицо командира.

— Ты совсем не такой, а? Помнишь курсы? Я же говорил: «Не выйдет из тебя настоящего бухгалтера!»

— Работал же, Григорий Александрович, — улыбался Македонский.

— Да ты из тех, кто дело делает, но душа твоя не в конторе сидела. Признайся, Михаил Андреевич? Помнишь, в тысяча девятьсот тридцать девятом году я проверку тебе делал? За дело я тебя ругал, а?

— Ругали правильно. Только это прошлое. А вот неожиданность встретить вас здесь, в лесу. Вы по городу боялись ходить, Григорий Александрович!

— Ох и боялся… Да меня можно щелчком свалить, куда уж!.. И сейчас боюсь. А за пять дней такого труса дал, что под конец перестал понимать, где страх, а где нет. Следов-то ваших не найдешь. Шел и шел. Решил найти или ноги протянуть. Без вас нам нельзя. Слушай, Миша… Важное дело к тебе привело.

…Темной ночью отряд в полном составе поднялся с Большого леса и тихо-тихо перешел через дорогу Бахчисарай — Бешуй и на рассвете залег в густом прилеске, в двух километрах от Лак.

В окошко председательского дома настойчиво постучались.

— Кто там? — встревоженно спросил Лели.

— Это я, Григорий Александрович.

— Господи, вернулся! Сейчас, одну минуту — оденусь.

— Принимай гостей, — бухгалтер пропустил вперед закутанного в плащ-палатку широкоплечего человека.

— Здоров, председатель!

— Македонский! Ай да молодец… — У Лели кровь прилила к лицу от радости.

Они знали друг друга мало, иногда виделись только на районном партийном активе, но вряд ли кто чувствовал в жизни такую близость, какую они ощутили сейчас.

Большие дела немногословны.

Решили так: перегнать отряду сейчас же сто овец, муку, картошку, табак.

Фельдфебелю замазать глаза: на первый случай собрать

несколько яловых коровенок, вина, готового вот-вот стать уксусом, пару десятков шелудивых баранов.

Немного увлеклись, но комиссар остудил:

— Надо подумать и о завтрашнем дне! Женщины, дети… О них подумать.

Положение, конечно, было очень сложным — Македонский понимал, но слишком большая осторожность комиссара не очень была ему по душе.

— Не будем предугадывать события, — сказал он.

— Нет! Будем! И я предлагаю так: начать эвакуацию Лак. Стариков, детей, женщин — в степные районы.

— Правильно! — первым поддержал комиссара бухгалтер.

Как ни хотелось сохранить в деревне то положение, которое было до сих пор, но с трезвой логикой Черного нельзя было не считаться.

Уже через день по пропускам, привезенным председателем из Керменчика тут он полностью пользовался правом бургомистра, — многие семьи стали покидать родные места. Делалось это осторожно, без шума, чтобы не встревожить оккупационные власти.

Дальнейшие события развернулись следующим образом.

Фельдфебель снова появился в Лаках. С ним были офицер, бледный, моложавый, с хлыстом, и толстенький напудренный румын в огромной четырехугольной фуражке. Они внимательно осматривали деревню. Рядом шел Лели и семенил Григорий Александрович с инвентарными книгами, потребованными моложавым офицером.

— Где хозяйство? — отрывисто спросил офицер на чистом русском языке.

— Вот в деревне все и хозяйство. Скот угнали, так что ничего не осталось. Да не так уж много и было. Колхоз маленький, всего шестьдесят дворов.

Офицер круто повернулся к Лели, подошел ближе и уставился на председателя глазами.

— Вот что, дорогой бургомистр. Что такое ваш колхоз — знаю. Сам был агрономом в Фрайдорфе. Слыхал, наверное, про такую колонию в Крыму? Мне нужна правда! — раздельно сказал немец.

— Я приготовил, что мог, господин офицер, — Лели показал на скотный двор, где стояло несколько тощих коров.

Офицер из Фрайдорфа никакого внимания на коров не обратил, остановился у правления.

— Деревня вполне обеспечит всем необходимым вашу часть, господин капитан, — обратился он к улыбающемуся румыну. Тот

поддакивал, но, видно, ничему не верил. — Староста! — подчеркнуто сказал офицер. — Деревня будет кормить румынскую часть. Мясо, вино, хлеб и все остальное…

— Но, господин офицер!

— Молчать! Я знаю, что ты коммунист, но также знаю, что ты расчетливый хозяин. — Немного подумав, немец добавил: — И не болван. Если не хочешь болтаться на веревке — будешь делать. Да знай: нам известно, что большевики отсюда ничего не вывезли. Ясно?

Немцы уехали.

Основная часть Лак была тайно эвакуирована. Македонский и Черный привели отряд в Лаки, теперь уже, скорее, в то место, где при случае не так уж опасно принять и бой.

Для бахчисарайцев это была первая за несколько месяцев ночевка под крышей.

Партизаны мылись, стирали белье, брились.

Днем же отряд снова отсиживался в прилесках, откуда летучие боевые группы в составе трех или четырех самых отважных партизан уходили за Бахчисарай на магистраль Симферополь — Севастополь.

Они молниеносно налетали на одиночные фашистские машины и заставляли фашистов держать на этом участке сверхусиленную охрану.

А через несколько дней в Лаки пришла первая небольшая румынская команда во главе с унтер-квартирьером. Румыны, грязные, усталые после штурма Севастополя, плакали, ругали фашистов и своего Антонеску, напропалую пьянствовали и не замечали вооруженных людей, посещавших деревню.

Правда, значительно позже мы узнали: замечали, но делали вид, что кругом полный порядок.

Вскоре в деревню пришла румынская рота приезжавшего ранее румынского напудренного капитана. Начались повальные обыски, — разумеется, безрезультатные. Время врагом было упущено: все, что было, попало в партизанские руки и спрятано в надежном месте. Капитан ругался, бил солдат, особенно унтера, которого трезвым так никогда никто и не видел.

Уже с утра тревожно было на улицах деревни. Лели и Николай Спаи побежали в дома колхозников, которые еще задержались в Лаках.

— Уходите скорее!

Кое-кто не успел.

На трех машинах нагрянули каратели. Командовал ими бледнолицый агроном из Фрайдорфа.

Небольшую группу колхозников согнали в клуб. Начался

допрос:

— Где скот? Почему пустые сараи? Где, наконец, народ?

Лели был внешне спокоен, он знал, на что шел и что его ожидает.

— Народа нет, господин офицер. Разве его кто удержит?

Офицер стоял перед Лели, смотрел в глаза председателю.

Он только сейчас понял, что из себя представляет «бургомистр».

— Арестовать! — ударил хлыстом председателя.

Подошел к черноусому Спаи, смерил его взглядом.

— Взять!

Автоматчики окружили Лели, Спаи, Григория Александровича и еще двух колхозников и погнали по лесной дороге в Керменчик.

Маленький бухгалтер шел между Лели и Спаи — рослых, плечистых. За утесом скрылись родные Лаки, дорога круто повернула на Керменчик, где комендатура, каратели и полицаи. Уже вдали виднелся серый минарет с ярким серебристым серпом.

— Непременно бежать вам надо, ребята! — прошептал бухгалтер. — Я отвлеку фашистов, а вы потихонечку отставайте от меня.

… - А вы, Григорий Александрович? — Лели пожал руку старому человеку.

— Делайте, что надо, прошу! — умолял Григорий Александрович.

Высота осталась позади, дорога начала скользить в ущелье.

Григорий Александрович рванулся вперед, упал и закричал дико, страшно. Конвойные остановились, оторопев.

— А… а… аа! Не убивайте… не убивайте! Я жить хочу, я старый челов… ее., кк!

Солдаты начали пинать старика ногами.

Возле Спаи остался один, да и тот смотрел, как на земле бьется старикашка.

Спаи ударил гитлеровца в живот. Лели — другого, что бросился на помощь. Оба прыгнули в ущелье. Первая пуля догнала председателя колхоза Владимира Лели. Вторая прожгла Спаи руку, но он все-таки ушел и добрался до горы Татар-Ялга, где стоял пост бахчисарайцев.

Македонский бежал навстречу:

— Николай! Что за стрельба, что с тобой?

— Беда, командир! Сожгли деревню… убили Лели, а нашего бухгалтера с собой увели… — чуть ли не плакал Спаи.

Спаи рассказал, как нагрянули каратели, какой подвиг совершил старый бухгалтер, спасая жизнь другим.

— Выручать надо, командир! — умолял Спаи, стягивая жгутом руку выше предплечья.

Партизанка-повариха Дуся тоже слушала Спаи. Она смотрела в глаза командиру, но тот не замечал ее. После гибели семьи комиссара она стала неистовой. Бывало, пошлют ее на разведку, прикажут идти без оружия, Дуся все сделает, как было приказано, но, возвращаясь в лагерь, непременно подкараулит где-нибудь фашиста, швырнет гранату и наделает ненужного переполоху.

— Только на кухню! — рассердился комиссар.

Но с хозяйством у Дуси не ладилось: то каша пригорит, то от всей неприхотливой партизанской пищи такая горечь, что и на голодуху трудно ее прожевать.

Иван Иванович Суполкин жалел ее, пытался смягчить комиссара.

— Василий Ильич, карантин затянулся, а?

— Нет! — Черный несговорчив.

— Распроклятая у меня судьба, Ванечка! — ахала Дуся. Перебила несколько тарелок, которыми пользовалось командование, и долго плакала.

И вот стоит сейчас Дуся перед командиром, и в глазах у нее такая мольба…

— Что тебе? — Македонский повернул к ней голову.

— Пошли меня в Керменчик, старика жалко.

— Ты шуму наделаешь!

— Нет, командир! Нешто я не понимаю — нельзя!

— Тебя там знают?

— Ни одна гадина, на иконы помолюсь!

— Ну, смотри мне! Только узнай, что к чему, поняла?

Немцы сожгли в Лаках все постройки. Сгорели дома, ферма, клуб, сгорел сад. Все сожрало пламя.

Совсем недалеко от пылающей деревни, на скале, без шапки, с забинтованной рукой стоял Николай Спиридонович Спаи — потомственный житель деревни, которую на его глазах стерли с лица земли.

Спаи с гранатой бросился вниз.

— Стой! Назад! — Македонский всей тяжестью мощного тела навалился на партизана.

— Пусти, Миша! Я за старика дюжину в землю вколочу.

— Ты — партизан, забыл? — тяжело переводя дыхание, крикнул Македонский. — Только по приказу можешь действовать и… когда пошлют!

* * *

Деревня Керменчик вместилась в седловину гор между Качинской и Бельбекской долинами. От нее во все стороны расходятся узкие лесные дороги.

У полуразвалившихся стен древнего укрепления, откуда открывается незабываемый вид на Чатыр-Даг, со связанными руками стояли три лакских колхозника. Григорий Александрович, старенький бухгалтер, и два его товарища, по годам почти равные ему, вели себя мужественно, готовясь к своему последнему часу. Фашисты не узнали ничего о Лаках, о том, что рядом с деревней пребывал партизанский отряд.

Прозвучала команда. Белесый туман рассеялся. Трое пожилых людей смотрели на неоглядные дали. Голубело Черное море, на западе жил, дышал, боролся Севастополь.

Раздался залп…

Дуся, добравшись до Керменчика, узнала, что арестованных повели к развалинам крепости.

Дуся побежала: успеть, успеть…

Не успела: мимо нее прошли убийцы.

Вот и развалины, черная стена. Полицай-часовой с белой повязкой на рукаве.

На земле трупы колхозников.

Часовой насторожился, посмотрел по сторонам. Тихо. Полицай скрутил цигарку, чиркнул спичкой о коробок и… мешком свалился на землю.

Дуся отняла винтовку и прикладом прикончила немецкого прислужника. Два трупа она завалила камнями, а тело Григория Александровича, взвалив на плечи, понесла в лес.

На Лысой горе, откуда далеко видны степные просторы бахчисарайцы схоронили старого бухгалтера, которого знали как самого тихого человека на весь район.

Отряд Македонского вернулся в Большой лес. Два месяца отряд питался продуктами лакских колхозников. Двенадцать боевых операций возможно было совершить только потому, что в самую критическую минуту жизни отряда народ протянул руку помощи.

Спаи возглавил боевую группу лакских колхозников. Они остались партизанить в родных местах, с ними и неистовая Дуся.

В звонкий морозный вечер партизаны залегли у дороги, недалеко от мелового ущелья. Воспаленные глаза командира Спаи внимательно наблюдали за дорогой, которая вилась под ногами.

— Ты не ошиблась? — переспросил командир у Дуси.

— У верных людей узнала. Так и сказали: «Один длинный, хорошо говорит по-русски, а другой толстый, пузатый, с

добренькой мордой». Они в Фоти-Сала вчера дорожного мастера пристрелили, гады!

Ждали больше часа.

Вдали показалась машина.

— Тихо! — Спаи предупреждающе поднял руку.

Машина приближалась на большой скорости, но поворот сделать не успела: ее догнала граната. Взрывом машину отбросило в кювет. Из нее раздалась автоматная очередь.

— А… аа!! Сволочи! Ложись, ребята! — Дуся с ходу метнула гранату.

Все! Собрали документы. Это были эсэсовцы, военные преступники фельдфебель Ферстер, немецкий офицер — агроном из Фрайдорфа.

Все эти героические и трагические события происходили под носом у Бахчисарая — центра второго эшелона манштейновской армии, штурмовавшей Севастополь, забитого штабами, карателями, батальоном полевых жандармов; Бахчисарая, где еще существовал пресловутый «Священный мусульманский комитет» — через год его разогнали за явным провалом демагогических приемов геббельсовских выучеников, — где по кривым переулкам несли свои белые бороды и белые чалмы выжившие из ума старцы, доставленные в Крым немецким обозом, где проститутки и торгаши гонялись за медными грошами скупых немецких лейтенантов, с педантичной аккуратностью считавших свои грязные полушки.

Дерзость Македонского, комиссара Черного, не побоявшихся держать целый отряд под Лаками — практически под самым Бахчисараем, — говорит об удивительной выдержке и потрясающей дисциплине огромной партизанской массы.

Это уже начиналась зрелость.

9

Тайные санитарные землянки!

В 1967 году шагаю я по урочищам Крымского заповедника и ищу то, что от них осталось.

Мягко шагается по палой листве, от пряного аромата кружится голова. Жужжат пчелы, первый гриб моргнул коричневой головкой. Ни дорог, ни троп. Девственная тишина. Никаких следов былых дней.

Да, природа и время — великие очистители. Вот буран подсек трехсотлетний дуб, свалил его на горный скат. И начинается! Работяги ветер, солнце, дождь, даже сам воздух —

дружно накидываются на мертвое дерево. Иссушат его, испепелят, а останки смоют, и никакого следа от гиганта не останется.

Партизанская могила.

Мы хоронили наспех, а через четверть века останки находим на больших глубинах. Кто накидал столько земли на могилу?

Дождь потрудился, потоками нес землю с самой яйлы и доделывал то, что мы сделать не могли.

Для живых — живое!

Цепка человеческая память, особенно память сердца.

По одним лишь тебе известным приметам ты найдешь место, где была санитарная землянка, присядешь рядом на старый пень, и пойдут перед тобой лица, вспомнятся тебе имена…

Но не лица тех, кто лежал в полусумрачной землянке, страдая от ран, голода. Лица живых, кто дрался за каждого бойца до самозабвения. Кто отдавал другим все, что было у него.

Я вижу, как Аня Наумова поднимается от реки по крутой тропе с ведрами с водой; острые лопатки ее исхудалых плеч выпирают из-под вязаной кофты, аккуратно заштопанной на локтях. Глаза ее провалились, на губах синева, но в зрачках живой и упорный огонек.

Седая учительница Анна Василькова, подстриженная под делегатку конца двадцатых годов, подпоясанная широким мужским ремнем, худоногая, тащит, обливаясь потом, конину.

Партизанка нашего штаба Анна Куренкова, в кокетливой шапке из черного меха, глазастая, белолицая, сидит на корточках у реки, в ледяной воде полощет окровавленные бинты. От голода у нее кружится голова, и она частенько припадает к дереву, чтобы отдышаться.

Наши женщины!

Никто из вас из леса не сбежал, в беде товарища не бросил, в бою не струсил.

Никто из вас никого не выдал даже под мучительными пытками.

С рассвета дотемна вы копошились в лагере: разводили костры, грели воду, настаивали корни кизила, собирали шиповник и поили нас вяжущим настоем, готовили еду, обстирывали, встречали и провожали боевые группы, стояли на постах, плакали от усталости, но рук не опускали. И самое трудное, что вы делали в крымских лесах, — выхаживали нас, голодных, больных, покалеченных, а порой и отчаявшихся.

Мы ценили вас, уважали, но кое-кто из нас думал так: вот я разбил фашистскую машину или там взорвал мост, меня гоняли каратели, я сбил ноги на острых яйлинских тропах, теперь я в лагере и заслужил покой. «Эй, Валюша! Тащи кипяток!», «А кто

мне руку перевяжет?», «Скорее!»

И Валюша, и Маша, и Верочка, и подруги их хлопотали вокруг нас до полного изнеможения, не имея времени подумать о себе.

Меня потрясает до сих пор один факт: никто из вас не умер с голода!

А вот мы, мужчины, умирали. Помните, как лежали мы под вашей опекой в сумрачных санитарных землянках? Нас сваливал голод. Мы были слабы, под глазами — стекловидные отеки, томительный полуобморочный сон перекашивал наши лица.

Для многих это был конец. Для тех, кто терял веру в собственные силы, неверно, трагически неверно решал: я слаб, потому я должен лежать и лежать — только так сохраню себя.

Как воевали вы за тех, кто впадал в такое безысходное состояние!

И многие вам обязаны жизнью.

У нас не было для вас дополнительных порций конины, сухарей, мы давали вам столько, сколько брали себе, и ни капельки больше, но вы держались на ногах. Держались все поголовно. Это было чудо!

Чудо имеет объяснение: вам некогда было умирать.

Как вы часто просились в бой! Я, ваш командир, признаюсь сейчас, посылал вас в партизанские засады неохотно. Вы нужнее были в лагере, нужны, чтобы не погас огонь в глазах отпаявшегося, чтобы не застыло еще одно сердце.

* * *

Я хорошо ее помню: высокую, худую, с немного удивленным взглядом карих глаз, с маленьким личиком. Руки — плети, длинная шея. «Девка костяшками гремит», — говорили отрядные остряки.

Встречу ее и пожалею: «Как это угораздило ее оказаться среди нас? Согнется в два счета!»

Штурмовали мы распроклятый коушанский гарнизон — который уж раз! попали в беду: заперли фрицы нам выходы в горы и жмут к пропасти. Кто-то запаниковал. И я, командир, вынужден был поднять на паникера пистолет. И в этот самый момент прикоснулась ко мне женская рука: «Не надо, товарищ командир!» Это был голос Наташи Коваленко.

Мы бежали вдоль берега, был тяжело ранен командир взвода Красноармейского отряда лейтенант Мощенко. Он на всем ходу упал, а так как это случилось на крутом берегу горной речки, то упал в ледяную воду.

Наташа замыкала нашу колонну и все видела. Она бросилась за лейтенантом, не успев предупредить нас.

Добрались мы до лагеря — ни Наташи, ни лейтенанта. Начали искать. Разведчики чуть ли не в самый Коуш заглядывали, но никаких следов пропавших… Наташе и лейтенанту Мощенко отвели строки рапорта, в которых говорилось о мертвых или пропавших без вести.

…Наташа успела оттащить раненого в густой кизильник. Когда тревога улеглась, она осмотрела раны, обнаружила открытый перелом предплечья, сквозной пулевой прострел, кровоизлияние в брюшную полость. Перевязала и подтащила лейтенанта к воде, окунула головой, но сознание к нему не возвращалось, хотя сердце билось гулко.

Лейтенант был грузным, и все-таки Наташа взвалила его на спину и начала продвигаться со своей ношей вдоль самой воды на четвереньках.

До отряда одиннадцать километров, два перевала, поперек троп лежит подгнивший бурелом.

Наташа ползла. Ни помощников, ни еды, одна лишь слабая надежда встретить наших.

Нет свидетелей ее мук, отчаяния, мужества… Трудно, невозможно представить, как эта худенькая девушка, шатавшаяся от горного ветра, волокла на себе человека в полтора раза тяжелее ее.

Но она волокла, может быть давно потеряв счет времени.

Часовой вздрогнул: что-то непонятное карабкалось к его посту: изодранное, в лохмотьях… Он дал сигнал тревоги.

Пулей вылетел к посту дежурный взвод. Партизаны подняли человека-скелета с огромными глазами и седыми косами…

— Это же Наташа! — ахнул часовой.

Глаза ее долго и безжизненно смотрели на партизан, а потом наполнились слезами:

— Ребята… Он живой… — Она вытянула руку, ободранную до костей. Я… я, кажется, умираю…

Через час ее не стало.

Мощенко из санитарной землянки вернулся спустя два месяца и стал в строй. Ему было двадцать два года, но и он поседел.

* * *

Старожилы Алушты помнят ее до сих пор.

Лена Коровина — прыгунья, волейболистка, плясунья.

Она сама напросилась в отряд и стала начальником санитарной службы.

Бог знает, каким манером она ставила людей на ноги, но из ее санитарных землянок мало кого уносили хоронить.

Ни один каратель не мог обнаружить хозяйство Лены Коровиной, а уж как старались.

У нее была храбрая и безотказная помощница — Галина Гаврош, девушка с мужскими плечами, крепкими мускулистыми ногами. Она взваливала на плечи рослого мужика и несла его через крутой перевал.

Август 1942 года всем памятен и тягостен. Севастополь пал, Крым остался в глубоком тылу, война стучалась в Закавказье.

Впереди зима — пострашнее, чем прошлая. О ней надо думать сейчас. Надежда на лес: на дикие яблоки, груши, орех-фундук. Питание…

С утра до ночи идет партизанская заготовка. Вот Лена напала на орешник: плодов густо-густо. Скорее набрать побольше… Для раненых, истощенных…

Плетенка полным-полна, можно спрятать. Лена нашла удобную щель, выгребла из нее сухой лист и надежно припрятала орех-фундук, как прячет его на зиму хлопотливая белка.

Шорох какой-то!

Она осторожно раздвинула ветки: немцы! Их много: рослые, сытые. Подкрадываются к отряду!

Что же делать? Даже сигнал-выстрел дать нечем! Кричать — не услышат: отряд в ложбине. Лена рванула с себя платок, выскочила на поляну и побежала в сторону отряда… на виду у немцев.

Автоматные очереди перекрестились на ее худой спине.

Выстрелы подняли отряд и спасли его.

Вечером хоронили Лену: она была изрешечена пулями.

Трехкратный партизанский залп проводил ее в последний путь.

* * *

Самой знаменитой среди женщин была Полина Васильевна Михайленко.

…Тропа упала в безлюдный лагерь.

Налившиеся весенними соками деревья смиренно ожидали первого солнечного луча.

Я смертельно устал, болел каждый суставчик. Лечь и забыться — мечта.

Серый гибельный ветер охолодил насквозь. Терпение, долг — только они пригнали меня к бахчисарайцам из дальней дали. Я давно не видел своего лица, но знал: глаза мои ввалились, подбородок еще больше заострился.

У Македонского напоили меня кипятком.

Михаил Андреевич жалостливыми глазами смотрел на меня; обеспокоившись, спросил:

— Худо?

— Лучшего никто не даст. Говори: послал разведчиков на магистраль?

— Они уже там, командир… Побриться бы тебе, а?

Я пожал плечами: где, чем?

— У нашего румына эккеровская бритва. За милую душу обкорнает.

Тома — шустренький, дьяволистый грек-румын, я о нем еще скажу — будто тугими бинтами затягивал мое сморщенное от голода лицо, и все же мне было приятно.

Пальцы его со смолистым душком ловко массировали кожу, плясали на щеках, как палочки на барабанной шкуре.

Он брил без мыла, но боли я не ощущал и под треск стального лезвия медленно засыпал.

И вдруг слышу требовательный голос:

— Что ты, чертова кукла, заразу тут разводишь? Вытяни руки! Господи, еще румынская грязь под ногтями… Варвары…

Картина: румын Тома стоит перед женщиной в черной кубанке и парадно щелкает каблуками подкованных ботинок, а женщина — в галифе, сапогах, в руках длинная палка, какую обычно носят горные чабаны. Глаза у нее строгие, но не злые, где-то в них прячется смешинка.

— Невежа! Марш отсюда!

Тома умен — эта женщина зла ему не сделает, потому он с особенным шиком демонстрирует свою готовность быть наказанным, обруганным. И даже огорчается, когда женщина всем корпусом повернулась к нам:

— Начальство называется. Нет бы встретить усталую, голодную… От вас дождешься.

— Дорогая Полина Васильевна! — Македонский взял ее под руку и галантно повел в командирский шалаш.

— Шут ты гороховый. По-серьезному предупреждаю: не позволяй своему брадобрею по лицам елозить… Заразу разведешь.

Она устало села, кубанку долой — рассыпались черные волосы с шелковистым блеском от чистоты. И вся наша гостья была опрятна, пахла чем-то обаятельно домашним.

Я сразу догадался, кто она: Полина Васильевна Михайленко — главный врач крымского леса. О ней много говорили связные на перекрестках партизанских троп.

Она вытянула ноги:

— Эх, Мишенька, как мне надоели эти тропы. Вот клянусь: останусь жива — и не взгляну на них.

— Еще как потянет сюда, — улыбнулся Михаил Андреевич, нацеживая из котелка кизиловый настой.

Полина Васильевна, обжигаясь, выпила настой, сладко потянулась:

— Часик отдохну, а потом снова ать-два. — Она поднялась, одернула гимнастерку и села напротив меня, Я чувствовал давно: она краешком глаз наблюдала за мной. Сейчас взгляд у нее был прямой, цепкий. — Командир Четвертого района?

— Так точно, Полина Васильевна.

— Как же вас угораздило: в штабе вшей развели?

— Были вши…

— А теперь?

— А теперь их нет!

— Раздевайтесь!

Я недоумевал.

— Побыстрее!

Категоричность потрясающая.

— Может, в другой раз, доктор?

Лицо ее посуровело, надбровные дуги круто изогнулись.

— Я сегодня прошла двадцать верст, мне сорок лет, и у меня ноги распухли, — сказала она с женской расслабленностью.

Не медля ни единой секунды, я стал снимать с себя гимнастерку…

Она внимательно осмотрела каждую складку на моей одежде, не пропустила ни единого шва.

Мне вообще на сей раз повезло: только вчера мы устраивали у себя баню. Куренкова выжарила всем нам белье, Оно было не ахти каким чистым, но опрятным.

Полина Васильевна искренне сказала:

— Большое вам спасибо.

— За что же?

— За жалость к моим ногам. Ведь я к вам топала, а вот теперь высплюсь. Миша, позволишь?

— Хоть трое суток!

— А что? И не проснулась бы. Мы, бабы, любим поспать!

Спала она ровно три часа и пошла в Алуштинский отряд.

Ждал ее там раненый партизан.

Ходила она из отряда в отряд, и все дороги дальние, то вверх взлетают, то с разгона падают в глубокие ущелья, — дальние и опасные.

Кто-то подсчитал, что доктор Михайленко за год партизанства прошагала путь, равный одной шестой длины экватора, на нее пять раз нападали фашисты. Но она словно была заворожена, и пули не задели ее.

Наш партизанский главный врач!

Вот один из ее госпиталей осени сорок первого года: комнатенка в три окна, посередине что-то похожее на лежанку, покрытое ковром.

Раненые. У одного пуля прошла под лопаткой и вышла ниже ключицы. В наших условиях — рана смертельная, но и парень и Полина Васильевна держатся уверенно, хотя у доктора, кроме рук своих, практически никакого хирургического инструмента, у парня в лице ни кровиночки.

У его соседа слепое ранение бедра, рядом тихо стонет другой с раздробленными фалангами пальцев, в углу мучается человек от водянки.

Оперировать надо на виду у раненых — другой крыши нет, ассистентов нет, анестезирующих средств тоже, инструмент примитивный…

Вот Полина Васильевна входит в комнатенку в белоснежном халате чистая, доброглазая, уверенная:

— Что, ребята! Рискнем, а?

— Начинай с меня, доктор!

Два дюжих партизана подхватывают раненого и кладут на лежанку — это и есть хирургический стол.

Полина Васильевна ко всем:

— Отвернуться и не мешать!

Команда выполняется беспрекословно.

— Спирт!

Раненому вливают в горло почти насильно двести граммов чистейшего ректификата — вот и весь наркоз.

Полина Васильевна обыкновенным перочинным ножом рассекает раневой канал, удаляет гематому, перевязывает сосуды.

Тихо в комнатенке.

Нам, немедикам, трудновато понять, какой в настоящее время совершается подвиг. Но он совершался, и цена его — человеческая жизнь!

— Следующего!

С заставы принесли на руках партизана Баранова, уложили прямо на старую кухонную скамью.

Темнеет. Освещение — пламя коптилок.

Быстрый осмотр свежей раны: перелом обеих костей правого предплечья, разрыв тканей — дыра сантиметров на десять. Состояние партизана шоковое.

И снова команда:

— Спирт!

Операция идет в зыбкой тишине, ломаемой скрежетом зубов.

И дни друг за другом сползают с кручи Бурлак-Коша в пропасть, над которой присел госпиталек…

В наше время и следа его не найдешь. Где-то рядом вытянулась туристская тропа, на поляне Международного молодежного лагеря раздаются разноязыкие речи. Бывают тут и немцы — восточные и западные. Никто не знает, какие страдания претерпевал наш человек тут, над срезанной кручей, которая маячит у всех перед глазами. Живые свидетели — лишь белоголовые сипы, что гнездятся на уступах Большой Чучели.

Я побывал недавно на Бурлак-Коше; развалившись на альпийском лугу, смотрел на сипа. И сип ответил взглядом: две огненные точки скрестились на моем лице, как лучи лазера. Может, сип узнал меня? Может, мы весной 1942 года видели друг друга? Жаль, что гордые птицы гласа не имут…

Госпитальные дни Полины Васильевны перебиваются дальними и ближними дорогами. Идет по ним немолодая женщина в черной кубанке, с длинной палкой в руке. А где-то на завороте Донги сидят партизаны у костра и складывают легенды о главном враче крымского леса.

Вот одна из них, услышанная в Бахчисарайском отряде.

— Знаешь, она, брат, больше гипнозом берет. Рана, понимаешь, в кулак во! Глянет на нее, а потом в глаза, снова на рану, и кожа почнет сживаться. Точно. Это докторша главный столбовой нерв заворожила, а он другие нервишки к себе тянет. И мышцы за нервами тянутся. Точно! Глянь на мою рану! Вишь, в кучу собралась, — парень задирает штаны.

Слушатели верят каждому слову. Один добавляет:

— И самогипноз! Чо, не бывает? А как докторша по сто верст махнет за день, а сама как огурчик, а? Она сама себя гипнозует…

Я однажды встретил Полину Васильевну на яйле. Проваливаясь по пояс в тающем снегу, мокрая с ног до головы, смертельно усталая, она буквально ползла к ялтинцам, чтобы спасти раненого партизана.

Полина Васильевна всегда хотела спать, ибо, как теперь стало известно, за год партизанской жизни в среднем в сутки спала всего четыре часа. Был такой случай: мы поднимались на крутогорье, и с нами шла наша докторша. Поднялись — а ее нет!

Нашли ее метрах в двухстах на тропе. Она мертвецки спала. Будили так и этак — никакого результата. Влили спирт — молниеносно открыла глаза:

— Задохнусь, черти!

Наш главный врач живет сейчас в Симферополе, и нет среди нас человека, который не отдаст ей земной поклон.

10

Румын Тома Апостол, или, как он сам себя называл, «туариш Тома», попал в Бахчисарайский отряд сложным путем.

Зимой 1942 года румынские дивизии дрались против нас в полную силу, многие солдаты еще верили немцам, в газетах писали о какой-то Трансднестрии с центром в Одессе, которую «союзники»-немцы «навечно отдали» под власть «великого вождя Антонеску». Прозрение пришло после Сталинградской битвы.

А пока румынские полки штурмовали Севастополь, их карательные батальоны ходили в горы и настойчиво преследовали партизанские отряды.

И все же отдельно взятый солдат-румын представлял для нас опасность вдесятеро меньшую, чем солдат-немец. Да и положение у него было второсортное. Румын занимал самую неудобную боевую позицию, отдыхал в домиках, которыми пренебрегали немцы, из награбленного получал крохи, одним словом, по всем статьям находился на положении пасынка.

И конечно, солдат не знал, во имя чего он обязан класть свои косточки на чужой земле.

Румынские офицеры пьянствовали и были старательны только в одном: в грабеже.

Солдат вынужден был думать о себе, о своем животе, как-то приспосабливаться, самодельничать, действовать по своему разумению.

Ефрейтор Тома Апостол всю жизнь брил чужие бороды, любил, как большинство парикмахеров мира, всласть поболтать, был склонен даже к некоему философствованию.

Война была не по нем, и он делал все, чтобы ни разу не выстрелить из карабина, который таскал с полным пренебрежением.

В Лаки он попал квартирьером, но начал со знакомства с сухим каберне. Налакался с первого часа и продолжал пить до той поры, пока напудренный капитан на глазах всего села не отлупил сержанта — начальника Томы.

Тома по виду присмирел, постарался быть подальше от глаз капитана. По какой-то случайности Апостола поселили в доме председателя колхоза Владимира Лели.

Лели был наблюдателен и сразу же разобрался в тихом ефрейторе, понял: такой зла никому не причинит, разве обстоятельства заставят. Он пригрел Тому, накормил, напоил.

А тут еще открытие: Тома знал греческий язык. Лели — грек. За ночь было выпито ведро сухого вина, и Тома говорил столько, что можно было буквально утонуть в его краснобайстве. Но Лели был доволен: ефрейтор, оказывается, бывал во многих городах Крыма: Симферополе, Ялте, Феодосии, Бахчисарае, у него отличная память. Все это может пригодиться партизанскому штабу.

Мы готовили очередную информацию для Севастополя, нам нужен был «язык»-румын: надо было узнать о многом, что касалось румынского корпуса, его тылов, жандармских формирований.

Македонский держал со штабом района постоянную связь; в очередном донесении он подробно написал о некоем румыне-греке Томе Апостоле, преданном председателю колхоза.

Мы приказали доставить румынского ефрейтора в лес.

Румына решили взять подальше от Лак, чтобы к деревне не привлечь излишнего внимания. Исполнители — Самойленко и Спаи.

Лели уговорил Тому сопровождать его до Керменчика.

Шагали налегке. Тома забегал то справа, то слева и все говорил, говорил…

Навстречу шел высокий черноусый дядько… Тома где-то его видел, да и глаза у встречного веселые, ничего неожиданного не предвещают.

Черноусый поздоровался с Лели, сказал по-гречески:

— А хорошее сегодня утро!

— Отличное! — согласился Лели.

— Крим — во! — Тома показал большой палец.

Спаи вытащил из кармана кисет:

— Закурим, солдат!

Тома отдал карабин Лели и с охотой крутил большую цигарку.

Только прикурил, как из-за куста вылез вооруженный Михаил Самойленко.

Тома побелел, но выучка сказалась: сразу же кинулся к карабину.

Но Лели оружие прижал к себе:

— Тебе это не нужно, солдат.

Тома стоял как пригвожденный, у него тряслись руки. Он глухо спросил:

— Пп… аар… ти… заан?

— Спокойно. — Самойленко обшарил его карманы: нет ли личного оружия, взял из рук Лели карабин, простился с председателем. — Спасибо, надо спешить, путь далекий.

Тому необходимо срочно доставить в штаб района. Сорок километров трудной зимней дороги.

Самойленко оценивающе смотрел на щуплую фигуру румынского ефрейтора, пришибленного неожиданным поворотом своей судьбы.

Тома от испуга потерял дар речи.

Спаи постарался успокоить: ничего с тобой не случится, друг. Но Тома перестал даже понимать по-гречески и только со страхом смотрел на Самойленко.

Михаил Федорович — холодный и расчетливый человек по внешнему виду имел доброе, жалеющее сердце, хотя об этом трудновато было догадаться. Он редко улыбался, близко расставленные глаза будто смотрели в одну точку.

Не ахти какой ходок был Тома, уже через несколько километров он стал задыхаться, но боялся признаться и безропотно шагал за широкой спиной «домнуле», — он принимал Самойленко за важного офицера.

Вскарабкались на кручу, Самойленко снял с плеча карабин.

— Подзаправимся, Николай Спиридонович!

Спаи ловко развел очаг, в котелке разогрел баранину, разломал полбуханки хлеба на три части.

— Садись! — Самойленко позвал румына.

Тома вобрал в плечи голову.

— Ну!

— Домнуле… офицер… Тома сольдат…

— Я не офицер, а товарищ командир! Садись, раз приглашают.

Тома почувствовал в голосе Самойленко доброжелательные нотки, чуток взял себя в руки.

— Туариш… Тома-туариш…

— Ишь, товарищ нашелся, — хмыкнул Самойленко, подал ложку, коротко приказал: — Ешь!

Тропа сужалась, а ледяной ветер косо бил по усталым путникам.

Короткая желтая куртка и беретик не грели Тому. Он посинел, мелко стучал зубами.

— «Язык» может дуба дать! — забеспокоился дядя Коля. Ему было жаль солдата.

Самойленко снял с себя плащ-палатку и подал Томе:

— Укутайся!

Ошеломленный румын испуганно уставился на «домнуле», который остался в одной лишь стеганой курточке.

Тропа оборвалась перед бурной Качей. Летом река тихая, мелкая, как говорят, воробью по колено. Зато сейчас… Шумит, бурлит, прет с такой силищей, что и на ногах удержаться можно только очень опытному ходоку.

Никаких переправ, и Тома глядел с ужасом на воду. Особенно потрясали его действия «домнуле», который на ледяном холоде в один момент сбросил с себя одежду и остался нагим.

— Раздеться! — крикнул он и румыну.

Тома уже ничего не понимал и действовал автоматически.

Вода обожгла его, конвульсивно сжалось маленькое тело. Дядя Коля с силой волочил его за собой и вынес на тот берег.

Самойленко быстро и ловко начал растирать всего себя от кончиков пальцев до мочек ушей и требовал этого же от Томы.

Сильное тело Михаила Федоровича раскраснелось, загорячилось. Он ловко оделся и подбежал к Томе, который уже на все, в том числе и на собственную жизнь, махнул рукой. И если он еще шевелился, то только из страха: не вызвать бы гнев грозного «домнуле».

Михаил сгреб его в охапку, брякнул на сухой плащ и самолично стал приводить в чувство.

Его цепкие руки проворно растирали дрожавшее тело, и Тома ощущал, как блаженное тепло обволакивает его со всех сторон.

Он увидел глаза «домнуле», в которых ничего страшного не

было.

И что-то новое, никогда не испытанное наваливалось на маленького парикмахера.

Собрав запас русских слов, которые каким-то манером отпечатались в его памяти, крикнул:

— Гитлер сволош… Я туариш Тома.

Румын оказался человеком наблюдательным: в этом убедился партизанский штаб, когда допрашивал его о румынских войсках в Крыму.

Как быть с ним дальше?

Лагерей для пленных у нас не было, да и в плен нам брать, собственно, некого было: дело имели с карателями, военными преступниками, и счет у нас с ними был короткий.

Можно ли до конца доверять Томе?

Вопрос нелегкий, и на него может ответить лишь сама жизнь. Пока что Тома остался при Бахчисарайском отряде под негласным надзором дяди Коли, который лично ему доверял. Один случай убедил партизана: на маленького парикмахера можно вполне положиться.

Охотники убили оленя и просили дать им двух человек на помощь, чтобы перенести мясо в отряд.

Пошел пожилой Шмелев, а с ним снарядили и Тому. Получилось так, что их пути разошлись. Тома, взвалив на плечи оленью ногу, пошел по прямой тропе, а Шмелев двинулся в обход. Так и потерялись.

Прошло несколько часов, а о Томе никакого слуха. Неужели сбежал?

— Дьявол его знает! — сомневался Михаил Самойленко, который был во всех случаях человеком осторожным.

Комиссар отряда Черный верил румыну.

— Куда он денется! Может быть, он впервые человеком себя почувствовал.

А дядя Коля нервничал, прислушивался к каждому шороху. К вечеру глаза его живо блеснули:

— Идет!

Не шел, а полз Тома Апостол. Он заблудился, а тяжелый груз окончательно доконал его. На четвереньках карабкался в отряд, и когда докарабкался, то умоляюще произнес:

— Туариш Тома удирать не делал…

А ориентировался Тома действительно из рук вон плохо. Вот он моет партизанский котел — аккуратно, старательно. Вымыл, песочком почистил, идет в отряд…

Но отряда нет. Туда — нет, сюда — нет… Спрятал котел в кустах, отчаянно забегал вокруг, но троп много, и по какой в

отряд — шут его знает.

Спустился к речке и загрустил.

Мимо шли партизаны Евпаторийского отряда, увидели румына…

Щелкнули под самым носом затворы, Тома поднял глаза и обмер: черные отверстия автоматов уставились в грудь…

— Туариш… Ма… ке… дон… ский!!! — дико заорал Тома.

Только это его и спасло.

Уже весной 1942 года, в дни нашего самого отчаянного голода, среди румын в Крыму появились кое-какие признаки разложения.

В горных селах, например, можно было обнаружить бродячие «команды» румын. Они под всякими предлогами требовали у старост продовольствие, ночевку, вино.

Вначале их принимали за представителей румынских частей, но потом немцы издали специальный приказ о таких «командах», и их начали повсеместно преследовать.

Начальник разведки Михаил Самойленко, возвращаясь с очередной операции, заметил на партизанской тропе румынских солдат без оружия.

— Или рехнулись, или в царство небесное хотят до срока попасть!

Партизаны окружили румын, выскочили к ним:

— Руки вверх!

На всякий случай Самойленко отрезал у всех румын, охотно подчинившихся его команде, пуговицы с брюк, аккуратно вручив их владельцам:

— Понадобится — пришьете!

Тома Апостол, конечно, пришел в восторг, когда увидел своих, прыгал, как мальчишка, в момент побрил своих соотечественников, беспрерывно лопоча что-то на родном языке.

Румыны, оказывается, искали партизан. Случай этот здорово нас подбодрил в те тяжкие дни.

…Мы простились с нашим главным врачом — Полиной Васильевной.

Македонский долго смотрел на тропу, по которой уходила наша докторша.

— Хороший человек шагает по земле! — сказал Михаил Андреевич.

Мы вернулись в шалаш.

Голодная блокада леса сказывалась и здесь. Связь с селами на время прекратилась. Отряду жилось все труднее и труднее. К моему приходу у бахчисарайцев уже два дня не было в котле ничего, кроме липовых почек и молодой крапивы.

Глаза у всех запали, скулы заострились, но той безнадежной отечности, что сводила многих прямо в могилу, здесь ни у кого не было.

Сам по себе факт по тем временам потрясающий: Македонский и Черный победили голод. Во всех отрядах умирали партизаны, а здесь, в Большом лесу, летальных исходов, как выражаются врачи, не было.

Упорство Михаила Македонского, умеющего бороться с самым страшным голодом — детство научило, — не только восхищает, но и требует анализа: как он этого добивался?

Движение, движение, еще раз движение… Никому не давал он и часа покоя. Того в разведку, другого на подвижную охрану, третьего за мороженой картошкой в предгорье пошлет, четвертого ловить соек, пятого глушить форель в горных проемах, шестому боевое задание: искать на чаирах горный лук, чеснок…

И вот сейчас я вижу в лагере движение; каждый что-то делает.

Поел и я супа из липовых почек. Не знаю, чем его заправляли, но что-то мучнисто-клейкое чувствовалось. Голода не утолил, но желудок набит!

Я все время ощущал: Македонский готовит меня к неожиданности. Это было видно по тому, как он расспрашивал о положении в других отрядах района, выяснял и уточнял: сколько же можно поднять под ружье людей?

— Уж не собрался ли ты штурмовать сам Бахчисарай?

Македонский отрицательно качал головой, но мысль его непрерывно пульсировала. Особенно оживился командир, когда увидел своего прославленного разведчика и старого друга Ивана Ивановича.

— Что, Ваня? — торопливо спросил он.

— Да все на месте! Только солдат поднаперли еще!

— Много?

— С батальон насчитал.

— А фрицы?

— В двух километрах, в Ауджикое. Рота — не меньше.

— С машинами?

— Пока без.

— Отдыхай, Ваня.

Определенно готовится что-то. Я решил быть поофициальнее:

— Докладывай, что надумал!

Первый раз я встретился с нежеланием Михаила Андреевича так сразу выложить свои планы. На него это не похоже.

Он помолчал, а потом не очень уверенно сказал:

— Одну штучку надумали…

— Какую? — тороплю его.

— С переодеванием…

— Что? — Я не верил своим ушам. Мы в те времена были так далеки от романтических атрибутов с использованием против врага его формы, неожиданного появления в немецких питейных заведениях, проникновения чуть ли не в спальни командующих и прочих приемов, которыми заполнены детективные романы.

Македонский настойчиво:

— А это очень серьезно!

Дело связано с румынами. И партизан, одетых в румынскую форму, у нас немало…

Деревня Шуры, шурынская мельница — большая, с мукой, пшеницей. Мелет румынам. Но в тех же Шурах штаб и батальон пехоты. Круговая оборона, пулеметы. Штурмом не взять!

План такой: создать «румынскую роту», войти с ней в Шуры, дошагать до самой мельницы — это главное. Дальше все зависит от решительности нашей.

Я думаю, прикидываю: не одна ли тут романтика?

Но предлагает Македонский! Разве был случай, чтобы он пустопорожними делами занимался?

Я потребовал: еще раз разведать Шуры!

Пошла Дуся — причепурилась, принарядилась. Самойленко дал ей легенду: выдавай себя за обменщицу барахла, ялтинку.

Дуся пришла через день, все подтвердила: мука есть, румыны на своих не обращают никакого внимания, приходят и уходят в Шуры солдаты, и никто даже документов не проверяет.

Что ж? Пусть будет так, как хочет Македонский, а вернее, как нужно. Мука! Это же провал лесной блокады, ожившие землянки, это новые походы по севастопольским тылам!

Готовили операцию тщательно, тайно и срочно. Я подтянул из других отрядов до двухсот партизан, подбросил нам людей и Северский — командир соседнего района.

«Румынское подразделение»! Тут главным консультантом был «туариш Тома», ходивший за Михаилом Андреевичем как тень.

Тревожило нас это «подразделение»: партизаны мало напоминали действовавших под Севастополем в основном сытых румын.

Командовать будет «румынами» Тома, а Иван Иванович, переодетый в форму рядового пехотинца — в желтой куртке и папахе, — фактически несет ответственность за каждый шаг и настоящих румын, и поддельных. Он правофланговый, за ним последнее слово.

Македонский и Черный поведут главную партизанскую массу в обход к сосновому бору, что темнеет напротив мельницы и

отделен от нее бурной горной рекой Кача.

Итак, ни пуха ни пера!

Иван Иванович, отличный знаток местности, удачно подвел «румын» к шоссе Бешуй — Бахчисарай, выждал момент и тихо через партизана-грека дал команду Апостолу: «Веди!»

Впереди маршевого строя шел «фельдфебель» маленького роста с юркими глазами. Это и был Тома Апостол, на которого возложили главную роль в опасном эпизоде. Иван Иванович, шагая в строю, зорко наблюдал за всем и всеми, что окружали его, осторожно передавая команды Апостолу.

Партизаны шли, их обгоняли машины, полные солдат.

Из одной встречной, затормозившей перед идущей колонной, высунулся румынский офицер. Тома с выдержкой остановил «своих солдат», четко шагнул к офицеру.

Обстановка была необычная. Тома толково отвечал офицеру.

— Куда шагаете?

— В Шуры, господин капитан!

— Какой черт вас туда направил?

— Начштаба полка, господин капитан!

— Болван! — Капитан посмотрел на часы. — Ночуйте в Шурах, утром пришлю связного.

— Так точно, господин капитан!

Солнце пряталось за развалинами древнего городка Чуфут-Кале. С гор струился сырой воздух, пахнувший талым снегом.

Наступал партизанский «день». В вечерних сумерках отряд Томы пошагал смелее. Бешеный лай собак встретил партизан на околице. Патрули молча пропускали запоздавших «румын». Тома сердито и требовательно отдавал команды, всем видом показывая, как ему все осточертело.

Дорога свернула к бушующей реке, заглушавшей все звуки вокруг.

Впереди замерцали огоньки. Мельница!

Вдруг пристал патруль. Высокий румын что-то спрашивал у Томы, тот отвечал, упорно продолжая движение. Уже доносилось хлопанье лопастей гигантского водяного колеса и…

И неожиданно высокий румын застыл, а потом что-то крикнул напарнику. Тот испуганно побежал. Тома, вскинув в момент винтовку, крикнул:

— Лупи!!!

Выстрелы — и румыны упали.

— Сигнал! На мельницу бегом! — Иван Иванович дал очередь из автомата.

Суматоха, стрельба, крики…

Македонский бросился форсировать буйную от талых вод

речку. Он первым вошел в воду, за ним — остальные.

Ноги скользили, партизаны бултыхались в воду, захлебывались, но неудержимое движение по реке продолжалось. Девяносто партизан оказались на том берегу.

Стрельба на мельнице вмиг оборвалась, там уже хозяйничал Иван Иванович с «румынами». На покрытом мучной пылью полу лежали трупы и наших и врагов.

Мельник, муж Дусиной знакомой, семеня рядом с Иваном Ивановичем, говорил:

— Я русский, свой… Значится, Петр Иванович… Ну, до чего напужали… Ведь чуть не ухлопали своего человека…

— Свой, а якшаешься с кем? Работаешь на кого? — огрызнулся Иван Иванович.

— Работаешь, работаешь… Жрать захочешь, так будешь работать, мил человек, — обиженно пробормотал Петр Иванович и отошел в сторонку: появился комиссар отряда.

— Как, Ваня?

— Отлично! Ребята на обороне, а мучица есть… Вот двоих потерял…

С исключительной быстротой мешки с мукой передавались по живой цепи на ту сторону реки. В воде, поддерживая друг друга, плотной стеной стояли самые сильные партизаны. Через некоторое время сто мешков муки было на том берегу.

Из-за поворота показалась машина, за ней другая. Осветив мельницу, фашисты открыли сильный пулеметный огонь.

— Ванюша! — Македонский обнял товарища. — Теперь все в твоих руках… Бери фрицев на себя… Давай к повороту и продержись минут двадцать, понял?

— Продержусь!

Черный собирал людей и быстро направлял их через речку в лес.

Вдруг кто-то схватил его за рукав:

— Товарищ секретарь райкома! А мне что, пропадать? Ведь фрицы убьют! Это был мельник.

— Что же с тобой делать?

— Бери в лес!

— Давай, живо!

Туго пришлось Ивану Ивановичу. Отбиваясь, он отходил в сторону Бахчисарая, вступая порой буквально врукопашную. Убили троих румын — друзей Томы, потом еще двоих партизан — коренных бахчисарайцев.

Оторвались только к рассвету. В горы несли раненых.

Македонский, нервно поглядывая на дорогу, по которой с трудом отходил Иван Иванович, уводил в горы партизан,

нагруженных до отказа ценнейшим грузом — мешками муки.

Мучной след вел в лес. Утром по нему отправились фашисты. Напрасны были их попытки, — разветвляясь по тропинкам, след удваивался, утраивался, удесятерялся… Трофейная мука расходилась по всем партизанским отрядам, неся живительную силу для новой борьбы с заклятым врагом.

Долго вспоминали в лесу о «мучной операции», а участники нескоро отделались от ее следов: вся одежда их пропиталась мучной пылью.

А вскоре начался апрель. Через горы шла весна. Она долго бушевала в садах Южного побережья, захлестнула зеленью предгорные леса и, перешагнув через продутую злыми ветрами яйлу, зашагала в Большой лес, а потом и в таврические степи.

Прошли первые весенние дожди — короткие и стремительные. На северных склонах гор сходил снег. Легкие туманы поднимались из ущелий и где-то высоко над зубцами гор таяли в небе.

Стали к нам регулярно летать самолеты из Севастополя, с Большой земли. Родина взяла нас на довольствие.

Перед нами стали новые проблемы, и уже не было необходимости нашему Македонскому ломать голову: а как перехитрить самого черта и добыть конину?

11

Приятно лежать на шелковистой траве и ждать, когда в теплом бархатистом небе мелькнут долгожданные огоньки и ровный рокот авиационных моторов зальется по всем ущельям трехречья.

Как ни темна ночь, но мы чувствуем полет белого купола парашюта то ли по шуршащему звуку, то ли по отсветам, которые замечаем даже в непроглядную темень.

Мы почему-то знаем, куда приземлится наш груз, и летучие группки партизан порой оказываются точно на нужном месте и даже не дают торпеде с парашютом коснуться земли — груз хватают на лету.

Нас радует не только сам факт, что мы можем дать каждому партизану на завтрак по два сухаря, по полконцентрата и даже по кусочку маргарина, что мы можем по всем правилам забинтовать рану, ночь провести под шелковистым шелестом купола, заменившего шалаш. Мы потрясены другим: нас помнит Большая земля, нас знают, о нас думают!

Весна 1942 года. Грозная предвестница керченской трагедии,

облегчившей фашистам путь на Кавказ и к волжским водам.

Мы предчувствовали: все еще впереди — и страдания, и муки, и радость освобождения родной земли.

Но в теплые апрельские дни сердца наши колотятся сильнее, чем когда-либо. Мы живем ощущением наступившего дня, тем, что кроны зеленеют гуще и гуще, что на чаирах раскрываются венчики ярко-красных полевых тюльпанов, что где-то над нами поют птицы.

Нам хочется жить, любить…

Но больше всего мы одержимы другим — тем главным, во имя чего мы покинули родную кровлю, свои семьи, за что отдали жизнь наши товарищи, за что мы страдали на мучительных яйлинских дорогах.

Это главное — Севастополь!

И мосты рвем, и дороги поднимаем на воздух, и машины валим в кюветы, и солдат с офицерами убиваем, и с немецкими холуями рассчитываемся по самому крупному счету… Но все ли это, что нужно Севастополю?

Неужто мы не можем сделать что-то большое, каким-то выдающимся подвигом ответить на то, что к нам чуть ли не каждую ночь прилетают самолеты, наш радист Дмитриев принимает короткие шифрограммы, в каждом слове которых забота и тревога о нас?!

Кричат паровозы, стучат колеса… Стальной путь лежит от Симферополя через Бахчисарай на Севастополь… Вот там, на железной дороге, немцы полные хозяева. Только дня побаиваются, пристально следят за воздухом.

А что им день, когда ночь в их руках: от сумерек до рассвета.

Стучат колеса, на стыках путей подпрыгивают платформы с танками, пушками… Храпит пушечное мясо в серых вагонах.

Дорога идет по равнинам: ни кустика вокруг. Чтобы добраться до нее, надо километров десять пройти по местности, открытой, ровной — хоть шаром кати, мышь прошмыгнет — увидишь.

Железная дорога! До нее мы добраться обязаны.

Я и комиссар района Амелинов перебираем сотни возможных вариантов, но все они лопаются как мыльные пузыри.

За Басман-горой бахчисарайцы. Македонский! Перебирай не перебирай, а все дорожки сходятся к нему, к его мастерам партизанской тактики.

Я снова жму крепкую ладонь Михаила Андреевича. Он с лукавинкой спрашивает:

— А не перекочевать ли тебе к нам со всем штабом, а?

— Не возьмешь?

— Испытание выдержишь — возьму.

Смеемся.

В лагере удобная чистота и легкость какая-то. Дай команду сняться с места, ей-богу, через пять минут и следа не останется. Так уйдут, что и не разберешь, в какую сторону ушли.

За простотой обращения друг к другу, за домовитостью, за демократизмом чувствуется такая организация, которая способна горы из вулканического диорита расплавить.

Почерк Македонского! Я еще тогда подумал: а разверни-ка этого гиганта по-настоящему, дай-ка ему полную волю, да он способен из безжизненной пустыни сделать роскошный уголок. После войны этим-то он и занялся. И весьма успешно.

Перекусили чем… не бог, а Севастополь послал. Македонский вынул карту и решительно показал на черную и жирную линию Симферополь Бахчисарай:

— За этим явился?

— Догадался.

— Штука не хитрая. Как это сделать с одного захода?

— Небось прикинул, Михаил Андреевич?

— Конечно, дело трудное! — повернулся ко мне Македонский. Лицо его, освещенное красноватым отблеском потухающего костра, показалось мне усталым. — Но божий свет не без добрых помощников!

— А как мельник? — спросил я, догадываясь, куда гнет Михаил.

Комиссар Черный мельника знал давно как хорошего специалиста, но человека нелюдимого. И во время коллективизации мельник не очень-то восторгался тем, что люди скопом шли в артели, да и позже всякие там займы и прочие кампании встречал без восторга. Вел себя тихохонько, смирнехонько, но на людей смотрел исподлобья. Впрочем, работал в МТС механиком, трактористом, были им довольны и старались даже задобрить. Побывает машина в руках «дяди Пети» — можешь спокойно сезон «отжарить».

В этом отряде командование особых секретов от партизан не имело. Дезертиры смылись еще в ноябре, предателей разоблачили. Народ остался верный. И только потому отряд и мог жить за Басман-горой. Он для противника всегда был загадкой. Карители, бывало, окружат лес, заблокируют горы, а где искать Македонского — не знают.

Шли и на такие провокации: выставят на заметном месте двух-трех горлопанов, и те орут истошно:

— Македонский!!! Выходи, пиндос трусливый!

— Ма-ке-дон-ски-ий!!! Холуй жидовский! Давай один на

один!!

Партизаны только посмеивались, а сам Македонский радовался как ребенок:

— Вот дешевка, дает так дает!

Появился новый человек в отряде — мельник Петр Иванович. Пока держат его особняком. Он хорошо понял указанное ему место и любопытства ни к чему не проявляет.

Один интересный факт: старший брательник мельника — будочник на дороге, служит немцам. И живет прямо у переезда. Вот так!

Мы с Македонским во все глаза глядим на комиссара: что же он скажет окончательно? А Василий Ильич будто испытывает наше терпение — молчит!

— Да ты забудь прошлое! — уже горячится Михаил Андреевич: ему хочется получить немедленное «добро» и сейчас же закрутить дело, чтобы пыль столбом пошла.

Черный по привычке поджал губы и стал чем-то похож на обиженного ребенка.

— Он же мог убежать! Ан нет, помогал нам мучку нагружать… подсказывает Македонский.

— А что ему оставалось делать?

Македонский с отчаянием ко мне:

— Что прикажешь?

Хитер бес, ведь он в душе уже решил положиться на мельника, а сейчас ищет только официального согласия комиссара. Тут он принципиален, да и очень верит Василию Ильичу. Его «добро» ему необходимо, как глоток вина после тяжелого труда.

— Я за мельника! — отвечаю ему.

— Видал?! — Македонский снова к Черному.

— Что ж, давай мельника, — наконец соглашается комиссар.

Появляются Иван Иванович и мельник в рабочей одежде, низенького роста, на вид лет тридцати пяти и, видать, болезненный — лицо желтое.

— Давно был у брата? — спросил Македонский.

— За два дня до леса.

— Где он работает?

— Будочник, на железке.

— Как он с оккупантами?

— Дружит, — коротко ответил мельник.

— А ты?

— А на кой ляд я пришел к вам?

— Привел случай.

— А я давно ждал его — вот что я вам скажу! Дуся моей жене

все выложила, а та мне. И держал муку на мельнице, и румынам брехал: машина поломалась. Вот и весь мой «случай».

Михаил Андреевич нервно потер подбородок — первый признак признания вины — и излишне бодро сказал:

— Петр Иванович! Ты нас строго не суди, время такое… Надо к брату идти. Как?

— Приятности мало. И толк выйдет ли?

…На третьи сутки Петр Иванович вернулся в отряд. Он побывал у брата, не выдавая себя; разузнал: немцы дорогу охраняют, но не особенно шибко. Подобраться к ней трудно — надо переходить шоссе Симферополь — Бахчисарай. Солдатни там туча тучей. Мельник сам чуть не попался в лапы жандармов, выручило только сохранившееся удостоверение, выданное румынским штабом.

Сведения были свежие и нужные. Но сам вопрос о диверсии остался открытым. Как же нам быть?

Иван Иванович наипростейшим образом разрубил этот сложный узел.

Он — выбритый, с белым подворотничком, аккуратный такой, что не всегда за ним наблюдалось, — неожиданно предстал перед нами.

— На парад, Иван? — подначил Македонский.

— На железную дорогу!

— Так-таки и туда?

— А что, командиры? Мы знаем дорогу, охрану, знаем, что фрицы через пятое на десятое патрулируют ветку, наконец — там брат нашего партизана! Хватит! А эшелон на воздух!

Очень убедительно говорит Иван Суполкин.

Македонский шапку назад:

— Под лежачий камень вода не бежит! Давай группу, Ваня! Ты, мельник да еще двоих.

Они шли на перегон Бахчисарай — Альма (теперь ст. Почтовая), день отлежались под кустами, а когда стемнело — пошли к дороге. Но темнота была жуткая, будто в погреб попали. Искали, искали дорогу — нет ее, и все! Утром опять в кусты, посоветовались и решили Петра Ивановича к брату послать.

Рассвело, и будка стала видна — бродили-то рядом, оказывается.

Рискованно было, конечно, Петра Ивановича посылать, но, кроме всего, уж очень животы подвело, особенно у Ивана Ивановича, любителя «подзаправиться».

Но Петр Иванович вернулся, даже буханку хлеба принес, зеленого луку в палисаднике надергал. В общем, стало веселее…

Уж если что втемяшилось в голову Ивана Ивановича — колом

не вышибешь. А втемяшилось: взять да с Петром и ввалиться в гости к будочнику, а там черт не выдаст — свинья не съест!

Увидел Иван Иванович дядю и чуть тягу не дал: здоровенный, лохматый, ручищи — во!

Этот дядя накинулся на мельника, брата своего:

— Чего ты шляешься, шибздик?! Сказал тебе, уходи!

Иван Иванович на него:

— Ты вот что, милый гражданин, к тебе пришла Советская власть, и не бузи… Ребята, — это к партизанам, — будем здесь базироваться! А ты, браток, никуда не смей и носа сунуть!

Будочник только руками развел: такого нахальства он не ждал.

— Вы кто же такие будете?

— Партизаны, и твой брат Петр — партизан. А ты кто?

— Российский человек! А что Петя партизан, это чудно. Оа же Советскую власть на всех перекрестках…

— Сука ты! — Петр Иванович взъерепенился. — Не Советскую, а дураков, что вокруг нее вились. И чудно тебе, коль сам у немца служишь и водку его глушишь…

Будочник встал да с размаху кулаком Петра… Тот и отлетел в самый угол.

Иван Иванович на него автомат.

— Не имеешь права, гад! Немецкий служака, холуй! — вскипел Суполкин. Пристрелю, сволочь!

Будочник замер, даже попятился, глаза налились кровью.

— Служака, говоришь?! Такой паскуде служить, да? Ты думаешь, немца я не бил? Идем! И ты иди! — гаркнул на брата.

Забежал в сарайчик, зажег фонарь, всунул его в руки Петра, взял лопату и начал расшвыривать землю. Стало вырисовываться что-то похожее на труп.

— Смотри, партизан, смотри, Петя, на господина офицера.

— Это ты его, Гаврюша?! — ахнул Петр Иванович.

— Ударил по лицу, сволочь… А другой — под скирдой лежит. Немец-техник… Все выкаблучивался, душу теребил, паскудина… Но тот маленький, того с одного маха…

— Гаврила Иванович! Так ты сам партизан?! Давай взорвем эшелончик и в лес! А? — предложил Иван Иванович.

— Нет! Не люблю людей. Могу и начальство перебить, если не по душе. А эшелончик — дело стоящее… Я сам хотел, чего уж тут! Меня немцы на прицел взяли — чую!

Быстро и без помех подготовили полотно к взрыву, подложили взрывчатку, а Гаврила Иванович стоял на охране.

На рассвете эшелон подорвался: десять вагонов со снарядами — в сплошную труху. Снаряды рвались долго.

Гаврила Иванович сразу же ушел, даже не попрощался, а партизаны благополучно добрались в отряд.

Македонский обнял мельника:

— Видишь, и брата ты зря ругал.

— Куда-то он теперь ушел? — с беспокойством спросил Петр Иванович.

— Таких не скоро возьмешь! Будет диверсант-одиночка. Счастливого тебе пути, «российский человек»!

12

Заработала гигантская карательная машина: три пехотных полка облепили с обеих сторон железнодорожную линию как назойливые мухи.

Мы пытались найти лазейку, но немцы были бдительными. Они бесчинствовали, смели с лица земли домик Гаврилы Ивановича, а когда обнаружили труп фашистского техника, подвезли к тому месту заложников и расстреляли их.

И в эти-то летние дни 1942 года, когда мы отбивались от карателей, пришла беда. Нужно было собрать все мужество, чтобы не растеряться, не упасть духом от этой скорбной вести: наши войска, на которые мы надеялись, войска, чьего удара ждали весь Крым и вся страна, — эти войска, занимавшие Керченский плацдарм, потерпели поражение. Немцы заняли Керчь…

Это был удар и по Севастополю. Отрезанные Керченским проливом дивизии, попавшие в катастрофу, не смогли эвакуироваться. Как говорится в «Истории Великой Отечественной войны», «противник захватил почти всю нашу боевую технику и тяжелое вооружение и позже использовал их в борьбе против защитников Севастополя…».

Сломив сопротивление наших войск на восточной окраине полуострова, фашисты все силы бросили на морскую крепость.

И вот уже днем и ночью гудят жаркие дороги под гусеницами танков и сапогами солдат: на Севастополь! На Севастополь!

На западе, под Севастополем, пока тихо, но мы знали: часы этой тишины сочтены.

За нами оставались ненависть и борьба.

Все на помощь Севастополю!

Лагеря без людей; разве кто больной, да и тот, приткнувшись к дереву, несет охранную службу.

Боевая группа — все поджарые, до черноты загорелые, с глазами в красных прожилках от переутомления и недосыпания, вернулась в лагерь.

Краткий рапорт, выкладка трофеев — особенно документов, которые уже ночью будут лежать на столах командующих Октябрьского и Петрова, получение пайков, умывание, горячая похлебка из тертых сухарей и сон, глухой как вечность.

Десять часов подряд над скрытой от глаз теснинкой раздается храп, а потом, как по команде, обрывается.

Уже через час по крутой тропе ползет змейка — снова на дорогу! Выше и выше, только на пике Демир-Капу она останавливается для передышки, а потом опять на звонкую яйлинскую тропу.

Если бы была возможность запечатлеть хотя бы один июльский день в крымском лесу, то получилась бы прелюбопытная картина.

Мы увидели бы дорогу, изжаренную солнцем, тающий асфальт с глубокими вмятинами от шин и гусениц, шагающих потных немецких патрульных, с трудом отрывающих толстые подошвы от липкого асфальта; увидели бы бронемашины с вращающимися башнями, откуда пулеметы изрыгают временами лавину свинца. Шагает немецкая пехота, а за кюветом тянется рядом с ней цепь полевых жандармов, обстреливающих кусты. Или движется колонна машин: впереди броневики, а позади — легкие танки. Над дорогой с треском проносятся самолеты, утюжащие огнем подступы с гор. Потом немецкие секреты, а еще выше новый кордон от партизан — завалы и проволочные заграждения.

Это часть обороны врага, его запутанной и сложной системы передвижения по Крыму, которая требовала полки и полки только на охранную службу.

Но нас эти преграды остановить не могут: тридцать, а то и сорок партизанских пятерок, четверок и троек просачиваются сквозь все хитроумные засады и секреты, как вода сквозь едва заметные щели.

И летят мосты, и от снайперских ударов по водителям, убиваемым на критической точке поворота, на опасном перекрестке, падают в пропасти никем не управляемые семитонки.

Война на дорогах!

Таким манером шли через горы на Севастополь манштейновские резервы, купаясь в собственной крови, сгорая в пламени собственного бензина.

Война на дорогах!

Севастопольский отряд!

Корпус Рихтгофена двинулся на третий — последний штурм Севастополя.

Армада горбатых «юнкерсов» — полки за полками — летит на запад и черными волнами накатывается на севастопольское небо. И за каждой волной вздымается земля, окутываясь смрадным дымом и пламенем.

А на яйле маленькая, очень маленькая кучка вооруженных людей. Это пять партизан-севастопольцев во главе со своим командиром Митрофаном Зинченко.

Какую опасность могут представить они для трехсоттысячной армии Манштейна?

Давайте-ка повнимательнее проследим за этой группой.

Каратели обнаружили ее на Гурзуфской седловине. Сигнал! И со всех видимых и невидимых точек двинулись жандармы на ничтожную кучечку партизан.

Зинченко осмотрелся, молниеносно принял решение:

— В кошару!

Разваленный сарай со следами сыроварни. Стены из дикого камня, вокруг площадка, изрезанная радиальными линиями мелкого кустарника.

Только прилегли, отдышались — фашисты.

Стрельба, стрельба. Отвечали редко, но точно. Три солдата остались на поляне.

Зинченко знал одно нехитрое правило: в беде не спеши.

Идут фашисты, сперва робко, а потом наглее.

— Ждать! — еще раз требует Митрофан Зинченко.

Сто метров, восемьдесят… рукой подать…

Точность партизанского огня потрясающая. Он скосил половину штурмующей группы. Бегут фашисты на исходный рубеж, Зинченко использует миг растерянности врага:

— Бегом!

Пулей выскакивают из кошары, вдоль кустов, пригнув головы, с молниеносной быстротой вбегают в буковый лес. Пули запоздало свистят за их спинами.

Шуму на десять верст вокруг. Надо хитрить. Приходится шагать там, где и зверю не пройти. Трудна дорога поперек гор, особенно трудна из-за проклятого зноя, когда солнце буквально буравит голову, спину. Трудна и длинна. Это нечеловеческая дорога. Сейчас, в мирное время, отлично экипированные молодые люди с запасом калорийной пищи проходят ее за день и зарабатывают значок «Турист СССР».

Зинченко, проводник дед Кравченко, которому далеко за пятьдесят (только совсем недавно он пришел в себя после тяжелой контузии, худой одна лишь тень осталась от него, борода стала острее и даже сгладила постоянную хитроватость на лице), железнодорожник-севастополец Александр Гамота, бывший

паровозный машинист Николай Братчиков и еще два севастопольца — фамилии их утеряны — прошли эту дорогу за шесть часов и ночь встретили в Голубой долине — в той самой где властвовал майор Генберг, давно ждавший нас с повинной!

Сколько сил он потратил, сколько жизней немецких он отдал, чтобы обезопасить второй эшелон Манштейна.

А Зинченко переспал в лесу, на рассвете же уничтожил охрану моста, который уже взрывался шесть раз и теперь был взорван в седьмой.

Снова партизан преследовали, но они ловко провели карателей. Те искали их повсюду, а партизаны просидели рядом с Юсуповским дворцом и видели немцев, спокойно пребывающих в зданиях.

Ночью Зинченко взял тропу на «Триножку». Вершина, вокруг пропасть, и одна лишь тропка сюда и отсюда. По ней ходили еще древние тавры.

Оборона — лучше не придумаешь. Одним пулеметом можно роты косить.

Устали. На пост снарядили Гамоту — охраняй, потом сменим.

Митрофан Никитович волновался: не заснет ли?

Дважды проверял: парень на месте, бодрствует.

— Не беспокойся, командир. Вздремни малость, — говорит дед.

Коварны предрассветные минуты. Они сломили Александра Гамоту.

Зинченко проснулся как от толчка в сердце, посмотрел на часы: дремал сорок минут.

— Дядя Федор, смени Сашу, — торопливо приказал Даниловичу.

Тот, покряхтывая, ушел, а минут через пять его страшный крик разбудил всех.

Александра Гамоту нашли привязанным к корявой сосне. Он был без головы.

…Голова партизана была насажена на кол и выставлена перед Юсуповским дворцом.

В горячке бросились было во дворец, но командирская воля взяла верх:

— Стой!

…Самолеты все летели и летели на запад. Полыхало небо, вздрагивали горы.

Развилка дорог: одна — на Бахчисарай, другая — в горы к Биюк-Узень-Башу. Столетняя шелковица, за ней живой забор из колючей ожины. В ее гуще — партизаны, колючки до крови

ободрали их лица.

Гудит тяжелая машина, в кузове полным-полно солдат.

Митрофан Зинченко спокойно, как на мирную работу, вышел из засады, прилип всем телом к стволу шелковицы. До развилки пять метров… Машина на ней. Точный бросок противотанковой гранаты! Грузовик буквально стал на дыбы, перевернулся, как игрушечный, взорвался.

Солдаты, сбивая с себя огонь, бежали куда только глаза их глядели, а Зинченко не шелохнувшись стоял за деревом.

— Пишлы, командир, — дед теребил его, застывшего.

— На место! — крикнул Зинченко так, как никогда еще не кричал. Дед юркнул в ожину.

Садами пробрались в Фоти-Сала, там спрятались в заброшенном домике с глинобитными стенами, совсем рядом дорога на тот же Бахчисарай.

Спокойствие командира было устрашающим, дед Кравченко тайно крестился, а всегда безропотный Николай Братчиков все что-то хотел предложить, да не осмеливался.

По дороге мчится легковая машина. Одна. Зинченко взял гранату, прыгнул в кювет.

Машина шла прямо на него, и, когда до нее было рукой подать, Митрофан Никитович метнул под переднюю ось гранату.

Машину разворотило, словно вывалили наружу ее нутро. У водителя было снесено полтуловища, а рядом с ним приткнулся высокий немецкий офицер, с развороченным плечом.

Это был главный каратель Голубой долины майор Генберг. Он нашел конец на земле, к которой проявлял излишний интерес и слишком рано повел себя на ней как хозяин.

* * *

Артем Филиппович Ткачев, бывший начальник Ялтинской пограничной заставы, хорошо командовал отрядом. Балаклавцы как бы заново ожили и старались нагнать упущенное за зиму. Их подхлестывал упорный слух: фашисты в деревне Скеля повесили комиссара отряда Александра Терлецкого. Они мстили и за него.

Я очень хорошо помню Артема Филипповича. Он из тех, кто в любой одежде кажется кадровым профессиональным воином.

Он никогда и ни на кого не обижался. Но это не от равнодушия, а от редчайшей выдержки, помноженной на воспитанность кадрового пограничника.

Ткачев незаменим в минуты внезапности. Его нельзя ошеломить.

Помню случай. Сидим мы с ним у речки на бревне, над нами грохочет сухое небо, сверкают молнии.

Сыпанул ливень.

Сыро, скользко. Тишина. Никакой опасности не предвидится, настроение мирное. На западе погромыхивает малость, а так — никаких посторонних звуков. Ткачев о чем-то говорит.

Вдруг он обрывает на полуслове, смотрит на гору, круто сбегающую к нам.

— Спокойно, товарищ командир, фашисты рядом, — как-то по-обычному предупреждает он меня и резко тянет к себе.

Я готов был накричать на него, но… увидел немцев, прямо на задницах скользящих на нас.

Ткачев выставил автомат и хладнокровно очередью сверху вниз срезал всю цепь. Это была настолько точная снайперская работа, что она буквально ошеломила меня.

Через полчаса в лагере был порядок, Артем Ткачев дал нагоняй начальнику охраны.

— Так они, гады, под гром присобачились! — оправдывался тот.

— Еще такой случай — в трибунал! — сказал Ткачев и отпустил.

В противоположность Митрофану Зинченко, он никогда не шел на отчаянный риск. Но уж если выходил на операцию, то возвращался не с пустыми руками.

Хочу привести лишь одну страницу из боевого дневника Ткачева, сохранившегося в архиве. Вот он весь, лаконичный старший лейтенант Артем Ткачев:

«Группа бойцов отряда, будучи на операции с 2 по 19.6.42 г. в районе Байдарской долины, произвела:

а) 6.6.42 г. На шоссейной дороге в районе Байдары — Байдарские ворота разбита и подожжена одна семитонная автомашина, а находившиеся в ней 70 чел. немцев уничтожены гранатами.

В операции хорошо действовали Тамакчи, Гросс.

б) В районе Байдарских ворот полностью перерезан кабель связи до двух килом.

в) 10.6.42 г. на шоссейной дороге в районе Байдары — Байдарские ворота разбита одна трехтонная машина, а находившиеся в ней 10 человек немцев уничтожены полностью.

г) 16.6.42 г. Был бой на яйле с карателями…

д) 18.6.42 г. на шоссе Коккозы — Ялта перерезан полевой кабель до 1 км».

Вот и все! И ни слова о том, что рейдом группы командовал сам Ткачев, что семнадцать суток группа ходила по тылам,

преследуемая карателями, имея на брата по три килограмма сухарей, по пять пачек концентратов, по щепотке соли.

«Разбита и подожжена одна семитонная машина, а находившиеся в ней 70 чел. немцев уничтожены гранатами».

Как просто!

А на деле так. Партизан Тамакчи, коренной балаклавец, под видом старого и немощного татарина вышел на шоссе, помолился аллаху и его пророку Магомету у горного источника, приткнувшегося за спиной самих Байдарских ворот (и сейчас разгоряченные автопассажиры поголовно останавливаются у этого источника, освежая себя после крутой и жаркой горной дороги).

Человек молился, а немецкие солдаты проносились мимо и молча смотрели на пожилого человека, — так искренне играл наш Тамакчи, хотя ему было тогда не более тридцати пяти лет.

Помолился всласть и медленно заковылял в сторону большого селения Байдары.

Где же залечь нам? Вот о чем думал Тамакчи, зорко всматриваясь в голое тело горы, сползавшее на асфальтовую магистраль. И он выбрал это место, на первый взгляд самое непривлекательное для партизанской засады.

Только в книгах партизаны ждут врага в густых зарослях, а в жизни приходится поджидать врага в самых неожиданных местах. Здесь почти голый скат, правда обсыпанный седыми громадинами валунов, плюс ужасный солнцепек: лучи падают вертикально.

У Тамакчи верный глаз. Другая сторона дороги — крутой обрыв, а сама дорога берет резкий поворот вправо. Бабахнуть по шоферу — машина по инерции пойдет в обрыв, а с валунов чесануть из автоматов.

Два часа пеклись на солнце, у самого Ткачева был обморок, но заметил его только Тамакчи, для которого жара не жара — привык.

Молодой партизан Гросс был выдвинут ближе всех к шоссе. На нем самая ответственная задача: дождаться семитонки, крытой брезентом, — в ней пехота, едущая на Севастополь, — и расстрелять шофера.

Шел разный транспорт, а нужного не было. Поглядывали на Ткачева, окончательно распаренного солнцем, но тот молчал и всем видом говорил: ждать, что приказано!

Дождались.

Гросс отлично справился с задачей, в упор застрелил водителя на самой критической точке поворота, машина тараном пробила подпорную стену и ахнула вниз.

Партизаны выскочили на шоссе и забросали гранатами

горящую семитонку, пока на ней не взорвались баки с горючим.

Семнадцать дней рейда!

13

Совсем обезлюдел Большой лес. За Басман-горой идиллия, хоть пикники устраивай.

Македонский еще раз проучил карателей. Они, не без помощи коушанских полицаев, выследили временную стоянку бахчисарайцев и, как говорят, — с ходу хотели нанести короткий, но жестокий удар.

Все было достойно удивления: и как по тревоге почти батальон немцев выскочил из Коуша, и как он без шума и очень торопливо вышел на тропу, стал охватывать отряд с двух сторон.

Все было сделано немцами, не учтено лишь одно: система наблюдения, которую держал Македонский в Большом лесу.

Не только батальон, но даже одинокий солдат не мог покинуть Коуш без того, чтоб об этом не стало известно Македонскому ровно через полчаса, а то и гораздо раньше.

Сопоставляя данные наблюдателей, Михаил Андреевич убедился: карателя с излишней самоуверенностью рассчитывают на внезапность.

Вот и хорошо, пусть идут?

Отряд, кроме боевой пятерки во главе с Самойленко, вывел с великой осторожностью. Пятерке и надо изобразить панический бег, но такой, чтобы основные силы немцев оказались на лесной дороге по хребту, соединяющей два Аппалаха — Верхний и Нижний.

Там-то и занял Михаил Андреевич отличную боевую позицию.

Говорят, Михаил Андреевич родился в рубашке — в лесу ему везло.

Да и мне казалось, что Михаил Андреевич везучий человек. Однако жизнь меня убедила, правда уже после войны: и на старуху бывает проруха. Бывало время, когда жизнь и Македонскому щедро отпускала тумаков…

…Карателя унесли с Аппалахской дороги много трупов. Кровавый след тянулся по дороге до самого Коуша. Ни одно поражение фашисты так не переживали, как это: вся Качинская долина погрузилась в траур.

Тут дело не только в манере Македонского, но и в настроении партизанской массы. Поражение под Керчью — рубцы и на наших сердцах. А то, что немцы за Дуванкоем устанавливают

пушки, взятые под Семью Колодезями, и палят нашими снарядами по Севастополю, вызывало такую дикую ярость, что люди могли совершить невозможное.

Я у Македонского. Брови у него стали гуще, взгляд острее, а та подкупающая улыбка, которая всегда и всех тянула к нему, пряталась за резкими чертами лица, в котором было сейчас куда больше решительности, чем привычного для Македонского добродушия.

Он по-деловому поздоровался и тут же вынул из планшета донесение:

— Вот какая хреновина получается, командир. Дожили!

Да, действительно дожили: фашисты нагнали на станцию Бахчисарай несколько эшелонов с нашим вооружением, взятым под Керчью.

Я знал Македонского: ни одного разговора не начнет только для разговора. И, помимо всего, он торопится, Что же хочет от меня бахчисарайский командир?

Прямо спрашиваю:

— Что надо сделать?

Македонский уставился на меня.

— Надо достать эти эшелоны. И не только их, а все склады, пакгаузы и прочую ерундицию. Но тут нужно вот так, — Македонский раскинул сильные руки и сблизил их.

Догадываюсь: сложная операция, взаимодействие партизан, авиации, Севастополя, Большой земли.

— Добейтесь толкового радиста, а остальное за нами, бахчисарайцами.

Идея, конечно, сверхотличная, да и не на пустом месте она. Есть уже некоторый опыт. Днями партизаны Евпаторийского отряда под командованием талантливого человека — Даниила Ермакова, узнав о продвижении в районе Ново-Бодрак большой вражеской автоколонны, сообщили данные по радио фронту. В этот же день договорились о совместных действиях.

Боевая группа партизан залегла у дороги в ожидании самолетов. Выстроенные в три ряда, накрытые брезентами, автомашины противника готовились к движению на Севастополь.

По команде водители нажали на стартеры, и земля заходила ходуном — до того мощно сотрясала ее почти сотня дизельмоторов.

И никто из немцев даже не подумал посмотреть на небо, прислушаться к тому ровному гулу, что шел со стороны Чатыр-Дага.

Наши летчики легко обнаружили колонну, и — пошло! Самолеты делали заход за заходом, а партизаны под бешеный

шум моторов ползком подбирались к самой магистрали.

Не успели самолеты отбомбиться, а уцелевшие машины рассредоточиться, как по напуганным фашистам ударили партизанские автоматы.

Колонну сожгли, разгромили.

Это была хорошая работа, севастопольская!

…Заместитель командующего партизанским движением Крыма Георгий Леонидович Северский не только с волнением принял идею Македонского, но без промедления стал связываться со штабом Северо-Кавказского фронта.

И было получено: добро!

…Чердачное перекрытие. Пахнет пылью, мышами, прелым зерном. В середине, под сушильной трубой, лежит молоденький радист, прикрыв ватником аппаратуру. В углу, сдавленном железной крышей, вытянулся Иван Иванович Суполкин. Он всматривается в маленькие светлячки сигнализации, которые беспорядочно разбросаны между путями. За станцией в мглистой дымке чувствуется затемненный городок, недалеко — силуэт водокачки.

У выходной лестницы с чердака сидит Дуся.

Внизу, в огромной заброшенной пустоши, поют сверчки, и под легким сквозняком дрожит вырванный из крыши железный лист. А за стенами пакгауза идет своя, тревожная жизнь прифронтовой станции.

Кричит маневровый паровозик, сигналят водители машин кое-где копошатся солдаты, под командой разгружая что-то тяжелое, а на западе стеной стоит полыхающее зарево и слышны мощные вздохи кипящего в огне фронта.

Чьи-то шаги приближались к зданию. Дуся насторожилась, согнулась всем корпусом, стараясь всмотреться в темноту.

— Тома? — тихо спросила она.

— Я, я. — Запыхавшийся румын поднимался по ветхой лестнице.

Общими усилиями довольно подробно разобрались в том, что видел за несколько часов Тома. А видел он многое… На станции были эшелоны с пушками, снарядами, продовольствием. Здесь основной пункт разгрузки врага, действовавшего на Севастопольском направлении. Конечно, есть и зенитные установки, но не так уж густо, да и стоят они на заметном месте…

Четко работал молодой радист. Ровно в десять часов пятнадцать минут вечера он передал фронту разведданные, а в двенадцать ночи его связали с советским авиационным командованием.

Партизаны молча ждали решающего часа.

Дуся приблизилась к Ивану, вложила застывшие от напряжения пальцы в широкую ладонь друга и замерла…

— Самолеты над горами! — крикнул радист.

С востока нарастал неумолимый гул. Нервно захлопали зенитки, тревожно и коротко загудел паровозик. Рев моторов заполнил безбрежную темноту.

От горячих взрывов здание задвигалось и село.

— Иван! Я боюсь! — крикнула Дуся.

— Дура! — Иван матюкнулся и прижал к себе женщину, которая была храброй — уж это он знал, — но впервые испытывала бомбежку.

С крыши что-то падало, дрожали железные листы.

В нескольких метрах от пакгауза сразу вспыхнул огонь, стало видно как днем.

Горели эшелоны, рвануло склад со снарядами, угол пакгауза отвалился.

В дыму дождались рассвета.

В четыре часа связались с фронтом; оттуда потребовали: выяснить результат бомбоналета.

Партизанам все хорошо было видно. Еще горели склады, станция казалась полностью вымершей. Водокачка свалена набок. На путях — груды горелых вагонов. Поперек депо лежит паровозик, загораживая выезд.

Все вокруг изрыто воронками, сам вокзал превращен в груду камня.

Истошно воя сиренами, к станции подскочили санитарные машины. Поглядывая на небо, санитары извлекали из развалин раненых и трупы.

По щербатым, с вывернутыми камнями платформам в паническом ужасе бегало железнодорожное начальство.

Волна за волной шли к станции автомашины. На развороченной, пахнущей дымом и гарью земле появились немецкие и румынские саперы. Под крик офицеров начались срочные восстановительные работы. До вечера противник расшвыривал с путей горелые вагоны, — приводил в порядок линии.

По путям прошел первый маневровый паровоз. Немцы с бешеной торопливостью приводили в порядок разрушенное.

Вторая ночь на крыше проходила в тревоге. Фронт дал приказ: дожидаться следующего вечера.

Перед самым рассветом Тома снова ушел в разведку.

Целый день стучали кирки, шипели электросварочные аппараты. Откуда-то подвезли огромный подъемный кран и

подняли лежащий поперек рельсов паровозик.

Прошел день, но Тома не возвращался. Стали беспокоиться.

— Пойду поищу, — сказала Дуся.

— Только будь осторожна, — Иван задержал руку. — Может, сам придет?

— Иван, ты понимаешь: и его надо найти, и узнать, как это все они устроили. Там, — она кивнула на радиста, — там ждут.

Иван понимал, что надо непременно кому-то посмотреть на все собственными глазами.

— Иди, Дуся.

И она ушла. Проходило время. Иван беспокойно вслушивался в каждый шорох. Потом, уже после войны, сказал как-то: «Эх, напрасно отпустил. Ведь знал: беда может случиться».

В темноте раздались шаги…

— Дуся?

— Тома пришел.

— Что? Где был? А Дусю, Дусю видел?

— Ой, Ивани… Зачем пустил? Сольдат один, сольдат два, много…

Оказалось, что Тому задержал патруль, привел его в комендатуру, начали допрашивать: кто да откуда, почему от подразделения отбился? Румынские стражники отпустили, приказали скорее к своим добираться и не болтаться по путям.

Время шло, уже передали радиограмму: Тома все точно разведал. Немцы уже гнали сюда новые эшелоны. Два стоят за бывшей водокачкой.

Дуся не возвращалась.

Фронт дал приказ: покинуть крышу, уйти в лес.

Молча стоял Иван Иванович.

— Надо же идти, — торопил радист. Он сделал свое дело и теперь не чаял минуты покинуть этот опасный пункт. Его трясло, он еще раз к Ивану Ивановичу: — Что, всех погубить хочешь…

— Да заткнись ты! — крикнул сгоряча Иван Иванович, Тома спокойно потянул его за руку:

— Ивани… Македонский ждет…

Суполкин медленно стал спускаться с чердака.

— Эх, Дуся, Дуся…

А в два часа тридцать минут самолеты снова бомбили станцию.

14

Севастополь пал.

Тихо на западе. Мы каким-то новым, тревожным взглядом смотрим на маленький радиоприемничек, который приносил нам до этого обнадеживающие слова. А теперь? Немецкие танки катятся к Ростову, бои у Цимлянской переправы. Фашистские войска устремились на юг, на юг… Где же их остановят?

Я, как принято говорить, воевал на полную катушку. Разное пережил, были дни невыносимо трудные, такие, как, например, под Балатоном в 1945 году. Местенге, Шашгат… За день отбили три танковые атаки, 26 пикировщиков бомбили командный пункт, который находился в церкви с древними, замшелыми стенами… Пять прямых попаданий…

Трое суток без сна, потерян счет часам… От предельного напряжения со мной случилось невероятное: я заснул у телефонного аппарата, прижав к щеке трубку. В телефонной трубке клокотал голос генерала, которому я был нужен. Мой заместитель не мог отнять из моей руки трубку и вынужден был разжимать пальцы кончиком штыка. Я ничего не слышал — сон оказался сильнее боли.

И все-таки под Балатоном было легче, чем в июльские дни после падения Севастополя.

Мое сердце такого удара не выдержало, и я слег. Главный врач крымского леса — Полина Васильевна Михайленко — чуть ли не силой заставила сдать отряды и уложила в санитарную землянку.

Триста партизан — остатки бывшего Четвертого и Пятого районов перешли в полное подчинение Георгия Леонидовича Северского.

Теперь под его началом восемьсот лесных солдат… Переформированные отряды раскинулись у истока полуиссохшей речушки Пескура.

Я у Македонского. Он внимателен, тактичен и внешне ничуть не изменился: могуч, мускулист, у него ровный и спокойный голос; он вроде никем и не командует, но жизнь в отряде как чувство единого ритма в сыгранном оркестре. Дирижер только бровью поведет — и вступает с математической точностью нужный инструмент.

Конечно, Михаил Андреевич подавлен, как и все. Увидел его как-то одиноко сидящим на бревне и во все глаза глядящим на запад, где почти девять месяцев не стихал бой, а теперь лишь кричат одни кукушки, годы кому-то насчитывая. И столько в глазах его было ожидания, что казалось: вот-вот снова заговорит фронт, и Михаил Андреевич крикнет на весь лес: жив Севастополь!

Тихо в крымских лесах, тихо в крымских селах. И в

поверженном Севастополе — тишина. Лишь догорает то, что не догорело в дни штурма.

И сами фашисты оглушены этой тишиной, как рыба подводным взрывом. Они рвались в город двести пятьдесят дней, под его стенами положили трехсоттысячную отборную армию. Бывают победы страшнее иного поражения.

Одна треть манштейновской армии превратилась в похоронную команду. Армада самолетов доставляет цинковые гробы, что выстроились на крымских взлетных полях.

А что же дальше? Как с нами?

Мы понимали: немецкие дивизии в Крыму не задержатся, уйдут на другие фронты; может, начнут форсировать Керченский пролив и рваться на Тамань. Но мы не знали, как скоро они уйдут отсюда. Сразу же или только после того, как тотально — от края и до края — прочешут крымские леса, сделают еще одну попытку ликвидировать партизанское движение в Крыму?

Надо это выяснить точно.

Логика подсказывала: Манштейн из Крыма так просто не уйдет. Он попытается взять реванш и за декабрьское поражение, и за всю зимнюю кампанию против партизан, в которой победа в конечном счете оказалась не на его стороне.

Вообще немецкий командарм был лично задет тем, что ему не удалось создать в Крыму более или менее спокойного тыла. На Нюрнбергском процессе он во всеуслышание заявил: «Все время, что я был в Крыму, мы не могли справиться с опасностью со стороны партизан!»

Логика логикой, но Северскому и всему движению в лесах заповедника надо было точно знать: пойдут немецкие дивизии на лес или нет? А если пойдут, то когда, с какой силой и с какими оперативными планами?

И тут нельзя не вспомнить тех, кто работал на партизан, живя двойной жизнью. Прежде всего я обязан назвать имя выдающегося разведчика, ныне преподавателя Государственного института театрального искусства, кандидата искусствоведческих наук Николая Осиповича Эльяшева, недавно получившего правительственную награду. Должен заметить: это имя называю вопреки желанию самого Эльяшева. Он сказал: «Что было — то прошло; важно, что есть». Однако героическое — не частная собственность, а достояние всех. Так что извините Николай Осипович, но я все-таки скажу несколько слов о вас, а позже, когда закончу сбор материала, постараюсь показать изумительные страницы жизни вашей и ваших товарищей, которых вычеркнуть из истории никак невозможно. Скажу о прошлом, и о настоящем, и о том, что заставляет вас,

мужественного человека, зачеркивать те дни, в которые вы проявили себя патриотом и незаурядной личностью.

Николай Осипович — молодой врач — был оставлен для работы в тылу врага. Он блестяще знал немецкий язык, а потом овладел и румынским.

Он хороший музыкант, у него приличный голос, обаятельная улыбка. Он умеет общаться с людьми.

Все это стало отличным оружием в достижении той цели, во имя которой под постоянной смертельной опасностью прожил Эльяшев девятьсот с лишним дней в оккупированном Симферополе, прожил, проклинаемый знакомыми, близкими, всеми, кто знал его до войны как рабочего парня из Керчи, которому Советская власть дала высшее образование.

Эльяшев добился у оккупантов безграничного доверия как отличный хирург, как знаток края, как человек с так называемой европейской культурой и русской душой (уж споет в офицерской компании — артиста за пояс заткнет!). Он и добытчик русских сувениров, он и главный консультант главного начальника всей санитарной службы румынских соединений, находящихся в Крыму, он и начальник лаборатории ведущего румынского госпиталя.

И никогда ни один гестаповец, ни один контрразведчик румынской сигуранцы даже тени подозрения не допускал насчет блистательного доктора, в руках у которого была великолепно организованная разведывательная сеть, работавшая на лес, на Советскую власть.

Эльяшев творил чудеса.

Советские летчики, бомбившие главный фашистский аэродром в Крыму Сарабуз! Ваши бомбы ложились на цель только благодаря тому, что командиры, которые посылали вас на боевое задание, знали точно, где находятся зенитные пушки фашистов, где припрятаны их самолеты, где притаилась база с горючим. Это — информация Эльяшева и его помощников.

Бывшие партизаны и партизанки! Сотни ваших жизней сохранены только потому, что Николай Эльяшев с удивительной точностью предупреждал: когда, в каком составе, с какого направления пойдут против вас каратели.

Работой Эльяшева из леса руководил чекист школы Дзержинского Федор Афанасьевич Якустиди. Я не буду о нем много распространяться, но, чтобы понять, какая это личность, достаточно привести некоторые факты из биографии Федора Афанасьевича. В начале двадцатых годов, имея за плечами всего двадцать два года жизни, он был настолько выдающимся чекистом, что по поручению Центра выполнял особо

ответственные задания за рубежом, вошел в доверие белой эмиграции, помог выманить из-за границы ряд палачей рабочего класса и доставил некоторых из них в Крым, на суд Революции.

Все эти романтические и героические штрихи из биографии Федора Афанасьевича мне стали известны совсем недавно, хотя мы знакомы с сорок второго года. Я часто бывал в штабе Северского, помощником по разведке которого и был Якустиди. Этот худощавый человек с ввалившимися сухими щеками и с черными глазами был очень внимателен и добр к людям. Скромность его потрясала. Никто, в том числе и я, не догадывался, какую сложную игру он вел с фашистами, одурачивая их дезинформацией и тем, что умел подставлять в нужные места замечательных разведчиков, которым фашисты доверяли, как верным своим сотрудникам.

Связь между Эльяшевым и Федором Якустиди шла через Нину Михайловну Усову и ее помощницу Екатерину Федченко.

Нина Михайловна работала в Центральном райкоме партии города Симферополя. Ее многие знали. Она бросалась всем в глаза своей яркой, подчеркнуто русской красотой. И вот представьте ее на улицах оккупированного Симферополя наманикюренной, яркогубой, из брюнетки ставшей блондинкой, одетой броско, со смелым и даже наглым взором, легко заговаривающей с солдатами, а более всего с офицерами. («Я страшно трусила, — признавалась она товарищам. — И люто ненавидела гадов, но знала: роль надо играть!»)

И никому не понять, как эта «модница военных времен» ночами шагала со своей спутницей Катей Федченко, отмеривая по сорок километров; как она пробиралась сквозь сложную сеть засад и патрулей в штаб Северского.

Нина Михайловна много раз ходила из леса в Симферополь и обратно, трижды ее задерживали немецкие и румынские каратели, один раз находилась под расстрелом… Но трагичнее всего было то, что в самом городе она подвергалась постоянной опасности быть уничтоженной… нашими молодыми и горячими патриотами, которые преследовали «фашистскую суку» — такой они ее считали, — тайно и явно предупреждали: «За все тебе отомстится…» Но все подробности об Эльяшеве, Нине Усовой, Кате Федченко. Федоре Якустиди, об их помощниках — в свое время.

А сейчас вот о чем: данные Эльяшева плюс многостороннее наблюдение самих партизан за поведением дивизий Манштейна безошибочно сказали: большой «прочес» начнется 16 июля. Против восьмисот партизан выступят в полном составе 18-я пехотная дивизия, 1-я горнострелковая румынская дивизия,

полицейские формирования.

Как же противостоять этой многотысячной силе?

Что же делать? Этот вопрос навис над всем заповедником. Решать Георгию Северскому, комиссару Василию Никанорову, командирам отрядов: Македонскому, Зинченко, Макарову, Чусси…

Еще одна информация от Эльяшева. Теперь известны и подробности: наступление намечается стремительное. Цель: замкнуть отряды Северского в кольцо, штурмующими полками вытеснить из главного леса, подпереть к Хейроланскому хребту и расстрелять всей огневой мощью.

Что, что придумать в ответ?

Полянка над Пескурой, вокруг высокие кроны чашевидных сосен. Душно, как в предбаннике.

Командиры и комиссары отрядов рассыпались на выгоревшем пятачке, курят, посматривают на Северского и Македонского, что стоят чуть в стороне и молча глядят друг на друга. Чувствуется: решение еще не принято.

Георгий Леонидович Северский — командир Третьего партизанского района, кадровый пограничник. Знаком я с ним с 1932 года, встречались в Дагестане. Я тогда проходил курс младшего командира в горнострелковом полку, а он отбывал сверхсрочную в дивизионе пограничников — нашем соседе. Свела нас сцена полкового клуба. Оба в актеры записались, репетировали.

В перерывах Северский бегал в полковой буфет — он всегда был при деньгах, а я слюнки поглатывал.

Однажды он толкнул меня в плечо:

— Ешь!

Французская булка и чайная колбаса. Деликатес, о котором я только мечтал, — кормежка в полку была довольно ерундовая, сидели больше на сушеной каспийской рыбе, от которой меня мутит даже сейчас.

Свел нас лес.

Давно слышу: командир Третьего района Северский! Фамилия мне ничего не говорила, привлекала масштабность действий подчиненных ему отрядов. А она была огромной. Симферопольские партизаны, например, чуть не добрались до штаба самого Манштейна, который размещался тайно в саду опытной станции. Только случайность помогла Манштейну уйти от возмездия.

Первая встреча с командиром района… У меня неплохая зрительная память, я без промедления узнал старшину из Буйнакска:

— За булки спасибо!

— Господи! Не может быть! — ахнул Северский.

Потом я пригляделся к Георгию Леонидовичу.

Его всегда привлекал Македонский. Как это он мог двести пятьдесят дней держать колоссальный отряд за Басман-горой?

Только умение классически маневрировать да сочетать этот маневр с идеальной дисциплиной — вот что позволило Михаилу Андреевичу, человеку, по существу, без военного образования, обскакать фашистов по всем статьям.

Около часа Северский и Македонский говорили друг с другом, прикидывая то одно, то другое. Около часа Северский выяснял у Македонского самые незначительные подробности из его необыкновенно смелых маршей под носом у карателей.

Потом Георгий Леонидович оставил полянку, где ждали его окончательного решения командиры, а сам умостился на трухлявом бревне, одним концом свисающем над речушкой. Он бросал в воду камушки, молчал.

А кругом тишина, только редкий шелест столетних крон нарушал ее.

— Вихмана ко мне! — приказал Северский.

Морской лейтенант с кокетливыми усиками, плотноватый, лихо козырнул:

— Есть Вихман!

— Где фашистский спецбатальон?

— Уже на Верхнем Аппалахе!

Было точно известно: первая волна карателей насквозь прочесала севастопольские леса, по складочкам ощупала все земные морщины, танками проутюжила яйлинские вершины. Батальон к батальону, интервал между ротами олень не проскочит!

Шли фашистские батальоны от яйлы до автотрассы Бахчисарай Симферополь, шли, заглядывая в каждую расщелину, взрывая выходы из пещер. За первой линией карателей, в двух километрах от нее, шла вторая, а за ней и третья.

И где-то между ними подкрадывался засекреченный батальон. Он должен взять в плен штаб Северского, радистов, начальников всех служб.

Северский призывно махнул рукой — командиры двинулись к нему. Подождав, приказал:

— Я принял решение! Начать немедленный марш на Хейроланский хребет!

Комиссар района удивился:

— Но там нас ждут немцы!

— Знаю. Мы туда не дойдем, чуть-чуть не дойдем. Мы станем

тенью фашистов! Первым шагает отряд Македонского! Все! По отрядам, через пять минут марш! Вихман остается!

Северский доверял лейтенанту Вихману. А сейчас это доверие было решающим; может, потому командир позабыл об официальности обстановки, сказал негромко:

— Леня! Оставляю тебя здесь. Будешь встречать спецбатальон. Тут должна быть точка.

— Ясно, товарищ командующий.

— Рискуй на полную катушку. Разрешаю. Вот так, браток! — Северский обнял лейтенанта и поцеловал в губы. — Надеюсь, Леня!

…В полной тишине шагают восемьсот партизан. Парашютными лоскутами обмотана обувь, обмотаны и котелки, и все, что может звякать, стучать, греметь.

Знойно. Идут, идут партизаны, пот застилает глаза.

Идут, а по бокам главной колонны — дозорные, самые отчаянные, самые опытные, у кого стальные нервы, кто смеет последний патрон истратить на себя.

Тропа спускается к Аспорту — поляне с горелыми развалинами бывшей турбазы. Дорога рассекает ее на две половины, за поляной — лес, а за ним Хейроланский хребет. Там тайная огневая линия фашистов. Она ждет партизан.

Северский поднял руку — все остановились.

Стерильная тишина!

В нее медленно вплетаются далекие шорохи. Они исподволь приближаются, обрастая все новыми и новыми звуками. Это надвигается первая цепь карателей.

Тиканье часов сливается со стуком сердца.

Надо без промедления проскочить аспортовскую поляну — одним рывком.

Самый решительный миг: сумеем ли?

Северский взял автомат в руки и твердым шагом сошел на поляну. Рядом с ним стал комиссар Никаноров, потом подошел Македонский.

Их спокойная уверенность подбодрила.

Взмах Северского — и вся партизанская масса бесшумно пересекла опасное место и оказалась в противоположном лесу.

Ровно через пять минут после партизан на поляне появилась немецкая разведка. Разведчики огляделись и дали сигнал.

Огромная солдатская масса заполнила поляну. Немцы окончательно распарились. Пилотки долой! А кое-кто и гимнастерки поснимал, разулся.

Немцы окружили себя пулеметами, глядящими на леса, и начался большой привал.

Легко было разгромить этих изможденных крутогорьем и солнцепеком карателей, но делать этого ни в коем случае было нельзя. Тогда заработает вся карательная машина в составе десятков тысяч солдат и офицеров, и ни одному партизану несдобровать.

Два часа отдыхали каратели первой колонны, два часа почти в стык с ними лежали партизанские отряды, не выдавая себя ни единым вздохом. Выдержка партизанская оказалась потрясающей.

Неожиданный огневой шквал вспыхнул на Пескуре. Это Вихман!

Сухие гранатные взрывы чередовались с треском автоматов, а минут через пять глухо что-то охнуло, еще раз, еще…

— Рвутся наши мины? — Комиссар посмотрел на Северского.

— Молодец, Леня! — Северский взглянул в сторону Пескуры.

Немцы срочно покинули поляну и зашагали… за отрядами.

Партизаны выше, каратели за ними… Еще два километра — и Хейроланский хребет. Немцы, идущие за партизанами, перекидываются ракетами с теми, кто там, на Хейролане.

Впереди партизан древняя оборонительная линия в виде остатка развалин из бутового камня. Она довольно четко легла поперек хребта, концы ее загибались к Хейролану. Не то скифы, не то тавры века назад, наверное, сдерживали тех, кто пытался через хребет прорваться в Альминскую долину, синеющую за Хейроланом.

Стоп! Дальше дорога заказана!

Залегли за потемневшими камнями. Каждый выбирал рубеж поудобнее, углублял его голыми руками.

Может, это и есть последняя линия жизни?!

Немецкие разведчики в трехстах метрах, они рассматривают тропы. На иссохшей земле следов не оставишь, но все же…

Пока все поведение врага говорит о том, что он не знает, где же отряды. Он только предполагает, что они должны быть впереди. Но не может же быть того, что почти тысячная масса вооруженных людей ничем себя не обнаружила…

Снова взрывы на Пескуре — глухие и мощные, а за ними дождь автоматов!

Вдруг взлет ракет, и вся группа карателей за миг скатывается на аспортовскую поляну.

Непонятно!

Только позже выяснили: каратели решили, что отряды наши они прохлопали, и все партизаны снова оказались на Пескуре.

Солнце коснулось Аппалахского хребта и быстро скатывалось за него. Лес мгновенно стал менять краски — темнел и окутывался в сумеречную пелену.

Наступила южная ночь — крупнозвездная, чернильной темноты в ущельях и с отсветами на косогорах. Лес вспыхнул огнями — это запылали костры, а над ними запрыгали ракеты самых различных цветов. Их швыряли немцы беспрестанно, боясь даже мгновений паузы. Где-то за Чучелем расплывался багровый огненный столб — горели дальние леса.

Надо было немедленно прощупать лазейку, которая позволит выйти в тыл первой цепи.

Македонский идет к дяде Диме — Дмитрию Дмитриевичу Кособродову, патриарху большущей династии потомственных крымчан, выдающемуся знатоку крымских лесов.

Дмитрий Дмитриевич высок, поджар, длиннонос с маленьким, но четким подбородком. Он все понимает с полуслова Михаил Андреевич ждет.

— Можно проползти, но обнаружим себя — считай, сами себя в могилу положили.

— Где? Сперва рискнем вдвоем! — предлагает Македонский.

— Пошли!

Ущелье узкое-узкое, забитое буреломом и сырое, как могила.

У Дмитрия Дмитриевича кошачий взгляд — он видит ночью. Надо быть волшебником, чтобы пройти по дну теснины и не выдать себя врагу, который стоял наверху и палил костры.

В 1966 году Дмитрий Дмитриевич, которому недавно перевалило за семьдесят, водил меня по тем памятным местам. При ясном солнечном дне я с трудом одолел тот путь, по которому он и Македонский прошли туда, обратно и снова туда во главе многосотенной партизанской массы.

Отряды проползли по дну теснины и вышли на «Конек» — так называли один из крутых уступов горной гряды. Это уже был тыл первой карательной колонны.

Спали с настороженным слухом. Улавливали цокот копыт в районе Аспорта.

Но чудо уже совершилось: первая и самая сильная волна карателей прошла через партизан, так и не задев их.

Впереди вторая волна. Она уже накатывается со стороны Пескуры. Партизаны уже слышат ее шум.

Вчера были впереди идущей тенью вражеской колонны. А сумеем ли сегодня?

И опять отряды спускаются на Аспорт. Ни на секунду не ослабевает внимание, партизаны видят лучше, чем видит лесной зверь, слышат тоньше, чем горная косуля. Вот слух снова уловил цоканье копыт.

Замерли, а через минуту два эскадрона румынской кавалерии проскакали по аспортовской дороге. Где-то рядом загудели

моторы… Северский с ошеломляющей быстротой перебросил колонну снова в сторону Хейролана. Не успели войти в лес, как фашистские машины заполнили поляну Аспорт. Северский втянул хвост партизанской колонны под густой кустарник и остановился опять-таки на рубеже древней оборонительной стены.

Вторая волна карателей накатывалась ощутимее.

Когда солнце поднялось уже над Чатыр-Дагом, к Северскому приполз Леонид Вихман. В руках полевая сумка.

— Важные документы! — тяжело переводя дыхание, сказал моряк и тут же уснул.

— Видать, досталось, — сказал Северский и стал извлекать содержимое сумки.

В ней, в числе других ценных бумаг, была обнаружена карта генерального «прочеса» заповедника. С немецкой пунктуальностью были расписаны пути всех батальонов, назначено время их появления в том или ином пункте.

План с удивительной точностью выполнялся.

«16.00. Четыреста шестнадцатый батальон, остановка Аспорт, привал два часа».

Точно! Так вчера было.

«Контроль дороги Аспорт — Бешуй… Кавалерия и танковая группа Тупешты».

Да, сейчас на Аспорте есть и танки.

А вот данные о силе первой наступательной волны:

«В первой колонне участвует 23-й батальон горных стрелков, 3-й батальон горных стрелков, 14-й пулеметный батальон, резервная группа и 2-й батальон горных стрелков. Каждый батальон проводит операцию по прилагаемой схеме, места, не охватываемые основным движением батальонов, прочесываются отдельными группами. В каждом батальоне иметь 35 пулеметчиков, приданных из пулеметного батальона. Указанные пулеметчики группами двигаются параллельно движению, охватывая весь прочесываемый район…»

Я хочу обратить внимание на то, что это состав только первой колонны. И выделены такие силы в разгар летнего наступления Германии на юге нашей страны — в июле 1942 года.

Трофейная сумка принесла и радость. Там нашлось приложение к основному приказу, которое разъясняло: вторая колонна не должна пересекать Аспорт.

Так в плане, а что будет на деле?

Северский собрал молниеносный командирский совет, познакомил его с документами, а потом спросил:

— Вторая колонна пересечет Аспорт или нет?

Опыт девятимесячной борьбы говорил, что нет.

Комиссар Никаноров уверенно сказал:

— Немцы педантичны, от плана не отойдут!

— Будем стоять на месте! — окончательно решил Северский.

Двое мучительных суток провели на скате Хейролана. Ночью истязал невыносимый холод, а днем нещадно жгли прямые лучи. Испепеляла жажда — не было и капли воды.

Но трофейные документы не подвели. Вторая колонна карателей не пересекла Аспорт, а первая, наверно удивленная, что в раскинутые ею на десятки километров сети не попалась ни одна рыбешка, торчала на своем рубеже, не зная, что предпринимать дальше, ибо по плану все, что положено было совершить, совершено.

Но вдруг обнаружилась третья волна! Она — вроде чистильщика и состояла из местных полицейских батальонов и полков румын.

Колонна стремительно шла к Аспорту и вот-вот могла оказаться с глазу на глаз с донельзя измотанными отрядами жаждущими немедленного отдыха.

Настал критический момент, он был не учтен и потому страшен.

Решать надо было моментально.

А где немцы?

Суполкин и Тома кинулись в разведку.

— Фрицы покидают леса! — Первое облегчение принес Иван Иванович.

— Они уже в Саблах! — уточнил командир Симферопольского отряда Христофор Чусси.

Но третья колонна уже пересекает Аспорт.

Выход один: стремительный прорыв.

Македонский в авангарде.

Около ста партизан с гранатами и автоматами, слегка развернувшись по фронту, идут на Аспорт. Рядом с Македонским комиссар Василий Ильич Черный у него лицо белее полотна; Тома, Иван Иванович, Андрей Бережной, наш старик Иван Максимович Бортников, после падения Севастополя оставивший штаб района…

За Македонским идут ялтинцы во главе с Кривоштой и Кучером.

До Аспорта триста метров.

Партизаны неожиданно оказались лицом к лицу с ротой румын. Появление вооруженных людей настолько ошеломило солдат, что они застыли, как внезапно замороженные.

Македонский торопливо шепнул Томе: «Поздоровайся!»

Моложавый офицер сделал шаг вперед.

Тома ему:

— Командир предлагает разойтись!

Офицер:

— Мы благодарим за великодушие.

Румыны прижались к деревьям и ошеломленно смотрели, как отлично вооруженная партизанская масса шагала и шагала мимо них.

Тома крикнул офицеру:

— Десять минут не двигаться с места!

Офицер в свою очередь:

— Прошу умолчать об этом факте.

Тома, после того как перевел Македонскому просьбу офицера и выслушал его ответ:

— Командир дал обещание.

Так и разошлись, каждый по своей тропе.

Девятнадцатого июля еще один «генеральный прочес» заповедника закончился полным провалом Манштейна.

15

Самолетом меня доставили на Большую землю. Я лег в госпиталь, мучительно думая о тех, кто остался за Басман-горой.

В своих тетрадях я подробно и много говорю о событиях, участником которых был сам, о людях, что находились рядом, вместе с которыми сражался. Правда, есть исключения: порой повествую о том, что стало известно мне от других, и все равно стараюсь писать о тех людях, с которыми связан живой нитью.

Партизанских отрядов в Крыму было много, действовали от Аджимушкая до стен Инкермана. Существовали Первый, Второй партизанские районы, в них совершались подвиги, которые сейчас воспринимаются как легенды.

В госпитале мне рассказали о действиях отрядов в карасубазарских, зуйских, судакских лесах, а главное — я сам увидел героев, имена которых долетали и до наших южных краев.

Уже после войны меня просили: расскажи о подвигах на Замане и Бурульче, о классических маневрах комбрига Федоренко, командира отряда Городовикова, о Феодосийском отряде, о лихих налетах зуян на магистраль Симферополь — Феодосия, о многом незабываемом из героики тех суровых дней.

Но чтобы рассказать обо всем и обо всех, надо не только знать факты, но и лично пережить их. Сухое перечисление боевых эпизодов дозволительно разве что в оперативных сводках…

Но об одном человеке, о котором так много слышал еще в те страдные дни битвы за Севастополь, кто мне очень дорог, душевно близок, хочется все же кое-что сказать.

Я лежал на госпитальной койке и просыпался на рассвете: будил шум в дальнем коридоре — это прибывали раненые из восточных лесов, которых доставляли на самолетах.

Их прибывало не много — по два-три человека, но они появлялись в одно и то же время — в три часа утра.

Я сбрасывал легкое одеяло и шел им навстречу, за мной шли и другие. Много нам не надо было, мы задавали единственный вопрос: «Как там?»

Нам отвечали в основном одинаково: «Держимся!», или: «Даем жару!»

Но часто говорили и так: «Чубовцы крепко чесанули фрицев!» Или: «Чуб дал прикурить!»

Еще в ноябре сорок первого года, на пункте связи Центрального штаба, я впервые услышал имя Михаила Ильича Чуба. И вот с тех пор почти постоянно слышу о нем. В моем

воображении родилась классическая фигура партизанского вожака.

Чем-то она была сродни образу Македонского.

В 1948 году я познакомился с замечательным героем партизанской борьбы на Украине писателем Петром Петровичем Вершигорой.

Мы до удивления быстро сблизились. Наверное, такое возможно только с единомышленником, с человеком судьбы, так похожей на собственную.

Близость нашу оборвала только скоропостижная смерть талантливого писателя и большого человека.

Петр Петрович преклонялся перед крымскими партизанами, его живо интересовали судьбы героев, события, факты. В первом же письме ко мне запросил: «О каком-то Чубе ходят легенды. Скажи, был ли такой человек в действительности? А может, это лишь фантазия писательской братии?!»

«Чуб был, есть и будет!» — так, кажется, я ответил тогда Петру Петровичу. Он попросил устроить встречу с Михаилом Ильичом, что я с удовольствием и сделал.

Они никак не могли расстаться. Потом Петр Петрович с восхищением восклицал:

— Лихой человечище! Я о нем непременно напишу!

Он собирал материал, рылся в областном партийном архиве. Думал о Чубе, но увлекся всей партизанской борьбой на полуострове, вынашивал мысль о книге. Его потрясла необычайная драматичность борьбы, он увидел крупные характеры народных героев.

Петр Петрович восторженно говорил:

— Какая целина! Шекспировские факты, ей-богу! Нельзя молчать!

Михаил Ильич встретил войну зрелым человеком — ему было под сорок. Он из волжан, родился в бедной крестьянской семье, батрачил, был одним из первых комсомольцев Заволжья, боевое крещение получил, еще гоняясь за бандами.

Лошади — его слабость. Любит их до самозабвения.

Как-то я оказался на областной опытной станции, которой и сейчас руководит Михаил Ильич. Четырехлетний жеребец рванул поводья, сбил с ног молодого конюха и понесся на дорогу. А там няни переводили детишек из яслей с одной стороны дороги на другую. От испуга — на детей мчался жеребец! женщины остолбенели…

Я бросился наперерез жеребцу, но в это время услыхал зычный голос:

— Стой! Подлюга!!!

Жеребец аж на задние ноги присел, и тут же я увидел: Михаил Ильич ловким прыжком достал рукой холку и вцепился в нее. Усмиренного жеребца отвел в конюшню.

Увидев меня, крикнул:

— Здоров, дружище!

— Секрет какой знаешь, Миша? — спросил я.

Он улыбнулся:

— Наипростейший: конную академию прошел в Заволжье, при табунах. Десять годков, брат!

Михаил Ильич жил и живет, не забывая мудрого правила: умный учится, а дурак поучает.

Начал он с зоотехника заволжского совхоза, а поднялся до поста начальника главка союзного наркомата. Но должность была не по его характеру.

Пришел к наркому с рапортом: «Я вырос в степи, люблю сеять, собирать урожай, гонять табуны, пропадать на фермах. Доверьте совхоз — не подведу!» Так или по-иному писал — Михаил Ильич не помнит, но чувствовал так.

Доверили не совхоз, а техникум в Крыму.

Крым — не родное Заволжье, а все же небо над головой. И степи вокруг пахнут травами, и ночное небо диковинно звездно.

И снова появилось галифе, усы стали гуще, а шапка — круче набекрень.

У него завелись друзья, в горах — чабаны, в лесах — объездчики. Научился Чуб варить овечий сыр, его тузлук из молодого барашка обрел районную славу.

Война принята им была с готовностью, всю жизнь считал себя на военной службе. Сдал техникум заместителю, сел на коня — и в райком партии. Но там ему сказали: «Работать там, где и работал, и ждать партийного решения».

Партизанство Чуб начал с полной уверенностью в том, что жизнь готовила его именно к этому.

О Михаиле Чубе лес узнал сразу.

Немецкий батальон держал марш на Судак, но сбился с пути и попал в лес. Недалеко находился Ичкинский партизанский отряд под командованием Михаила Чуба. Появление немцев для Чуба было совершенно неожиданным, по логике вещей он должен пропустить врага. И батальон не был обстрелян.

Но Чуб молниеносно смекнул: враг идет на ощупь, растерян, его пугает лесная тишина.

Михаил Ильич поднял отряд; не медля ни минуты, повел его на так называемую «подкову» — дорога там делает глубокий загиб, — разбил на три части, занял боевые позиции: в центре «подковы» и на ее концах.

Разгром был потрясающим, а собственные потери исчислялись единицами: одних автоматов с десятка три взяли, а пулеметов…

За «подковой» прогремела операция по выручке советского десанта полковника Селихова, высадившегося под Судаком. Селихов взял город, но дальше начались неудачи. Десант прижали к берегу, помощи не было штормовое море исключало ее. Чуб пробился к десанту и вывел его в горы.

Много выдающихся операций совершил наш друг Чуб. Он умел, как и Македонский, не только держать большой отряд в отчаянно опасном месте, но и лихо воевать. Он из тех, кто живет и действует за своей «Басман-горой». (Кстати, слово «басман», «басма» переводится так: «басма»-«не наступи», в смысле она, гора, недоступна.)

…Я, кажется, начал с того, что лежу в госпитале и чуть свет просыпаюсь, чтобы встретить раненых из восточных лесов Крыма, и что часто слышу: «Чуб дал прикурить!»

Девятнадцатого июля закончился «генеральный прочес» заповедника. Но Манштейн дивизии из гор не убрал. Он направил их в феодосийские и судакские леса.

В то время Михаил Чуб был в должности командира Первого партизанского района. Он недавно простился с родным отрядом, сдал его под начало капитана Юрьева.

Когда Михаил Ильич принял Первый партизанский район, отряды были сильно потрепаны в предыдущих боях, дисциплина ослабла. Особенно неблагополучно было в отряде Исаева, скомплектованном из остатков Судакского десанта. Пережита трудная зима, в основном на подножных харчах. Люди надеялись на Керченскую группировку наших войск. Пока гремел на востоке фронт, солдаты держались.

Пала Керчь, надежда на снабжение с воздуха слабела с каждым часом. Фашисты катились по равнинам Кубани и Ставрополыцины, их танки нацеливались на Грозный, на Главный Кавказский хребет.

Исаевский отряд устал, как устал весь партизанский район, что действовал в судакских лесах. Он был ближе к гуще немецких войск, на него сыпались удар за ударом.

Чуб прибыл в район с собственным комендантским взводом. Восемнадцать партизан. Но каких! Тех, кто в буквальном смысле слова с Орлиной скалы налетал на Ени-Сала, кто мог и лихо сплясать «яблочко», и ужом проползти степь до самого железнодорожного полотна Джанкой — Керчь, бабахнуть в воздух эшелон, в Грушевке — по пути — выкрасть коменданта, а прибыв в партизанский лагерь, «травить» до утра…

Колоритные фигуры!

Октябрь Козин. Рассказать анекдот, подковырнуть кого — хлебом не корми. В бою хитер, весел и безотказен. Октябрь Козин закончил свое партизанство с партийным билетом в кармане. Он командовал боевым отрядом, и о нем знают крымские мальчишки. Правда, не знают, что Октябрь уже в тринадцать лет имел больное сердце и много-много дней провел на больничной койке.

Или Эмма Грабовецкий. Художник, человек интеллигентный. На выставке, где он демонстрировал свои полотна, волновался, как первоклассник, и никто не догадывался, что на груди этого человека, бывшего комиссара партизанского отряда, горит боевой орден Красного Знамени.

А Виктор Воронин, а инженер Малкин!

Чубовцы, одним словом!

…Сразу же заработала разведка. Чубу скоро стало ясно: и здесь каратели остаются верными своей тактике — ставка на десятикратное превосходство сил. Наметился точный день фашистской операции — 1 августа.

Михаил Ильич присмотрелся к отрядам и понял: они не выдержат натиска карателей. Но увести партизан в безопасное место он не имел права. Ибо получится: пришел Чуб, организовал хорошую разведку — молодец! — и показал спину. Что дальше?

Уйдут те, кто не сможет выдержать чубовского режима боя, Но отряд Исаева, например, имеет отличную боевую закалку, он и люди этого отряда показали себя и за Таракташе, и в зимних боях. Надо вернуть ему боевой дух. А это возможно только на позиции.

Тридцать первого июля партизанские отряды района, были переброшены в зуйские леса, где «прочес» был закончен.

Август — жаркий, изнурительный, безводный; не сладко и немцам с горной выкладкой шагать по этим чертовым тропам.

Где будет им труднее всего, где им захочется убавить шаг, сделать парочку глотков рома или рейнвейна из фляги? Вот это сейчас важно.

Чуб наблюдает, прикидывает. Вон впереди гора с очень крутым наклоном, похожая на утюг. И называют ее «Утюжком».

Пойдут по ней каратели? Наверняка. Дорога, вернее — тропа с «Утюжка» идет в штаб района. Возможно, и главные силы двинутся туда. Было бы хорошо!

Отряд Исаева вызван на «Утюжок».

— Тихо! — Чуб по былой привычке собрал партизан не в строй, а вокруг себя. — Кто видел фашиста в глаза?

— Приходилось.

— Под чьей мушкой стоял фашист в десяти шагах, признавайся.

— В сорока шагах бывало.

— Далековато. Вы поняли? Завтра он будет стоять в десяти метрах от меня и комендантского взвода, в сорока от вашего отряда. У кого кишка тонка? Ну, напрямую!

— Ты, командир, балясы не точи, а уводи нас в зуйские леса, — пробасил кто-то.

— Не слышу. Подойди ближе!

К Чубу устало приплелся красноармеец с бесцветными, сонными глазами.

— Повтори.

— Могу, мне все одно. Не хрена тут нам делать, смысла нет игру тянуть. Немец за Краснодар пошел.

Лицо Чуба покрылось желтизной, но он еще сдерживал себя.

— Он и под Москвой побывал.

— Теперь будет и в самой Москве.

— Выбирай: расстрел сейчас или трибунал потом?

— Шлепай!

Страшная тишина наступила в лесу.

Выстрел — и паникер упал, но стрелял не Чуб, а инженер Малкин.

— Это наше партизанское решение. Всем ясно?

— Капитан Исаев! — сказал Чуб. — Боевой рубеж — перекрестная кромка «Утюжка». Стрелять только по фашисту, которого видишь собственными глазами. Повторяю: собственными глазами!

Чуб увел комендантский взвод чуть ниже.

Пока партизаны отдыхали, Чуб, верный своему методу, пошел на личную разведку.

Как важно знать командиру каждую складочку местности, учесть, как на ней будет вести себя противник!

Да, вот на этом пахнущем полынью пятачке он будет непременно отдыхать. Ему от пятачка нельзя будет продвигаться цепью; желает он того или нет, надо будет скучиваться. Он придет с дальних низин — чертовски усталый, ошпаренный прямыми августовскими лучами.

И что примечательно над пятачком — камни с густым мелким кустарником. Всего в двадцати метрах. Это очень важно. За камнями поперечный вал, а за ним исаевцы.

Михаил Ильич поднялся к комендантскому взводу, лег, передохнул, взял в рот сухой стебелек.

— Батя маракует, — подмигнул Октябрь Козин, Чуб поднял руку, выплюнул стебелек.

— Засада здесь. — Он повел партизан к камням, что в двадцати метрах от пятачка, где, по его расчету, должны отдыхать немцы. Показал каждому боевую позицию, указал место, где будет находиться сам. — Смотреть на меня, на мои глаза, на руки. Каждый будет меня видеть. Стрелять по сигналу! Отдыхай!

С полудня четкие звуки из долин долетели к чубовцам. Ясно: там началось большое движение.

Чуб знал свое место. Умелому везет. Расщеленная глыба, обволоченная кустарником. Если стоишь за ним, то тебя видят все партизаны и не будет видеть враг. Кроме того, под твоим наблюдением и тропа, что начинается от поляны. Отличное место!

Рядом, чуть правее и уступом назад, замаскировался с пулеметом Эмма Грабовецкий, по соседству с ним — Козин, дальше — Малкин.

Восемнадцать партизан комендантского взвода. Что ты, что они! Один дух, одно понятие, будто восемнадцать душ с девятнадцатой, командирской, стали одной душой.

Припекает. Снизу голоса. Постреливают, даже шалят — кто-то перекликается очередями автоматов.

В далеком просвете леса мелькают в три погибели согнутые солдатские фигуры.

Чуб оглянулся — и все взгляды на него. Каждому посмотрел в глаза, подбодрил, потребовал выдержки.

У Эммы Грабовецкого горят глаза, на щеки лег нервный румянец.

Слышен цокот кованых сапог, лошадиный храп. Ближе и ближе. Группа карателей вышла на поляну, остановилась, сбросила ношу. Многие вытирают потные лбы.

Грабовецкий побелел. Чуб больше смотрит на своих, чем на вражеских солдат.

«Выдержка, выдержка, выдержка!» — говорят его глаза.

На поляне все больше и больше немецких солдат.

Офицер подошел ближе, пристально посмотрел на скалы, снял пилотку с цветком эдельвейса и уселся на сухую, выжженную траву.

Больше ста солдат накопилось на поляне, а сзади шли и шли.

Чуб резко повернулся к своим, показал: еще рано!

Солдаты выстроились — один за одним, и Чуб резко взмахнул кулаком. И тотчас же раздалась пулеметная очередь Грабовецкого.

Ударили так, что через полминуты на поляне была сплошная каша. Сзади напирали, но по ним почти в упор ударили исаевцы — им было виднее, они находились повыше.

Всего пять минут — и вся лавина откатилась назад, да с такой прытью, что пулями не догонишь.

Партизаны добили карателей, и Чуб двинул в прорыв исаевский отряд.

— Жмите в зуйские леса — к нашим, и скорее, а мы малость подзадержимся.

Исаевцы ушли, комендантский взвод поднялся выше. Недосчитались Малкина. Его нашли на боевой позиции. Он был мертв, но ни единой раны не обнаружили, установили разрыв сердца. По всему — инженер не выдержал сверхчеловеческого предбоевого напряжения.

Чуб бросил партизан далеко назад. Он знал, что два батальона румын должны двигаться навстречу немцам. Решил ударить немедленно и по ним.

Быстро заняли рубеж, правда не очень выгодный, но румыны уже подходили.

Партизаны подпустили их метров на сто и огневым шквалом положили первую цепь, а сами не стали задерживаться, взяли влево, подошли к ущелью, вскарабкались по обрывистой скале на вершину и замерли.

Румыны открыли очень сильный огонь. Тут и пулеметы, и минометы, и горные пушки.

Вдруг им ответили с противоположной стороны, с той самой, где была поляна.

Кто же там? Неужели исаевцы? Быть не может!

Но это были немцы. Они с таким остервенением набросились на место предполагаемой партизанской засады, что совсем потеряли голову, открыли страшной силы огонь. По румынам…

— Концерт идет! — крикнул Октябрь.

Он бросил автомат.

— Засекай время.

— Галерка, аплодируй! — чуть ли не плясал Эмма.

— Полный аншлаг, — смеялись партизаны и, дождавшись конца перестрелки румын с немцами, преспокойно ушли к своим отрядам.

Еще два дня каратели по плану «обрабатывали» судакские леса, а 4 августа ушли на Керчь.

В западной литературе, в частности в книге престарелого фельдмаршала Эриха фон Манштейна, немало страниц отведено июльским боям 1942 года в крымских лесах.

Манштейн до сих пор не понимает, какая сила спасла партизанские отряды. Ведь целый корпус действовал против трех тысяч партизан, немцы понесли большие потери, а разве они обезопасили свой тыл? Нет, уже в первой половине августа все

крымские коммуникации были под отчаянным партизанским ударом.

Так позорно провалилось июльско-августовское наступление частей 11-й армии на горы и леса Крыма.

16

Пришла осень 1942 года — сухая, жаркая. Только ночи стали пронизывающе холодны.

Крым — далекий тыл.

Рация каждое утро принимает сводки Информбюро. Бои севернее Туапсе, у Кизляра, на Волге…

Поостыло движение на горных дорогах.

В лесах заповедника чуть более трехсот партизан. Фронт недосягаем — на подступах к Главному Кавказскому хребту. Лишь изредка над горами раздается гул нашего транспортного самолета с продуктами для личного состава. Снова и катастрофически надвигался голод. В начале октября 1942 года даже самые сильные, те, кто почти год воевал за Басман-горой, шатались на лесных тропах. Идет человек, вдруг сел — и все… Выроют наспех могилу, похоронят боевого товарища. И все молча. Боевой залп исключался.

Люди, как перекаленная сталь: р-раз и вдребезги…

Это произошло в трагические дни, когда рубеж возможного был перейден.

Перестали смеяться. Только смотрели в глаза своим командирам Северскому, Македонскому, Зинченко, Кривоште… Ждали.

Партизанская рация посылала в эфир тревожные сигналы. Надежд было мало. «До нас ли, когда бои идут под самым Туапсе?» — думали лесные солдаты.

Весть! От часового к часовому, от землянки к землянке. О нас помнят, к нам идут на помощь! Неужели это возможно? Больных, раненых, пожилых, женщин сосредоточить в Лименской бухте за Симеизом. Ждать там военных катеров.

Правда! Правда!

Молниеносный командирский совет: кто поведет сто ослабевших партизан через всю яйлу, пройдет через все кордоны, спустится на самый берег и там дождется черноморцев?

Северский поочередно смотрит на выдающихся партизанских вожаков: Македонского, Кривошту, Чусси… Кто же из них?

Большой лес за Басман-горой должен жить!

Значит, Македонский отпадает.

Должен жить и Симферопольский отряд, тесно связанный с родным городом, с Эльяшевым, с подпольем.

Значит, Христофор Чусси тоже отпадает.

— Николай Петрович!

Вздрогнули широкие брови бывшего командира боевого Ялтинского отряда Николая Кривошты.

— Я доведу, товарищ командующий, — ответил политрук пограничных войск.

За двое суток пройти по Главной Крымской гряде, спуститься за три часа на Южный берег, туда, где немцев столько, сколько на ином участке фронта не бывает?

Шли растянувшись более чем на километр… В куцых, обрезанных солдатских шинелях, обгоревших ватниках, в брюках гражданских фасонов, солдатских — немецких, румынских — фуражках, шапках, пилотках, шлемах…

Шли с запавшими глазами, водянистыми щеками, рыхлые и изможденные, с рубцами незаживающих ран, с морщинами на лицах, которые стирали разницу между молодыми и пожилыми.

Ритм марша диктовал Николай Кривошта. Он иссох от летней жары, напряжения.

Красивый украинский парубок стал зрелым мужчиной, с лицом, покрытым ранними морщинами.

На плечах Николай нес тяжелый пулемет; при нем же автомат и дюжина гранат. Никто не сомневался: командир до последнего вздоха будет защищать колонну.

Ночевали в урочищах, костров не разводили, от ночного холода спасались, прижавшись друг к другу.

Весь поход сопровождался автоматными и пулеметными очередями, что неслись с подножий гор, подпиравших яйлу. Но это были дежурные очереди оккупантов.

Ночевка была короткой. Опасные часы просиживали в карстовых норах.

Проводники во главе с «академиком» крымского леса неистовым балагуром Федором Даниловичем Кравченко с математической точностью привели колонну к началу тропы, падающей на берег. Крутая она была, каменистая, сбивала до крови ноги, обрывала одежду в клочья.

— Скорее! Скорее! — подбадривал и торопил Кривошта. Он подхватывал ослабевшего под мышки. — К морю, к морю!

Алексей Черников, как и прежде молчаливый, замыкал колонну и только знал, что подбирал вещевые мешки тех, кто уже не мог нести на плечах никакого груза. Он не терял присутствия духа и по-прежнему глухо басил:

— Врешь! А все-таки вертится!

Идут, скатываются в пропасти, карабкаются и снова идут.

Чу, шумит волна. Море!

Но почему такой гул?

Белые барашки… Они один за другим катятся к скалистым берегам.

Море ближе, шумнее.

Неужели шторм?

Полночь. До боли в глазах вглядываются в просторы буйного моря. Ни единого огонька, а ветер сильнее…

Море тяжело дышит. Кому-то мерещится шум мощного дизеля.

— Катер! — кричит на всю темноту.

Кидаются с одного места на другое, ложатся на каменистый берег, слушают землю.

Но только стонет море.

Надо уходить! Надо уходить!

Еще, еще полчаса! А вдруг придут?!

Но катера не пришли.

Где, где взять силы?

Командиры не из робких, но и они замолчали. Да что скажешь, какие слова найдешь?

Надо уходить, надо уходить — скоро рассвет.

Кривошта молчит.

— Решай же! — не выдержал самый выдержанный — Алексей Черников.

— Остаемся на сутки! — решил Кривошта. — Выбрать самое удобное место!

— Пересидим повыше, Николай! — сказал Черников, Рассвет был внезапен.

Пулеметы, автоматы, гранаты — все наготове. Кривошта предупредил:

— Голов не поднимать, не стонать, дышать в рукав.

— Дешево не достанемся. Ясно! — отозвался Алексей Черников.

Солнце палит по-августовски, все больше накаляются камки, начинает подкрадываться жажда.

День тянется бесконечно.

Немцы пока ни о чем не догадываются, пуляют себе на дорогах для успокоения совести. В лиманах, Кикенеизе ржут лошади, шумят машины.

На противоположных мысах залива — огневые точки, прожекторы. Опасное соседство. Поневоле думается: катера, положим, придут, но их же могут взять под перекрестный огонь; Что же будет?

Никто об этом вслух не говорит.

Даже Черников, потеряв железное спокойствие, то и дело посматривает на бунтующее море.

Страшно подумать, что не прекратится шторм.

Кривошта подполз к Черникову.

— Как, Леша?

— Не придут.

— Да, море не позволит.

— А завтра? — Черников уставился на командира: — Уйдем или еще сутки просидим?

Кривошта молча отполз на свое место.

К вечеру ветер завыл сильнее.

Вдоль трассы, которую наверняка придется снова переходить, но в противоположную сторону, — стрельба, ракеты.

Внизу стонет море. Нет никакой надежды.

Катера снова не пришли.

Они не придут и завтра — так чует душа каждого.

Самые страшные минуты — оказались перед пропастью.

Раздался одинокий выстрел. Покончил с собой больной пожилой партизан.

— Я не дойду и вам помешаю, — сказал он перед выстрелом.

— А мы дойдем, клянусь, доведу! — горячо заявил Николай Кривошта. — Мы прожили трудный год, повидали всякое, но выдержали. Так неужели позволим не только уничтожить себя, но и зачеркнуть самое дорогое, что у нас есть, нашу борьбу! Слабых мы понесем, но дойдем!

Это первая речь Николая Петровича Кривошты за всю его лесную жизнь.

И начался марш — обратный.

Ах, как трудна дорога!

Подъем, подъем…

Кто-то обессиленный падает.

— Идем, дружище! — подхватывает его Черников, и на этот раз замыкающий колонну.

Дорога! Скорее, скорее!

Бесшумными тенями скользят молчаливые партизаны.

Теперь на яйлу!

…Слишком беден мой язык, чтобы передать пережитое товарищами, чтобы рассказать, как они, по всем законам жизни уже трижды мертвые, поднялись на вершину Ай-Петринского плато.

…Рассвет они встречали уже на самой яйле, сбившись под кроны крученных ветром сосен.

Яйла на этот раз показалась куда угрюмее, чем двое суток

назад, когда, кажется, сам ветер помогал партизанам — подгонял в спину.

И что-то патрулей многовато.

Неужели пронюхали?

День отсиделись — без слов, с тяжелыми думами.

Марш по хребту был труден, но пересекли дорогу Ялта — Бахчисарай благополучно и стали чувствовать себя посвободнее.

Но все оказалось обманчивым — рассвет это доказал. Сама яйла была свободной от фашистов, но выходы из нее на берег, на северные склоны были заняты: то в одном месте, то в другом появлялись немцы.

Кривошта всеми силами старался к рассвету добраться до Демир-Капу и срочно спуститься в заповедник.

Сорок километров марша по каменистой и распроклятой яйле. Сколько принято здесь партизанами мук! Не перескажешь.

Трое умерло на этом форсированном ночном марше. Среди них комиссар Красноармейского отряда Иван Сухиненко, бывший крымский журналист, сотрудник газеты «Красный Крым».

На привале он приткнулся к голому камню, сказал:

— Я умираю! Привет от меня живым!

Вершина Демир-Капу быстро надвигалась, но рассвет шагал быстрее.

Тропа круто поползла к лесу. Тихо пока, но почему взметнулись сойки над старой кошарой?

— Леша! Я поведу разведку, а ты в случае чего бери резко вправо и дуй на Кемаль-Эгерек, — сказал Кривошта своему заместителю Алексею Черникову.

Два пограничника обнялись.

Кривошта побежал, за ним группа партизан. Рядом с командиром бежала семнадцатилетняя сестричка Нора Давыдова, которая никак не хотела остаться с отрядом.

Пулеметы ударили в упор, Кривошта на секунду застыл, а потом начал медленно падать.

— Товарищ командир! — Нора к нему.

Николай Петрович поднялся и еще нашел силы дать сигнал Черникову: мол, веди, куда приказывал! Сам же, шатаясь, добрался до опушки, обнял толстый ствол бука и стал медленно оседать на землю.

Нора Давыдова с трудом вспоминает эти часы. Невозможно объяснить, как это худенькая семнадцатилетняя девчонка перетащила смертельно раненного командира через перевал и остановилась только на скате Басман-горы.

Наконец Николай Петрович пришел в себя, встретился со взглядом Норы, улыбнулся:

— Устала?

— Николай Петрович!..

— Ты подыми мне голову.

Она подняла, подставила колени.

— Вот и хорошо. Как наши?

— Алеша увел всех!

Она промолчала о четырех убитых, что лежали на опушке леса.

Губы Николая побелели.

— Хватит. Все!

Он умер.

А за Басман-горой борьба не стихала. Каратели снова окружили Большой лес, и снова их сети оказались прорванными.

Македонский чаще и чаще хоронил боевых товарищей. Комиссар отряда Черный категорически заявил Северскому:

— Нельзя больше губить людей. Теряем золотой народ!

Снова летят в эфир точки и тире, точки и тире.

Македонский вызван в штаб района — срочно.

Заколотилось сердце в предчувствии чего-то необычного.

И оно не ошиблось.

Северский почти торжественно преподнес ему расшифрованную радиограмму:

«Через трое суток подводная лодка ждет у мыса Кикенеиза сто партизан».

— Ты должен довести! — заявил Северский.

— Доведу! — решительно ответил Македонский.

И довел.

17

В Алма- А те из госпиталя меня направили на медицинское освидетельствование. Знал: ничего приятного там не скажут. Так оно и получилось. Приговор был таким: от военной службы освободить навсегда.

— На тыловую службу пошлите! — умолял я.

— Нет. Ты будешь иметь белый билет.

Белый билет! Второй раз в жизни мне суют его. И это осенью 1942 года, когда фашисты под Сталинградом… на Кавказе…

Что ж, с медиками спор бесполезен. Я простился с теми, кто меня — с легочным обострением — более или менее поставил на ноги, взял проездные документы и покинул город с арыками и тополиными аллеями — Алма-Ату.

Меня впустили в пустой санитарный поезд, на всех парах

мчавшийся за очередной партией раненых в Красноводск.

По пути к Ташкенту я ухаживал за молоденькой сестрой, пользовался благами чистенькой поездной кухни, но на душе у меня было чертовски скверно: а что дальше?

Ташкент ошеломил жарой, толкотней, четкими приветствиями юнцов офицеров, косящихся на мой новенький орден Красного Знамени, крикливым базаром — ярким и недоступно дорогим.

В планшете лежали документы, и среди них такой, который лишал меня чего-то главного, перечеркивал все, что вошло в меня там, в Крымских горах. Заключение медицинской комиссии. Его-то я и должен предъявить в отдел кадров Средне-Азиатского военного округа, а потом ждать приказа о демобилизации. Двое суток я был в полной нерешительности, не смея показаться в штабе округа.

Ночевал на ташкентском вокзале, аттестат «отоваривал» на продпункте. Здесь познакомился с капитаном-танкистом с обожженным лицом, красными рубцами поперек высокого лба, страшно изуродованной нижней челюстью. Он горел в танке, шесть месяцев боролись за его жизнь, как-то сшили человека, а потом, как и меня, выписали вчистую.

У капитана были добрые глаза. Он угостил меня паштетом, нашлось и по глоточку спирта.

Капитан выслушал мою историю и неожиданно сказал:

— Да наплевать на комиссии и перекомиссии! Ты майор… при ордене… Дуй на Кавказ, поближе к своим. Тебя же должны там знать, а?

Да, меня должны были помнить: генерал Петров, начальник политотдела бригадный комиссар Бочаров, комбриг Копалкин… С ними я хорошо знаком, правда заочно, по радиограммам, которые подписывались ими и летели в наш лес.

И я поступил так: в клочья разорвал медицинское свидетельство, подтянулся, почистился и явился к коменданту станции Ташкент, имея при себе удостоверение личности и временный документ на орден.

Капитан-танкист оказался прав. Вокзальные коменданты были снисходительны ко мне, и уже на пятые сутки я прибыл в Тбилиси, где был принят отделом кадров штаба Закавказского фронта.

И получилось так, что буквально через день я оказался в штабе фронта в роли старшего офицера разведки.

Интересная служба: посылаю в тыл врага разведчиков и подрывников, вечно на колесах — то на правом фланге фронта на Ачхой-Мартане, то на левом — в Черноморской группе войск

генерала Петрова. Бываю под Туапсе, под горой Индюк, порой через линию фронта переправляю опытных диверсантов, а потом беспокойно жду результатов их отчаянного похода.

При самой малой возможности не миную Сочи. Там Крымский штаб партизанского движения, госпиталь, мои друзья — лесные солдаты.

При штабе создана оперативная группа — отряд специального назначения. Командует Македонский!

Многие бывшие партизаны, вроде меня, после госпиталей ушли на военную службу, но часть осталась при Сочинском штабе. Это те, кто в ближайшее время снова вернется в лес на решающие схватки с фашистами.

Они учатся подрывному делу, приемам самозащиты, тактике и самоохране, немецкому языку и умению ориентироваться в сложных крымских условиях…

И это — в Сочи! Хоть и война идет, а тут пляжи, ласковое море, солнце…

Бывает так: человек выдержит с честью экзамен на мужество в самых невероятных условиях. Выдержит и не дрогнет. А потом в тишине, в безопасности вдруг сдаст, расслабится.

Нечто подобное произошло с некоторыми партизанами, оказавшимися после трудных горных сражений на сочинском берегу. Но не будем сейчас говорить об этом: Македонского и его друзей ждали еще немалые испытания. В июне 1943 года они вернулись в Крым, за Басман-гору…

Ночной партизанский аэродром принял Спаи, Апазова, Самойленко, Чусси и многих других героев Большого леса 1941–1942 годов.

Но он же принял и тех, кто за всю войну еще не нюхал пороха, кто от самого Сталинградского сражения почти до Курской дуги жил в Сочи, проходя, скажем прямо, довольно затянувшуюся военную подготовку.

А встретили их лесные солдаты, не покидавшие боевых позиций с самого ноября 1941 года. Они прожили труднейший год, эти люди! Месяцами над ними не появлялись наши самолеты. Немцы устраивали пожары, пытались выкурить их из леса. Их косил голод, донимали болезни. Но они не просто держались, а воевали, не давая покоя противнику. Из Большого леса, как и раньше, диверсанты пробирались на дорогу Симферополь — Севастополь, в воздух взлетали немецкие эшелоны; разведчики-наблюдатели не спускали глаз с магистралей, и штаб Северо-Кавказского фронта регулярно получал донесения. Наведенная партизанами авиация бомбила немецкие тылы.

Эта лесная эпопея — год жизни крымских партизан — еще ждет своего летописца…

Но вернемся к дням, когда группа Македонского встретилась с теми, кто перезимовал в лесу. Надо честно сказать, кое-кто из «сочинцев» попросту не понял еще, с какими удивительными людьми свела их партизанская судьба, в какой сложной обстановке они очутились. Излишняя самоуверенность новичков, их беспечность (осторожность партизан-ветеранов «сочинцы» принимали чуть ли не за трусость) — все это, как ни странно, коснулось и тех, кто уже имел боевой опыт, и в частности командиров. И это едва не обернулось бедой…

К моменту возвращения Македонского в лес в Коуше стоял карательный отряд. Командовал им бывший местный агроном, фашистский майор Раимов. Это была фигура зловещая. За спиной — фашистская школа диверсантов, на мундире — два железных креста. Сам Гиммлер принимал Раимова: предатель был ценен для фашистов тем, что великолепно знал крымские леса.

О появлении в лесу Македонского Раимов узнал тотчас же. К счастью, он, видимо, не знал, что в отряде ведут себя довольно беспечно. Раимов готовил удар. Карательные роты обошли отряд Македонского и окружили его на маленьком лесном участке.

Пришлось занимать круговую оборону. Начался бой, перешедший врукопашную. Трудный бой. Только храбрость опытных партизан не дала возможности Раимову истребить отряд. Выручило и то, что сам командир Михаил Македонский, как только начался бой, стал по-прежнему волевым, находчивым, появилось у него железное командирское спокойствие, куда девалась беспечность…

— Македонский! Кончай ночевать! Сдавайся! — кричат раимовцы.

— Жора! — Македонский обращается к отчаянному моряку-партизану Грузинову. — Умри, но выйди им в тыл. Двадцать минут жду.

— Выйду, командир!

Македонский сколотил на ходу ударную группу: Апазов, Спаи, Николай Дементьев, Гвоздев и многие другие ветераны партизанских битв.

Глаза Македонского на минутной стрелке: успей, успей, Жора Грузинов!

И Грузинов «успел» — на левом фланге заработали его автоматы.

— Вперед! — Македонский начал атаку.

Завязалась рукопашная. Тонконогий Мемет Апазов бросился на тучного солдата. Оба упали и покатились по скату горы. Мемет

выхватил нож и всадил его в фашиста.

Но показался немецкий автоматчик и в упор расстрелял Мемета.

Вскрикнул Апазов и, раскинув руки, навзничь упал на устланную прелой листвой землю.

Спаи с ходу прыгнул вниз, спрятался за дерево и полоснул автоматной очередью.

Справа шли четверо фашистов.

Спаи мгновенно повернулся, выпустил в них длинную очередь и уложил всех четверых.

— Выходить, товарищи! — крикнул Спаи.

Он снял шапку, вытащил из кармана носовой платок, но тут раздалась очередь, и… партизан стал медленно оседать.

Николай Спаи получил десять пулевых ран. Стреляли по нему в упор. Он еще раз приподнялся и ткнулся лицом в шуршащую листву, перевернулся на спину…

К нему подбежал Македонский:

— Николай!

Спаи был мертв.

18

Комиссар Селимов отличался умом и тактом. Человек образованный, смышленый, он не мешал Македонскому разобраться во всем, что произошло. Всю энергию нацеливал на то, что еще предстоит сделать. Кончался июль 1943 года, под Курском догорали «тигры» и «пантеры».

То, что катастрофа фашистских армий близка, чувствовали все. В селах, окружающих Большой лес, начиналось брожение даже среди верных прислужников фашизма, тех, кто в июле 1942 года, после падения Севастополя, ничем не брезговал и самолично расстреливал пленных партизан.

Тактика Селимова, одобренная обкомом партии, сводилась к одному: внести разлад между фашистами и их прислужниками из местных националистов, добиться того, чтобы так называемые добровольческие формирования повернули оружие против главного врага советского народа — фашизма.

И Мустафа Селимов, который имел широкие связи в татарских селах, начал большую и нужную работу. Селимовских ходоков охотно принимали даже в домах отъявленных жандармов-бандитов. Было похоже на то, что утопающие хватаются за соломинку.

Стильская тропа. На ее басмановском перекрестке, на видном

месте, вешка с запиской: «Мы, группа вооруженных бывших обманутых полицаев, желаем верой и правдой служить Советской власти. Просим принять нас с оружием и собственными харчами. Назначьте условия явки в лес…»

В те дни Македонский часто ходил на могилу Апазова, Спаи, Евдокимова, Чернова, Рогозы и других товарищей, погибших в бою с жандармами Раимова, и подолгу стоял, низко склонив голову.

Вот они с ветераном леса Михаилом Самойленко стоят рядом, смотрят на яйлу, выгоревшую за лето. Под ними лес, слегка тронутый первым дыханием осени.

Македонский без шапки, горный ветер шевелит седеющие волосы.

Они молчат, оглядываются вокруг, как бы по-новому озирая свой Большой лес.

— Много гостей у нас будет, Мишка! — деловым голосом заявил Македонский.

— Очень много!

— И Большой лес будет тесен!

Ходоки, ходоки… Их стало особенно много после битв под Сталинградом, на Курской дуге, прорыва Голубой линии на Тамани, после кавалерийского рейда генерала Плиева за Савур-могилу.

Спешили в лес те, кто вырвался из-за колючей проволоки.

Искали дорогу в партизаны солдаты словацкой дивизии, не пожелавшие служить фашистам.

Нащупывали партизанские тропы симферопольцы и ялтинцы, что до поры до времени тайно били фашистов при любой возможности. Они жаждали открытого боя.

Кто-то у Мекензиевых гор обстрелял фашистский эшелон. Через день поближе к Бахчисараю расколошматили немецкий обоз. Какие-то бойцы в немецкой форме врываются в села, уничтожают всех фашистов и лихо празднуют свою победу. Говорят, ребята эти рослые, красавцы, некоторые из них разговаривают по-русски с акцентом.

Деревенский дед Андрей Бирюков пришел в лес.

— Дед! Стой! — остановил его человек с автоматом.

— Кацо, не бойся!

Повели деда по тропке в шалашик. Навстречу крепкий мужик черноглазый, черноусый и с окладистой красивой бородой. Он с места:

— Знаешь, где Македонский?

— Откуда мне-то знать?

Петр Гвалия — это был командир загадочной группы — не

стал мешкать, а быстренько написал записку и отдал деду:

— Передать Македонскому.

— Да ты что! Я мирный человек.

— Хорошо. Можешь уважить? Придет в село партизан — вручи. Не придет сожги!

Через день записка — у Македонского.

Оказалось, что эти бойцы были завербованы немцами в концлагере. Согласились только для того, чтобы при первом же случае податься в лес. Так и поступили.

Вот это и доказывал Гвалия, бывший майор Красной Армии, Македонскому.

— Убеди, что так! — коротко заявил Михаил Андреевич.

— Приказывай!

Рейд майора Гвалия по тылам — нож в фашистскую спину.

Идет рота как рота — в немецкой форме и при оружии. И вдруг она бьет «по своим».

Гвалия и его партизаны очистили многие предгорные села от оккупантов.

Жили весело — с музыкой, пляской.

Славный был отряд. Сам майор Гвалия погиб в решающих боях за Крым.

Когда наши войска плотно обложили Крым с суши, высадили под Керчью десант, в лес двинулись селами стар и млад. Отряды вырастали, как боровики после теплого предосеннего дождя.

Сперва в заповедных лесах сформировалась бригада под командованием Македонского, но через месяц бригад было уже три. Так родилось знаменитое Южное соединение с тысячами партизан и пятитысячным тылом гражданского населения.

Снова, блеснул талант Михаила Андреевича. Он понял: главная слабость соединения — его гражданский тыл. Фашисты нацелятся именно на него: почти каждый второй партизан имел в тылу семью.

Македонский выделил тылу наиспособнейших организаторов: Бережного, Шмелева, Рябошапку, Минько…

Не было дня, чтобы лично не проверил: а как тыл? Думал о тыле укрепляя все соединение.

В решающих боях все то сказалось и на пользу леса.

Бывший рядовой бухгалтер стал не только воином, но и политиком — как требовала обстановка.

Разве не дальновидная политика — случай с карательным отрядом Раимова?

А случай вот какой.

Раимов — палач. Но Раимов — трус. Чувствуя, что его хозяева близки к гибели, он мечется в поисках выхода из положения. Он

готов предать не только своих подчиненных, но даже и отца родного, только бы уцелеть самому.

Однажды Селимов отвел Македонского в сторону.

— Важный разговор, командир. Братья Раимовы просятся в лес!

Македонский ошеломленно посмотрел на комиссара.

— К нам просится весь Коушанский гарнизон с оружием. Братья в Коуше.

Коуш! Мы с Михаилом Андреевичем штурмовали его, жгли… Наш ночной бой, наши убитые…

— Принять коушанцев в лес? Да против этого восстает все, все…

— Но не спеши, не спеши… Они хотят искупить вину перед Советской властью, перед партизанами? Они готовы заплатить кровью? Так пусть платят, черт возьми!

Люто ненавидимый партизанами коушанский гарнизон полицаев был принят в состав соединения в качестве самостоятельного отряда. Ему было сказано: докажите, что на деле хотите смыть с себя позор.

И коушанцы старались… Да, да, старались… Рослые, сытые, в немецкой форме, отлично вооруженные, шли на дороги под Бахчисарай и громили автоколонны фашистов.

Братья Раимовы несли обыкновенную партизанскую службу, никого из них ни в чем не упрекали, хотя заслуживали не только упрека… Но цену им знали: руки их обагрены кровью советских людей.

Выдержка, выдержка, она не менее важна в политике, чем в засаде.

…Древняя седловина Басман-горы.

Македонский и Раимов-старший.

Два майора — советский и фашистский, два врага. Сильные, здоровые, умеющие повелевать.

Один из них — бывший бухгалтер, а другой — бывший агроном.

Оба потомственные крымчане. Но один с народом, другой с фашистами.

— На что могу надеяться? — спрашивает Раимов.

— На самого себя. Прояви себя в бою — народ, подумает.

— Он не простит меня.

— Он все взвесит.

— Почему тебе везло, Македонский?

— Сам подумай.

Раимов срывает с френча немецкие награды, погоны:

. — Возьми!

— Они не стоят и пуговицы от моих штанов!

— Когда ты меня расстреляешь?

— Никогда!

— Что же ты со мной сделаешь?

— Одного я тебя в лес не возьму. Приведешь батальон — разговор продолжим.

— Это смягчит мою судьбу?

— Еще не знаю.

— Хорошо. Батальон завтра будет здесь! — Раимов удалился.

И отборный карательный батальон, надежда немцев, — в нем не меньше десяти — двенадцати палачей, которых надо было расстрелять без промедления, — явился в распоряжение Македонского в полном составе.

Раимов — фашистская птица высокого полета, его необходимо сохранить для военного трибунала.

Раимову дали возможность «выслужиться»… И он старался. Раимовские головорезы в эсэсовской форме выкатывались из леса на автомашинах и били, били чистокровных немцев на многих крымских дорогах.

Одно только было странным — круговая порука раимовцев, Они готовы были выполнить любой приказ, но зажали рты, будто языка лишились.

Наши контрразведчики пытались точно выяснить, кто и что делал при фашистах, в какой степени виновен перед народом. Но тут как непробиваемая стена — круговая порука. И даже попытка доказать, что сам Раимов там-то спас партизана — сохранил ему жизнь.

И еще одна опасность: партизаны косо смотрели на Раимова. Свободно мог найтись человек, который в упор расстреляет важного государственного преступника.

Македонский и Селимов выработали план…

Раимов и его личная охрана были вызваны в штаб Южного соединения. (Надо здесь подчеркнуть, что охрана Раимова состояла из бывших фашистских офицеров и, как выяснили, военных преступников. Но Раимов о них говорил как об антифашистах.)

— Товарищ командир соединения! По вашему приказу командир партизанского отряда Раимов прибыл! — четко отрапортовал бывший палач.

— Садись, перекусим.

— Спасибо. — Раимов молодцевато присел.

Выпили, закусили.

— Как дела в отряде?

— Успешно дерутся… Не из-под палки!

— Это хорошо. Но ты жаловался комбригу Чусси…

— Точно! Мне нужны противотанковые средства: ружья, гранаты…

— За тем я тебя и вызвал. На Бурульче каждую ночь приземляются самолеты — оружие доставляют. Я завтра посылаю человек сорок туда… Вот ты и своих давай, — очень просто и по-деловому заявил Михаил Андреевич.

— А сколько можно командировать?

— Отделения хватит, как думаешь?

— Вполне! — Раимов подумал, а потом вдруг спросил:-. А если я сам своих поведу?

— Это зачем еще? — удивился Македонский.

— Хочу видеть партизанский аэродром, советского летчика! И вообще люблю испытывать судьбу.

— Тут испытание невелико. Только языком не болтай, что ты Раимов. Имя твое плохая броня для тебя. Можешь идти!

Расчет Селимова и Македонского оказался точным. Было им известно, что Раимов давно собирается поглядеть на весь партизанский лес. Для чего? Трудно и сейчас сказать…

Раимовская охрана! И тут ясно — он отобрал самых верных друзей, сплошное фашистское офицерье. Именно тех, кого и ждут на Большой земле.

Сорок настоящих партизан и раимовская охрана прибыли вовремя на далекий и тайный партизанский аэродром. На поле стоял многоместный самолет. Раимов — он был старшим — доложил о прибытии. Рапорт принимал командир Северного соединения Ямпольский.

Он спокойно выслушал его, прошелся вдоль строя партизан, поздоровался:

— Приветствую отважных южан!

Ямпольский подошел еще ближе, а потом резко крикнул, как бичом ударил по строю:

— Положить оружие!

Сорок партизан Македонского с волнением ждали этой команды — они заранее знали о ней и немедленно исполнили приказ. Раимовцы почти автоматически последовали их примеру. Только Раимов все понял, молниеносно выхватил из кобуры парабеллум, но кто-то с силой ударил его по руке, и оружие отлетело прочь.

Предателей погрузили в самолет, доставили прямехонько в Москву.

Мы, партизаны 1942 года, отвлекали войска, заставляли дни и ночи охранять дороги, мосты, вынуждали фашистов держать в тылу громоздкую карательную машину. И все же мы ограничивались тем, что разбивали один-другой грузовик, взрывали там мост, там переезд.

Южное соединение Македонского делало то же самое, но масштабно, одновременно охватывая ударами огромные территории от Симферополя до Севастополя, от Симферополя до Ялты — Байдары. Бывали дни, когда уничтожалось в самых различных местах по нескольку машин одновременно, пускались под откос эшелоны, захватывалась одна из железнодорожных станций и полностью нарушалось движение на несколько дней.

Партизанский фронт был активным, требовал не меньше сил, чем, например, Керченское направление.

Приближалась весна 1944 года, трезвый расчет говорил немецким генералам: Крым не удержать.

Но как можно больше советских дивизий отвлечь и задержать здесь необходимо.

А для этого надобно иметь свободный тыл, свободу маневра на крымских дорогах. Ликвидировать партизанский фронт, усилить позиции на Перекопе, под Керчью. Вот оперативная цель врага.

Поэтому в январе — апреле 1944 года одними только самолетами было переброшено в Крым 69 батальонов пехоты из самой Германии. Немецкий командарм лично возглавил операцию против партизан, в которой принимали участие все роды войск: пехота, танки, артиллерия, авиация…

Удар готовился открытый, о нем говорили и писали. Началось с тактики выжженных сел. Вокруг гор все было сметено с лица земли. Потом второй этап — планомерная авиационная подготовка. Днем и ночью леса «обрабатывали» группами самолетов.

Главный удар нацелен был на тылы.

Прорваться в лесные глубины и уничтожить гражданское население!

Тыл сковывал партизанский маневр.

Но тыл давал и другое — чувство, похожее на то, что глубокой осенью 1941 года испытывали защитники советской столицы. «За нами Москва отступать некуда!»

«За нами наши матери, жены, дети — отступать некуда!»

Перед началом решительных схваток контрразведка во главе с Иваном Витенко разоблачила группу диверсантов, проникших в Большой лес с единственной целью: отравить Македонского и весь его штаб.

Не так-то трудно было в те дни фашистам засылать в лес агентуру. В партизаны шли селами, коллективами из оккупационных учреждений.

Зрелость партизанской разведки и контрразведки позволяла разгадывать замыслы врагов, происки его пятой колонны. Тридцать месяцев жесточайшей битвы научили командиров очень многому, главное — классовому чутью, интуитивному ощущению, где свой, а где чужой.

Вот явился из Симферополя бывший полицай с группой бывших шуцманов. Было из-за чего являться в лес: жену немцы убили еще в 1941 году, сын пропал без вести, дочь угнана в Германию.

Все обычно, но только необычна речь бывшего полицая. Говорит, что старый учитель, человек интеллигентный, а вот язык больше смахивает на извозчичий.

Иван Витенко на это и обратил внимание.

И еще: этот самый учитель носит в кармане листочек с похабнейшими стишками — проверили тайно.

Школьный наставник — и эти стихи… Странно.

Витенко, чтобы не упустить из поля зрения подозреваемого, сделал его личным ездовым.

Однажды к Витенко подошел старый партизан — житель деревни Саблы.

— Откуда он у тебя, командир?

— А что? — спросил Иван Илларионович.

— Кого-то он мне напоминает. А вот кого?

— Может, по голосу узнаешь, а? — горячо спросил Иван.

— Попытка — не пытка.

— Эй, ездовой! — крикнул Витенко, предварительно спрятав саблынца.

— Есть, товарищ начальник!

— Седлай лошадей!

— Одним мигом!

Ездовой ушел, а Витенко к саблынцу:

— Ну?

— Наш лавочник. В тридцатом году деру дал и как сквозь землю провалился. Вот какая штука.

— Спасибо! Никому ни слова!

Вечером того же дня «учителя» разоблачили и приперли к стенке.

Витенко был краток:

— Выбирайте: трибунал или полное признание, с каким заданием явились в лес! Три минуты на размышление…

Уже через минуту шпион взмолился:

— Расскажу все, все! Сохраните жизнь?

— Обещаю: до суда.

— Я никого не убивал!

— Только полное признание!

И признание было. «Учитель» — начальное звено цепи, пробный камень. Похабные стишки — пароль для встречи с очередным агентом. Цель — отравить пищу, которую подадут на стол штабу.

Через пять дней были взяты агент «246» и главный исполнитель агент «500». Все они яро ненавидели партизан, верой и правдой служили фашистам. Агент «500» вел себя дерзко и развязно.

— Не советую шутить, — сказал ему Витенко.

— А если шутится! — крикнул шпион, ударил часового, стоящего с ним рядом, и рванулся к обрыву. Но далеко не убежал.

Это все — только начало.

«Музыка» грянула в светлый январский день, когда все заставы сообщили: «Идут батальоны!»

Маневр врага был необычно прост. Расчет на одно: хотят того партизаны или нет, но им придется принять бой. Расчет, надо сказать, абсолютно точный. На него и вся ставка. Пушки, подтянутые к Бейшуйским высотам, настойчиво обрабатывают хребты вокруг отрядов, линии партизанских окопов.

С утра до вечера висит над лесом «рама». С самолета-видно все, что делается в лесу. Можно различить линии партизанских окопов, лагеря, тылы и скопление в них гражданского населения.

Все шло по писаному, и никто не знал действительного плана Македонского, конечно кроме посвященных в него.

Командир 4-й партизанской бригады Христофор Чусси — ветеран леса, в прошлую зиму отважный командир Первого Симферопольского отряда.

Чусси во многом подражает Македонскому — в походке, в одежде, но в критическую минуту совершенно самостоятелен и умеет принимать ответственные решения. И сейчас у командира Южного соединения вся ставка на самостоятельность Христофора.

Македонский даже свой штаб отвел подальше от Чусси и перестал появляться в расположении бригады.

— Ты совсем на нас ноль внимания! — упрекает Чусси Македонского.

— А что, вам скорая помощь нужна?

— Почти дивизия идет. Македонский!

— Что ты хочешь?

— Не нравится твой план, командир.

— Что предлагаешь?

Но потом идею Македонского Чусси принимает полностью. Идея такая: фашисты вызывают на оборонительный бой — пожалуйста; фашисты рассчитывают превосходящими силами прорвать партизанские линии, выйти в тыл прорывайте. Подеремся часиков пяток и допустим прорыв: ворота в лес открыты! Самое главное — втянуть основные силы врага по руслу Сухой Альмы к хребту Абдуга. И… нанести решительный контрудар, удар на полное уничтожение прорвавшихся сил. Сделать партизанский Сталинград!

Очень дерзкая идея, под силу только тем, кто в совершенстве владеет средствами маневра, кто абсолютно уверен в каждом бойце-партизане. Чусси ничего против не имеет, но не согласен с тем, что фашисты так запросто войдут в долину, — они тоже думают!

— А как они пойдут? — спрашивает Македонский.

— По склонам хребта.

— Значит, засаду главную надо поднять повыше?

— Да! Надо заставить немцев маневрировать. Но все маневры должны кончиться лобовым столкновением с нами. Фашистов вынудим наступать по долине.

Македонский принял план Чусси, на прощание сказал:

— Держу в резерве бригаду Самойленко.

Чусси возразил:

— Справимся сами. Единственная просьба: дать нам отряд Грузинова.

— Дам! Но зачем?

— Пусть выйдет в тыл артиллерийских позиций. Начну контратаку, дам сигнал. И тогда Грузинов должен взять немецкие орудия.

— Возьмет и обезопасит дорогу: задержит всякое подкрепление врагу.

…Следующее утро началось с артиллерийского огня. Немецкие пушки били с горы Белой, что за Бешуем, не подозревая, что один из самых боевых отрядов Южного соединения — отряд Грузинова — вышел им в тыл.

В 14.00 началась атака. Силами до полка немцы начали наступать на правом фланге на отряд Николая Дементьева.

Драка была кровавой. Атаки за атаками, но партизаны отбивали каждую из них и молниеносно совершали перегруппировки. В горячке боя Дементьев сумел разделить силы противника на две части, а потом и на четыре. В отдельных узлах происходили короткие рукопашные схватки.

Чусси был прав: общее направление врага в лес не по долине, а по скатам хребта. Но отчаянная оборона партизан заставила

немцев спускаться все ниже и ниже.

Такой же тактики придерживались и на левом фланге, где упорно держались Второй и Третий отряды.

Седьмой отряд Матвея Гвоздева находился в центре, в самой долине.

Фашисты, не добившись успеха на флангах, стали стягивать таран к центру и ударили по отряду Гвоздева.

Македонский на поле боя не присутствовал, но держал с Чусси постоянную связь.

Он был доволен.

— Академики! — сказал комиссару и шапку надвинул на лоб.

Чусси вел тяжелый бой в самой долине и скрытно группировал ударные силы на флангах.

Бешено работали немецкие пушки. Гвоздеву и его комиссару черноморцу Алексею Палажченко приходилось труднее всего. Но они знали, чего ждут от отряда и что будет, если не выполнит он своего долга. А будет вот что: немцы действительно прорвутся в тыл, а там несдобровать никому: ни детям, ни женам, ни старикам.

Гвоздев и Палажченко, как и было заранее приказано, медленно, очень медленно отступали в глубину леса.

Немцы чувствовали: вот-вот они прорвутся в Большой лес. Налетели самолеты и ударили по лесным просекам вдоль Сухой Альмы. Атака усилилась, отдельные группы автоматчиков прорвались в сад, где действовал комиссар Палажченко. Началась рукопашная, комиссар был ранен. Но человек огромной физической силы, он держался до тех пор, пока прорвавшаяся группа автоматчиков не была полностью уничтожена. Потом потерял сознание.

Чусси смотрел на часы. Никогда еще не стучало так сильно и тревожно командирское сердце. Вот-вот ракетами он подаст сигнал на контрудар!

Но все ли на месте? Вышел ли в тыл орудиям Грузинов?

Комбриг вытер вспотевший лоб, посмотрел на своего начальника штаба, глухо спросил:

— Как думаешь, Леня?

— Все будет на сто богов!

Комбриг вскинул ракетницу:

— Ах, зачем только меня мама родила! — и нажал на гашетку.

Получилось как бы автоматически: щелкнуло в одном месте — и началось сложное, но согласованное движение. Отряды ударили с четырех сторон. Немедленно умолкла немецкая артиллерия.

Фашисты вызывали помощь, но их тыл не отвечал, пушки молчали. А потом оттуда стал доноситься шум непредвиденного боя.

Окружение!

Паника!

Удирали как только могли, просачивались мелкими группами, как рыба сквозь прорванную сеть.

Никогда враг в лесу еще не оставлял столько трупов, никогда! В долине Бешуя лежало 480 трупов! Двадцать семь пленных. Пулеметы, автоматы, машины, радиостанции, лошади, разбитые пушки.

Партизанские потери: 18 убитых и 35 раненых.

Бешуйский бой морально подавил карателей. Около недели не могли прийти в себя и только делали вид, что продолжают выполнять приказ своего командующего по ликвидации партизанского фронта.

Но вскоре снова начались большие бои. Шестая партизанская бригада под командованием Михаила Самойленко стойко держала район Коуш — Мулга — Марта. Около месяца шли бои с немецкой пехотной дивизией, но ни одному фашистскому солдату не удалось прорваться в Большой лес.

Наш Басман и все трехречье были в руках Седьмой партизанской бригады под командованием Леонида Вихмана. Сколько раз фашисты пытались прорваться через седловину Басмана на Донгу, Писару — столько раз приходилось уходить им битыми, унося сотни трупов.

…Апрель 1944 года. Забелели долины от цветущих слив и черешен, в горах ранее обычного сходил снег.

В тылу партизан рождались дети, водяные мельницы на Каче мололи партизанскую муку.

Свобода начала свой шаг с Перекопа, с Керчи и с Большого леса.

Одновременно ударили три фронта: 4-й Украинский, Керченский Приморская армия и партизанский.

Южное соединение получило приказ спуститься с гор.

Даешь Бахчисарай!

Отряды Четвертой и Шестой бригад рванулись из Качинской долины на предгорья и на семь часов раньше Красной Армии заняли Бахчисарай. Вихмановская бригада нацелилась на Ялту, на Южный берег Крыма.

Спасти дворцы: Ливадийский, Воронцовский, Массандровский, Юсуповский, знаменитые подвалы Массандры, спасти санатории и дома отдыха!..

От Алушты до Байдарских ворот партизанские группы

наносили удары по отступающим фашистам.

Немцы бросали машины, пушки, раненых. В Севастополь, в Севастополь!

Факельщики забывали про свои факелы, подрывники про тол, заложенный во все крупные здания побережья.

«Партизан! Партизан!» — страх шел впереди немецких солдат.

Ялтинский отряд вошел в родной город совместно с пехотинцами и артиллеристами генерала Преображенского, с танкистами генерала Привалова.

Южный берег был в цвету!

* * *

Годы как падающая вода: вспять не идут.

В восточном Крыму, едва ли не на самом романтическом месте Крыма, лежат земли совхоза «Коктебель».

Здесь виноград сплошным зеленым ковром покрывает долину — от горного перевала до остроконечных пиков Кара-Дага. Он взбирается на взгорья, сползает в ложбины, лепится между скалами: виноград всюду, где настойчивые руки человека отвоевали у гор хотя бы узкую полоску земли.

Я часто бываю на той стороне полуострова, вижу долину, а главное — ее людей, умеющих ловить солнце в бокалы.

И куда бы я ни смотрел — на улицы поселка, дома, на цветники, сады и поляны, — повсюду я чувствовал почерк одного человека, будто он собственноручно подписывается под каждым добрым делом.

Это почерк боевого, сильного и мужественного хозяина земли — почерк Михаила Македонского, директора первого на Украине хозяйства коммунистического труда, совхоза «Коктебель», почерк человека, удостоенного за подвиг на мирной земле звания Героя Социалистического Труда.

* * *

Несколько лет тому назад, за неделю до майских праздников, я получил приглашение, которого ждал очень долго.

Меня звали на всекрымскую встречу партизан! Неужели будет: соберемся на зеленой лужайке заповедника, посмотрим на наши горы — молчаливых свидетелей славной, трудной, задорной, полной драматизма боевой жизни, а главное —

взглянем друг другу в глаза, спросим: отсырел ли порох в твоей пороховнице или по-прежнему сухой, пламенистый?

И вот оно — утро мая! Вдоль Салгира под ветром шумят седые тополя. Город спит, только по улице Шмидта у турбазы необычный шум, смех, взволнованные восклицания, слезы. Со всех сторон сходятся люди — немолодые люди, и глаза у них ищущие, лица бледноватые от волнения.

— Иван… Иван, чтоб ты сгорел!

— Пидожды… пидожды!.. Нэвже Грыцько? Ей-богу, вин, живэсэнькый та повнэсэнькый!

Обнимаются, хлопают друг друга по широким спинам, плачут, смеются, как могут смеяться дети и люди с чистыми душами. Тут нет ни начальников, ни подчиненных — собрались равные братья по оружию.

Я смотрю на лица моих братьев, и сердце мое бьется от счастья, волнения, оттого, что время не выветрило из нас боевого духа. Нет, я не хочу сказать, что мои друзья — люди особого сорта, но, черт возьми, в них все же есть что-то необыкновенное!

Кто может еще так молодцевато носить головные уборы — то ли кепку-монеточку, то ли шляпу из модного сукна — чуть набекрень, этаким наклончиком к виску? Кто с такой юношеской непосредственностью может выражать свой восторг, как выражает мой сосед своему другу — тучному директору крупного совхоза Македонскому: что, мол, ты, Мишка, здорово шагнул, Герой Труда, а такой, со смешиночкой, собака тебя задави!..

А вот и наш Чуб… Ему уже шесть десятков, а глаза… глаза!.. Блестят ярко, задористо. С прытью, размашисто прилаживает красное знамя к вездеходу, который пойдет в голове колонны… Чтоб от самого легкого ветерка трепыхалось полотнище. Приладил, выпрямил сильное, широкоплечее, мускулистое тело и с прежней командирской властностью крикнул:

— По машинам, хлопцы!

И необычная колонна тронулась в путь… Она промчалась через город, выскочила на весенний простор.

…Мы посмотрели на себя, на свои прожитые послевоенные годы глазами тех, кто в трудную минуту испытаний был рядом, локоть в локоть, всегда готовый на самый высокий подвиг.

Зеленая поляна в знаменитой партизанской балке, теплое майское солнце, импровизированная трибуна — кузов машины, на ней плотная фигура партизанского командира. Молодой весенний ветер обдувает его виски, седую шевелюру. Вокруг — мы. Седые головы. Море седых голов, но как еще энергично горят наши глаза, как глубоко сердца воспринимают страстные слова оратора!

Встречи эти стали нашей традицией. Где бы ты ни был в День Победы лети в Крым. Там в заповедных лесах ждут тебя твои однополчане, там у главного знамени — легендарный Чуб.

Ялта — Москва

1963–1967

notes

Примечания

1

Тарпа — плетенка, корзинка для винограда.

2

Каптаж — резервуар для хранения воды.

3

Керосин.